

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

N *MIR* Y

11

1996

11

НОВЫЙ
МИР

1996

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 11(859)

Ноябрь, 1996 г.

УЧРЕДИТЕЛИ:

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»,
АО «БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ“»

СОДЕРЖАНИЕ

ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР — Авторитет, рассказы	3
ЕВГЕНИЙ РЕЙН — Солнечные часы, стихи	18
АНТОН УТКИН — Хоровод, роман. Окончание	21
НИКОЛАЙ КОНОНОВ — Сумма обстоятельств, стихи	82
ЮЛИУ ЭДЛИС — Два рассказа	87
ГЕЛИЙ КОВАЛЕВИЧ — Нашествие. Ремонт, рассказы	98
НИНА ИСКРЕНКО — Принимая покой как наркотик, стихи. Вступительное слово Игоря Иртеньева	109

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

ВИТОЛЬД ГОМБРОВИЧ — Из «Дневника». Перевод с польского и примечания Ю. В. Чайникова	113
---	-----

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

АНАТОЛИЙ НАЙМАН — Один, двое, трое	147
------------------------------------	-----

ВРЕМЕНА И НРАВЫ

ДМИТРИЙ ЛИХАЧЕВ — Детство с Куоккалой и Достоевским. Обрывки воспоминаний	156
А. МИХЕЕВ — Записки мелкого предпринимателя	159

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ — Донос на Сократа	167
---	-----

В МИРЕ ИСКУССТВА

АЛЕНА ЗЛОБИНА — Когда бы грек увидел наши игры... Классика на современной сцене	198
---	-----

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА

ПАВЕЛ БАСИНСКИЙ — Хам уходящий. «Грядущий Хам» Д. С. Мерджковского в свете нашего опыта 212

ПО ХОДУ ДЕЛА

АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ — Из опыта плавающего и путешествующего 229

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 232

Никита Елисеев. Другие истории.
Сергей Кабалоти. Рассвет у Газданова?
Ирина Роднянская. Род людской.
Ольга Кузнецова. Тридцатая любовь Алены.

КОРОТКО О КНИГАХ:

Елена Ознобкина. — I. О. Пахомова, М. Темчин. Драка с разных точек зрения. II. Н. Ерофеева. Социология. Практический курс. III. А. Доброхотов. Введение в философию 244

КНИЖНАЯ ПОЛКА 247

ПЕРИОДИКА 249

SUMMARY 256

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Наш индекс 70636 в каталоге издательства «Известия» (спрашивайте во всех отделениях связи).

Вы можете оформить льготную подписку на «Новый мир» непосредственно в редакции по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов, в субботу с 10 до 13 часов. Здесь же можно приобрести отдельные номера журнала. (Справки по тел. 200-08-29.)

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218);

акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах (их адреса можно узнать в А/О «Международная книга»: 117049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, 39. Факс (095) 238-46-34. Телефон (095) 238-49-67. Телекс 41160);

американская фирма «Ист Вью Пабליкейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел./факс (095) 144-00-55, (095) 144-01-89).

*Просим зарубежных подписчиков и покупателей «Нового мира» обращать внимание на обложку журнала. За пределами России и стран СНГ наш журнал распространяется только в специальной экспортной обложке — белой, с надписью «*Novy Mir*»; торговая журналами в голубой обложке не является законной.*

Из общего тиража Институт «Открытое общество» выписывает и направляет ежемесячно в библиотеки России и ряда стран СНГ 5 тысяч экземпляров журнала «Новый мир».

ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР



АВТОРИТЕТ

Рассказы

ЖИЛ СТАРИК СО СВОЕЮ СТАРУШКОЙ

В Чегеме у одной деревенской старушки умер муж. Он был еще во время войны ранен и потерял ногу. С тех пор до самой смерти ходил на костылях. Но и на костылях он продолжал работать и оставался гостеприимным хозяином, каким был до войны. Во время праздничных застолий мог выпить не меньше других, и если после выпивки возвращался из гостей, костыли его так и летали. И никто не мог понять, пьян он или трезв, потому что и пьяным и трезвым он всегда был одинаково весел.

Но вот он умер. Его с почестями похоронили, и оплакивать его пришла вся деревня. Многие пришли и из других деревень. Такой он был приятный старик. И старушка его очень горевала.

На четвертый день после похорон приснился старушке ее старик. Вроде стоит на тропе, ведущей на какую-то гору, неуклюже подпрыгивает на одной ноге и просит ее:

— Пришли, ради Бога, мои костыли. Никак без них не могу добраться до рая.

Старушка проснулась и пожалела своего старика. Думает: к чему бы этот сон? Да и как я могу послать ему костыли?

На следующую ночь ей приснилось то же самое. Опять просит ее старик прислать ему костыли, потому что иначе не доберется до рая. Но как же ему послать костыли? — думала старушка, проснувшись. И никак не могла придумать. Если еще раз приснится и будет просить костыли, спросу у него самого, решила она.

Теперь он ей снился каждую ночь и каждую ночь просил костыли, но старушка во сне терялась, вовремя не спохватывалась спросить, а сон уходил куда-то. Наконец она взяла себя в руки и стала бдеть во сне. И теперь, только завидела она своего старика и даже не дав ему раскрыть рот, спросила:

— Да как же тебе переслать костыли?

— Через человека, который первым умрет в нашей деревне, — ответил старик и, неловко попрыгав на одной ноге, присел на тропу, поглаживая свою культяпку. От жалости к нему старушка даже прослезилась во сне.

Однако, проснувшись, взбодрилась. Она теперь знала, что делать. На окраине Чегема жил другой старик. Этот другой старик при жизни ее мужа дружил с ним, и они нередко выпивали вместе.

— Тебе хорошо пить, — говаривал он ее старику, — сколько бы ты ни выпил, ты всегда опираешься на трезвые костыли. А мне вино бьет в ноги.

Такая у него была шутка. Но сейчас он тяжело болел, и односельчане ждали, что он вот-вот умрет.

И старушка решила договориться с этим стариком и с его согласия, когда он умрет, положить ему в гроб костыли своего старика, чтобы в дальнейшем, при встрече на том свете, он их ему передал.

Утром она рассказала домашним о своем замысле. В доме у нее оставался ее сын с женой и один взрослый внук. Все остальные ее дети и внуки жили своими домами. После того как она им рассказала, что собирается отправиться к умирающему старику и попросить положить ему в гроб костыли своего мужа, все начали над ней смеяться как над очень уж темной старушкой. Особенно громко хохотал ее внук, как самый образованный в семье человек, окончивший десять классов. Этим случаем, конечно, воспользовалась и ее невестка, которая тоже громко хохотала, хотя, в отличие от своего сына, не кончала десятилетки. Отхохотавшись, невестка сказала:

— Это даже неудобно — живого старика просить умереть, чтобы костыли твоего мужа положить ему в гроб.

Но старушка уже все обдумала.

— Я же не буду его просить непременно сейчас умереть, — отвечала она. — Пусть умирает, когда придет его срок. Лишь бы согласился взять костыли.

Так отвечала эта разумная и довольно деликатная старушка. И хотя ее отговаривали, она в тот же день пришла в дом этого старика. Принесла хорошие гостинцы. Отчасти как больному, отчасти чтобы умаслить и умирающего старика, и его семью перед своей неожиданной просьбой.

Старик лежал в горнице и, хотя был тяжело болен, все посасывал свою глиняную трубку. Они поговорили немного о жизни, а старушка все стеснялась обратиться к старику со своей просьбой. Тем более в горнице сидела его невестка и некоторые другие из близких. К тому же она была, оказывается, еще более деликатной старушкой, чем мы думали вначале. Но больной старик сам ей помог — он вспомнил ее мужа добрыми словами, а потом, вздохнув, добавил:

— Видно, и я скоро там буду и встречу с твоим стариком.

И тут старушка оживилась.

— К слову сказать, — начала она и рассказала ему про свой сон и про просьбу своего старика переслать ему костыли через односельчанина, который первым умрет. — Я тебя не тороплю, — добавила она, — но если что случится, разреши положить тебе в гроб костыли, чтобы мой старик доковылял до рая.

Этот умирающий с трубкой в зубах старик был остроязыким и даже гостеприимным человеком, но не до такой степени, чтобы брать к себе в гроб чужие костыли. Ему ужасно не хотелось брать к себе в гроб чужие костыли. Стыдился, что ли? Может, боялся, что люди из чужих сел, которые явятся на его похороны, заподозрят его мертвое тело в инвалидности? Но и прямо отказать было неудобно. Поэтому он стал с нею политиковать.

— Разве рай большевики не закрыли? — пытался он отделаться от нее с этой стороны.

Но старушка оказалась не только деликатной, но и находчивой. Очень уж она хотела с этим стариком отправить на тот свет костыли мужа.

— Нет, — сказала она уверенно, — большевики рай не закрыли, потому что Ленина задержали в Мавзолее. А остальным это не под силу.

Тогда старик решил отделаться от нее шуткой.

— Лучше ты мне в гроб положи бутылку хорошей чачи, — предложил он, — мы с твоим стариком там при встрече ее разопьем.

— Ты шутишь, — вздохнула старушка, — а он ждет и каждую ночь просит прислать костыли.

Старик понял, что от этой старушки трудно отделаться. Ему вообще было неохота умирать и еще более не хотелось брать с собой в гроб костыли.

— Да я ж его теперь не догоню, — сказал старик, подумав, — он уже месяц назад умер. Даже если меня по той же тропе отправят в рай, в чем я сомневаюсь. Есть грех...

— Знаю твой грех, — не согласилась старушка. — Моего старика с тем же грехом, как видишь, отправили в рай. А насчет того, что догнать, — не смейся людей. Мой старик на одной ноге далеко ускакать не мог. Если,

скажем, завтра ты умрешь, хотя я тебя не тороплю, послезавтра догонишь. Никуда он от тебя не денется...

Старик призадумался. Но тут вмешалась в разговор его невестка, до сих пор молча слушавшая их.

— Если уж там что-то есть, — сказала она, поджав губы, — мы тебе в гроб положим мешок орехов. Бедный мой покойный брат так любил орехи...

Все невестки одинаковы, подумала старушка, вечно лезут поперек.

— Да вы, я вижу, из моего гроба хотите арбу сделать! — вскрикнул старик и добавил, обращаясь к старушке: — Приходи через неделю, я тебе дам окончательный ответ.

— А не будет поздно? — спросила старушка, видимо преодолевая свою деликатность. — Хотя я тебя не тороплю.

— Не будет, — уверенно сказал старик и пыхнул трубкой.

С тем старушка и ушла. К вечеру она возвратилась домой. Войдя на кухню, она увидела совершенно неожиданное зрелище. Ее насмешник внук с перевязанной ногой и на костылях деда стоял посреди кухни.

— Что с тобой? — встрепелась старушка.

Оказывается, ее внук, когда она ушла к умирающему старику, залез на дерево посбивать грецкие орехи, неосторожно ступил на усохшую ветку, она под ним хрястнула, и он, слетев с дерева, сильно вывернул ногу.

— Костыли заняты, — сказал внук, — придется деду с месяц подождать.

Старушка любила своего старика, но и насмешника внука очень любила. И она решила, что внуку костыли сейчас, пожалуй, нужней. Один месяц можно подождать, решила она, по дороге в рай погода не портится. Да и старик, которого она навещала, по ее наблюдениям, мог еще продержаться один месяц, а то и побольше. Вон как трубкой пыхает.

Но что всего удивительней — больше старик ее не являлся во сне с просьбой прислать ему костыли. Вообще не являлся. Скрылся куда-то. Видно, ждет, чтобы у внука нога поправилась, умилялась старушка по утрам, вспоминая свои сны. Но вот внук бросил костыли, а старик больше в ее сны не являлся. Видно, сам доковылял до рая, может быть, цепляясь за придорожные кусты, решила старушка, окончательно успокаиваясь.

А тот умиравший старик после ее посещения стал с необыкновенным и даже неприличным для старика проворством выздоравливать. Очень уж ему не хотелось брать в гроб чужие костыли. Обидно ему было: ни разу в жизни не хромал, а в гроб ложиться с костылями. Он и сейчас жив, хотя с тех пор прошло пять лет. Пасет себе своих коз в лесу, время от времени подрубая им ореховый молодняк, при этом даже не вынимая трубки изо рта.

Тюк топором! Пых трубкой! Тюк топором! Пых трубкой! Тюк топором! Пых трубкой! Смотрит дьявол издали на него и скрежещет зубами: взорвал бы этот мир, но ведь проклятуший старик со своей трубкой даже не оглянется на взрыв! Придется подождать, пока его козы не наедятся.

Вот мы и живы, пока старик — тюк топором! Пых трубкой! А козы никогда не насытятся.

АВТОРИТЕТ

Георгий Андреевич был, как говорится, широко известен в узких кругах физиков. Правда, всей Москвы.

На праздничные майские каникулы он приехал к себе на дачу вместе с женой и младшим сыном, чтобы отдохнуть от городской суеты и власть поработать несколько дней в тишине.

Весь дачный поселок был послевоенным подарком Сталина советским физикам, создавшим атомную бомбу. Однако с тех давних пор дачи сильно одряхлели, ремонтировать их не хватало средств. За последние годы, даже еще до перестройки, государство потеряло интерес к физикам: мавр

сделал свое дело... Тем более старшее поколение физиков, создававшее эту бомбу, в основном уже перемерло.

На третий день праздников труба в ванной дала течь. Георгий Андреевич пошел в контору. Он знал, что оттуда можно было вызвать одного из двух сантехников. Но работник конторы скорбно заявил ему, что сантехники сами вышли из строя.

— Что с Женей? — спросил Георгий Андреевич.

— Руку сломал, — ответил конторский работник.

— А Сережа?

— Голову разбил. Только что его увезли на машине, — был мрачный ответ.

Георгий Андреевич вернулся на дачу несолоно хлебавши. Трудно жить в России, думал он: прежде чем починить трубу, надо починить слесаря. Нам многодневные праздники ни к чему. Работа невольно заставляет нашего человека делать некоторые паузы в выпивке. Праздничные дни — пьянство в чистом виде.

Однако он не дал себе испортить настроение этой неудачей, а сел работать. Работа — единственное, в чем он еще не чувствовал приближение старости. И тем более было обидно, когда любимый ученик сказал ему об отзыве о нем одного известного физика. «Каким ярким ученым был Георгий Андреевич! — вздохнул якобы тот. — Как жалко, что он замолк».

Откуда он взял, что я замолк? — с горьким негодованием думал Георгий Андреевич. За последние два года четыре его серьезные работы были опубликованы в научных журналах. Да тот просто журналы эти не видел! Физики, — во всяком случае, те, что остались в России, — перестали интересоваться работами друг друга. Это тоже было знаком времени. На свои последние публикации он получал восхищенные отклики от некоторых иностранных коллег.

Однако ему было шестьдесят пять лет, и он действительно чувствовал первые признаки старости. Только не в работе. Так он думал. Но, например, процесс еды перестал приносить удовольствие, и он ел не то чтобы насильно, но с некоторым тихим раздражением примирясь с необходимостью перемалывать пищу. Сколько можно!

Утреннее бритье тоже стало раздражать его. Боже мой, думал он, включая электробритву, сколько можно бриться! всю жизнь каждое утро бриться! Некоторые его коллеги давно завели бороды, якобы подчиняясь моде возвращения к национальным корням. Он сильно подозревал, что им просто надоело бриться. Сам он никак не хотел заводить бороды. Они при помощи бороды маскируют собственную старость, думал он.

Третьим признаком старости он считал то, что на ночь стал проверять, хорошо ли закрыты дверные запоры. Раньше он никогда об этом не думал. Правда, этот признак старости он мог не засчитывать себе или, по крайней мере, смягчить тем, что, по вполне проверенным слухам, многие дачи их академического поселка ограбили.

Слава Богу, обошлось без убийств. Правда, одного опустившегося физика, пьяницу, воры избili. Он случайно во время грабежа оказался на даче, но был так беден, что из дачи буквально нечего было вынести. Все, что можно было вынести и продать, он уже сам вынес и продал. Воры обиделись и, разбудив его, избili за свои напрасные труды. Тем более у кровати его стояла пустая бутылка. Как будто он один любит выпить!

Но Георгий Андреевич почему-то чувствовал, что его повышенный интерес к замкам и запорам перед тем, как лечь спать, связан не с участвовавшими грабежами вообще, а с философским старческим отношением к собственности. Тем более он хорошо помнил слова Гёте о том, что в молодости мы все либералы, потому что нам нечего терять, а в старости делаемся консерваторами, потому что хотим, чтобы нажитое нами осталось именно нашим детям.

Ничего особенного нажито не было, хотя он был лауреатом нескольких международных премий. Но деньги, на которые он никогда не обращал внимания, как-то незаметно испарились, хотя это было не совсем так.

Оба его старших сына были биологами, и когда они женились, он обоим купил квартиры. Они рано женились. Это было еще в советское время, и один из них, которому он дал деньги на квартиру, просил его, чтобы он, пользуясь своим авторитетом, помог вступить в какой-то кооператив. Но он наотрез отказался. Он презирал этот путь и никогда в жизни не умел и не хотел им пользоваться.

— Я же дал тебе деньги, — твердо ответил он сыну, — дальше действуй сам.

— Деньги — это далеко не главное, — ответил ему сын довольно нахально.

Впрочем, в те далекие, как теперь казалось, советские времена, вероятно, так оно и было.

Зато теперь деньги решали все. Оба его старших сына по контракту работали в Европе. Судя по всему, они были хорошо устроены и в Россию почти не приезжали. Беспокоиться об их судьбе не приходилось. Но он волновался о младшем сыне. Отчасти и это было признаком старости или следствием старения.

Через пятнадцать лет после второго сына у него родился третий сын. Ему было сейчас двенадцать лет, и отец несколько тревожился, что может не успеть поставить его на ноги. А время настолько изменилось, что однажды сын ему сказал с горестным недоумением:

— Папа, почему мы такие нищие?

Вопросу сына он поразился как грому среди ясного неба.

— Какие мы нищие! — воскликнул он, не в силах сдержать раздражения. — Мы живем на уровне хорошей интеллигентной семьи!

Так оно и было на самом деле. Денег, по мнению отца, вполне хватало на жизнь, хотя, конечно, жизнь достаточно скромную. Но в школе у сына внезапно появилось много богатых друзей, которые хвастались своей модной одеждой, новейшей западной аппаратурой да и не по возрасту разбрасывались деньгами. И это шестиклассники!

Напрасно Георгий Андреевич объяснял сыну, что отцы этих детей скорее всего жулики, которые воспользовались темной экономической ситуацией в стране и нажились бесчестным путем. Он чувствовал, что слова его падают в пустоту.

И тогда он подумал, что грешен перед своими детьми: всю жизнь углубленный в науку, не уделял им внимания. Двое старших, слава Богу, без его участия стали вполне интеллигентными людьми и достаточно талантливыми биологами. Да иначе с ними не продлевали бы контракты с такой охотой! Западные фирмы с необыкновенной точностью выклевывали наших самых талантливых ученых! И ему, несмотря на его возраст, приходили выгодные предложения, но он их отклонял. Мы, думал он о своем поколении, так страстно мечтали о новых демократических временах, и если демократия пришла с такими чудовищными уродствами, мы ответственны за это. Уезжать казалось ему дезертирством...

Но дети ни при чем. Да, двое его старших сыновей стали на ноги. Но что будет с младшим? Он увлекается спортом и почти ничего не читает. Неужели это свойство поколения, неужели книга перестала быть тем, чем она уже была в России в течение двух столетий для образованных людей? Может быть, это всемирный процесс? Хотя такие признаки есть, но он отказывался в них верить. Не может быть, чтобы книга, самый уютный, самый удобный способ общения с мыслителем и художником, ушла из жизни!

Он сам стал читать сыну. С каким увлечением он читал ему пушкинский рассказ «Выстрел». Он сам чувствовал, что никогда в жизни вслух не читал с таким волнением и с такой выразительностью. Он читал ему минут пятнадцать, и сын как-то притих. Достал! Достал! — ликовал отец про

себя: сын подхвачен прозрачной волной пушкинского вдохновения! Однако, воспользовавшись первой же паузой, сын встал со стула и очень вежливо сказал:

— Папа, извини, но это для меня слишком рано.

И вышел из кабинета. Отец был сильно смущен. В словах сына ему послышалось сожаление по поводу его напрасных стараний. Но не может быть, чтобы ясный Пушкин до сына не доходил!

Все-таки он прочел ему несколько книжек, в том числе «Капитанскую дочку». Нельзя сказать, чтобы сын не понимал прочитанного. Формальный смысл он легко улавливал. Он не улавливал того очаровательного перемигивания многих смыслов, которое дает настоящий художественный текст и в который автор вовлекает благодарного читателя. Неужели телевизор и компьютерные игры победили? И тогда он решил пойти самым большим козырем, который у него был в запасе, — он решил прочесть ему «Хаджи-Мурата».

И действительно, «Хаджи-Мурат» несколько растормошил сына. Отец радовался, читая ему эту великую книгу, написанную не только гениально, но и с рекордной простотой. Он думал, что смерть Хаджи-Мурата потрясет сына, но ничего такого не случилось.

— Я так и знал, — сказал сын, покидая его кабинет, как всегда после чтения, со сдержанным облегчением. Все-таки облегчение он сдерживал. И на том спасибо!

Но ведь не был же сын бесчувственным! Отец несколько раз, случайно войдя в столовую с телевизором, видел на глазах у сына слезы. Ясно было, что сын только что смотрел какой-то сентиментальный фильм. Как втолковать ему условия игры книги, ему, так самозабвенно усвоившему жалкие условия игры телевизора?

И нельзя же все время читать ему вслух. Ему уже двенадцать лет. Боже мой, думал Георгий Андреевич, в этом возрасте меня невозможно было оторвать от книги! Более того, он был уверен, что его успехи в физике каким-то таинственным образом связаны с прочитанными и любимыми книгами. Занимаясь физикой, он заряжал себя азартом вдохновения, который охватывал его при чтении. А ведь счастье этого состояния он испытал до физики. Книга была первична.

Нет, надо приучить его читать самого. Но как сын этого не хотел, как морщился, как пытался любым способом увильнуть от этой постылой обязанности!

Здесь, на даче, он с сыном играл в бадминтон. И сын у него насмешливо выигрывал каждый раз. Сын его был очень спортивен, впрочем, как и отец в юности. Отец в очках только работал или читал. Играя с сыном без очков, иногда он просто лупил ракеткой мимо волана. В таких случаях сын безжалостно смеялся. Но отца это почти не трогало. Он с нежностью вспоминал, как всего несколько лет назад он аккуратно и плавно отбивал сыну волан, чтобы тому было легче его принять.

Как летит время! А сын требовал от отца, чтобы тот с ним играл каждый день. Просто у него сейчас не было другого партнера. Из-за насмешек сына во время игры отец вдруг понял, что, в сущности, он, хотя и физик высокого класса, никаким авторитетом у сына не пользуется. Нужно завоевать авторитет. Но как это сделать? Очень просто. Спорт — единственное, что увлекает сына кроме телевизора и компьютерных игр. Он должен через спорт завоевать авторитет у сына. Он должен переиграть его в бадминтон.

На следующий день, когда сын предложил поиграть, он сказал ему:

— Если я у тебя выиграю, будешь два часа читать книгу!

— Ты у меня выиграешь... — презрительно ответил сын. — Папа, у тебя крыша поехала!

— Но ты согласен на условия?

— Конечно! Пошли!

— Только дай я очки надену!

— Хоть бинокль!

Отец зашел в кабинет и взял старые запасные очки. Все-таки рискнуть очками, в которых он обычно работал, не решился. Он надел их и стал мотать головой, чтобы посмотреть, как они держатся. К его приятно-му удивлению, очки ни разу не соскочили. Инструмент, помогавший в работе его стареющим глазам, как бы по-товарищески обещал помогать ему и в игре.

Он взял ракетку и вышел вслед за сыном на дачный двор. Было на редкость тепло. Поздняя весна быстро набирала силу. Из соседних дворов доносился запах цветущих яблонь. У самого дома, обработанная женой, цвела большая грядка цветов. Синели гроздочки гиацинтов, цвели нарциссы и примулы. Уже выпушились березы, словно излучая тепло, рыжели стволы сосен, и только сумрачные ели оставались верны своей траурной зелени.

На лужайке высыпало множество лиловых незабудок. Какая глазастая свежесть любопытства к жизни! Если бы их свежесть любопытства к жизни соединить с моим опытом, неожиданно подумал он, был бы толк в науке. Но это невозможно. И вдруг ему захотелось улечься на эти незабудки и, раскинув руки, лежать ни о чем не думая. Но тогда уж под ними, насмешливо поправил он себя. Нет, сверху, встряхнулся он духом, лежать и думать только о физике.

Между соснами, елями и березами была небольшая площадка, на которой они обычно играли. Они играли без сетки, игровое пространство не было очерчено, так что потерянную подачу иногда приходилось определять на глазок. Кроме того, на площадке были рытвины и несколько трухлявых пеньков, которые иногда мешали отбить волан. Отец, проявляя благородство, прощал сыну промахи, вызванные неровностью площадки, и сын туговато, но следовал его примеру.

Отец, решив во что бы то ни стало выиграть у сына, внутренне сосредоточился, напряжился, хотя внешне держался равнодушно. Это, конечно, была боевая хитрость. Но не аморально ли хитрить, думал он, с трудом отбивая подачу сына. Тот почти все время умудрялся гасить.

Нет, успокоил он себя, если хитрость служит добру, она оправданна. Сам Христос хитрил, когда на коварный вопрос фарисеев ответил: кесарю кесарево, Богу богово. Христос, по соображениям Георгия Андреевича, исходил из того, что если кесарю не платить кесарево, то для народа Иудеи это обернется еще большим, безвыходным злом. Конформизм народа оправдан, если другое решение грозит неприменной кровью. Свою-то кровь Христос не пожалел. Но свою!

Когда несколько лет назад сын только научился плавать, он панически боялся глубины. И тогда, чтобы приучить сына к глубине, Георгий Андреевич пустил сына на хитрость. Он немного отплыл от берега и позвал сына к себе, вытащив руки из воды и подняв их над собой в знак того, что он стоит на дне. На самом деле он до дна не доставал, но, сильно работая одними ногами, держался на плаву. Сын клюнул на эту удочку, поплыл к нему и так постепенно приучился плавать на глубине.

...То и дело слышалось шлепанье ракеткой по волану. Хотя Георгий Андреевич весь был сосредоточен на игре, в голове его мелькали мысли, часто никакого отношения к игре не имеющие.

...Физик, который не следит за работами своих коллег, не может считаться профессионалом... Удар!

...Если бы Пушкин прожил еще хотя бы десять лет, вероятно, история России могла быть совершенно другой... Удар!

...Опять забыл ответить на чудное письмо физика из Вены! Какой стыд!.. Удар!

...Вся русская культура расположена между двумя фразами. Пушкинской: подите прочь, какое дело поэту мирному до вас! И толстовской: не могу молчать! Пожалуй, в пушкинской фразе более далеко идущая мудрость... Удар!

...Задыхаюсь! Задыхаюсь! Нельзя было почти всю жизнь работать по четырнадцать часов! А в застолье по четырнадцать рюмок можно было пить?!.. Удар!

...Сейчас много пишут о реформах Столыпина. И это хорошо. Но почему молчат о реформах Витте? Фамилия не та? Некрасиво!.. Удар!

...Выражение «тихий Дон», кажется, впервые упоминается у Пушкина в «Кавказском пленнике»... Если бы не перечитывал сыну, никогда бы не вспомнил... Удар!

...Религиозный взгляд на мир научно корректней атеистического. Нужен смелый ум, чтобы иногда сказать: это не нашего ума дело!.. Удар!

...Обширные пространства России всегда вызывали в правителях тайную агорофобию. Отсюда чувство психической неустойчивости, вечное желание нащупать твердый край, принимать крайнее и потому невзвешенное решение... Удар!

...Если предстоит конец книжной цивилизации, это удесятит агрессию человечества. Ничто не может заменить натурального Толстого и натурального Шекспира... Удар! Знание о жизни другого народа смягчает этот народ по отношению к нему. В темноте все опасны друг другу... Удар!

...Политика! Как говорил Ходжа Насреддин: не вижу лиц, отмеченных печатью мудрости... Удар!

...Первый признак глупца: количество слов не соответствует количеству информации... Удар!

...Какой маразм! Пригласил домой иностранного физика и, называя ему адрес, забыл указать корпус дома! Проклятый телефон! Но он, молодец, догадался сам найти! Маразм... Хотя в момент звонка я был весь в работе... Удар!

...Не смерть страшна, а страшно недостойно встретить ее... Удар!

...Человек краснеет и делает шаг к жизни. Человек бледнеет и делает шаг к смерти!.. Удар!

...Подставленная щека воспитывает бьющую руку... Сомнительно. Односторонность подставленной щеки... Удар!

Они обычно играли до двадцати пяти: кто первым набрал двадцать пять очков, тот и выиграл. Сын, не замечая необычайной сосредоточенности отца, пропустил достаточно много ударов, уверенный, что отец случайно вырвался вперед. Но при счете десять — пять в пользу отца он как бы очнулся.

— Ну, теперь ты у меня ни одного мяча не выиграешь! — крикнул он. После чего яростно скинул рубаху и отбросил ее. Стройный, ладный, худой, поигрывая юными мускулами, он сейчас стоял перед ним в черных спортивных брюках и белых кедах, незавязанные шнурки которых опасно болтались. Отец предупредил его относительно шнурков, но он только резко махнул рукой и с горящими глазами приготовился к подаче.

Шквал сильных ударов посыпался на отца. Но почти все удары, сам удивляясь себе, отец изворачивался брать и посылать обратно. Иногда отец забывался, срабатывала давняя привычка играть с сыном, начинающим игроком, и тогда он мягко и высоко отбивал волан. Сын гасил с необычайной резкостью, и отец пропускал удар или, что выглядело особенно глупо, неожиданно ловил волан рукой, не успев рвануться в сторону и подставить ракетку.

Однако чаще всего, продолжая сам себе удивляться, он дотягивался до очень трудных подач и отбивал их. После того как он отбивал особенно трудные подачи, он замечал в глазах у сына как бы комически-заторможенное уважение. Однако сын порядочно загнал его своими подачами. Сердце колотилось во всю грудную клетку, он был весь мокрый от пота. Но чем трудней ему было, с тем большей самоотдачей он шел к победе. В каждый удар он вкладывал все силы, как будто удар этот был последним и самым решительным.

А сын, несмотря на свои яростные усилия, в отличие от отца, оставался совершенно свежим и ровно дышал. Задыхающемуся отцу это казалось

чудом. Но игра приближалась к победному концу, и сын стал нервничать. После неудачного удара он в бешенстве швырнул свою ракетку.

— Будешь нервничать, будешь хуже играть, — задыхаясь, предупредил его отец.

— Эта ракетка соскальзывает с руки, — крикнул сын, — я пойду возьму запасную.

И побежал домой. Отцу показалось, что эта передышка в две-три минуты спасла его. Сейчас, когда игра остановилась и он осознал свою усталость, ему подумалось, что еще несколько мгновений такого напряжения — и он рухнул бы наземь.

Отец слегка отдышался. Сын прибежал с новой ракеткой, и они продолжили игру. И хотя эта ракетка была ничуть не лучше прежней, сын, видимо, успокоился и стал бить еще точнее и свирепей. Сын бил ракеткой по волану с такой размашистой силой, словно стремился не просто выиграть у отца, а вытолкнуть его из жизни. Это пародийно напоминало отцу то, что он часто читал в глазах у некоторых молодых физиков: когда же вы наконец сдохнете! Авторитет таких ученых, как Георгий Андреевич, стоял поперек их завиральным идеям.

Сын опять загнал отца, но вдруг споткнулся, наступив на шнурок незавязанного кеда, и чуть не упал, однако, ловко сбалансировав, устоял на ногах.

— Завяжи шнурки, иначе не играю! — грозно крикнул ему отец. Он боялся, что сын опасно шлепнется на землю.

Сын занялся своими шнурками, а отец в это время старался отдышаться. Иначе от переутомления он сам мог грохнуться. Чтобы уберечь сына от падения, он остановил его, но именно потому и сам не рухнул, загнанный одышкой.

Через минуту игра продолжилась, и сын окончательно загнал отца, однако отец выиграл, на два очка опередив сына.

— Ну что, сынок, старый конь борозды не портит? — спросил он, обнимая его и целуя.

— Случайный выигрыш, — сказал сын и, не удержавшись, всхлипнул. Он уворачивался от отцовских поцелуев и одновременно прижимался к нему как к отцу, ища у него утешения. И отец вдруг почувствовал всем своим существом, что сын проникся к нему уважением.

— Ты играешь лучше меня, но у меня внимания больше, потому что меньше времени осталось, — сказал отец. Он сразу же пожалел о своем сентиментальном объяснении. Как-то само сорвалось. Впрочем, сын навряд ли его понял.

— Завтра я выиграю всухую, — сказал сын с вызовом, приходя в себя.

— Посмотрим, — ответил отец, — но сегодня ты два часа считаешь.

— А что читать? — спросил сын.

— «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок», — ответил отец, — начнем с этого. Ты ведь любишь юмор.

— Я эти фильмы двадцать раз смотрел по телевизору, — ответил сын.

— Это не фильмы, а книги прежде всего, — пояснил отец.

— Хорошо, — согласился сын, — но завтра я тебя разгромлю.

Это прозвучало как тайная угроза бойкота чтению.

Тут жена Георгия Андреевича позвала их обедать. Они сидели на кухне перед тарелками с пахучим, дымящимся борщом. Запах борща вдруг вызвал у Георгия Андреевича забытый аппетит. А может быть, воспоминание об аппетите.

— А наш отец еще ничего, — сказал сын матери с некоторым поощряющим удивлением, — но завтра я его расколошмачу.

После обеда сын послушно пошел читать в свою комнату. Георгий Андреевич чувствовал невероятную усталость. Неужто вот так я его каждый день буду вынужден заставлять читать? — подумал он о предстоящем долгом лете. Впрочем, успокоил он себя, будем считать, что это одновременно и борьба со старостью. Надо и завтра у него выиграть.

МАЛЬЧИК И ВОЙНА

Мальчик был уже в постели, когда друг отца вместе со своим взрослым сыном пришел к ним в гости. Звали его дядя Аслан, а сына звали Валико.

Это были гости из Абхазии. Мальчик три года подряд вместе с отцом и матерью отдыхал в Гаграх. Они жили у дяди Аслана. И это были самые счастливые месяцы его жизни. Такое теплое солнце, такое теплое море и такие теплые люди. Они там жили в таком же большом доме, как здесь в Москве. Но в отличие от Москвы там люди жили совсем по-другому. Все соседи-абхазцы, грузины, русские, армяне ходили друг к другу в гости, вместе пили вино и вместе отмечали всякие праздники.

Если кто-нибудь варил варенье, или пек торт, или готовил еще что-нибудь вкусное, он обязательно угощал соседей. Так у них было принято. В доме все друг друга знали, а на крыше была устроена особая площадка, каких не бывает в московских домах, где соседи собирались на праздничные вечера.

И вот сейчас в Абхазии идет страшная война и люди друг друга убивают. Чего они не поделили, мальчик никак не мог понять. Сейчас возбужденные голоса родителей и гостей раздавались из кухни.

— Ты, кажется, воевал? — спросил отец мальчика у Валико. Валико было лет двадцать пять, он был лихим таксистом.

— Да, — охотно согласился Валико. — Вот что со мной случилось. Когда мы ворвались в Гагры, я взял в плен двух грузинских гвардейцев. Отобрал оружие, веду на базу. А со мной рядом казак. Я вижу — эти гвардейцы сильно приуныли. Я им говорю:

— Ребята, с вами ничего не будет, вы пленные.

И вдруг один из них нагибается и вырывает из голенища сапога гранату. Я не успел опомниться, а автоматы у нас за плечами. Видно, отчаянный парень был, вроде меня. Одним словом, кидает гранату в меня, и они бегут. Граната ударила мне в грудь и отскочила. Слава Богу, на таком близком расстоянии она не взрывается сразу. Ей надо шесть секунд. Я прыгнул на казака, и мы вместе повалились на землю. Взрыв, но нам повезло. Осколки в нас не попали. Мне чуть-чуть царапнуло ногу. Вскикиваю и бегу за этими гвардейцами. Они, конечно, далеко убежать не успели. Забежал за угол, куда они повернули, и достал обоих автоматной очередью. Иду в их сторону и думаю, как это нам повезло, что гранатой нас не шарахнуло.

И вдруг вижу — двое, старик и молодой парень, выходят из дому, как раз в том месте, где лежат убитые гвардейцы. А на спине у них вот такие тюки. Перешагивают через мертвых гвардейцев и идут дальше. Я сразу понял, что это мародеры. Мы берем город, значит, наши мародеры.

— Бросьте тюки! — кричу им по-абхазски.

Молчат. Идут дальше.

— Бросьте тюки, а то стрелять буду! — кричу им еще раз.

Молодой оборачивается в мою сторону. А тюк за его спиной больше, чем он сам.

— Занимайся своим делом, — говорит он, и они идут дальше.

Я психанул. Мы здесь умираем, а они барахло собирают. Скинул свой автомат и дал им по ногам очередь. В старика не попал, а молодой упал. Я даже не стал к ним подходить. Надо было в бой идти. Одним словом, Гагры мы отбили.

Проходит дней пятнадцать. Я вообще забыл про этот случай. Живу в гостинице. Все наши бойцы жили в гостинице. В тот день мы отдыхали. Вдруг вбегает ко мне сосед с нижнего этажа и говорит:

— Приехали за тобой вооруженные ребята. Все с автоматами. Духовитый вид у них. Может, помощь нужна?

— Не надо, — говорю, — никакой помощи.

Я вспомнил того, молодого, которого я в ногу ранил. Что делать? А на мне вот эта же тужурка была, что сейчас. Взял в оба кармана по гранате и выхожу. Руки в карманах. Гранат не видно. Готов ко всему.

Вижу, метрах в двадцати от гостиницы стоит машина. А здесь у гостиницы четыре человека. Все с автоматами.

Я подхожу к ним не вынимая рук из карманов.

— Что надо?

— Ты стрелял в нашего брата? Вот он здесь в машине сидит.

— Да, стрелял, — говорю и рассказываю все, как было. Рассказываю, как нас чуть не взорвали гвардейцы и как их брат вместе со стариком тюки тащил из дома. Рассказываю, а сам внимательно слежу за ними. Чуть кто за автомат, взорву всех и сам взорвусь.

И они немного растерялись. Никак не могут понять, почему я, невооруженный, не боюсь их. Стою, руки в карманах, а они с автоматами за плечами. И тогда старший из них говорит, кивая на машину:

— Подойдем туда. Можешь при нем повторить все, что ты здесь сказал?

— Конечно, — говорю, — пошли.

Я иду рядом с ним, но руки держу в карманах. Подошли к машине. Тот, кого я ранил в ногу, сидит в ней. Я его узнал. И я повторяю все, как было, а этот в машине морщится от злости и стыда. Окна в машине открыты.

— Правду он сказал? — спрашивает тот, что привел.

— Да, — соглашается тот, что в машине, и ругает в Бога, в душу мать своих родственников за то, что они его привезли сюда.

А у меня руки все еще в карманах.

— Что это у тебя в карманах? — наконец спрашивает тот, что привел меня к машине. Уже догадывается о чем-то, слишком близко стоит.

— Гранаты, — говорю, — не деньги же. Я воюю, а не граблю.

— Ты настоящий мужик, — говорит он, — мы к тебе больше ничего не имеем.

— Я к вам тоже ничего не имею, — отвечаю ему и иду вместе с ним назад, но руки все-таки держу в карманах.

Так мы и разошлись. Война. Бывают ужасные жестокости с обеих сторон. Но я, клянусь мамой, ни разу не выстрелил в безоружного человека. Эти двое не в счет. Я же психанул. Гранатой шархнули в двух шагах.

— А почему ты не с автоматом вышел, а с гранатами? — спросил отец мальчика.

— Если бы я вышел с автоматом, — ответил Валико, — получилась бы бойня. А так они растерялись, не поняли, почему я их не боюсь. Я правильно рассчитал. Я был готов взорваться вместе с ними. И потому твердо и спокойно себя держал. Если бы они почувствовали мой мандраж, кто-нибудь скинул бы автомат. А так они растерялись, а потом было уже поздно.

— Ладно тебе хвастаться, — перебил его отец, — счастливая случайность тебя спасла и от гранаты гвардейца, и от родственников этого раненого. По теории вероятности, если два раза подряд повезло, очень мало шансов, что повезет в третий раз... Учти!.. А ты знаешь, что доктора Георгия убили?

Он явно обратился к отцу мальчика. У мальчика ёкнуло сердце. Он так хорошо помнил доктора Георгия. Тот жил в доме друга отца. После работы он выходил во двор и играл с соседями в нарды. Вокруг всегда толпились мужчины. Доктор Георгий громко шутил, и все покатывались от хохота.

Однажды доктор Георгий рассказал:

— Сегодня еду из больницы в автобусе. Вдруг одна пассажирка кричит: «Доктор Георгий, вас грабят!» Тут я почувствовал, что парень, стоявший рядом со мной, шарит у меня в кармане. Я поймал его руку и говорю: «Это не грабеж, это медицинское обследование». Автобус хохочет. Многие меня знают. Парень покраснел, как перец. Тут как раз остановка, и я разжал его руку. Он выпрыгнул из автобуса. Если вор способен краснеть, он еще может стать человеком.

— За что его убили? — спросил отец мальчика.

— Кто его знает, — ответил дядя Аслан. — Но он громко ругал и грузинских, и абхазских националистов. Я о случившемся узнал от нашей соседки. Тогда еще шли бои за Гагры, я места себе не находил, потому что не знал, мой сын жив или нет.

Двое вооруженных автоматами людей ночью вошли в наш дом и постучали в двери соседки. Она открыла.

— Нам нужен доктор Георгий, — сказали они, — он в вашем доме живет. Покажите его квартиру.

— Зачем вам доктор Георгий? — спросила она.

— У нас товарищ тяжело заболел, — сказал один из них, — нам нужен доктор Георгий.

— Зачем вам доктор Георгий, — ответила соседка, — у меня только что умер муж. Он был болен и не выдержал всего этого ужаса. От него осталось много всяких лекарств. Я вам их дам.

Ей сразу не понравились эти двое с автоматами.

— Нам не нужны ваши лекарства, — начиная раздражаться, угрожающим голосом сказал один из них, — нам нужен доктор Георгий. Он должен помочь нашему товарищу.

С каким-то плохим предчувствием, так она потом рассказывала, она поднялась на два этажа и показала на квартиру доктора. Сказать, что она не знает, где он живет, было бы слишком неправдоподобно для нашей кавказской жизни.

Показав им на квартиру доктора Георгия, она остановилась на лестнице, чтобы посмотреть, что они будут делать. Но тут один из них жестко приказал ей:

— Идите к себе. Больше вы нам не нужны.

И она пошла к себе. Ночь. В городе еще идут бои. Одинокая женщина. Испугалась. Через полчаса она услышала, что внизу завели машину, раздался шум мотора и стих. Она решила, что это, скорее всего, они увезли доктора. Доктор с самого начала войны успел отправить семью в Краснодар. Он оставался жить с тещей.

Соседка снова поднялась на этаж, где жил доктор, чтобы у тещи узнать, куда они отвезли его и как с ним обращались. Стучит, стучит в дверь, но никто ей не отвечает. Думает, может, испугалась, затаилась. Громко кричит: «Тамара! Тамара!» — чтобы та узнала ее голос. Но не было никакого ответа. И тут она поняла, что дело плохо. Эти двое с автоматами увезли доктора вместе с тещей. Если доктор им нужен был для больного, зачем им была нужна его теща, которая к медицине не имела никакого отношения? Она вернулась в свою квартиру.

На следующий день обо всем мне рассказала. А что я мог сделать? Спросить не у кого. Да и сам места себе не нахожу: не знаю, жив ли сын.

Но вот проходит дней пятнадцать. Бои вокруг Гагр затихли. Однажды стою возле дома и вижу: по улице едет знакомый капитан милиции. Увидев меня, остановил машину.

— Ты можешь признать доктора Георгия? — спрашивает, приоткрыв дверцу.

— Конечно, — говорю, — он же в нашем доме жил. А что с ним?

— Кажется, его убили, — отвечает капитан, — если это он. Поехали со мной. Скажешь, он это или не он.

Мы поехали на окраину города в парк. Там возле пригорка стоял экскаватор, а за пригорком валялись два трупа. Это был доктор Георгий и его теща. По их лицам уже ползали черви. Я узнал доктора по его старым туфлям со сбитыми каблуками.

— Это доктор Георгий и его теща, — сказал я.

Экскаваторщик уже вырыл яму.

— А почему не на кладбище похоронить? — спросил я.

— Столько трупов, мы с этим не справимся, — ответил капитан.

Он приказал экскаваторщику перенести ковшом трупы в яму.

— Не буду я переносить трупы, — заупрямился экскаваторщик, — у меня ковш провоняет.

Капитан стал ругаться с экскаваторщиком, угрожая ему арестом, но тот явно не хотел подчиняться. В городе бардак. Видно, капитан поймал какого-то случайного экскаваторщика.

Тут я подошел к экскаваторщику, вынул все деньги, которые у меня были, и молча сунул ему в карман. Там было около пятнадцати тысяч. Экскаваторщик молча включил мотор, перенес ковшом оба трупа в яму и завалил их землей.

Мальчик затаив дыхание слушал рассказ, доносящийся из кухни. Он никак не мог понять смысла этой подлой жестокости. Он пытался представить, что думал доктор Георгий, когда его вместе с тещей посадили в машину и повезли на окраину города. Ведь он, когда его вывели из дому вместе с тещей, не мог не догадаться, что его везут не к больному. Почему он не кричал? Может, боялся, что выскочат соседи и тогда и их ждет смерть?

В сознании мальчика внезапно рухнуло представление о разумности мира взрослых. Он так ясно слышал громкий смех доктора Георгия. И вот теперь его убили взрослые люди. Если бы они при этом ограбили дом доктора, это хотя бы что-то объясняло. Мародеры. Но они, судя по рассказу друга отца, ничего не взяли и больше в этот дом не заходили.

Мальчик был начитан для своих двенадцати лет. Из книг, которые он читал, получалось, что человек с древнейших времен становится все разумней и разумней. Он читал книжку о первобытных людях и понимал, что там взрослые наивны и просты, как дети. И это было смешно. И ему казалось, что люди с веками становятся все разумней и добрей. И теперь он вдруг в этом разуверился.

Уже гости ушли, родители легли спать, а он все думал и думал. Зачем становиться взрослым, зачем жить, думал он, если человек не делается добрей? Бессмысленно. Он мучительно искал доказательств того, что человек делается добрей. Но не находил. Впрочем, поздно ночью он додумался до одной зацепки и уснул.

Утром отец должен был повести его к зубному врачу. Мальчик был очень грустным и задумчивым. Отец решил, что он боится предстоящей встречи с врачом.

— Не бойся, сынок, — сказал он ему, — если будут вырывать зуб, тебе сделают болеутоляющий укол.

— Я не об этом думаю, — ответил мальчик.

— А о чем? — спросил отец, глядя на любимое лицо сына, кажется осунувшееся за ночь.

— Я думаю о том, — сказал мальчик, — добреет человек или не добреет? Вообще?

— В каком смысле? — спросил отец, тревожно почувствовав, что мальчик уходит в какие-то глубины существования и от этого ему плохо. Теперь он заметил, что лицо сына не только осунулось, но в его больших темных глазах затаилась какая-то космическая грусть. Отцу захотелось поцелуем прикоснуться к его глазам, оживить их. Но он сдержался, зная, что мальчик не любит сантименты.

— Сейчас людоедов много? — неожиданно спросил мальчик, напряженно о чем-то думая.

— Есть кое-какие африканские племена да еще кое-какие островитяне, — ответил отец, — а зачем тебе это?

— А раньше людоедов было больше? — спросил мальчик строго.

— Да, конечно, — ответил отец, хотя никогда не задумывался над этим.

— А были такие далекие-предалекие времена, когда все люди были людоедами? — спросил мальчик очень серьезно.

— По-моему, — ответил отец, — науке об этом ничего не известно.

Мальчик опять сильно задумался.

— Я бы хотел, чтобы все люди когда-то в далекие-предалекие времена были людоедами, — сказал мальчик.

— Почему? — удивленно спросил отец.

— Тогда бы означало, что люди постепенно добреют, — ответил мальчик. — Ведь сейчас неизвестно — люди постепенно добреют или нет. Как-то противно жить, если не знать, что люди постепенно добреют.

Боже, Боже, подумал отец, как ему трудно будет жить. Он почувствовал всю глубину мальчишеского пессимизма.

— Все-таки люди постепенно добреют, — ответил отец, — но единственное доказательство этому — культура. Древняя культура имеет своих великих писателей, а новая — своих. Вот когда ты прочитаешь древних писателей и сравнишь их, скажем, со Львом Толстым, то поймешь, что он умел любить и жалеть людей больше древних писателей. И он далеко не один такой. И это означает, что люди все-таки, хотя и очень медленно, делаются добрей. Ты читал Льва Толстого?

— Да, — сказал мальчик, — я читал «Хаджи-Мурата».

— Тебе понравилось? — спросил отец.

— Очень, — ответил мальчик, — мне его так жалко, так жалко. Он и Шамилю не мог служить, и русским. Потому его и убили... Как дядю Георгия.

— Откуда ты знаешь, что доктора Георгия убили? — настороженно спросил отец.

— Вчера я лежал, но слышал из кухни ваши голоса, — сказал мальчик.

Отцу стало нехорошо. Он был простой инженер, а среди школьников, с которыми учился его сын, появилось немало богатых мальчиков, и сын им завидовал.

Взять хотя бы эту дурацкую историю с «мерседесом». На даче сын его растрепался своим друзьям, что у них есть «мерседес». Но у них вообще не было никакой машины. А потом мальчишки, которым он хвастался «мерседесом», оказывается, увидели его родителей, которые ехали в гости со своими друзьями на их «Жигулях». И они стали смеяться над ним. И он выдумал дурацкую историю, что папин шофер заболел и родители вынуждены были воспользоваться «Жигулями» друзей.

Объяснить сыну, что богатство не самое главное в жизни, что в жизни есть гораздо более высокие ценности, было куда легче, чем сейчас. Сейчас сын неожиданно коснулся, может быть, самого трагического вопроса судьбы человечества — существует нравственное развитие или нет?

Он знал, что мальчик его умен, но не думал, что его могут волновать столь сложные проблемы. Хорошо было людям девятнадцатого века, неожиданно позавидовал он им. Как тогда наивно верили в прогресс! Дарвин доказал, что человек произошел от обезьяны, значит, светлое будущее человечества обеспечено! Но почему? Даже если человек и произошел от обезьяны, что сомнительно, так это доказывает способность к прогрессу обезьян, а не человека. Конечно, думал он, нравственный прогресс, хоть и с провалами в звериную жестокость, существует. Но это дело тысячелетий. И надо примириться с этим и понять свою жизнь как разумное звено в тысячелетней цепи. Но как это объяснить сыну?

Когда они вышли из подъезда, он увидел, что прямо напротив их дома в переулке стоит нищая старушка и кормит бродячих собак. Он ее часто тут видел, хотя она явно жила не здесь. Нищая хромая старушка на костылях кормила бродячих собак. Она вынимала из кошелки куриные косточки, куски хлеба, огрызки колбасы и кидала их собакам.

У него не было никаких сомнений, что старушка все это находит в мусорных ящиках. Она с раздумчивой соразмерностью, чтобы не обделит какую-нибудь собаку, кидала им объедки. И собаки, помахивая хвостами, с терпеливой покорностью дожидались своего куска. И ни одна из них не кидалась к чужой подачке. Казалось, что старушка, справедливо распределяя между собаками свои приношения, самих собак приучила к справедливости.

— Вот посмотри на эту старушку, — кивнул он сыну, — она великий человек.

— Почему, почему, па? — быстро спросил сын. — Потому что она кормит бродячих собак?

— Да, — сказал отец, — ты видишь, она инвалид. Скорее всего, одинокая и бедная, но считает своим долгом кормить этих несчастных собак. Где-то мерзавцы убивают невинных людей, а тут нищая старушка кормит нищих собак. Добро неистребимо, и оно сильнее зла.

Теперь представь себе злого человека, который всю свою жизнь травил бродячих собак. Но вот он сам впал в нищету, стал инвалидом и роется в мусорных ящиках, чтобы добывать объедки и, сунув в них яд, продолжать травить бродячих собак. Если бы это было возможно, мы могли бы сказать, что добро и зло равны по силе. Но можешь ли ты представить, что злой человек в нищете, в инвалидности роется в мусорных ящиках, чтобы травить собак? Можешь ты это представить?

— Нет, — сказал мальчик, подумав, — он уже не сможет думать о собаках, он будет думать о самом себе.

— Значит, что? — спросил отец с жаром, которого он сам не ожидал от себя.

— Значит, добро сильней, — ответил мальчик, оглянувшись на увечную старушку и собак, которые со сдержанной радостью, виляя хвостами, ждали подачки.

— Да! — воскликнул отец с благодарностью в голосе.

И сын это мгновенно уловил.

— Тогда купи мне жвачку, — вдруг попросил сын как бы в награду за примирение с этим миром.

— Идет, — сказал отец.



ЕВГЕНИЙ РЕЙН

*

СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ

* *
*

Сидя в Нью-Джерси, в Айронии, тихой, пустой деревеньке,
глядя, как гуси над нею летят из Канады,
я опускаю в копилку, как медные деньги,
темные дни, и, пожалуй, иного не надо.

Может быть, здесь наконец-то окончен экватор;
духа набраться — а стоит ли вновь в кругосветку? —
сила земная уже не скрывает характер —
хватит, не надо, меня не бери на разведку.

Пусто в саду, ни огня и ни шороха в доме,
кто-то выходит из леса и молча стоит за спиною.
Но никого я не жду, никого не приветствую кроме,
кроме тебя, а тебя разлучили со мною.

Пусто в Айронии, пусто на том и на этом
свете, и некому крикнуть: «Послушай!»,
нечего делать, и как не поверить наветам
прожитой жизни, меня в это место пославшей.

Может быть, все-таки ты в тишине совершенной
дашь мне совет, если ты меня видишь оттуда.
Я не надеюсь. Ведь ты не меняешь решений.
Все мои шансы — одна лишь забава, причуда.

* *
*

В северной деревне за седьмым перекатом
я обходил свекловичное поле
с изгнанником под пунцовым закатом
в необременительной, неопределенной неволе.

На нем был ватник, кирза, ушанка,
на мне городское бесцветное отрепье,
и осень, застенчивая приманка,
уже развесила великолепье.

Глядя на крайнюю избу с огнями,
мы торопились к очагу и хлебу,
и что-то тихое между нами
по нитке дождя поднималось к небу.

И было поздно, но долго-долго
мы не могли добрести до приюта.
И кто-то сказал: «Это странно. Только
одна здесь минута, ходьбы минута».

А мы никак не могли добраться,
нас черти водили с нечистыми всеми.
Но ты сумел благодати дожждаться
и первый вошел в темные сени.

* *
*

В Летнем саду над Карпиевым прудом в холодном мае
мы покуривали «Кэмел» с оборванным фильтром,
ничего не ведая, не понимая
из наплывающего в грядущем эфирном.
Я принес старый «Лайф» без последней страницы
с фотографиями Венеции под рождественским снегом,
и неведомая, что корень из минус единицы,
воплощалась Венеция зрительным эхом.
Глядя на Сан-Марко и Санта-Мария делла Салюта,
на крылатого льва, на аркаду «Флориана»
через изморозь, сырость и позолоту
в матовой сетке журнального дурмана,
я сказал «никогда», ты сказал «отчего же?»,
и, возможно, Фортуна отметила знак вопроса.
Ибо «никогда» никуда негоже —
не дави на тормоз, крути колеса.
Поворачивался век, точно линкор в океане,
но сигнальщик на мостике еще не взмахнул флажками,
над двумя городами в лагуне, в стакане
поднимался уровень медленными глотками.
И пока качивался дымок «Верблюда»
и желтел ампир, багровел Инженерный,
по грошам накапливалась валюта
и засчитывался срок ежедневный.
И, журнал перелистанный отложив на скамейке,
отворяя калитку, судьбу и границу,
мы забыли, что нету рубля без копейки,
что мы видели все без последней страницы.

Айрония, Нью-Джерси

Прилетел кардинал,
рассказал о весне.
Снег растаял почти,
и под снегом на дне
из-под талой воды
проступила трава,
как и я в эти дни,
ни жива, ни мертва.

На поляне в саду
прошлогодней листвой
зашуршала душа,
уходя на покой.

Кто такой — не пойму,
то ли еж, то ли мышь,
или ты, моя мама,
за мною следишь?

За последним холмом
нераскрывшийся край.
Он чужой. И не надо,
и не открывай.
Что твое — то твое,
за тебя решено.
Поручают одно,
и ответ за одно.

Ресторан «Русский самовар» в Нью-Йорке

Роману Каплану.

Краснокожий как будто индеец и узкий китаеобразно
в тесноте, не в обиде витаешь ты духом соблазна,
в мировой суете, среди мышинной погони вселенской,
благодатный тупик за двустворчатой дверью железной.
Тут уже не спешат, не торопят ни счета, ни спора,
здесь последний приют, зазеркалье, но здесь и опора
между рюмкой и вилкой, холодцом и селедкой по-русски,
если кончена жизнь, то начнем ее снова с закуски.
Неужели я снова на этом усядусь диване
и зайду, никому не сказавши и слова заране,
потому, что мое здесь от века законное место,
потому, что здесь память диктует, а не воеет блатная фиеста.
Здесь и затормошат, и, быть может, оставят в покое,
поцелуют и плюнут и, наверно, напомнят такое,
отчего попросить надо стопку и стукнуть о стопку
и последнюю щепку ничуть не жалеть на растопку.
Потому, что ночами пируют здесь милые тени,
только дверь запирают, как вступают они во владенье
этой бывшей земли, безутешной, безрадостной пьянки,
где бренчит пианист до рассвета «Прощанье славянки».

Старый поэт в Нью-Йорке

У скульптуры Мура в теснине Манхаттена
в прежней кепке стоит он, абсолютно довольный всем,
и четыре слова, что им по-английски нахватаны,
произносит, всхлипывая между тем.

— Все неплохо, дай Бог, и меня приютила Америка,
только вот беспокойно, как все обойдется у вас. —
И сквозь истинный ужас сквозит ненамеренно
благодущие, сшитое на заказ.

Я его понимаю, люблю и, отсчитывая
чаевые в греческом кабаке,
— Дай-то Бог, — говорю, и тоска нарочитая
повисает в воздухе налегке.

* *
*

Солнечные часы время не сберегли,
сколько было его — все ушло на закат.
Сквозь прорехи мои дни мои утекли,
каюсь, не удержал, значит, я виноват.

Плотиной быть не сумел, лодкой быть не хотел,
что же теперь роптать на прилив и отлив?
Тот, кто передо мной выгородил предел,
знал, что он сквозь меня устремится в прорыв.

АНТОН УТКИН

*

ХОРОВОД

Роман

21

Вечер у Веры Николаевны прошел, как и всегда, негромко, но внушительно. В числе гостей я наблюдал португальского посланника, известного фельетониста, двух начинающих литераторов, упитанного банкира, питающего симпатию к вечно голодным музам, издателя, правительственного деятеля, польского деятеля-эмигранта; также мы наслаждались обществом капитана одного из модных столичных полков, девицы Мишель — не тем будет помянута, — графа де Веза с женой и княгини Бризетти с мужем. Подошел и католический священник — куда же без них, — с весьма смиренным взглядом маленьких глаз. Из русских были лишь Елена и я, не считая, конечно, самой хозяйки. Лена, мне показалось, не слишком понравилась Вере Николаевне, и, думаю, не из прихоти, а что-то разглядела она своими женскими глазами, чего я не видел. Музыка было мало, все были заняты делом: фельетонист терзал правительственного деятеля, вытягивая из него подробности последнего скандала, литераторы обсуждали с издателем возможности к печатанию своих произведений — банкир выступал здесь критиком, а португальский посланник, запертый в углу польским эмигрантом, бросал тоскливые взгляды на карточный столик, за которым присели было граф, муж княгини Бризетти и блестящий капитан Р. Вера Николаевна обходила гостей, католический священник неотступно следовал за ней, суетливо перебирая четки и то и дело нашептывая ей что-то в самое ухо. Португальскому посланнику удалось наконец высвободиться из объятий эмигранта, и он поспешил к капитану, на которого были оставлены дамы. Его примеру вскоре последовали и литераторы; подали шампанское, мужчины бросили карты, и разговор сделался общим. Мы, как недавно прибывшие из России, возбудили известный интерес. Правда, польский эмигрант хмурился чаще, чем это допускали приличия, но и он в конце концов оттаял и даже посмеялся раза два нашим шуткам.

— О России я знаю только по книге Кюстина... — сказала княгиня Бризетти. — Что вы о ней скажете?

— О книге? — спросил я.

— Да-да.

— Я нахожу, княгиня, — отвечал я, — что это злая книга.

— Но не пристрастны ли вы? — возразил граф де Вез. — Вера Николаевна, например, считает, что там много правды. Неужели же выдумал Кюстин и зверства, имевшие место после подавления Польши, и нетерпимость к несчастным униатам, и рабство?

— Нет, это он не выдумал, — ответил я, — но никто не давал ему права ненавидеть Россию только потому, что он ненавидит правительство. Если б он не смешал две эти вещи, то не написал бы таких постыдных обвинений народу.

Тут доложили о прибытии нового гостя. При его имени головы всех присутствующих обернулись на вошедшего. Им оказался довольно высокий молодой человек с очень темными, коротко стриженными волосами и быстрым взглядом черных глаз. Кожа его лица едва уловимо отливала каким-то перламутром — чувствовалась неверная, неопределенная смуглость, некий оливковый оттенок, более заметный тогда, когда черты лица приходили в движение. Этот тончайший слой олифы природа нанесла, без сомнения, уже из последних сил, не в состоянии дальше передавать в поколениях невольное завещание какого-нибудь пиренейского или неаполитанского предка. Лицо показалось мне спокойным, и решительность его линий напоминала о натуре, привыкшей добиваться своего, идя к цели кратчайшим путем. В то же время оно должно было будить в окружающих уверенность, что его обладатель имеет в табакерке весь мир: легкая надменность и невозмутимость как будто указывали на это. Молодой человек казался не старше двадцати пяти лет, и я тем более удивился испытанному мной ощущению, которое представлялось мне тем вернее, чем дольше я подвергал его испытанию. Что-то в этом лице показалось мне очень знакомым, не само лицо, а его выражение, но это ощущение таково, каков и предмет, его вызвавший, — мимолетно, и если не разрешишь загадку сразу, то сколько ни вглядывайся, ничего не придумаешь. Время упущено, ощущение исчезает, а воспоминание не в силах его возродить. Так что я посмотрел — и только. Не укрылось от меня и то обстоятельство, что появление Александра де Вельда — так звали запоздавшего — вызвало в католическом священнике сильное волнение и, может быть, даже и возмущение, а в капитане Р. и некоторых других гостях помоложе, напротив, чрезвычайную радость и воодушевление.

— Вот так сюрприз! — воскликнула Вера Николаевна в то время, как Александр исполнял ритуалы приличий. — А мы уже не смели видеть вас в живых. Какие ужасные слухи доходили до нас, не правда ли, Фернье? — повернулась она к фельетонисту.

— Мой корреспондент сообщал мне из Нового Орлеана, что вас захватили дикари, — обратился тот к Александру.

— Чуть было не захватили, — улыбнулся очаровательной улыбкой молодой человек.

Дамы издали сдержанные возгласы ужаса. Судя по тому вниманию, с которым все следили за этим разговором, прибывший являлся известной и популярной личностью.

— Уверю вас, — с той же улыбкой проговорил он, — дикари такие же люди, как и мы с вами. С ними очень можно столкнуться.

Такие вопросы и ответы пробудили во мне известный интерес. Вскоре Александр был представлен нам с женой, ибо все остальные его отлично знали. Между тем разговор, прерванный его появлением, возобновился. Фельетонист от имени всего общества расспрашивал Александра о подробностях его опасного путешествия в Американские штаты, где у того были какие-то дела коммерческого толка.

— Если позволите, я помещу ваши злоключения в завтрашний номер, — предложил фельетонист самым безобидным тоном, однако явно слышалось, что это не вопрос, а утверждение. Европа дарила нам сцены, не виданные в России.

— Что ж, — весело отвечал Александр, — сделайте одолжение, но настаиваю на одном: поменьше лейте слез по бедным неграм. А то подумают, что и я купаюсь в черном золоте. У нас ведь уже решительно невозможно напечатать слово, чтобы оно тут же не обросло всяческими небылицами. Газеты правят всей страной — кто бы мог подумать! Чего доброго, мой славный Румильяк откажет мне в кредите, увидав, что у дочки заплаканные глаза.

— С каких пор вы стали защищать рабство? — удивилась Вера Николаевна.

— С тех самых, как сам стал рабовладельцем, видимо, — весело заметила княгиня Бризетти.

— О, какая проникательность, — на вид добродушно рассмеялся Александр, но бросил на неосторожную княгиню не слишком ласковый взгляд.

— Положительно, история повернула вспять! — вскричал банкир, подходя к нам с неизменным бокалом в мягкой руке. — Европейская цивилизация, честное слово, не так уж цивилизована, как хотят уверить нас господа Кюстины и Констаны. Не прошло и пятидесяти лет, как успели очистить от скверны собственную Францию, и уже несем на другие континенты — что бы вы думали, ха-ха-ха, — да то самое, ради изгнания которого погибло так много славных французов, именно так — славных французов. Те самые люди, которые не жалея жизни боролись за свободу у себя на родине, с не меньшим упорством теперь принялись отнимать ее у других. Что скажете, Александр?

— Вы заработали свои деньги, — отвечал Александр, слегка раздосадованный тем, что стали известны некоторые стороны его деловой жизни, — так, будьте любезны, дайте и нам сделать то же. Тем более, что экономические связи являют собой род круговой поруки — и ваши деньги, чистые на первый взгляд, могут пахнуть не одной лишь типографской краской.

— Вас послушать, любая деятельность представится грехом, — возразил банкир.

— Не бойтесь, — спросила княгиня Бризетти, — что вас обвинят в человеконенавистничестве?

— Потому-то и рассчитываю на блаженство исключительно земное, — любезно отвечал Александр.

При этих словах Елена взглянула на него с новым интересом, а я прекрасно слышал, как святой отец, забавно надувая щеки, прошептал Вере Николаевне:

— Ну зачем, зачем, сударыня, вы компрометируете себя и принимаете этого расстригу?!

— Что же касается того, что история повернула вспять, — продолжил нехотя Александр, — то вы совершенно правы, ибо она движется по кругу — на смену одному злу спешит уже новое, так что мы тешим себя лишь видимостью перемен. Они иллюзорны.

— Не скажите, — вмешался де Вез, — прогресс — великая вещь, мир меняется на глазах, а с ним вместе и души.

— Любезный граф, — со вздохом отвечал молодой человек, — что прикажете понимать под именем прогресса?

— Ну, я думаю, это общеизвестно: тут и те благотворные плоды, которые приносит образование, и торжество веры, осветившей самые варварские углы мира...

— Веру вы оставьте, — махнул рукой Александр. — Этот ваш свет только обжигает.

Священник сделал злую гримаску и устремил на Веру Николаевну жалобный взгляд.

— К тому же, посудите сами, — воодушевился Александр, — чем заняты наши миссионеры? Народам диким в полном смысле слова, народам, занимающим самые первые ступени развития, они прививают итоги развития целой Европы за тысячи лет. Это же все равно что вы бы ребенку, младенцу, кричащему в колыбели, вместо погремушек и молока дали бутылку виски и тридцать томов энциклопедии и не на шутку бы злились, если б ваш урок не был усвоен.

— Конечно, нельзя сеять на неподготовленную почву, — согласился граф. — Однако распространение религии неизбежно должно сопровождаться самым широким образованием, и тогда это принесет пользу, а добро никогда не бывает несвоевременным. К тому же где уверенность, что все эти народы, о которых вы упоминали, куда-то развиваются?

— Что они вообще способны к развитию, вы хотите сказать? — переспросил Александр. — Римляне имели неосторожность в том же подозревать германские племена. В итоге римляне сегодня — просто приятное воспоминание, а германцы... — Он широким жестом указал на все вокруг.

— Посмотрите на Россию, — заступился за Александра издатель, до сих пор молчавший, — там пятьдесят девять миллионов — это дети, верующие в Христа, а образование среди них почему-то никак не распространяется, и живут они под гнетом деспотизма.

— Ну, это потому, что в церквях у них не делают проповедей, — это просто, — заметил граф.

Нужно ли говорить, что эти слова заставили меня почти расхохотаться, но я сдерживал себя как мог. Видимо, мои усилия все же выдали меня, и граф сказал:

— Вот вам и русский, сейчас из России, — он нам и скажет.

— Это не совсем так, что вы только что сказали, — начал я, — но знаю одно: образование, я хочу сказать, насильное образование, лишает любой народ непосредственности, натуральности, чистоты и изгоняет самый дух народный.

— Вот, — заметил Александр.

— Что — вот? — пробурчал банкир. — Вот вам еще один рабовладелец.

— Никого не сделать счастливым насильно, — сказал я. — Нетерпение всему виной.

— Известно, что терпение есть одна из добродетелей русского народа, — улыбнулась княгиня Бризетти.

Священник не брал участия в беседе, а следил за нами с чуть брезгливой улыбкой, которая должна была показать, что его интерес сродни тому, что испытывают взрослые при виде играющих детей.

— Сомнительная добродетель, — усмехнулся вдруг Александр.

Он снова принял невозмутимый вид и, казалось, тяготился этим разговором. Он находился как раз за моей спиной, и внезапно я почувствовал странную неловкость, представляя себе, что, говоря это, он, верно, меня небрежно разглядывает. Я, признаться, люблю глядеть в лицо тому, кто берет на себя труд надо мной насмеяться, — я сделал пол-оборота. Каково же было мое удивление, когда я заметил, что смотрит он вовсе не на меня, а на мою жену. Вера Николаевна поймала этот взгляд, и на ее лице изобразилась озабоченность.

— Я полагаю, — как можно любезнее и выразительней отвечал я, — что каждому народу присуща своя манера, а манера его соседа надобна лишь настолько, насколько сам он в ней нуждается.

— Однако, Николай Павлович пугает Европу, — заметил простодушный граф.

— Это оттого, — вмешалась Вера Николаевна, — что Европа пугает Николая Павловича. Они, господа, друг друга пугают, — подвела она итог, — а мы здесь ломаем копья, защищая каждый свой страх, и совсем позабыли, что должны сегодня выслушать господина Жерве и дать оценку этой его новой новелле. Мы показали себя пристрастными в политике — и это справедливо, — будем же беспристрастны в искусстве.

— Это будет нелегко, — вздохнул издатель.

22

После ужина все мы перешли в угловую гостиную — небольшую комнату, обитую светлым шелком. Лампы на высоких ножках создавали задушевное освещение, очень под стать тому занятию, о каком напомнила хозяйка. Вера Николаевна слыла за друга литературы и пользовалась своими знакомствами с иными знаменитостями, чтобы обратить на себя внимание некоторых начинающих авторов. И хозяйка, и эта уютная гостиная с удобными низкими креслами в стиле казенного короля — все это было своего рода последняя инстанция, последний таможенный пост перед выходом

в свет, и, как сказали мне позже, сам Дюма порой исполнял здесь роль таможенного чиновника и Арбитра. На этот раз слушалась новелла одного из молодых людей, который счел своим непрременным долгом — если забыть о необходимости — представить свой плод в это своеобразное чистилище. Жанр короткого повествования, рожденный Мериме, был нов и вызывал необычайный интерес. Мы разместились и начали слушать.

Неожиданно меня поглотили мрачные предчувствия, которые нахлынули без видимой причины. Как обычно, я воспринимал чужую речь и без интереса, и без внимания. Ах, бедный Йорик, не обманывай себя! Причина уже возникла.

... — «После этого вступления Иероним спросил меня: „Мой мальчик, слышал ли ты когда-либо о Великой Книге Востока?“ Я отвечал, что если он не имеет в виду Коран, то я никогда не слышал о такой книге. „Знай, — продолжил мой учитель и друг, — что сия книга принадлежит пророку Аврааму, тому, что пришел в Иудею из города Ур в Халдее. Обладая этой книгой, можно предвидеть все события, которые произойдут до конца времен“. Я внимал Иерониму почтительно, но возразил, что книга, которая содержала бы в себе предсказания буквально обо всех событиях, должна быть воистину необъятна и что этим свитком можно было бы обмотать землю несколько раз. Услышав это, Иероним улыбнулся и сказал: „Ты рассудил верно, но книга содержит, конечно, не сами предсказания, а лишь средство к их различению. Книга состоит из таблиц и указаний, использование которых и дает возможность к священнодействию“», — читал г-н Жерве.

Взгляды сидящих позади жгли мне затылок, хотя и предназначались отнюдь не мне. Я с нетерпением ждал конца повествования.

... — «„Терпение, терпение“. — Это „терпение“ Иероним повторял так часто, что в его устах оно звучало благоуханным заклинанием...»

На этих словах португальский посланник почувствовал себя плохо, возникла небольшая паника, дамы поднесли ему нюхательной соли, и он под озабоченные взгляды всех гостей пришел наконец в себя. Поддерживаемый капитаном Р., посланник покинул нас. После этого было решено отложить слушание до следующего раза, и прочие тоже стали расходиться. Более всех был огорчен сам сочинитель, но некоторые оценки все же воследовали.

— Мало действия, — заметил банкир, двигаясь к выходу.

— Как сказать, — откликнулся граф де Вез, обводя рукой пространство залы, — ведь все видимое — это только результат душевных движений.

Александр ничего не сказал и опять посмотрел на мою жену.

23

Время летело почти безмятежно. Зима была в исходе. От Ламба по-прежнему не было никаких известий. Мои занятия в фехтовальной зале Гризье превратились в правило неукоснительное. Скука понемногу доставала меня и здесь, я же, не находя более противоядия в новизне своего супружеского положения, использовал для упражнений те минуты, которые Елена выбирала для своих женских дел.

Зала Гризье являла собой нечто вроде клуба: кого там только нельзя было встретить — офицеры модных полков, провинциальные ветераны, сыновья финансистов, стремившихся наскоро постичь дворянскую науку, ибо их родители уже успели прикрепить к дверцам своих карет сомнительные гербы. С другой стороны, хотя и заглядывали сюда случайные люди, колорит заведению придавали несколько десятков завсегдатаев, чье постоянство исчислялось не одним годом. Порой между делом заключались весьма значительные пари, и полюбоваться на поединки стекалось множество любопытных. Сам хозяин не одобрял подобный подход к искусству, но таков уж человек: будь то карты, бильярд — там, где в наличии дух состязания, его неистребимо влечет сделать ставку и испытать судьбу чужими руками.

Я был хорошо знаком с некоторыми из заядлых посетителей. Ко мне тоже успели привыкнуть. Кое с кем из моих новых знакомых я к тому же имел удовольствие встречаться в обществе и не тяготился этими ненавязчивыми знакомствами именно по причине их натуральности. Одним из них я был обязан Александру де Вельду. Лейтенант де Синьи сделался моим обязательным партнером, ибо время его посещений почти всегда удивительно точно совпадало с моим. Очень кстати он был и моего роста и возраста, и нам было о чем потолковать после занятий в близлежащем *café*. Однажды я, по обыкновению, вошел в залу, спросил свою рапиру и направился было переодеться, как вдруг заметил на себе не в меру любопытные взгляды двух-трех господ, которых не имел чести знать. Тут же некто нашептал что-то на ухо своему партнеру, который, как мне показалось, снял маску для того лишь, чтобы на меня поглядеть. Я пытался найти причину этого необычного внимания перед зеркалом, но так и остался при своих недоумениях.

Де Синьи был уже здесь и поджидал меня, готовый начать. Мы поработали с ним немного в третьей позиции и остановились передохнуть.

— Что-то вялая у вас рука сегодня, — заметил я.

— Погода, — ответил он, — эта проклятая погода. Просто не могу сегодня двигаться. Слушайте, — добавил он, снимая перчатки, — я что-то разленился. Не отложить ли нам? Выпьем лучше по чашечке кофе за углом. Что скажете?

— Пожалуй, — согласился я.

Погода и впрямь была дурна. Неизвестно откуда наволокло злых и тяжелых беспросветных туч, которые создали такой сумрак, что на улице потемнело на два часа раньше обычного. Туман навис над Сеной, над серой громадой Нотр-Дам, который казался тучей, поставленной на землю. Я видел, что Синьи чем-то расстроен. Он как будто хотел что-то сказать, но боролся с этим желанием.

— Что-то стряслось, Альфред? — спросил я, усаживаясь против него за столик.

Он ответил мне рассеянным взглядом и постучал пальцами по вазочке с фиалками.

— Видите ли, мой друг, — начал он, — я беру на себя неблагоприятную и, может быть, даже подлую миссию. За такие вещи не говорят «спасибо».

— Что такое? — удивился я.

— Знаком ли вам Александр де Вельд? — Он пристально посмотрел на меня, уже не пряча глаз.

— Что за вопрос, Альфред, помилуйте, он же мне вас и представил.

— Вопрос не праздный, — уклончиво промолвил он. — Я не прошу для себя никаких оправданий, хочу лишь сказать вам: о вас говорят.

— Что, что? — недоумевал я. Я видел, что Альфреду почему-то нелегко перейти к сути, и постарался ободрить его: — Ну, говорите же, не тяните. Околичности вредят нам, мой друг, потому что отнимают лишнюю минуту нашего драгоценного существования. Формальность — вот тот червь, который потихоньку точит древо жизни.

Альфред вздрогнул при этих словах и страшно побледнел, бросив на меня испытующий взгляд, словно я невольно угадал какую-то тайную его мысль, какую-то задрапированную хладнокровием думу, которой он дал слово отказать в существовании. Но была ли она связана с тем, ради чего мы отложили урок? Скорое будущее показало, что не была.

— Поверьте, — опять помедлил он, — мне это очень не по душе, однако я счел своим долгом... так как стал свидетелем некоторых двусмысленностей... Вы меня понимаете?

— Нет же, нет, черт возьми!

— Я вижу, вам ничего не известно. Что ж, значит, я не впустую начал.

— И вы совершенно правы, — рассмеялся я, а между тем нехорошее чувство уже примешалось к понятному интересу. — Я ничего не знаю.

— Так вот... говорят...

— Что говорят?

— Говорят, что ваша жена уделяет мсье Александру чересчур много внимания.

— Ах, это, — сказал я, но задумался. — Вздор, что же здесь такого?

— Я не все сказал, — перебил меня Альфред. — Несколько дней назад я осадил бы подобные высказывания и, будьте уверены, придал бы им значения не более, как глупой сплетне, но... не бывает дыма без огня. Сегодня утром я возвращался из казарм с дежурства и на одной из аллей Булонского леса — вам ведь известно, что казармы мои находятся в Рюэйле, — на одной из аллей я случайно натолкнулся на коляску, а в коляске я увидел Александра и... вашу жену... Их положение не оставляло сомнений.

— Не может быть! — вскричал я.

Некоторые из посетителей оглянулись на нас.

— Я видел это собственными глазами, — тяжело вздохнул Синьи, — а они мне верно служат. Неужели же думаете вы, что я решился бы взять на себя эту гнусную роль доносителя, если бы видел, что вы хоть что-то предпринимаете для защиты своего имени? Поверьте, мне очень не нравится постоянно слышать, что вы станетесь предметом обсуждения.

— Постоянно? — переспросил я.

— Вот именно. Откройте же глаза, прошу вас. Эти господа уже пялились на вас у Гризье. Недостает только, чтобы и в газетах появилась какая-нибудь гадость вроде того, что... ну, сами знаете.

Открытие казалось из незаурядных. Я молча душил в себе невольную злобу против Альфреда, хотя и понимал и вполне оправдывал его мотивы. Без сомнения, он верно угадывал мои мысли.

— Проклинайте меня, думайте что хотите, — продолжил он с жаром, — но коль скоро мы назывались... это был единственный путь. Если угодно удовлетворение...

— Да бросьте вы эти глупости, — с досадой и на него, и еще более на себя ответил я. — Но ведь это прямо невозможно.

— Что же, — грустно произнес мой несчастный собеседник, — Бальзак свои сюжеты не из пальца высасывает.

Мы помолчали.

— Дело требует серьезности, — снова заговорил Альфред. — Мой совет, если позволите, — уезжайте из Парижа. Других советов я давать не вправе, — прибавил он.

Уличная темнота, наползающая в окно, вмиг сделалась еще гуще. Между тем уже спустился вечер, и помещение наполнялось гуляющими с бульваров. Их веселое щебетание начало раздражать меня. В каждом движении мерзких франтов, играющих с тростями — я чуть было не сказал: с страстями, — мне уж мерещились наглые намеки и жадное сплетение тел, в каждой женской улыбке я различал хищное выражение порока, и даже дети, лакомящиеся кремами, отвращали от себя своими сладострастными гримасами. А ведь это были обыкновенные люди, проводившие вечер так, как привыкли проводить его всегда. И я как-то забыл, что и сам был ребенком и жмурился от карамельки, и никто никогда не находил, наверное, в этом ничего дурного; и я не знал, что веселая блондинка, заигрывающая, как мне казалось, с бесцеремонным молодым щеголем, — вовсе не кокетка, а его родная сестра, и невинные ужимки принял за тайнопись греха. Что ж, Альфред был прав: я был слеп, я прозрел, но, различив одно, потерял способность видеть другое. Впрочем, это была минутная слабость. Я закончил с ней.

— Альфред, — начал я, — негодяй ответит за мое бесчестье. Прошу вас не отказать...

— Это худшее, — перебил меня мой приятель, — что вы могли бы придумать. В сторону эти предрассудки. Мы взрослые люди, мы живем в век журналов и газет...

— Которые еженедельно печатают фамилии погибших на дуэли, — продолжил я.

— Нет, вы меня пугаете. Я вижу, что сделал только хуже.

— Не берите в голову, — я попытался непринужденно рассмеяться, — я пошутил. А с другой стороны, не зря же мы убиваем время у Гризье?

Альфред только покачал головой.

— Однако, мой друг, мне надо побыть одному. — Я встал и протянул Альфреду руку. Он пожал ее с чувством. — Но «спасибо» я вам все-таки не скажу, — улыбнулся я.

— У меня сегодня свободный день, — заметил он, надевая перчатки. — Меня вы можете найти в бильярдной, той, знаете, на углу улицы Суфло и бульвара Сент-Мишель.

Мы простились и разъехались в разные стороны. Домой я возвращался в ужасном состоянии. Дорогой обдумывал свое положение. Конечно, Синий имел репутацию честного малого, да я и сам знал его за такого. Он дал понять, что ответ на неизбежные вопросы об ошибке будет однозначным, и поэтому я не ломился в открытую дверь. Но в душе я не оставлял надежды на то, что имеет место ошибка, хотя и понимал, что ошибки нет.

Очутившись в передней, я сразу заметил, что Елена дома и одна. Велел прислуге убираться, я обождал, пока это пожелание будет исполнено, потом распахнул двери в гостиную. Елена, листавшая номер «Котидьена», оторвалась и подняла глаза:

— Хорошо, что ты рано. Сейчас заедет мсье Александр, и мы едем в театр. Я думала, ты опять опоздаешь.

Я старался придать выражению своего лица как можно больше невозмутимости, но, видно, мне плохо это удавалось, и Елена что-то заметила, потому что спросила удивленно:

— Да что с тобой?

— Ничего, — сухо отвечал я, — ничего.

Однако неловкость уже возникла. Нужно было объясниться.

— Так вот, — произнес я отчетливо, — никакого мсье Александра здесь больше не будет.

— Почему? — Ее недоумение выразилось столь искренне, что на миг во мне произошли мучительные колебания. Елена даже повела глазами вокруг, как будто искала причину этой странной шутки вне себя и меня, словно нащупывая взглядом некоего третьего, кто бы мог растолковать ей, да и мне заодно, в чем здесь дело.

— Лена, — продолжал я, — у меня сложилось впечатление, что мсье Александр злоупотребляет нашим расположением, а ты, да-да, ты, — подтвердил я, — споспешествуешь ему и ведешь себя непозволительно... — я подбирал слово, — непозволительно вольно.

— Вот как, — с усмешкой сказала она. Казалось, она все схватывала с полуслова. Это испугало меня.

— Да, так, — кивнул я.

— Какая низость. — Она сощурила глаза. Передо мной было невиданное, незнакомое, а главное, что непонятное лицо. — Ты, видимо, ждешь объяснений. — Лицо ее снова приняло обычное выражение. — Так их не будет и быть не может.

На этих словах она поднялась с оттоманки и спокойным шагом удалилась в свою спальню. Из передней донесся звук дверного колокольчика. Я вспомнил, что отослал людей, и отправился отпереть сам. На пороге стоял Александр, одетый для выезда. Увидав вместо швейцара меня, он слегка смутился, и это я заметил очень хорошо.

— Что-то не балует нас сегодня погода, — весело сказал он. — Вот, — развел он руками, — собрались на премьеру. Вы присоединитесь к нам?

Прозвучало это примерно так: «Какого черта вы не в своей дурацкой зале». Я оценил учтивость моего «близкого родственника».

— Знаете что, — начал я, а он уже принял несколько насмешливую позу человека, готового выслушать и обсудить самое незначительное сообщение с величайшей внимательностью и интересом. Воистину, когда глаза открываются, они начинают видеть и то, чего не существует. — Елена нездорова, — заключил я. — Нынче мы остаемся дома.

— Что вы говорите? — пробормотал он. — Как это приключилось?

— Продуло в Булонском лесу.

Александр, казалось, начинал кое-что понимать, но не оставлял своей роли. Я взял его под руку.

— Позвольте проводить вас, — попросил я, улыбаясь, и мы вышли к подъезду.

У подъезда дождалась двухместная коляска. «Проклятье», — подумал я.

— Мы не сегодня-завтра покидаем Париж, — заметил я между прочим. — Очень жаль, что не имеем возможности продолжить знакомство.

Наивная хитрость надменного рогоносца прояснила Александру суть дела. Он ответил мне понимающей улыбкой. Не будь ее, я бы утихомирил как-нибудь свой гнев, но она просияла лучезарно и вызывающе, и худшие инстинкты шевельнулись во мне. Александр не селся в коляску и стоял вполоборота к парадному, поигрывая тростью, как будто соображая что-то.

— Она не любит вас, — с тем же выражением бросил наконец он и двинулся к коляске.

Этого снести я уже не нашел в себе сил. Все, все оказывалось правдой.

— Одну минуту, сударь, — остановил его я. — Вижу, что остается любить вас. Итак, когда и где я смогу доказать вам свое чувство?

Александр оглядел меня с неким любопытством и очень брезгливо.

— Воля ваша, — отвечал он с приметным удивлением.

— Итак, — поинтересовался я.

Он подумал несколько секунд.

— Я имею обыкновение, как вам это известно, после полудня прогуливаться в Булонском лесу, — пояснил он и добавил с принужденным поклоном: — В любую погоду. — Он вежливо поклонился и сел в экипаж.

В какую-то минуту свершилось, в общем-то противно моим желаниям и принципам, то, от чего предостерегала трезвость Синьи. Но этот камень надо было бросить, облегченно решил я и стал подниматься по зеркальной лестнице. Собственные отражения обступили меня со всех сторон.

24

Между тем следовало подумать о секунданте. Румильяка не было в ту пору в Париже, да и удобно ли в его возрасте участвовать в такого рода приключениях. Я подумал о Синьи. Наскоро переодевшись, я вышел на улицу и поспешил по тому адресу, который Альфред назвал мне при нашем прощании сегодня вечером. Елена из своих комнат так и не выходила, а я не имел желаний и потребности ни видеть ее, ни с ней говорить. Да и какой поддержки мог искать я в ней?

Приятеля своего я обнаружил сразу. Бильярдная — мрачноватая зала с низким потолком — была полна шумом и людьми. Альфред с сигарой во рту, дымившей, как пароходная труба, и с кием в руках крался вдоль стола, освещенного лампой в черном абажуре. Он заметил меня и жестом пригласил обождать. Я поискал места, но все стулья были заняты. Прислонившись к столбу и скрестив руки, я ждал, пока он закончит партию. Шары со скоростью молнии кроили зеленое поле. Так же молниеносно менялись комбинации, и шары застывали в тревожном беспорядке, ожидая, когда оглушительные удары кия снова приведут их в движение, и мимолетные союзники устремлялись друг за другом в бешеной гонке, повинуюсь безразличной ловкости игроков. Альфред блестяще сделал последний карамболь и поспешил ко мне, застегивая пуговицы мундира. Он был разгорячен игрой и улыбался.

— Дерусь, — сообщил я.

— Безумец, — озабоченной скороговоркой проговорил он. Улыбка исчезла. — Пойдемте присядем, ах нет, здесь слишком душно, да и места не найдем. Пойдемте на воздух, там что-нибудь придумаем.

Мы вышли. На двух шагах сверкал огнями кафешантан. Отыскав свободный столик, Альфред спросил шартрезу.

— Что это? — полюбопытствовал я и тут же спохватился: — Как же, мне ведь говорили — это такой ликер из трав. Монастырского приготовления, не так ли?

Альфред кивнул.

— Альфред, вы, собственно, догадываетесь, — начал я, — за какой необходимостью я разыскал вас?

— Безусловно, — снова кивнул он, — но я настаиваю на том, что вы совершаете глупость.

— Мы уже говорили об этом, — недовольно ответил я.

— Что с того? — Он покачал головой. — Послушайте, зачем вам это надо, зачем вам эти глупости, хочу я знать? Те времена давно прошли — на дворе проза.

— Однако все почему-то упрямо следуют правилам этих ушедших времен.

— Оставьте! — махнул рукой Альфред. — Чего ради вам подвергать себя опасности? Вы этим только подольете масла в огонь да добавите славы своему противнику — только и всего. В конце концов, вы иностранец, что вам здесь?.. Ну, в самом деле, этим положение не поправите.

— Уже условились. — Мне захотелось положить этому конец. — Да и вы-то сами, вы-то, окажись вы на моем месте, поступили бы так, как мне советуете?

— Ну, я другое дело, — нахмурился Альфред, — я здесь живу, я офицер, и... я знаю много случаев, когда люди самого хорошего общества, лучшего тона считали возможным отказаться от подобных затей. Да и на чье мнение вы обращаете внимание — на мнение тех людей, которые сами не...

— Да, сами — нет, — подхватил я, — и другими они уже не будут, все это я понимаю, но ославят, и к ним прислушаются. Но не в них дело, честное слово.

— Что ж, вам видней, — как будто сдался он. — Но все же бессмысленная опасность... — Альфред то и дело хмурился.

— Знаете, — задумался я, — так, на мысль пришлось... Когда я служил у себя на родине, когда начинал служить, как раз пустили железную дорогу до Царского Села...

— Царского Села?

— Это пригород, где стоял полк. Так вот, пустили эту дорогу. До того лошадьми таскали вагоны, а тут вдруг паровоз. Что за чудо? Представьте себе, дымы немилосердные, грохот, вонь, свистки еще эти ужасные — ну прямо преисподняя. Мне матушка аж из Москвы писала: «Не ездите ни под каким видом на этом железном насекомом, а поедешь — пеняй на себя».

— Поехали? — заинтересовался Синьи.

— Вы знаете, разок съездил. Очень нужно было в столицу. В экипаже — часа четыре, а здесь — без малого сорок минут. Страшно, опасно, а надо. Умри, но поезжай.

— Опасно жить, — заметил со вздохом мой приятель.

— Вот именно, — вяло улыбнулся я. — Ну что ж, рассчитывать ли мне на вас?

Альфред замялся.

— Есть одна сложность, — пояснил он не без смущения. — Мой старший брат — компаньон де Вельда в одном коммерческом предприятии, и я, видите ли... не хочу навредить брату. Однако, если позволите, я сейчас же рекомендую вам достойного товарища.

— Сделайте одолжение, — согласился я. — Не хотелось бы посвящать никого из лиц знакомых.

— О, конечно, это так. — Альфред поднялся и взял фуражку: — Обождите меня пару минут.

Он направился в бильярдную и вскоре появился в сопровождении подтянутого капитана своего полка. Капитан мне не то чтобы понравился —

мне понравился его подход: деловитый, спокойный и сдержанный. Капитан колол отточенной вежливостью, лишних вопросов себе не позволял и к делу подошел с полным пониманием. Чувствовалось, что он не новичок в делах чести.

— Кстати, — спросил де Синьи, — есть у вас пистолеты?

— Нет, я же ехал в Европу, — пошутил я.

Офицеры переглянулись с улыбкой.

— Если угодно, — скромно предложил капитан, — у меня есть неплохая пара.

— Лепажка? — спросил де Синьи.

— Нет, совсем новые — работы Девима.

— Однако... — начал было я.

— О, я ручаюсь, — спохватился капитан и покраснел, как девушка.

— Не беспокойтесь ни о чем, — успокоил Альфред, — это известный мастер, а капитан разбирается в оружии.

Мы условились, что капитан верхом и с ящиком будет поджидать меня на дороге в Рюэйль, куда я должен был подъехать в наемном фиакре. Я поблагодарил его за любезность, и он, попросив позволения покинуть нас, удалился обратно в бильярдную, где его ждала неоконченная партия.

Между тем мне некуда было пойти переждать ночь. Я не отличался крепкими нервами и знал, что уснуть мне не придется, а перенести ожидание под одной крышей с неверной женой казалось мне мучительным наказанием не столько для нее, сколько для себя самого. Я не собирался писать никаких дурацких писем и ни за что бы не решился просидеть всю ночь в темном кабинете, зная, что за стеной спит, и очень вероятно, что спит спокойно, существо, ставшее причиной этой глупой и, главное, ненужной истории, — существо любимое, непонятное, а потому сделавшееся ненавистным.

Мой приятель пришел мне на помощь. Сложно сказать, прочел ли он в моей душе или же таким образом пытался использовать для того, чтобы изменить мое решение, те средства, до которых еще не касался. Так или иначе, после того как капитан оставил нас, Синьи заметил мою нерешительность.

— Собираетесь ли вы спать? — осторожно поинтересовался он.

— Увы, хотел бы, но, судя по всему, не смогу.

— Тогда приезжайте ко мне на Рю де ла Пе, боюсь, я тоже сегодня не усну. Среди таких страстей, — прибавил он и подавил зевок.

Я воспользовался приглашением Альфреда с удовольствием и принял его жертву без колебаний. Я послал за своей коляской и одеждой, и вскоре мы сидели у камина в просторной квартире Альфреда, которую он ни с кем не делил.

— Ну, упрямый вы человек, — сказал Альфред, наполняя стоящий передо мной сосуд душистым шартрезом, — держу пари, что вы и не знаете хорошенько, кого собрались застрелить.

— Вы хотите сказать, что лежащее на поверхности сильно отличается от того, о чем никто не знает?

— Именно, — согласился мой приятель. — Ваш противник, должен заметить, несмотря на свои молодые годы, а может быть, как раз по этой причине, участвовал в четырех поединках, и трое из его... так сказать, друзей были застрелены им наповал.

— Вот как! — удивился я. — Какой разбойник. Но я хорошо стреляю.

— Тут мало одного умения, — серьезно произнес Альфред. — Мне доводилось быть свидетелем подобных дел, и знаете ли, какое наблюдение я вынес? Люди обладают какой-то внутренней силой, которая и решает все. Побеждает не умение, побеждает дух. Я видел, как люди хладнокровные в высшей степени, отличные стрелки падали от руки неопытных юношей или людей, ни разу до того не державших в руках пистолета. Эта сила сродни фатальности.

— Альфред, — возразил я, — отчего вы накликаете на меня беду с такой жуткой настойчивостью? Право, вы заставите меня испугаться.

— Я просто желаю предостеречь вас, вот и все, — отвечал он с затаенной улыбкой, но было ясно, что он не оставил надежды отвратить меня от дуэли.

— Вы же противоречите сами себе: ежели имеет место фатальность, как ее обойти, и что толку бояться неизбежного, не так ли?

— Не так, ибо судьба, играя с нами, всегда дает нам возможность отыгаться. В отличие от того, как мы зачастую привыкли поступать друг с другом. Не значит ли это, — продолжил он, — что люди сами выбирают свою судьбу, шагая навстречу неосозанным желаниям?

— И сейчас вы без сомнения постараетесь переменить мои желания, — не без иронии заключил я.

Альфред бросил на меня беспокойный взгляд и отвел глаза.

— Слушайте, Альфред, — не выдержал я, — у вас такой заговорщический вид, черт побери, уж не хотите ли вы сказать, что меня убьют противно всяких правил? Скажите же, если вам что-то известно, а не ходите вокруг да около.

Альфред расхохотался, услышав это.

— Надо же, какая нелепость взбрела вам в голову. Я вижу, вы не философ.

— Отчего же, с вами поневоле сделаешься эпикурейцем. Рассказывайте.

— А вас так и тянет в стоицизм, — заметил Альфред. — Кстати, все мы эпикурейцы от рождения, кроме того...

— Боже мой, — воскликнул я, — этому словопрению не видно конца! Как хотите, я иду спать.

Альфред развел руками и снова рассмеялся:

— Вы же не хотели спать? Ну хорошо, простите, я начинаю... но придется начать с самого начала.

— Ночи хватит? — спросил я тоном несказанно богатого человека, протягивающего извозчику заведомо завышенную плату, исключаящую возражения.

— И да и нет, — задумчиво отвечал Альфред. Он посерьезнел и закурил сигару.

— Выберем первое. — Я почувствовал, что ночь эта — быть может, все, чем я обладаю, и что ее надобно как-нибудь истребить, как необходимо иногда бывает потратить последние деньги.

25

Альфред поправил дрова в камине и начал так:

— Судьба этого человека не вполне обычна. И скорей всего, превратности ее, испытанные им в раннем возрасте, сказались в том облике, который он приобрел впоследствии... Дело в том, что Александр де Вельд отнюдь не француз, хотя живет во Франции, и не австриец, несмотря на австрийскую фамилию. Происхождение его темно. Ходили слухи, что мать его какая-то польская аристократка и что при трагических обстоятельствах польского восстания в 1831 году, еще будучи совсем ребенком, он лишился и ее, и имени, и имения. Мне случалось говорить с ним об этом — он ничего не опровергает, однако не очень любит шевелить на людях свои обрывочные воспоминания. Кто был его отец, также неизвестно. Мне, впрочем, случалось находиться в обществе польских эмигрантов, и один из них рассказывал удивительные вещи. Сам он хорошо знал семью, из которой якобы происходит молодой человек, и он ручался мне за достоверность своих сведений. Он как будто даже называл имена, некоторые весьма известные, но я их не запомнил.

Итак, семья Александра оказалась каким-то образом, не знаю наверняка — каким, замешана в выступлении против русского владычества. Родовое гнездо было разорено, мать тут же унесла в могилу чахотка, воспита-

тель тринадцатилетнего мальчика — священник местного прихода — также свел счеты с жизнью. Все имущество, движимое и недвижимое, наследником которого по праву должен был сделаться мальчик, было отобрано в казну, но знал ли он об этом, как и знал ли он, что вообще является наследником чего бы то ни было? Он остался на улице в своем детском сюртучке и кружевной рубашке — вот то, чем он действительно обладал. Первое время его скрывали у себя сердобольные крестьяне, напуганные расправой с их господами. Несколько месяцев провел он с ними, пока слух о его местонахождении не достиг служителей церкви, видимо отлично знавших его покойного воспитателя и неплохо осведомленных, какой смысл вкладывал тот в это слово. В Польше власть священника велика и непререкаема. Ксендзы плели крестьянам небывлицы о том, что Александр ищет русские жандармы, имея самые нехорошие намерения, что царь приказал заключить его в крепость, и прочую ерунду в том же духе. Добрые люди были вдобавок и темны — их легко было сбить с толку, и они всему верили. Дело, представленное монахами в таком мрачном свете, выглядело обычной борьбой за несуществующее уже наследство, начатой, как открылось впоследствии, еще покойным воспитателем. Но он уже вкушал плоды царства божия, вокруг владычествовал хаос и неизвестность, дела по причине военных действий были крайне запущены, и эти люди не могли узнать, что стараются напрасно. Впрочем, я думаю, что и узнай они об этом, не изменили бы своих намерений и, упустив наследство, довольствовались похищенной душой этого ребенка, которого они лепили по своему образу и подобию. Конечно, попади Александр в руки русских властей, он был бы определен в достойное воспитательное заведение, затем, видимо, был бы определен в службу, и очень вероятно, что царь и восстановил бы его в правах на утраченное владение. Увы, этого не случилось. Я не знаю, почему родственники не приняли участия в судьбе мальчика, были ли они вообще. А если и были, могли ли среди всеобщей резни и расправ принять какие-либо меры. Это останется неизвестным. Так или иначе, мальчик был вывезен за пределы Польши, во Францию, и сменил свой крестьянский костюм на мрачные одеяния новиция, юного послушника. Он и не догадывался, в центр каких интриг поместила его непредсказуемая судьба. Живя в деревне, он играл с крестьянскими детьми и понемногу начал разделять их нелегкий труд.

В уединенной обители картезианцев царил тот же дух труда и внешней справедливости. Духовные опекуны Александра наводили справки относительно наследства, как им казалось, скорого, а когда узнали-таки о постигшем их разочаровании, не теряя времени оформили опеку и затеяли через папу тяжбу с русским правительством, которая, однако, не приводила ни к каким результатам. Но монахи не падали духом — в самом деле, спешить им было некуда. Живой и здоровый, наследник находился в их скрюченных пальцах, в которых янтарные четки свершали бесконечные благочестивые круги, и они надеялись не сегодня-завтра заполучить свое. Николай, столь ревностно оберегающий права престола, был не вечен, а любой неожиданный поворот в европейских делах мог повлечь благоприятное решение русских властей. Жизнь часто дарит нас неожиданностями...

— Александр тем временем упражнялся в латыни и помогал старшим вести монастырское хозяйство. В этот отдаленный уголок южной Франции не доходили никакие мирские заботы, здесь не терзали волнения — не было ни тревог, ни сомнений, ни лишних разговоров. Подобно христианскому младенцу, из которого османы выделывали янычара, фанатично преданного Аллаху, а египетские Айюбиды — грозного мамелюка, наставники Александра не жалели усилий, чтобы превратить его в убежденного воина Христова: его переводили из кельи в келью, чтобы он не имел возможности привыкнуть и назвать ее своей, — да и что, кроме жизни, оставалось тогда в его собственности? Проведя первые годы своего сознательного существования в лесной Польше, он попал в почти такое же забро-

шенное французское местечко, все население которого состояло из священников, монахов и их поклонников. Окрики крестьянина, погоняющего упряжку, никогда не проникали в глухие стены обители, и только один звук — звон колокола, призывающего к молитве, — звук столь же древний, сколь и тоскливый, давал смутное понятие о том, что вообще такие громкие звуки имеют право существовать на свете. Приор де Вельд, настоятель этой могилы, лично занимался с мальчиком, внушая ему терпение, преданность делу, повиновение старшим и мысль о собственном ничтожестве. Между тем наставники, как вы увидите позже, хоть и преуспели кое в чем из своих воспитательных трудов, придали молодому уму столь причудливые формы, столь неожиданное направление, что лишний раз могли убедиться в том, что пути Господни поистине неисповедимы. Но об этом позже, — спохватился Альфред.

Я замечал, что мысль его то и дело улетает куда-то прочь и он, не теряя нити повествования, видимо, погружается в какие-то свои собственные думы, которые проступали у него на лице мрачной грустью.

— Итак, Александр имел весьма смутное понятие об окружающем мире, о цивилизации вообще. В его руки не приходили книги, которые бы прояснили многие загадочные для него вещи, уже не являвшиеся таковыми для большинства его сверстников по ту сторону монастырской стены. Не зная мира, а точнее, не зная общества, кроме общества братии, он видел этот мир почти в полном соответствии с Библией, которая была единственным его чтением. Он был, казалось, мальчиком смиренным, послушным и немногословным, ханжеские ласки своих почитателей понимал как любовь и платил взаимностью. Его часто вместе с другими монахами посылали в горы собирать травы для ликера, который придумали изготавливать монахи-картезианцы в самой Шартрезе. Сидя где-нибудь на вершине холма, привалившись к корзине с душистыми травами, он видел мир простым и прекрасным, как ломоть свежего хлеба, как усталый жест творца, как слабая улыбка роженицы. Все эти древние неправедные царства, страсти, чудовищное зло, нескончаемое кровопролитие, вся история, отраженная в Писании, казались уже пройденными, ушедшими навсегда — они казались отшумевшей бурей, отгремевшей грозой, после которой остались только это бездонное небо, могучие горы, умытые нежным дождем, чарующий аромат трав — предвестник райского эфира — и далеко внизу маленькие домики сонной деревушки и одинокие шпили монастырского собора. Все это создавало впечатление, что природа успокоилась в последний раз в ожидании Господа, видимая пустота окрестностей убеждала в том, что все лишнее убрано, устранено, да и сами люди остались самые лучшие, самые достойные увидеть пришествие, такие, как отец де Вельд, а жизнь их сделалась наконец лаконичной и бесхитростной, как Евангелие на скупой латыни.

Александр, конечно, не знал, что огромное количество бутылок того ликера, для которого он так старательно собирал травы, ежедневно продается во всех парижских *cafés* и что отец де Вельд участвует в прибылях заодно со всем прочим монастырским начальством, хотя и утверждает, что ликеры изготавливаются в целях лечебных. Но самое главное, он не догадывался, что лишен святого права распоряжаться собственной жизнью и что отеческие улыбки приора всего лишь движения лицевых мускулов. Очень многие из своих впечатлений, прочитанных истин и затверженных стихов литургии Александр понимал буквально, то есть так, как и должно их понимать, и тем начинал тревожить отца де Вельда, который в порыве «великодушия» подарил мальчику свою фамилию. Было ясно, что юноша выходит слишком хорош для тех дел, к которым его готовили.

— Вскоре случилось одно происшествие, которое обеспокоило приора еще более. Из Польши пришло известие, что некий влиятельный и богатый русский князь по непонятным причинам предпринял поиски мальчи-

ка и что ему с помощью денег и всесильной русской полиции удалось напасть на след, ведущий в окрестности Гренобля. Приор встревожился не на шутку — утверждали, что этот князь как-то причастен к рождению юноши. Для вас не секрет, мой друг, что наша церковь не уступает в мастерстве интриги никаким светским жандармериям и, может быть, самый тайный сыск рожден из ее недр, а первыми шпионами подвизались бродячие францисканцы и, конечно, иезуиты. По скрытым, невидимым, но неиссякаемым каналам настоятелю сообщали каждый шаг русского путешественника, который уже пересек границу Франции. Нужно было на что-то решаться, и решение было найдено простое. Простота же эта заставляла кровь холодеть от ужаса и волосы подниматься дыбом. В тот же день, когда де Вельд получил письмо, которое уведомяло его о приближении нежелательного лица, другое письмо, запечатанное золотой печатью — *nous pauvres chartreux*¹, — полетело в еще более удаленную от глаз людских католическую обитель. Де Вельд просил траппистов принять под свое покровительство его воспитанника. Тогда же он призвал к себе юношу и сообщил, что некоторое время ему придется оставаться в другом монастыре. Перемену он никак не объяснял, однако намекал, что устраивает его судьбу наилучшим образом. Александр совсем не был удивлен — он верил отцу де Вельду безоговорочно; единственное, что его опечалило, — так это предстоявшая разлука с этим человеком, ближе которого у него не было в целом свете, а единственное, что его смутило, — это то, что отъезд был назначен среди ночи, и покинуть монастырь пришлось почему-то не через главные ворота, а через маленькую заколоченную калитку — нечто вроде потерны — в стене, обнимавшей глухой сад. Де Вельд своими руками отгибал ржавые гвозди, отрывал гнилые доски и усадил юношу в крестьянскую телегу. Возница, который должен был сопровождать его в течение всего пути, был молчалив, держался безлюдных дорог и на ночь останавливался вдалеке от жилья.

Утром между кладбищенских камней, разбросанных у монастырской ограды, добавился новый. Свежевскопанная земля еще не просохла, и влажные комья весело переливались в лучах восходящего солнца. Причетнику де Вельд сказал, что Александр умер внезапно в своей келье, что причина смерти — холера и что де Вельд сам отпелал его в часовне. Кроме того, двое монахов, поднятых настоятелем задолго до рассвета, рыли могилу при свете факелов. Смерть — такое обычное явление. Братия усердно молилась за упокой, и кто знает, быть может, беспокойный ветер доносил до Александра неясный и далекий погребальный гул унылых и безразличных колоколов.

«Меры предосторожности», взятые приором, оказались своевременными: не прошло и недели, как ему доложили, что его желает видеть какой-то иностранец. Де Вельд натянул на бесстрастное худое лицо одну из своих любезных улыбок и принял гостя. Разговор был долгим. Распущенный монах-прислужник подслушивал у двери, но толстый дуб скрыл подробности от любопытного уха. Видели только, как незнакомец под руку с приором вышел во двор и долго стоял с непокрытой головой у слегка осевшей могилы. На глазах у обоих дрожали слезы. День выдался чудесный, но колокол звонил не переставая. То был страшный для памяти Франции 1838 год. Холера, завезенная откуда-то из колоний в Тулон, быстро распространилась и к исходу летних месяцев охватила большую часть Лангедока. Вымирали целые деревни, население ударилось в панику. В монастыре тоже слышали об этом ужасном бедствии. Правда, среди монахов все пока были здоровы, если не считать молодого Вельда, но в городке несколько человек уже простились с миром в непередаваемых мучениях. Карантинные посты, составленные из кавалеристов и самих обывателей, были расставлены повсюду: на каждой дороге, на каждой горной тропе. Однако смерти, сопровождаемые зловещими признаками, не пре-

¹ Мы, бедные картезианцы (франц.).

крашались. Де Вельд заперся со своими монахами в монастыре, и никто без его позволения не мог ни покинуть эту безопасную территорию, ни проникнуть туда.

Если б не холера, судьба Александра могла бы так и катиться по проторенному святыми отцами руслу. Однако... На пятый день пути, на выездах из Маноска, повозка была остановлена разъездом голубых улан, а пассажиры, невзирая на то что возница то и дело совал веселому офицеру сопроводительные письма за подписью приора картезианцев, человека известного в тех местах, были препровождены в ветхий сарай на краю погибающей деревушки, служивший карантинным помещением. Сарай оказался битком набит проезжими — такими же незадачливыми вояжерами, которых жуткие новости настигали в дороге. Несколько дней и ночей провел Александр в этом чистилище, среди людей самого разного пола и возраста: некоторые забывались среди ночи коротким сном, полным бреда и извержений, с тем чтобы никогда больше не открыть глаз. Возница умер в четыре дня, Александр же оставался здоров, хотя ни на минуту не оставлял умирающего.

Однажды утром, против обыкновения, долго не давали провизию, которую солдаты дважды в день просовывали, увязанную в узел, через маленькое окошко на длинном шесте. Снаружи не доносилось ни звука: ни конского ржания, ни ругательств улан. Александр и прочие пленники сидели до полудня, а потом, так ничего и не дождавшись, разбили стену и выбрались из своей зловонной темницы, которая для многих стала и склепом, и погребальным костром. Уланский бивак был пуст, палатка стояла на своем месте, из нее высовывалась посиневшая рука, сжавшая в последней судороге пучок травы. Уланские лошади разбрелись по склону и мирно наслаждались обильным кормом. Откинув полог палатки, Александр увидел, что и солдаты, так любившие слово *merde*, и веселый офицер больше не живут на свете. Пленники стали разбредаться кто куда: кое-кто отыскивал свои пожитки, наваленные кучей у стены сарая, иные пытались поймать стреноженных уланских лошадей. Александр, приведя в порядок свои чувства, понял, что не может продолжать путь. Сарай был подожен, бумаги, которые имел с собою его провожатый, сгорели вместе с ним, а Александр попросту не знал, куда его везли. Спросив дорогу у товарищей по несчастью, он зашагал в сторону своего монастыря, несмотря на их уговоры горными тропами пробираться в области, не зараженные болезнью. Он возвращался в самое пекло, и на него смотрели как на сумасшедшего. Он догадывался, что обитатели его тихого прибежища в опасности, и просто шел разделить их участь.

Как ни был ничтожен его житейский опыт, он соображал, что вторая встреча с кордонным патрулем может стоить ему жизни, поэтому двигался по ночам, а днем спал в укромных излучинах ручьев. Наконец, шатаясь от голода и усталости, изнуренный переходом и терзаемый сомнениями, он стоял у той самой калитки, через которую две недели назад покинул привычный, не прерывавшийся годами образ жизни. По какому-то безотчетному побуждению он счел, что должен войти так, как вышел, тем более что этот способ указал его дорогой воспитатель, а он мог, как справедливо рассуждал молодой человек, иметь на то свои причины. Эта мелочь, ничтожная сама по себе, приобрела в тех обстоятельствах самое глубокое значение.

— Де Вельд, сыгравший с русским путешественником такую злую шутку, ничем не рисковал и имел возможность объяснить внезапную смерть новичия холерой, однако накликал беду: несмотря на все принятые строгие меры, болезнь проникла за монастырскую ограду. Черные жирные клубы дыма поползли вверх, к бесстрастному небу, холодно взиравшему на этот страшный фимиам. Ужас сковал братию, и уже никто по легкомыслию не позволял себе привести подружку с соседней фермы. Ворота были задраены наглухо, и монахи опасались даже лишний раз покинуть свои

клетушки. Едва ли впустили бы Александра, вздумай он постучаться в окочевшую позеленевшей медью створку; о калитке же вовсе забыли по той простой причине, что никто и не помнил, когда в последний раз ею пользовались, а поэтому считали ее как бы не способной более служить по своему назначению. Повинуясь тому же наитию, которое заставило его воспользоваться заброшенной калиткой, Александр направился напрямик к своему благодетелю. Стояло раннее утро, монастырский двор был пуст, и только молодой послушник, добродушный крестьянский увалень, возился под навесом у бочки с водой. Он заметил Александра и непроизвольно приветствовал его. Я говорю — непроизвольно, потому что этот паренек был одним из тех, кто по приказанию приора рыл могилу для того, кто сейчас в добром здравии стоял перед ним. Легко вообразить, что сделалось с бедным юношей, когда он увидел, что мертвые восстали из своих гробниц. Он в ужасе попятился, опрокинул бочку и некоторое время оставался лежать, с открытым ртом глядя на привидение, потом вскочил и огласил все окрестности воплями, которые собрали почти всех сонных монахов. Поднялась паника, которую Александр приписал тому, что собратья пугаются в его лице разносчика заразы. Тщетно он уверял всех, что здоров, — вопрос-то был о жизни и смерти, а то обстоятельство, что он говорил человеческим языком, внесло еще большую сумятицу. Однако дело происходило не в одиннадцатом столетии, и страсти скоро улеглись. Стало ясно, что имеет место непонятное пока недоразумение. На шум спустился отец де Вельд и сразу увидел Александра, в окружении жестикулирующей толпы безмолвно взирающего на собственное надгробие. Сам Александр говорил мне, — заметил Альфред, — что за свою жизнь не испытывал большего удивления. Между тем настоятель приблизился к молодому человеку и обнял его с видимым чувством. Это окончательно успокоило толпу — все были рады исчезновению призраков; что же касается могилы, то монахи были народом тертым, видали виды, а еще больше знали свое место и не лезли в дела высшего начальства, тем более что все были заняты холерой, уже собравшей первую дань в монастырских стенах.

Де Вельд провел воспитанника к себе и выслушал взволнованное повествование о тех невеселых приключениях, которые пришлось ему пережить. Он то и дело согласно кивал седеющей головой, делая вид, что все подробности ему хорошо известны. Так он и объяснил Александру появление надгробия — дескать, один из крестьян, постоянно доставлявший с далекого птичника в обитель дешевые яйца, сообщил о смерти юноши и его провожатого. Он клятвенно уверял, что видел своими глазами, как солдаты сжигали бездыханные их тела, и отец де Вельд, следуя христианскому долгу и бесконечной скорби, велел установить скромный знак в память его существования. То ли де Вельд отлично сыграл свою роль, то ли безупречная преданность ему Александра и безоговорочная вера в правоту каждого слова своего принципала способствовали укоренению столь грубого обмана, а скорее всего, в силу обеих этих причин история, казалось, не приобрела ни огласки, ни видимых последствий. Отпетый по всем правилам, Александр снова принялся работать по хозяйству, но частенько останавливался отдохнуть перед своей могилой. Тем временем больных среди монастырских обитателей становилось все больше и больше. Александр, сидя в карантинном сарае, получил некоторые представления о том, как нужно оказывать помощь больным и умирающим, и теперь делал это, вызывая восхищение своим бесстрашием. В народе ходило нелепое суеверие, гласившее, что если человек не подвержен холере, значит, кто-то в его роду некогда умер от этой заразы, и потомук нечего бояться. И действительно, невольно создавалось впечатление, будто болезнь не властна над Александром, а ведь никто не проводил так много времени с несчастными, как он. Мало-помалу он и сам под влиянием общего настроения уверовал в свою неуязвимость — тем тверже почитал он своим долгом облегчать в меру сил страдания больных.

— Однажды вечером ему сказали, что его желает видеть викарий, которому нездоровилось уже несколько дней и за которым Александр ходил с особой заботливостью. Этот человек с первых дней появления тогда еще мальчика Александра в монастыре принял в нем самое живое участие. Отношения, установившиеся между юношей и отцом Рошалем, были иного рода, нежели боготворение де Вельда. Де Вельда Александр и любил, и благоговел перед ним, и в то же время его холодная, даже суровая личность давала понятие о высшем существовании, о высшем смысле, и рождала в молодой душе некую робость, а временами и чувство, которое уже прямо называется страхом. Очень часто Александр не решался задать де Вельду лишний вопрос, а если и задавал, получая при этом непонятный ответ, то не смел переспрашивать и шел за толкованиями и объяснениями к доброму Рошалю, фигура которого, не столь прямая, улыбка которого, не столь снисходительная, казались более земными и доступными. Рошаль была известна судьба Александра, однако приор строго запретил ему вести с мальчиком беседы на эти темы. Он и выполнял это, то ли не считая действительно важным, то ли просто соблюдая пожелание иерарха. С другой стороны, он участвовал в общем деле, и чем дальше оно заходило, тем больше сомнений в его справедливости возбуждало в отнюдь не злодейской душе викария. До поры он старался держаться в стороне, однако визит русского князя и все обстоятельства, с ним связанные, заставили его дать последним событиям верную оценку. Рошаль очень сокрушался, что не нашел в себе сил поведать Александру свои важные открытия тогда, когда это еще было возможно, — тем с большей благодарностью возносил он Господу хвалы за то, что юноша вернулся и он, викарий, снова получил вожделенную возможность исправить эту ошибку и умереть с чистой совестью. Да-да, Рошаль умирал и более не опасался суда земного. Итак, он поделился своими сомнениями с Александром и, успокоенный, испустил дух. Напоследок Рошаль, предчувствуя, что его откровения, буквально обрушившиеся на юную душу и вызвавшие там истинное смятение, могут привести Александра к поступкам, неосмотрительность которых способна сильно повредить его воспитаннику, призвал его сдерживать чувства, не пытаться выяснить что-либо непосредственно у отца де Вельда, а главное, немедленно покинуть обитель. Это последнее привело молодого человека в немалое замешательство, однако завет умирающего был непреложен. Он убеждал Александра, что жизнь — не такая уж страшная штука, что не следует бояться незнакомых ее проявлений, а нужно смело окунаться в ее круговорот и отыскивать там свое настоящее место. Он научил юношу, что надобно добраться до Марселя и отыскать русское представительство, где, по его заключениям, могут как-то прояснить дело и повлиять на судьбу молодого человека.

Александр, однако, был настолько подавлен открывшейся ему правдой, что упустил из внимания почти все практические советы, которыми снабдил его добрый Рошаль. Душа, полная самых отвлеченных идей, наполнилась еще одной. Он долго и задумчиво сидел над телом уже отшедшего викария и ожидал, когда пройдет оцепенение, рожденное таким неожиданным поворотом судьбы и образа мыслей. В несколько часов он прожил целую жизнь, а когда снова ощутил себя среди живущих, передал тело воспитателя монахам и, не сказав никому, в том числе и де Вельду, ни слова, вышел из монастыря через известную уже калитку — на этот раз с тем, чтобы никогда уже не возвращаться туда. Все практические качества, которые мог он унаследовать от своих неизвестных родителей, внезапно, под влиянием чудовищной душевной работы, проявились и дали о себе знать. Воспитание было завершено, и, уворачиваясь от дождя, он шел увидеть мир, которого не знал.

— Ему было страшно, но он хорошо запомнил последние слова Рошала и давил в себе этот страх. Таким образом, — рассмеялся Альфред, — известное правило церкви о непогрешимости авторитета, привитое юноше, сослужило добрую службу. Слова Рошала стали чем-то вроде посоха в его

нелегкой дороге. Заодно со страхом он уничтожал в себе и теплое отношение к отцу де Вельду. Нехорошие чувства тяжело и больно ворочались в нем, как ребенок в материнском чреве. Злые мысли были непривычны, и они пугали его еще более, чем темнота, голод и все прочее, что сопровождало его отчаянное путешествие в неизвестность. Он шагал по размытой дороге на юг, прочь от собственной могилы и могильщиков, еще вчера считавшихся создателями, а открытия самого неутешительного и революционного свойства возникали одно за другим в его мокрой голове. Сомнения стекали по мокрому волосам вместе со струями дождя и, упавая под ноги, превращались в настоящее месиво — месиво сомнений. Он оглядывался, по привычке приискивая, кому бы задать терзавшие его вопросы, но задать их было некому, поэтому он глядел в темное небо. Непогода усиливалась, а вместе с ней набирали силу и злые мысли: ненависть к де Вельду, омерзительное в своем скрытом сладострастии чувство вселенской обиды и сознание того, что «враг силен». Александр с ужасом закидывал голову, понимая, что его отступничество от добродетели услышано ныне там, и ожидая, что вот-вот Господь покарает его за подобное предательство, что и ветер, и ливень, и гром, и грязь — все это не просто так, а необходимые, обязательные помощники небесного гнева и одна из этих молний вот сейчас испепелит его измученное тело, а измученная душа будет призвана к самому суровому ответу...

Однако гром гремел, молнии сверкали, на мгновение показывая окрестности в неземном свете, а Александр был жив, и злые мысли разрастались, обрастали плотью, его плотью, и по-хозяйски устраивались в его душе, раздвигая трепещущие пустоты. Их движениям не было сил противостоять, как нет сил противиться первому поцелую. Между тем плоть также давала о себе знать с не меньшим неистовством. Это еще более увеличивало ужас Александра, и, отчаявшись что-либо понять, подавленный познанием и гадливостью к самому себе, он забился в какой-то заброшенный сарай, попавшийся на пути, и, решив, что погиб безвозвратно, зарылся в гнилую солому, составлявшую единственное его убранство. Признаки сна он принял за признаки смерти и возблагодарил Господа за то, что лестница в преисподнюю обрела такие знакомые формы. Он забился глубочайшим сном... Его разбудила бабочка, расправившая свои бархатные крылышки на его руке. Он внял этому нежному прикосновению и испуганно открыл глаза — в дверном проеме, в каждой щели ветхих стен и в каждой провалившейся черепице стояло солнце. Это было неправдоподобно и походило на очередное искушение, однако, как ни старался, ни мыслью, ни жестом, ни усилием воли, никаким другим проявлением своего человеческого естества Александр был не волен исторгнуть это наваждение — солнце стояло высоко и властно. Даже желтая лимонница, распластавшаяся на запястье, казалась кусочком, лучиком этого доброго солнца, сиявшего так пленительно, так ласково, так всепрощающе и радостно, что, казалось, манило и приглашало поскорее выбраться из темного сырого угла, и радоваться и улыбаться вместе, и ступать по согретой, чисто вымытой земле. Это был Бог, и Бог был облегчение. Александр понял, что прощен, понял, что будет жить и что жить ему придется с этим новым, возникшим вчера грузом, который называется правда. Он робко тронул ее — она недовольно зашевелилась, словно джинн в кувшине. Александр извлек на свет божий этого джинна, пересчитал свои злые мысли и положил их на свои места. Теперь он был хозяином своего зла и знал это, хотя и не догадывался еще, как распорядиться этим неожиданным приобретением, которого он не приобрел. Он вышел к солнцу и улыбнулся. Это оказалось просто, и ничего другого невозможно было бы сделать.

— Пошел третий день дороги. Людей он почти не видел и шагал наугад. По-прежнему сияло солнце, вода в ручьях была в изобилии, а утолить голод приходилось в чужих садах. Он забредал в тень корявых деревь-

ев, и слова молитвы увязали в зубах вместе с сочными ворованными плодами. Нужно было, однако, на что-то решаться. Александр был свободен, как бывают свободны немногие люди на земле.

— Сомнительная свобода, — заметил я.

— Первозданная свобода, — отвечал Альфред и продолжил так: — К исходу четвертого дня Александр набрел на большой уединенный дом, все подступы к которому занимали бесконечные виноградники. Загорелые работники мелькали между буйно разросшихся лоз. Увидав людей, Александр в нерешительности остановился. Он шел из холерного края и знал, что любое подозрение может отдать его в руки властей, которые снова поместили бы его в какую-нибудь карантинную сторожку. Оказаться в карантине попросту означало умереть.

Усадьба, куда попал Александр, называлась Лозы, ее смешливый хозяин назывался Жаком Ренаном и считался самым крупным винопродавцем к востоку от Авиньона. Земли и состояние достались ему в наследство от отца, разорившегося из-за революции, но разбогатевшего вновь во время наполеоновских войн. Отец, соблазненный офицерским патентом, нашел смерть под Кульмом, и Жак смолоду учился хозяйствовать. Некогда он был женат, однако жена лет десять тому назад перешла в другой мир, не оставив супругу наследников. После такой утраты Ренан все внимание сосредоточил на своих торговых занятиях и в конце концов немало преуспел. Все возрастающими оборотами он потихоньку отодвигал соперников, лично вникал во все тонкости производства, а обрабатывали его обширные хозяйства люди странные, люди, так сказать, не совсем обычные, и это обстоятельство также являлось значительной статьей экономии. Жак Ренан был человеком добрым, но сообразительным, а поэтому взял за правило не слишком пристально вглядываться в прошлое своих работников. Ничто на свете он не любил так, как часами следить за красной жижей, которая благоуханными потоками обливала давяльный пресс, подсчитывать прибыли и радоваться жизни.

Итак, Жак закрывал глаза на некоторые подробности жизни своих работников, а работники платили ему тем, что не осведомлялись, во сколько именно оценивается подобный труд в соседних имениях. В Лозах не задавали лишних вопросов, и если человек утверждал, что его зовут Жан и что его паспорт отобрали разбойники, то это считалось вполне возможным. Такая манера стала известна, и некоторые люди, коротающие свои дни впроголодь в портовых кабаках Марсея и в округе, люди, которым некуда было идти или же идти куда-либо было небезопасно, находили приют в поместье Ренана. Конкуренты не любили Ренана за то, что он сбивает цены во время уборки винограда, власти не доверяли Ренану, потому что справедливо полагали, что Ренан укрывает у себя беглых каторжников и прочий темный люд, а темный люд относился к Ренану вполне сносно, считая не без оснований, что лучше работать на родине пусть за небольшие, но за деньги и за кусок хлеба, чем вдали от нее и задаром. Ренан верно оценил свою выгоду и никого не неволил и не прижимал. Люди приходили и уходили, и он не задерживал их. Иногда у него возникали понятные неприятности с жандармерией, однако Ренан умел прятать своих работников и только похихикивал. Впрочем, немало было и таких, которые уже всерьез поселились у Ренана, другие же, о которых не оставалось и воспоминаний, возникали вдруг среди ночи, а наутро без напоминаний принимались за знакомую работу.

В такой-то своеобразной «виноградной ночлежке» и очутился Александр. Наутро он собрался было отправиться в дальнейший путь, как вдруг попался на глаза хозяину, обходившему свои владения. Хозяин снова улыбнулся Александру, но, по своему обыкновению, постеснялся расспрашивать молодого монаха. Ему понравилось, как привычно делал свое дело Александр, а еще больше понравилось то, что юноша не походил на обычных соратников его буден. Выяснив, что Александр не имеет ни гроша, Ренан предложил ему остаться на пару дней с тем, чтобы заработать хоть

немного денег на дорогу. Александр, полагавший, что работать для человека так же естественно, как дышать, очень удивился тому, что работать можно за деньги, а не за обед, чем чрезвычайно рассмешил и Ренана и работников, слышавших этот разговор. Конечно, никто и не поверил, что можно не знать таких простых истин, а Ренан решил-таки побеседовать с юношей с глаза на глаз. Александру пришлось по душе безмятежная улыбка Ренана, во-вторых, он и сам хорошенько не знал, зачем ему нужно в Марсель, да еще в русское консульство, если он во всю жизнь свою не видал ни одного русского, а в-третьих, довольно безразличное к нему отношение всех этих людей как будто дало ему понять, что никакой заинтересованности они в нем не имеют, а потому опасаться их нечего. К тому же Ренан был стареющий человек, а именно у таких людей Александр привык спрашивать совета. В тот же вечер он без утайки поведал Ренану свою историю. Ренан, слушая юношу, делался то задумчив, то хватался за бока от самого непосредственного хохота, но в конце концов смекнул, что дело это непросто. Не без оснований он решил, что в том виде, в котором пребывал Александр, ему, быть может, и нелегко будет попасть в дипломатическую миссию, поэтому он убедил молодого человека остаться до поры в Лозах, а сам засел писать в консульство письмо, где делился с чиновниками своими сомнениями относительно происхождения Александра. Ответ пришел быстро, но оказался неутешительным: секретарь уведомлял, что не так давно в консульстве сменился состав служащих, а в бумагах по этому делу ничего обнаружено не было. Секретарь писал также, что по этому поводу на его памяти никто из подданных российской короны в консульство не обращался, и обещал сделать запрос в свое посольство. Ренан отправил следующее письмо с некоторыми разъяснениями, но шли недели, а ответа не поступало. Поначалу Ренан принял эту историю играючи, как относился вообще к тем людям, которые так часто находили у него кров. Однако постепенно он понял, что на этот раз провидение вложило в его руки человеческую судьбу целиком, а не мелкие и унылые эпизоды, как обычно. Если почти всех прочих его постояльцев нужно было то и дело скрывать и прятать, то этого, чтобы добиться чего-нибудь путного, напротив, следовало выставять напоказ. Ренан подивился такой редкости, однако хозяйственные хлопоты отвлекали его и мешали отправиться в Марсель вместе с юношей.

— Между тем, пока Ренан, весь в заботах, разъезжал по округе, Александр исправно и с удовольствием работал вместе со своими новыми товарищами, а в свободное время, в согласии с своими привязанностями, взбирался на окрестные холмы, откуда задумчиво изучал движение природы. Однажды, к своему удовлетворению, Александр обнаружил, что на холмах растут те же самые травы, запах которых сделался так ему мил за годы его монашества. Этот запах был привычка не привычка — потребность. Юноша обрадовался им, как добрым знакомым, перетирал в пальцах, и запах дарил воспоминания. Как-то раз он нарвал этих трав целую корзину, снес ее в усадьбу и начал припоминать, каким образом готовили монахи свой становившийся уже знаменитым ликер. Исполнить это оказалось несложно, ибо Александр много раз наблюдал картезианский способ, хотя и не придавал этому никакого значения. Ему и в голову не могло прийти, что картезианцы держали в строжайшей тайне способ приготовления ликера и ревниво оберегали от чужих глаз сам процесс приготовления. Только посвященные знали соотношение в напитке разных трав — ведь этот способ составлял с недавних пор главную причину их благоденствия. Многие хитроумные дельцы стремились найти секрет *La Chartreuse*, но безуспешно. А ведь действительно, — заметил Альфред, — если виноград надо растить и ухаживать за ним, то травы нужно только собрать. Стоит ли объяснять, как был удивлен и обрадован Ренан, когда его угостили первоклассным шартрезом! А когда он и в самом деле поверил, что это не шутка, не ошибка, то пришел прямо-таки в неистовство. Он осыпал Александра ласковыми словами и, запершись с ним в кабинете, с замирающим

сердцем постигал урок, который весьма умело давал молодой человек. «Вот теперь, теперь...» — приговаривал он, потирая от восторга свои полные ручки, и бегал по всему дому. Что «теперь», Александр не понимал как следует, зато обратил внимание, что с того дня его хозяин развил бешеную деятельность. Устройство судьбы молодого человека на время было отложено, потому что в соседнем городке спешно закупались бутылки особой формы, а в самих Лозах так же споро сколачивались ящики, предназначавшиеся для этих бутылок. Целый отряд под руководством Александра ползал по холмам и лихорадочно набивал нужными травами бесчисленные корзины. Наконец первая партия напитка была готова, и он вышел недурен. В один из дней состоялась дегустация: перед специально вызванными работниками, трактирщиком и местным кюре были выставлены по два сосуда, слитые из разных бочек, — с настоящим и поддельным шартрезом, и они, сколько ни пробовали, не могли отличить один от другого. Ренан тем временем связался со своими торговыми агентами в Париже и в некоторых других крупных городах. Агенты заверили его в несомненном успехе. Спустя несколько недель вереницы подвод потянулись завоевывать Францию.

29

Альфред пригубил шартрез, и рука его сделала неопределенный жест: видимо, он тоже не был уверен, чей шартрез пьет в данную минуту. Очень скоро он продолжил таким образом:

— Протекло время. Неожиданная удача раззадорила Ренана, который все более сближался с Александром, ее принесшим. Как я уже упоминал, детей у Ренана не было, и в периоды наибольших успехов его все чаще посещала беспокойная мысль: какую, собственно, цель преследует это безудержное накопление? Ренан был делец, но из ума еще не выжил и порою мрачнел без видимых причин. Александр и по летам, да и по складу, по вполне заметной *comme il faut*, годился ему в сыновья, Ренан смутно это чувствовал и в общении с ним выказывал столько нежности, сколько могла родить его изрядно подсохшая душа. Он ловил себя на мысли, что ему вовсе не хочется, чтобы Александр покинул Лозы и оставил его наедине со своим одиночеством, которого с годами становилось все больше и которого он было приспособился не замечать. Ему не хотелось больше проводить вечера в борьбе с потрепанным томом «Кавалера Фобласа», который, если не считать бухгалтерских талмудов, являлся едва не единственной книгой его кабинета и которого — он знал — ему никогда не дочесть до конца. Ему было невыразимо скучно смотреть на бесчисленные буквы, поэтому он глядел на корешок.

— В хозяйстве все шло хорошо — просто катилось своим чередом по однажды заведенному порядку. Между тем картезианские монахи, понемногу начавшие оправляться от страшной болезни и сохранившие благодаря жесточайшему карантину основные силы братии, к своему негодованию и возмущению, прознали про то, каким грозным конкурентом в лице Ренана наградил их Господь. Недолго думая они притянули Ренана к суду. «Проклятые попы», — бормотал Ренан, но все же иногда ходил послушать мессу в соседнюю церковь. Ренан не собирался сдаваться и только чертыхался. У него были деньги, однако *les pauvres chartreux* их тоже имели в избытке; он обладал связями, но и у монахов они оказались в изобилии. Дело должно было слушаться в Марселе, но из-за холеры, схватившей город железной хваткой, никак не получало развития. От кого-то Ренану стало известно, что картезианцы, вполне осознавая бесплодность попыток заставить Ренана совсем отказаться от производства ликера, тем не менее намерены принудить его выставлять на своих бутылках обязательную надпись: «*Imitation de la chartreuse*»². На совете со своим адвокатом и нота-

² Подделка под шартрез (франц.).

риусом требование это было Ренаном признано недостойным служителей церкви, а следовательно, невыполнимым. Ренан готовился к борьбе. Дух соперничества разгорелся в нем — тот самый дух, что подогревал всю его жизнь, наполненную коммерческим интересом. Сразить конкурента для него было делом чести, как для Наполеона было делом чести захватить Сарагоссу. Однако... как ничтожны человеческие труды, — вздохнул Альфред, — стоит ли и начинать. Словом, судьба вновь помешала в своей тарелке, и то, что слагалось кропотливо и обдуманно, что казалось неизблемым, миг сделалось неузнаваемым. Холера, хм... какое странное слово, — протянул Альфред, — кажется, греческое? Как вам это нравится: античные боги, погибающие в собственных испражнениях. Н-да. Отрезвляющая картина... Однако я продолжаю, — произнес он, перехватив мой недоуменный взгляд.

Он уже давно оставил ликер и приступил к вину. Мне показалось, что он попросту пьян, — так оно и было. Его вдруг обуяла странная веселость.

— В каком году мы с вами живем? Ах да. У нас еще все впереди. Ха-ха-ха. — Здесь он оправился, налил себе вина и продолжил — довольно связно — так: — В один прекрасный день — я хочу сказать, в конце концов — холера прокрасалась в «виноградную ночлежку». Пользуясь своим законным правом, работники разбредались, а некоторые исчезли так скоро, что не явились даже за расчетом. Александр по старой памяти, словно заговоренный, ухаживал за больными, но все остальные хорошо понимали, что, в сущности, снадобье здесь только одно — бегство. Люди уходили, и наконец бегство сделалось всеобщим, так что некому стало уже грузить на подводы готовое вино и ликер.

— Шло время. Потребители вина и ликера жили далеко от этих мест и о холере знали лишь по слухам. Они хотели вина и ликера и требовали этого у держателей парижских и лионских *cafés*, те рвали волосы с досады и умоляли поставщиков достать вино и ликер, а последние слали Ренану отчаянные и негодующие письма. Налаженный механизм разваливался, Ренан знал цену эпистолярным любезностям и подсчитывал убытки с той же настойчивостью, что и прибыль. Невозмутимость не покинула его, но он стал безразличен, бесстрастен ко всему, что составляло смысл его жизни. Казалось, что все те раздумья, которые одолевали его последнее время, были предверием краха, предчувствием, первым облаком после засухи и очень логично укладывались в линию его судьбы. Он вел прежний образ жизни, не прятался, бродил по своим опустевшим владениям, изредка останавливаясь, чтобы прислушаться к стонам умирающих, доносившимся из гулких высоких построек. Иногда он подолгу сидел в холодном, нетопленном и пустом кабинете, вглядываясь в портрет жены, выполненный некогда проезжим академиком в благодарность за ночлег, а однажды долго о чем-то беседовал со своим нотариусом, приехавшим в Лозы не без страха и после второго приглашения. Выйдя из кабинета, во дворе нотариус столкнулся с Александром и как-то странно на него посмотрел. Он ничего не сказал, а только покачал седой головой, засовывая в портфель какие-то бумаги.

Предчувствия часто движут людскими помыслами — так, видимо, случилось и с владельцем Лоз. Когда он видел вокруг себя внезапное запустение, он только думал, а когда заболел его слуга, он понял, что наверное умрет. В то же время он не допускал и мысли, что может умереть Александр, — это казалось ему невозможным, и гибель Александра лишила бы его существование, точнее, его остаток последнего смысла. Наитие вполне владело Ренаном, и его замыслы на этот раз двигались рука об руку с тайными капризами судьбы. Дела тем временем становились не просто хуже, а уже прямо никакими. Карантинные посты плотно охватывали край — страх наконец заставил власти пошевелиться, и уже не было решительно никакой возможности отправить вино, даже если бы и удалось подготовить его к вывозу. Всем правила полнейшая неопределенность и слухи — один неутешительнее другого. Некогда шумное даже и ночью, поместье

превратилось в мертвый сад. Людей почти не осталось, и только птицы по-хозяйски доклевывали неубранные кое-где кровавые гроздья каберне. Александр и еще несколько человек... Впрочем, — вздохнул Альфред, — спасти удавалось очень и очень немногих — единицы, да и то неизвестно, спасли ли их, или же они сами выздоровели, кто это может знать? Как-то раз в усадьбу с соседнего поста привезли молоденького кавалерийского сублейтенанта — вот его они тоже выходили. Боже мой! Или это только так кажется? Как бы то ни было, какой злой мальчик! Однако, — заметил Альфред, потирая лицо рукой, — я велеречив. — Он залпом осушил бокал. — Я становлюсь утомителен. Но вы желали слушать — извольте.

Я жестом пригласил его продолжать и дальше услышал следующее:

— Предчувствия не обманули Ренана — однажды он ощутил подозрительную слабость. Надежда еще шевелилась в нем, но скоро сомнений уже не оставалось. Тогда он призвал Александра к себе, и нотариус огласил завещание. Все движимое и недвижимое имущество, за исключением самой малости, отошедшей соседнему юре, с которым Ренан был некогда дружен, доставалось Александру де Вельду. Александр еще не понял хорошенько, какой поворот произошел в его судьбе, что именно она вложила ему в руку теплым осенним вечером вместе с листами зеленой бумаги, но сообразил, что возражать было бы нелепо, возражать — значило отвергнуть нечто такое, что было пока непонятно, но что было крайне важно этому лысому умирающему человеку, воля которого еще светилась в упокоившихся глазах. Единственное, чего не хотел Александр, так это того, чтобы его величали фамилией аббата — де Вельд. Нотариус попытался было объяснить, что времени почти нет и что это крайне важная юридическая зацепка, но Ренан решил дело еще проще. «Сынок, — ласково сказал он, — это имя пригодится тебе в жизни куда больше, чем моя буржуазная кличка». Александр смирился. Он чувствовал, что еще на очень многие вопросы придется дать внятные ответы — со временем и самому. «Ты должен жить, — сказал Ренан, приподнимаясь на подушках, — а потом работать. Ты умеешь работать». Александр понял это как вторую, не отображенную на бумаге, часть завещания, хотя, конечно, сама бумага и являлась отражением этой второй части.

— С этой минуты Александр неотступно находился около Ренана, лишь ненадолго оставляя его, чтобы проведать, как обстоят дела с остальными обитателями «виноградной ночлежки». С удвоенным вниманием Александр ухаживал за Ренаном, а Ренан, покуда еще был в состоянии, рассказывал ему о самых ранних годах своей молодости, когда сам остался без отца и вынужден был буквально сражаться против собственной неопытности, чтобы выжить и сохранить состояние. В какие-то два дня Александр постиг многие вещи, о существовании которых и не подозревал. Ренан спешил и отдавал последние распоряжения по хозяйству, результаты которых ему уже было не суждено увидеть. Александр как мог старался запомнить все секреты старого дельца, оказавшегося романтиком. Несмотря на все молитвы Александра, Ренан становился все хуже и хуже, и еще спустя сутки его не стало. — Альфред снова выпил целый бокал. — Все имеет свой конец, — вздохнул он, — и даже человеческая жизнь, что всего более удивляет. Не правда ли, это должно удивлять? — отнесся ко мне он совсем уже нетрезвым тоном. — Простите, мой друг, — вздохнул он, обратив внимание на мое недоумение, — простите мне эту развязность — она невольна, как и многое на этом свете, а мы эту невольность частенько и не по праву принимаем за тщательно обдуманное преступление. — Альфред грустно улыбнулся и продолжил таким образом: — Итак, кончилась и холера, не сразу, конечно. Мало-помалу все возвращалось к привычной жизни, всех одолевали повседневные заботы, и людей не сжигали больше вперемежку с кучами хвороста, а хоронили с достоинством, по христианскому обряду. К счастью, старый нотариус Ренана остался в живых и много наставлял молодого человека относительно хозяйственных

дел, не утерять переписки и добросовестно представлял юридические интересы Лоз и их нового владельца. Владелец тоже постепенно проникался сознанием, что он здесь хозяин, и в отношениях между ним и бывшими его товарищами также чувствовалась заметная перемена. Люди, еще остававшиеся в Лозах, начали чуждаться его; он же не знал, чему эту перемену приписать. Нотариусу пришлось не по душе та видимая простота, которую Александр выказывал всем без разбору, и он не раз замечал ему свое неудовольствие. Но еще большее недоумение, ужас и смятение вызвало в душе старика стремление поделить первые же полученные деньги поровну между всем населением своего поместья. Напрасно нотариус хватался за голову и доказывал молодому человеку, что подобная блажь только навредит хозяйству, — кое с чем Александр соглашался, а кое с чем и нет. Ха-ха-ха! — вдруг дико захохотал Альфред.

— Что с вами? — испуганно поднялся я.

Альфред пьянел на глазах. Он указал мне на пол, отделанный кафельным домино:

— Взгляните, какая шутка: два цвета смерти — черный и белый, потому что люди так и не разобрались еще, печалиться им, когда она приходит, или радоваться.

Готов поклясться, что в этот миг глаза его блистали неземным блеском, а чудовищный хохот испарывал душу.

— Ах, вы меня пугаете, — сказал я. — Кажется, сегодня мы хороним меня, а не вас.

Альфред потер лицо и, словно не замечая моих слов, продолжил так:

— Солнца было много тем летом, и виноград был полон сахаром. Народ, прослышав про то, что порядки в Лозах после холеры ничуть не изменились, а стали только причудливее, стекался на работы, и машина снова закрутилась. У работников был теперь свой доктор, а для их детей устраивалась школа. Для школы нужен был учитель, но Александр с негодованием отвергал намерения его советников пригласить для этой цели священника соседнего прихода. Эта мысль казалась ему кошунственной, и немой кошмар пережитого вставал во взгляде его темных глаз. Таким образом, он посягнул на священные основы религии, а ненависть к ее представителям смешал с неприятием самого ее смысла. Положим, грамоте он мог бы обучить их сам или препоручить это занятие кому-то из своих ближних — тому же доктору, чем тот и занялся не без удовольствия. Но ведь существовало нечто, для чего и изучают грамоту, для чего эта самая грамота служит лишь обрамлением, средством, ланцетом в руке хирурга, и Александр догадывался об этом. Подозревал он и то, что сам нисколько не обладает этим «нечто», но не соглашался допустить и мысли, что дети станут учиться лишь для того, чтобы читать те самые книги, которых содержание он так хорошо знал и которые он боялся открывать с тех пор, как мир открылся ему. Ненависть, в свое время так неожиданно его посетившая и испугавшая, чудовищное ханжество воспитателей, видимая архитектура мира лишили его страха и ощущения того Бога, которого он знал и верил в его разумность и незыблемость, как в солнце. Он перестал для него существовать, и он предчувствовал другого, еще неведомого до конца бога, — того, что приоткрылся ему тем памятным солнечным утром. Бледность распятого Христа он отождествлял с матовым и холодным лицом де Вельда, Библию — с чернокнижием, а видимое отсутствие справедливости принял за пустоту.

Он понимал, что и ему самому надобно учиться вместе с теми детьми, для которых затеивалась школа. Как-то ему пришлось побывать вместе со своим нотариусом в Марселе. Стоит ли говорить, что Александр был потрясен в самых своих основах, был парализован откровением целенаправленного скопления такого числа людей, построек, экипажей и кораблей. Корабли, которые, словно белокрылых птиц, ласкало на своей поверхности морщинистое море, волнуемый особый загар матросов, чарующий запах простора и щемящее чувство неизвестности — куда уж реальнее. К не-

сказанной радости нотариуса, Александр вернулся в Лозы одетый если не щегольски, то... Во всяком случае, хотя сюртук и напоминал по цвету и покрою сброшенную рясу, но это было уже платье. Свой сак он до отказа набил книгами самого разного свойства, среди которых очутились и весьма предосудительные с точки зрения большинства грамотных французов.

— Если прежде Александр считал своим долгом и потребностью ежедневно разделять труды своих работников, то наконец он задумался о том, что ему теперь придется выполнять иную работу. Но по возвращении из Марсея и эти заботы были оставлены на время: Александр читал. Удивительные для его сознания вещи, описанные в книгах, причудливо переплетались у него с непреходящими впечатлениями, полученными в большом городе у моря. Читая и живя, он ощутил сладость добычи, как в то запретное утро, когда воровал груши и персики в чужом саду, почувствовал грацию кокетства, которое вспоминалось ему игрой розовых ленточек на шляпках горожанок, почувствовал прелесть лукавства, непонятную обязательность лицемерия, выгоду хитрости — необходимость греха. Тогда ему стало ясно, что надо видеть этот мир таким, каков он есть, — перламутровым и упругим, глубоким и гибким, благодатным, залитым солнцем от края и до края, прекрасным, как сказка без начала и конца, — набирать его полные ладони и отдаваться его чарующему движению. Попытки людей со строгими лицами упорядочить этот мир, не касаясь до него, создать с него убогий и душный слепок, увести в области отвлеченного то, что сделалось ему вдруг так просто и пронзительно ясно, показались ему нелепым недоразумением. Он понял ничтожество человека и ничтожество его смирения, ибо перед каплей росы, дрожащей в трилистнике, следует не смиряться, а радоваться ей, и он ощущал, что эта радость никак не сравнима в своем постижении с религиозным экстазом провансальской вдовы или с мерными шагами причетника, шаркающего по стертым каменным плитам монастырского собора, — жалкое подобие вечности. Ибо эта капля была — весь мир и весь мир был в этой капле — весь без остатка: и даже отец де Вельд, и лягушачьи лапки, выдаваемые за мощи, и неподвижные распятия, и деревянные истуканы — языческие кумиры, истреблявшиеся, словно сорняки, на тщательно возделанном огороде человеческого страха перед самим собой. Теперь уже царство божие в исполнении де Вельда — этот гимн небытию — не манило Александра, и он думал о том, что если б не было на свете ни рожающих друг друга людей, ни очаровательных красок, ни бесшумного движения природы, если бы все были монахами и носили черные одежды, на которых не заметна грязь, то мир походил бы на сарай, уставленный бесчисленными и пыльными бутылками с шартрезом. Кстати, — усмехнулся Альфред, — вам никогда не приходило в голову, что ангелов изгоняют не за низость естества, а за неразумие?

Я не знал, что отвечать, и молчал.

30

— В это самое время события развернулись следующим образом. Как я уже имел честь сообщить вам, холера прекратилась. Однажды в Лозах получили письмо из Марсея от некоего Леру, торгового агента, который пережил эпидемию вдали от дома, а вернувшись, обнаружил на своем складе значительные запасы шартреза, сделанные, видимо, еще покойным Ренаном. Леру спрашивал, как с ними поступить. «Продавать», — отвечал Александр. Напиток, ставший любимым лакомством многих горожан, снова поступил в продажу. Картезианцы были чрезвычайно смущены открытием, что у них опять появились конкуренты, забили тревогу и навели справки, откуда именно исходит угроза их благосостоянию. Не теряя времени монахи затеяли новый процесс и притянули к суду теперь уже Александра, даже не зная хорошенько, что он за птица. Их требование по-прежнему сводилось к тому, чтобы обязать его выставлять на своих бутыл-

ках надпись: «*Imitation de la chartreuse*». Наперсник молодого человека — нотариус — подробно развил перед ним все сложности защиты и говорил прямо, что сомневается в успехе. Замечал и то, что нет лишних денег на адвокатские гонорары. Александр смотрел на дело совсем другими глазами. Он успокоил своего опытного друга и сообщил ему, что по счастливому стечению обстоятельств сам является своим адвокатом. С этими словами он взял перо, подвинул к себе лист бумаги и после недолгого размышления принялся неторопливо заполнять белое пространство чернильной вязью. В легкой, приятельской манере Александр убеждал приора отказаться от своих требований, между делом непринужденно намекая на это в таких выражениях, которые живо напоминали де Вельду нелестные для его репутации происшествия последних полутора лет. Он давал понять, что узнал в русском консульстве то, что должен был узнать по праву рождения, и что в любой момент готов предать огласке чудовищные махинации церкви с живыми людьми. Упоминал — хотя это было и не так, — что история его жизни стала ему известна от людей, готовых под присягой подтвердить свою правдивость, и, не жалея красок, подробно живописал последствия скандала, который неминуемо разразится, если дело по поводу популярного напитка дойдет до суда. Эти подробности были заимствованы из одного весьма кстати попавшегося романа, с помощью которых наш падший ангел пополнил пробелы своего образования. «Дорогой отец, — завершал он не без иронии, — согласитесь, что было бы неслыханным кощунством выносить тайны чисто семейной истории на обозрение публики. Давайте же не будем позорить наше славное имя и закончим это неприятное дело так, как и подобает людям, для которых заветы христианства не просто звук, а непреложные правила существования. Остаюсь преданный Вам сын

Александр де Вельд».

Проделав все это, Александр припомнил, каков собою герб на одном из перстней его названного отца, и изобразил его на бумаге. Среди пестрого люда «виноградной ночлежки» имелись мастера на все руки, и не составило труда отыскать человека, владеющего искусством резьбы. Очень скоро в руках у Александра оказался перстень точь-в-точь такой, какой он сотни раз видел на пальце своего благодетеля, склоняясь к его холеной руке для сыновнего поцелуя. Некоторые детали герба должны были указывать на то, что далекий и славный предок его нынешнего обладателя был в числе тех, кто в 1273 году избрал графа Рудольфа германским императором. Довольно насвистывая, Александр запечатал конверт новорожденным перстнем, тем самым давая понять, что и он допускает свою причастность к столь древнему роду, славному такими-то делами. Мне, увы, неизвестно, какое впечатление произвело это послание на душу приора де Вельда, но знаю, что тело претерпело. Впрочем, одно без другого не страдает. С ним случился удар, и после продолжительной болезни он был способен передвигаться только при поддержке двух прислужников. Подавленный такими неожиданностями, которые оказалась не в состоянии перебороть его крепкая натура, он едва ли не впервые в жизни растерялся и отступил. Блеф удался на славу, шартрез расхотелся отлично, однако Александр, начав с обороны, сам перешел в наступление, как это часто случается. Он не вынашивал никаких планов мести и с ужасом оглядывался назад, но коль скоро картезианцы напомнили о своем существовании, Александр решил не щадить их, тем более что этого требовали его торговые интересы. Как-то раз, пролистывая один труд по естествознанию, он натолкнулся на описание чудесных свойств фосфора и тут же попросил достать на пробу этого вещества. Фосфор доставили, и Александр воочию убедился в том, что в темноте фосфор являет собой удивительное и загадочное зрелище. Тогда Александр без промедления начал учиться верховой езде. От природы ловкий, он в самом скором времени уже недурно держался в седле. Одновременно он списался с Леру и узнал от него, кто участвует в торговле с кар-

тезианцами, куда и как часто последние возят свой товар и по каким дорогам передвигаются. После этого он отобрал из своих работников человек шесть-семь отчаянных головорезов, и весь день в каретном сарае шли деятельные приготовления, которые человеку сведущему напомнили бы рабочую комнату парижской модистики. Вечером, когда начало темнеть, Александр и его люди, вооруженные косами, тихо и незаметно выбрались из Лоз и собрались через полчаса на большой дороге. Все участники предприятия были налицо, и маленький отряд быстро удалялся в сторону Монперадье.

Ночь, которую предстояло провести на ногах, выдалась спокойная, но унылая. Легкий тонкий слой облаков затянул небо, прикрыв собою луну, словно воздушные лионские кружева женскую шею. Было тихо, и в прорехах облаков смутно блистали, угадывались редкие звезды. Изредка налетал тревожный ветерок и исчезал так же неуловимо, как и появлялся... Вдруг тишину разрезал чудовищный нечеловеческий вопль. Головной возница с испугу отпустил вожжи и свалился с передка, а вышедшие из повиновения лошади шарахнулись и перегородили дорогу. Обоз встал, и сбежавшиеся монахи столпились, не веря своим глазам и цепenea: прямо перед ними, на пригорке, в каких-нибудь пятидесяти шагах, двигалось дьявольское шествие. Казалось, страшным всадникам не было никакого дела до очутившихся здесь монахов, казалось, они не замечают, не видят их глубокоими, как преисподняя, глазами, границы которых, как и очертания ртов и проваленных носов, жутко светились неземным, мерцающим, трупным светом. Шаг в шаг ступали лошади, мерно, невесомо — могильно, не издавая ни единого звука, и возникало ощущение, что они тоскливо и зловеще парят по ночному простору, не касаясь ногами земли, а зловещая луна скупое серебрила металл расправленных кос и фосфоресцирующие складки широких одеяний, давно забытых в состарившейся Европе. Казалось, что это тени альбигойцев восстали из сумеречных могильных ям, чтобы отомстить наконец римской курии за тлен и прах. Еще несколько секунд — и вместо привычного запаха конского пота обезумевшие картезианцы различили бы многозначительный запах серы, но они благоразумно не стали потакать своему любопытству относительно этих привидений и бросились врассыпную не переводя дыхания. Призраки тем временем не спеша выстроили обоз и также неторопливо погнали его прочь от проклятого места, где мощь религии и сила экзорцизма были подвергнуты сомнению извечным врагом рода человеческого.

31

— Надо сказать, — заметил Альфред, — что монахи и впрямь очутились в весьма двусмысленном положении, когда, собравшись вместе, бледными губами рассказывали простодушному трактирщику в ближайшем городке, который миновали всего час назад, о своем приключении. Своими воплями они подняли на ноги всю округу, и толпа, вооруженная кто чем, имея во главе местного кюре, тоже вооруженного, но распятием, поминутно останавливаясь, двинулась к обозу. Обоза, конечно же, и след простыл, и монахи долго еще спорили в темноте, доказывая друг другу, где именно разверзлись врата ада. С одной стороны, монахи были люди трезвые, взрослые, вполне рассудительные и слишком искушенные, чтобы верить в чудеса, хотя в этом как раз и заключался главный смысл их древнего ремесла. С другой стороны, сколько на слуху историй — непостижимых, удивительных происшествий, — которые не взялся бы разгадывать самый авторитетный синедрион самых отпетых мучеников науки, которые призывали пытливо ошупывать абсолютно все и с удовольствием расчленили бы даже херувима, чтобы составить представление о его способностях к воздухоплаванию. Неудивительно поэтому, что монахи предстали перед воротами своей обители в самом трепетном и жалком виде, поминая о

том, что монастырская библиотека хранит на своих старинных полках описание явлений куда более примечательных, чем этот заурядный грабеж. Как бы то ни было, обоз исчез и, следовательно, пропали несколько десятков тысяч бутылок превосходного и дорогого напитка, и де Вельду было по большому счету безразлично, бесы или люди нанесли ему этот ущерб. Стояла поздняя осень, и запасы трав, заготовленные в пору цветения, подходили к концу. Недовольные негоцианты требовали с монастыря деньги, уплаченные вперед, чем не преминул воспользоваться Александр, тут же подсунув судовладельцам ликер собственного изготовления. Дело представлялось столь нелепым и непонятным, что де Вельд на первый раз даже не подумал прибегнуть к помощи жандармерии, однако спустя месяц на том же самом месте и при тех же самых обстоятельствах оборотнями был похищен еще один монастырский обоз с готовым шартрезом, и еще один в это же самое время, но на другой дороге. Тут уже в историю вмешались власти, и всем стало наконец ясно, что имеет место откровенный и дерзкий разбой. На дорогах были расставлены драгуны, а передвижения монастырского добра отныне сопровождала конная жандармерия, представители которой, так сказать, не верили ни в чох, ни в сон.

Нетрудно догадаться, что на время прекратились и нападения, но дело было сделано: картезианцы подсчитывали убытки, а Александр — барыши, ловко завоевав новых клиентов. Следствие, проведенное властями, ничего не дало, и де Вельд совсем сдал. Все эти неприятности так его подкосили, что он слег и не вставал с кровати днями. Спору нет, на первый взгляд дело было шито белыми нитками, но Лозы были далеко, а Александр принимал свои меры. Дело в том, что картезианцы для розлива своего ликера использовали бутылки, изготавливаемые стекольным производством в самой Шартрезе, а Александр получал свои из Марселя, с мануфактуры, принадлежащей графу де Вез, и форма бутылок была различной. Александр перемещал свою добычу по ночам малоезженными дорогами, а добравшись до Лоз, тут же приступал к переливанию ликера в бутылки графа де Вез. Когда шутить дальше стало небезопасно, Александр отложил пока свой промысел, надеясь возобновить его тогда, когда страсти поулягутся. Но тут пришло известие о кончине приора де Вельда, и он, удовлетворившись достигнутыми результатами, забыл осиротевшую братию, предоставив заново завоевывать себе репутацию в беспокойном мире виноторговли.

32

— Между тем хозяйство «виноградной ночлежки» было почти воссоздано в том виде, когда еще Ренан переживал в Лозах свои лучшие годы. Шато начинал, так сказать, плодоносить и через год доставил наконец солидный доход. Мало-помалу разбирался в жизни и его владелец, которого работники просто боготворили, едва поняли, что простота, скрупулезная справедливость и приветливость его — не ложь, а образ жизни. Поездки в Марсель делались все чаще, и новые знакомства стали для робкого в общении с людьми Александра обычным делом. Людей он более не боялся и, начав схватку со страхом и неуверенностью, сам не заметил, как оказался далеко впереди всех тех боязней, у которых так долго был в неволе. Другими словами, он приобрел гораздо больше того, чем ему было необходимо в отношении с миром и людьми, чем мог он удовлетворяться, и, поняв это, он принял довольно бесцеремонно перекладывать — там, где мог, разумеется, — и мир и людей по своему подобию и в соответствии со своими представлениями и мечтами точно так, как играющий сынишка башмачника кромсает кусок кожи огромными отцовскими ножницами и этим развлекается. Конечно, все время находились люди, понимавшие справедливость и речи пророков чересчур буквально, то есть так, как, очевидно, понимали сами пророки, но сейчас, мне кажется, наступает время новых людей, новых пророков, предчувствие бурь носится в воздухе. Цер-

ковь уже сказала свое слово, а сейчас издает только никому не слышное шипение. Душа мира пуста — надобно ее заполнить, ибо природа не терпит пустоты. Свобода завоевана, а равенство — нет. Грядет век новых людей, чья жизнь охвачена одной мыслью, одним стремлением, и они, подобно отшельникам святой Фиваиды, весь мир превратят в свою пустынь... Но не кажется ли вам, — снова расхохотался Альфред, — что самая справедливая справедливость заложена в смерти? Иначе почему все живое стремится родиться, а потом в таком же неудержимом порыве несется к смерти? Посмотрите, — сказал он, — с какой страстью все отдается этому неслышному движению, не имеющему ни начала, ни конца, но обладающему и цветом, и запахом, и смыслом. Все неизбежно повинуетя, безоговорочно подчиняется этим божественным спиральям, своими токами пронзающим и дерево, и муравья, и самого жалкого, ничтожного на вид человека, и все это неудержимо врывается в жизнь, на землю, из земли, стремясь поскорее предстать, побыстрее кануть, освободить место другим, но место это не драгоценно, и цель этого неистового круговорота — разомкнуть себя самое, сойти с круга, среди рождений и смертей, встреч и расставаний, в гуще противоположностей создать, вымучить, как бы случайно зачать всем вместе нечто новое, что не будет уже человеком... Бог сделал свое дело — мир принадлежит нам, теперь очередь за нами. Вы слышите, — Альфред побледнел и вдруг схватил меня за руку, — они идут! Пора уходить, пора уходить.

— Да что с вами? — вскричал я. Было видно, что какие-то свои мысли владеют его умом и уносят его прочь от бочек с шартрезом, шато Лозы, да и меня.

— Ничего. Я продолжаю. Будучи в Марселе, Александр свел знакомство с неким шкипером, который являлся владельцем только двух вещей: первоклассного брига и недоброй славы. Что именно смущало умы и мораль граждан, точно мне неизвестно, но шкипер был свой человек в колониях и знал южные моря так же хорошо, как постреленок из квартала Маре знает, где раздобыть каштанов и сорвать монету. Несколько удачных торговых операций, исполнителем которых вызвался быть этот интересный человек, в короткий срок увеличили и без того приличное состояние Александра. К слову, он не мог не убедиться, насколько прав оказался Ренан, одарив его богатством, но отказав в слишком невыразительной фамилии. Имя приора звучало куда как тяжеловесней. Многие завсегдатаи салонов, чиновники и, конечно, деятели церкви хорошо помнили де Вельда, как будто были знакомы с завидной историей его рода, и это имя открывало Александру двери не одной марсельской, а чуть позже и парижской гостиниой. В короткий срок Александр оброс связями, знакомыми и приятелями в самых разных сферах нашей жизни. Некоторые пытались использовать его неопытность, чтобы тащить из него деньги, иные стремились завлечь в игру, и были матери взрослых дочерей, которые поглядывали на него с особого рода любознательностью. Сложно оказалось противостоять напору блестящих бездельников, настырности их подражателей и обаянию их приятельниц. Поначалу Александр поддавался на самые грубые обманы, но все-таки стал разборчив в своих знакомствах. Он врожденным чутьем сумел угадать тропинку в хорошее общество, но вскоре один эпизод едва не погубил его в глазах света. Дело было в том, что предприимчивый шкипер на свой страх и на средства Александра придумал сменив марку. Вместо лионского сукна и прочих традиционных товаров Старого Света шкипер польстился на предложения каких-то своих моряков и решил испытать себя на поприще работоторговли. Само собой разумеется, что Александр об этом ничего не знал, по привычке компаньона доверяя ему кредиты и предоставляя свободу действий. Бриг шкипера был задержан у американского побережья английским военным фрегатом с грузом «черного золота» в трюмах. Груз был конфискован, судно арестовано, а сам шкипер выдан французским властям. Здесь и всплыло имя Александр-

ра де Вельда. В суде Александр легко оправдался, благо шкипер проявил редкую порядочность. Случился небольшой скандал, газеты — а они у нас всеильны — живо разнесли по гостиным эту новость, и молодой человек пережил несколько мучительных минут, когда лакеи возвращали ему визитные карточки. Один господин, известный своей наглостью, прямо уже оскорбил его в присутствии людей, чьим мнением он дорожил. Александр догадался, что требуется сделать: он вызвал его и убил. Поединок снова доставил ему доброй славы, которая было пошатнулась. Кровь доказала невинность его намерений, — иронично рассмеялся Альфред, — и мнение общества перевернулось, прочно закрепив за Александром репутацию настоящего порядочного человека. Ко всему прочему, это досадное происшествие прибавило самому Александру немаловажных раздумий. Вникая таким вот образом в подробности современной жизни, он отдал себе отчет, что она ему не подходит. Очень многое по-прежнему оставалось непонятным и отталкивающим, зато красочные повествования шкипера о новых континентах, словно существующих для того, чтобы начинать на их просторах новые жизни, очаровали его. Они представлялись ему чем-то вроде *tabula rasa*, а себя он имел неосторожность отождествить с палочкой для письма, которой можно начертать что угодно. С другой стороны, годы уединенной жизни, проведенные в монастыре, давали о себе знать вполне понятной привычкой. Он обрел свободу и теперь снова устремился искать ее в уединении, ведь Новый Свет был не обжит и потому более ему понятен.

— Вернувшись в Лозы после двухгодичного скитания по парижским салонам, он объявил своим каторжникам об этом решении и пригласил их украсить его путешествие. Там оказалось немало бывших моряков, и все они были не прочь тряхнуть стариной. Почти все обитатели Лоз согласились переселиться на новую родину, тем более что старая не слишком ласкала этих бродяг. Лозы были сданы в аренду, на марсельских верфях готовилась к спуску на воду изящная бригантина, а Александр переводил свои капиталы в отделение одного из банкирских домов в Новом Орлеане. Там он сможет без помех воплощать в жизнь свои представления о свободе, достойной человека, всеобщей любви и безвозмездном труде. Там у него будут редкие возможности баловать свою разлюбленную общину разделом своего имущества, выкупать негров, ссориться с миссионерами и делать все, что заблагорассудится, то есть прочие глупости в том же роде, — зевнул Альфред. Он приступил к арманьяку.

— Когда же назначено отплытие? — поинтересовался я.

— Это вопрос недель, — еще раз зевнул он и прибавил: — Если, конечно, сегодня вам не удастся, так сказать, одним выстрелом навсегда отратить его от этого намерения. Но этого не случится.

— Что ж, нужно идти, — сказал я, бросив взгляд на каминные часы.

— Не забудьте шляпу, — заметил Альфред, — этот фасон вам очень к лицу, дай бог, чтобы и к голове.

— Благодарю. — Я взял шляпу. — Только одного я не сумел понять: какое отношение вся эта история имеет к неверным женам и глупым дуэлям? Хотя отчего же, как будто начинаю понимать. Вы действительно использовали последнее средство — поселили смятение в моей душе. Я уже и впрямь начинаю чувствовать симпатию к этому человеку. Того и гляди, промахнусь два раза сряду. Альфред, — улыбнулся я грустно, — вы оказали мне неважную услугу. Ну признайтесь, вы желали бы, чтобы я выстрелил на воздух или примирился?

— Вряд ли. — Альфред снова зевнул, и я понял, что это так и есть. — Будьте осторожны, — прибавил он.

— Итак, чего же мне более опасаться: меткости или кровожадности? — спросил я со смехом. — Вы ведь так и не рассказали мне об этих дуэлях.

— Сущие пустяки, — махнул он рукой. — Просто я хотел показать, что этот человек понимает пистолет как эстетическое продолжение руки, только и всего.

— Не беспокойтесь, мы с вами непременно разопьем бутылочку этого вашего шартреза, — отвечал я и на пороге остановился. — Кстати, вы были женаты?

Альфред окончательно перестал владеть собой, и ответом мне послужил безумный хохот. Под эти звуки я и удалился, приписывая такой странный финал нашей беседы всецело злоупотреблению вином.

Позже, к своему ужасу, я узнал, что в то утро пьяный Альфред выстрелил себе в голову сразу из двух пистолетов. Я горевал, однако не жалел, ибо он показался мне человеком, который твердо знает, как ему поступить в тех или иных обстоятельствах.

33

Утро выдалось хмурое, неприятное, бессовестное утро. Все мы оказались под серым колпаком непогоды, а когда я добрался до Булонского леса, то и вовсе стало накрапывать, и сырая земля обдавала запахами прелой листвы и блестящей коры промокших липовых стволов.

Мой капитан был на месте и терпеливо курил папиросу. Противники также не заставили себя ждать. Под впечатлением ночного рассказа я разглядывал моего обидчика, явившегося в сопровождении незнакомого господина с проницательными глазами, который то и дело зевал, прикрывая рот лосиной перчаткой. На ее скользкой поверхности старались удержаться колеблющиеся капли мелкого дождика, и когда он в очередной раз подносил руку к лицу, капли, как блохи, перескакивали на бороду и терялись в жестких извивах волос. Капитан, прикрывая коробку с оружием куском толстой материи, приветствовал Александра и его секунданта, отведя последнего в сторону для совещания. Тем временем я бросал украдкой на Александра изучающие взгляды, которые он замечал, но которые, по всей видимости, нимало ему не докучали. Он спокойно ожидал начала, бездумно проводя взглядом по мокрой траве, по отяжелевшим ветвям, словно усталая лошадка, запряженная в телегу и оставленная хозяином у дверей сельской пекарни.

Наконец секунданты уговорились, пистолеты оказались у нас в руках, и мы, молча поглядывая друг на друга, ожидали только сигнала. Я почувствовал внезапно, что рука у меня сделалась мягкая и неподатливая. Слова Альфреда еще звучали в ушах, и она, что называется, просто не поднималась. Около левого ботинка суелливая букашка убежала от влаги, стремясь забраться под рваный лист подорожника. Лапки у ней промокли, не слушались ее, она недовольно шевелила усиками, нащупывая дорогу и скользя по наклонной плоскости корявого листа, в воронке которого осколком разбитого стекла дрожала дождевая капля, преломляя собою бледные прожилки стебля, — капля прекрасная, но губительная для насекомого. Я с тревогой следил мучительную борьбу крохотной твари и страстно желал, чтобы она поскорей достигла обратной стороны листа — сухой и темной, — но уже не смог смотреть на нее. Сигнал был дан, и я с удивлением увидел, что Александр поднимает пистолет и преспокойно целится. В это мгновение мне показалось, что я поймал свои неверные ощущения: перед глазами встал покойный дядя, некогда обучавший меня в подмосковной — когда же это было? — науке стрельбы. Я целился в яблоко, поставленное на пень, дядя наблюдал, хмурился, кричал: «Пожимай гашетку плавно!», «Дуло прямо!», наконец не выдерживал, выхватывал у меня пистолет и снова начинал показывать, как следует держать дуло. Он зажмурился одним глазом, на секунду рука его замирала, а потом румяное яблоко веселыми брызгами разлеталось в стороны. Как замороженный я смотрел на Александра, а видел дядю и мальчика с табакерки, чувствовал на пальце согретую сталь курка, но не мог так запросто прервать это существование, что стояло сейчас передо мной. Тут что-то толкнуло меня в грудь, оглушило, обожгло, бросило назад, опрокинуло. Падая, я подумал о букашке, опасаясь, как бы мое крушение не разрушило ее спасительных

трудов. «Дуло прямо, дуло прямо», — совсем рядом, над самым ухом, где-то уже в самой голове, раздавался строгий дядин голос. Я старался выровнять дуло, но тщетно — кисть оказалась неестественно согнутой, и что-то не позволяло мне выполнить дядино пожелание. Еще и другие голоса вторили дядиному. «Не стреляйте, срикошетит!» — почему-то кричал мне капитан. Глаза застил туман. Какие-то лица, нет, не лица — белые пятна, проступили сквозь него и склонились надо мной. «Вот и все, стоило ли начинать? — сказал, наверное, Александр. — Ранен?» «Куда его везти?» — «Набережная Целестин, девять», — отвечал чей-то ангельский тенор. О, этот адрес он знал хорошо! «Константин — последний рыцарь, — сказала Вера Николаевна и всхлипнула. — А эти... — продолжила она плакать, — с графскими титулами торгуют коньяком, ужас». — «Хорошо, хорошо, Вера Николаевна, — успокаиваю я, — это дурно, они просто не знают, я им скажу». Я обращаюсь к ним: «Господа, великий князь Константин Павлович — последний рыцарь, господа...» «Дуло прямо», — кто-то бешено ревет мне в ответ и насмешливо хохочет. Дуло прямо, пистолет как эстетическое продолжение руки... «Таких людей больше нет, больше нет, так-то», — вздыхает князь М. М. Последний рыцарь умирает в Витебске от холеры. Холера, хм-хм, какое странное слово. Греческое, кажется? «О, — соглашается Вера Николаевна, — это очень может быть». Константин с егерями бросились через Треббью, но были отбиты... проклятье, были отбиты. Или это только так кажется?

Сознание покинуло меня.

Часть четвертая

1

Не могу точно сказать, сколько родилось и умерло людей за то время, что я не открывал глаз. Наверное, немало. Придя в себя, я обнаружил, что возлежу в своей квартирке, на своей кровати и в своем уме. Я недоверчиво вторил жестами обманчивому зрению, пытаюсь себя ощупать, однако острая боль в груди подсказала, что я пока жив. Я открыл рот, издал некий нечленораздельный звук и снова стал повелителем своей табакерки, гребенки, шелкового галстука и тысячи душ в заснеженной России, а заодно и своей собственной.

Отходил вечер. Расплавленное тягучее тесто вечернего солнца грузно вваливалось в комнату через огромные стрельчатые окна. Заметив, что рабочий день начался и двери открыты, все мерзкие, гадкие, неприятные, позорные, мучительные воспоминания, словно просители в присутственное место, потянулись в сознание и наполнили его коридоры и приемные возбужденным гулом и досужими сплетнями. Я лежал в тишине и косил глазом на столик слева от меня. Там разглядел я пузатый графин с водой, фарфоровый таз, склянки с какими-то микстурами, корпию, две груши, салфетки, некий конверт и колокольчик, подвязанный красной ленточкой. Неведомые доброжелатели предусмотрели все. Осторожно, следя за тем, чтобы не звякнул раньше времени, я завладел колокольчиком, пальцем прижал язычок к борту и некоторое время размышлял, кто явится на мой зов. Прежде всех прочих образов возник образ наемной сиделки из католического приюта, в крахмальном чепце и строгом платье с воротником огромным, как листья кувшинок. За ним показалось темное платье Веры Николаевны, потом застенчивая надежда привела даже жену, и где-то вдали мелькнули очертания этой жены, робко выглядывающей из-за портьеры и не решающейся приблизиться, однако то, что явилось в самом деле, мигом привело меня в чувство и уверило, что я более здоров, чем себе кажусь. Звук колокольчика возбудил за затворенными дверями приглушенные шумы, раздались тяжелые мужские шаги, дверь подалась, приоткрылась, замерла на мгновенье — я явственно слышал, как кто-то высморкался за

створкой, — наконец она распахнулась уже вся безвозвратно, и на пороге моим взорам предстал Ламб, долгожданный Ламб, немного обрюзгший, чуть полысевший, слегка побледневший, но все с той же неизменной готовностью предаваться всем своим ограниченными сумасбродными прихотями удовольствиям, где бы они ни повстречались, которая по-прежнему выглядывала из его глаз лениво и пресыщенно. Он смерил меня таким взглядом, будто мы расстались пять минут прежде, но тут я сообразил, что прошедшее время доставило ему множество завидных возможностей на меня наглядеться. Таким образом, я видел его впервые за пять лет, а он меня за эти пять лет увидел впервые гораздо раньше — когда?

— Две недели, как вернулся в Париж, — пояснил он, — получил твою карту и приехал, по иронии, в тот самый день, когда и тебя привезли. Чертовски забавно: подъезжаю к парадному — ба, что за маскарад? Несут на плаще. Хотел перевезти тебя к себе, да доктор запретил тревожить. А и капитан твой, нечего сказать, молодец — нет чтобы в госпиталь сразу. Странный малый. Так что пулю здесь извлекали. Да ты помнишь ли, как тебе морфий давали?

Я отрицательно поводит головой по подушке туда-сюда. Чудесное явление Ламба, словно явление Господа к торговцам во храм, в мгновение ока поизгоняло из ума всех моих «посетителей», так что там воцарилась пустота необыкновенная. Впрочем, один старый сторож еще караулил опустевшую канцелярию мозга.

— Где Елена? — Я всегда отличался правдивым нравом, потому-то и не сказал: где жена?

Ламб молча сделал рукой и всем своим корпусом какой-то неопределенный жест, некое сдержанное движение, которым показывал, что он этот вопрос уже прилежно рассмотрел и нашел, что жалеть здесь не о чем, а потому и спрашивать ни к чему и, следовательно, отвечать не следует. Его знаменитая непосредственность привыкла все решать за других, я же лишний раз имел возможность убедиться, что над некоторыми вещами не властно даже время, и возвысил голос.

— Пожалуй, ты мне ответь! — возмутился я. — Жена-то все-таки была моя, не правда ли?

Ламб задумался самым невинным образом. Увы, и было над чем подумать! Мои сухие губы изобразили улыбку, и с ней на пару я ожидал приговора. Ламб сказал:

— Почему-то мне кажется, что ты свободен. И это прекрасно. Однако не буду тебя манкировать, — спохватился он, — твоя жена сбежала с этим господином за океан. Я разумею, с тем молодчиком, который тебя подстрелил. Так что... — Он развел руками с тем видом, с которым иные люди говорят о смерти: «Что ж, дело-то житейское».

Удивительно, но шутки Ламба смягчали удары, которые он же и наносил.

— Оставь свои глупые шутки, пожалуйста, — все же процедил я.

— У меня нет жены, — ответил Ламб, — мне нечего и опасаться. Некого, лучше сказать. Я предпочитаю иметь дело с чужими женами. Что правда, то правда. Знаешь ли, здесь теперь много жен. Право, совсем как в Петербурге.

— Мерзавец, — отрезал я, весьма комично отвернувшись.

Он жизнерадостно подмигнул.

— *Mais*, я понимаю тебя — ужасная страна, распущенные нравы. Кстати, тут заходила... — он порылся в кармане и нашел карточку, — Вера Николаевна Стрешнева. Справлялась о твоём здоровье. Католичка, оказывается? — Он пожал плечами. — Русские — католики, а француз Ламб все еще православный. Или православен? Как правильно? Чертовщина какая-то. Стал забывать один из родных языков. Погоди, ты как себя чувствуешь? Ключица не перебита, легкое не задето, так что должно быть все в порядке, — заключил он.

— У меня душа болит.

— Ничего удивительного. Душа в груди, пуля туда и угодила...

— Прекрати же, — простонал я.

2

Поправлялся я, вопреки ожиданиям, весьма скоро. Нескончаемые дела вызывали Ламба в очередное путешествие, на этот раз они поджидали его в департаменте Жиронда. Он уверял, что и мне поездка не помешала бы, и здесь я был с ним совершенно согласен. Всего более мне шло на пользу общество моего бесцеремонного друга, и в этом мы тоже были единомышленны.

Весна уже ласкала Францию теплом и светом. Отказавшись от всяких дилижансов, мы не спеша ехали на своих. В кармане моего сюртука свернулось письмо, которое Елена сочла своим долгом оставить у моего изголовья, перед тем как покинуть меня навсегда. Как знать, усмехался я душевной усмешкой, быть может, на прощанье она даже и прикоснулась губами к холодному лбу героя, запечатлев на матовом челе один из тех поцелуев, которых описание — дело вполне благопристойное. Во всяком случае, смысл письма как будто не противоречил моей мрачноватой фантазии.

«...я благодарна вам гораздо более, чем вы могли бы только предположить... я гадкая, падшая женщина, но я полюбила. Не правда ли, это был единственно достойный выход — расстаться, а не унижать друг друга (!) обманами и ложью. Поверьте, никогда бы не решилась я нанести вам подобное оскорбление, передавая записки через Луизу, впутывать прочих слуг и всех на свете...»

Простите, я внезапно увидела жизнь яркой вспышкой света и не захотела наблюдать ее утомляющим глаз блужданием жалкого солнечного луча, шарахающегося от хмурых облаков...»

Ах, к чему все это? И это тоже не требует слов. Почти любой современный роман содержит образчики этого стиля, и там-то без труда можно с ними ознакомиться. С ее стороны обмана не было — была ошибка, однако ошибка досадная более для меня, чем для нее. Это, по крайней мере, она признавала. Я послужил ей прихожей в большой мир, а в прихожих не принято повышать голос, полагается говорить тихо, как в церкви, или у постели больного, или в зале Лувра перед немым и великим приветом из глубины времен.

Вернувшись в Париж, первым делом я бросился к Вере Николаевне. Я обнаружил, что сделался непонятным средоточием чужих жизней, обрывков судеб, похожих на рваные клочки облаков, беззастенчиво повелеваемых безалаберными ветрами, призрачных воспоминаний, уподобленных беспокойным снам, и увядших сказок, рожденных из сумрачного лона легенд, которые как будто нарочно достигали моего слуха, как бы невзначай проникли в сознание и требовали соединения, словно трепещущие руки влюбленных перед алтарем.

— Где, где этот литератор? — безумно вопрошал я. — Боже мой, ну тот, что читал нам свою повесть? Мне надобно повидаться с ним.

— Ах да, — замялась Вера Николаевна. — Вы, верно, разумеете господина Жерве? — Она прошлась по комнате. — Несколько дней назад он убит на дуэли. О, это очень трогательная история, — начала Вера Николаевна, заметив, что я изменился в лице. — Бедняжка, какой талант... как много обещал. Постойте, я расскажу вам сейчас в двух словах...

Положительно, люди исчезали из жизни, как волосы с головы. Признаться, я не слушал ее. Я изрядно устал от всех этих трогательных историй, как выразилась Вера Николаевна, и испытал едва ли не бешенство оттого, что нить моего вынужденного любопытства вновь ускользает от меня. «Истина бродит по миру в поисках своего отражения и не находит его». Она смотрит в все зеркала, которые попадают ей, но ни в одном из них, искривленных временем и забывчивостью, себя не узнает, а потому не знает в лицо себя самое. Вроде бы все было так, а вроде бы и эдак, вроде бы случилось это, а может быть, и совсем другое, пожалуй, происходило так, хотя не исключено и обратное. Никакой точности, никакой по-

следовательности — одна лишь проникновенность. Поглощенный своим докучливым несчастьем, я упустил из виду, что не одни зеркала существуют на свете, а есть еще кристальные ручки, которые сочатся из земли, настойчиво призывая к себе все лики, и притихшие в складках горных кражей маленькие ледниковые озера, которые никогда не лгут, во-первых, потому, что им незачем этого делать, а во-вторых, по той причине, что не обладают памятью — этой мифологией души. Да полно, я-то сам существую или нет? Или это только так кажется?

Я возвращался в Россию один.

3

Любовь выходила из меня толчками, как выходит кровь из артерии, перебитой кубачинским клинком. Неправильный круг моей жизни был близок к тому, чтобы замкнуться. Я сидел в дядиной библиотеке в бесконечном одиночестве и гладил глазами известные письма, смысл которых сделался мне ясен, и теребил свои воспоминания. Изредка в этот сон наяву бесцеремонно вторгалось озабоченное кудахтанье Николеньки Лихачева или старческое кряхтенье иссохшего Федора. Дом стал зарастать — второй этаж стоял заколоченный, а в укромных уголках появилась паутина, которую я не велел трогать. Мошь водила по всем моим покоям задушевные хороводы, а мысли, невзначай вспыхивая, без сожаления потухая, умиротворяюще мерцали в голове, как звезды в южную ночь. Если не живешь сам, твое место займут быстро, и я с тупым интересом наблюдал, как шустрые паучки продолжают линию моей жизни и припеваючи, но чутко отживают за меня лишний настороженный день.

Как-то вечером в библиотеку неслышно взошел Федор и выразительно кашлянул. Я провожал отгорающий закат, пролитый безжалостной иглой Адмиралтейства, но это великолепное зрелище не задевало во мне ни одного предчувствия. Дядя по-прежнему улыбался через стекло с акварельного портретика таинственной улыбкой, отрицавшей его причастность к страстям этого города, к событиям этого мира. Заслышав шорох, я обернулся:

— Что?

Федор поклонился и вручил мне конверт без штемпелей и сургуча. Я раскрыл его — несколько ассигнаций выпали оттуда. Билетов было на двести тридцать рублей. Я недоуменно вертел их в руках.

— Что это такое?

Федор молча подал мне поднос, и на нем я увидел еще курительную трубку. Трубочка была старенькая, темная, до блеска отполированная незнакомыми пальцами... Я вздрогнул.

— Кто принес это? — быстро спросил я.

— Какой-то военный, батюшка. Свеча потухла от ветру, я и не разглядел. По виду важный господин. Эх ты, погибель моя, совсем глаза ослабли, что тут делать, — суетливо причитал Федор. — А не срам ли, что в передней фонарь не горит, швейцара нет... Эх, такое ли бывало при покойнике князе, царствие ему небесное, упокой Гос-с-о-ди душу его, — принялся креститься старик. — Спрашивали, мол, барин дома ли. «Как прикажете доложить-с, — говорю, — сударь?» А они: «Нет, этого не надо, ты передай барину вот эти...»

Я не дослушал Федора, на лице которого изобразилось нешуточное опасение, и, как был в шлафроке и туфлях, метнулся в парадную и выскочил на улицу. Улица была полна людей и экипажей. Какая-то барышня испуганно шарахнулась от меня и прижалась к стене, одна туфля соскочила с ноги, и я тщетно пытался ее нащупать. Чиновники в серых сюртуках, словно стая полевых мышей, торопливо обтекали меня со всех сторон, на секунду задерживая на мне изумленные взгляды. Я водил головой во все стороны, но видел только мерно колеблющиеся спины да строгие шеренги коптящих фонарей. Внезапно толща плоти расступилась, раздалась, людская роща поредела, и невдалеке я увидел армейский плащ, обладатель

которого быстро удалялся в сторону Гороховой улицы. Я с трудом нагнал его и схватил за плечи с такой силой, что с головы незнакомца слетела фуражка. Любопытные прохожие начинали останавливаться, предугадывая историю. Офицер резко повернулся и оказался Владимиром Невревым.

Несколько времени мы безмолвно смотрели друг на друга. Я спохватился и поднял фуражку. С намочшего козырька скатились обратно в лужу три тугие капли. Неврев принял фуражку, стряхнул с нее остатки влаги и вдруг рассмеялся. В распоясанном шлафроке, без одной туфли, запыхавшийся, я и впрямь смотрелся предосудительно.

— Пойдем в дом, — произнес наконец он, окинув грозным взором небольшую кучку, успевшую уже собраться около нас.

Этакого уверенного взгляда глаза его никогда прежде не производили. Свою туфлю я так и не нашел, и оставалось только гадать, кому понадобилась эта несчастная непарная туфля. Мы вошли в комнаты, и Неврев сбросил плащ. Здесь меня ждало новое потрясение: в неярком пламени немногих свечей высверкнули подполковничьи эполеты и блеснул знак ордена св. Владимира третьей степени — отличие небывалое в этом чине. Рот у меня не закрывался. Неврев заметил мое состояние и усмехнулся.

— Ну что, брат, раненько меня похоронили?

— Володя... — только и сказал я, не зная, что примолвить. Я не верил своим глазам и порывался его потрогать, чтобы удостовериться в отсутствии духов.

— Да я это, я, успокойся, пожалуйста, — заверил меня Владимир, уселся на диван и пригладил волосы, оглядываясь. — Где ж дядюшка?

Я только перекрестился. Он понял и покачал головой. Я смотрел на Неврева, и все в его облике мне подсказывало, что мечтательного молодого человека с странными замашками адьюнкта философии не осталось и помину. Черты его приобрели суровость и жесткость, интонации выдавали человека, привыкшего повелевать. Надо было с чего-то начинать, но начинать было не с чего, как бывает тогда, когда двум людям говорить решительно не о чем или следует говорить обо всем. Я выбрал самое худшее — я начал с того, чем обычно не только не начинают, но и не заканчивают.

— Елена... — выдавил я, но осекся слабым упреком: — Ты отчего сразу не зашел?

— Ты знаешь, по-моему, разве нет?.. Я ни о чем не сожалею, — предварил он тезавший меня вопрос, и его покорило слегка. Некоторая манерность в его облике была налицо. — Молод был, глуп. А все прошло — и не заметил. Вот так. А не зашел потому, что не хотел отравлять тебе супружество. К чему эти неловкости?

— Ах, супружество! — Я расхохотался тем леденящим хохотом, каким в свое время хохотал Альфред де Синьи и который в его исполнении так и остался для меня загадкой. — Я-то знаю, а вот ты ничего не знаешь. Вот уж где двух мнений быть не может, — продолжал я обдавать Неврева диким смехом, приведшим его к полному недоумению.

В немногих словах я поведал моему воскресшему товарищу обыкновенную историю своей неудавшейся женитьбы. Трагические подробности слегка подтаяли Неврева, и к моему величайшему счастью, он сделался узнаваем.

— Боже мой, — молвил он озабоченно.

Таким образом, индугенция была дана, и я вздохнул свободней. Мы оба с ним оказались удивлены — каждый на свой манер. Я был изумлен тем, что его вижу, он — тем, что не видит ее.

Некоторое время висела томительная тишина.

— Однако как же ты избежал плена? Сказывай, сказывай все, я все желаю знать. Бежал? Выкупили? Да и чин...

— Это, брат, целая повесть. Так просто и не скажешь. — Он то и дело усмехался в густые усы, прибавлявшие ему прожитых дней. — Я теперь адьютантом у наместника.

— У князя-то Воронцова? — вскричал я. — Завидный карьер, черт возьми!

Неврев задумался ненадолго.

— Пустое. А впрочем, разве мы сами управляем собой? На Кавказе говорят, что судьба наша написана на небесах. Как был игральщиком судьбы, — махнул он рукой, — этим и остался. Наше это баловство помнишь ли:

Веселье только начиналось,
И стол искрился хрусталем,
Вино в бокал переливалось
И успокаивалось в нем.
Но нет уж сил опять вдаваться
В очаровательный обман,
И над чужими издеваться,
И нежной глупости смеяться,
И пересказывать Коран,
Терзать на стареньком диване
Чубук с янтарным мундштуком,
Мять подорожную в кармане
На пару с скомканным платком,
Кричать, браниться, забываться,
Грядущего мечтая план —
Увы, ведь очень может стать,
На этот праздник я не зван.
В окне темнело неизменно...

Дальше не помню, — поморщился Неврев.

Я закончил за него:

И в темноте исход один:
Запорошенная дорога,
Фельдъегерь, очертанья стога,
Полозьев след неизгладим,
А за спиной блестит полого
То ли поземка, то ли дым...

— Вот именно. Смотри ты, не забыл. Только мне кажется... — Неврев замолчал.

— Что?

— Мы ведь, пожалуй, пропустили один куплет. Еще строфа была.

— Н-нет, не припомню, — наморщил я лоб.

— Была, должна была быть, строфа нашей жизни, самая важная и нужная строфа... Да что-то нет.

Я понял, что он хотел этим сказать — он, который ожидал от жизни по какому-то непостижимому праву небожителей ровно столько, сколько было ему выдано из небесных кладовых пробабиллизма.

— Она просто не была написана, — ответил я.

— Была, но дурно, потому и не помним, — твердо произнес Неврев. — Ну-с, что же изволишь узнать? Я начинаю, — пошутил Неврев.

— Владимир, чем скорей, тем лучше, — заметил я и позвонил.

Явился Федор.

— Я никого не принимаю, — сказал я совершенно дядиным голосом.

Старик сокрушенно покачал головой и, шаркая, направился к дверям.

— Так никто и не придет, — вздохнул он на пороге.

Неврев тоже услышал эти слова и внимательно на меня посмотрел. Я смутился, еще раз уличенный в своем падении.

— Да-с, — произнес Неврев несколько озадаченно. — Ты, верно, помнишь то дело, в котором угодил я к горцам. Я находился в боковой цепи...

— Тугой аркан крепко охватил меня, ружье выпало из рук, всадник гикнул и помчался, я волочился за ним. Руки были надежно стянуты, нечего было и думать перерезать проклятую веревку. Где-то рядом ухала

пушка. Краем глаза я ловил конские ноги, ветки кустарника, от которых я не в состоянии был увернуться и которые нещадно хлестали по лицу; частые вспышки выстрелов плясали в зрачках — солдаты нашей цепи собирались в кучки, чтобы не быть изрубленными поодиночке. В уши громоподобно бил рассыпчатый топот копыт, а от дикого черкесского визга кровь стыла в жилах. В глазах у меня помутилось от бешеной скачки, несколько раз я сильно ударился головой о камни и лишился чувств...

Когда сознание вернулось ко мне, я обнаружил, что лежу поперек седла, притороченный к крупу вместе с какими-то торбами. Еще держалась ночь, и яркие звезды подпрыгивали у меня в глазах. Лошадь, на которой я совершал это вынужденное путешествие, неумоимо неслась вдоль бурного потока по узкой каменной тропе, в окружении молчаливых всадников, на груди которых тускло поблескивали панцири и кольчуги. Тишину нарушало лишь едва слышное дыхание коней да шум воды, недовольно бурлящей вокруг огромных валунов. Кремнистая тропа то удалялась от речки, то примыкала к ней вплотную, несколько раз пересекая ее. Ущелье постепенно суживалось, теснило тропу, черные громады гор придвинулись вплотную, и вода урчала уже где-то далеко внизу еще более грозно и угрюмо. Часа три продолжалась эта зловещая скачка, лошади сбавляли бег, тропа наконец превратилась в тропку, которая могла пропустить не более одного всадника. Мой эскорт вытянулся в цепочку и вереницей потянулся под сень огромных буков. Когда я, рискуя свернуть себе шею, поднимал голову и искоса смотрел на лошадиную шею, я видел за ней жесткую бурку джигита, который вел на поводу мою лошадь. Плечи бурки острыми углами выдавались в стороны, придавая фигуре человека причудливые очертания, — казалось, это птица, гигантская летучая мышь — любимица тьмы и баловень злодейства.

Занялась заря, а мы по-прежнему пробирались между исполинских деревьев, забираясь выше и выше в горы. Черкесам дорога была хорошо известна, и остановок они не делали. Я мерно покачивался на лошадиной спине, словно бурдюк, и утренняя свежесть донимала меня, — да и кем я стал — товаром, не человеком. Уже солнце позолотило корявые разломы гор, обдавая их нежным своим светом. Я посмотрел вдоль по ущелью и в последней дымке расхолодившегося тумана взглядом уперся в розовые трапеции снегового хребта. Далекие, неверные, они казались миражом посреди бесконечной зеленой шерсти окрестных вершин, как миражом казалось мне мое собственное существование. Черкесы остановились и, накинув поводья на ветки молодого дуба, уселись в кружок неподалеку. Меня мутило, и я опять лишился сознания. На этот раз беспамятство оказалось недолгим. Я очнулся оттого, что один из горцев лил мне на лицо из кожаной фляжки. В тот миг я и свободу отдал бы за глоток прохладной воды. Вода протиснулась сквозь засохшие губы, и я обрел способность соображать. Черкес смотрел на меня не слишком-то угрожающе, пожалуй, даже не без некоторого беспокойства. Увидев, что вода оказала свое живительное действие, он улыбнулся и отошел к своим. Все они стали собираться, поднялись с земли и отвязали коней. Здесь я увидел, что отряд разделяется: несколько наездников попрощались и скрылись за листвой, остальные поглядели им вслед, крича что-то, взлетели в седла и окружили моего одра, который на самом деле был Буцефалом. Направо вниз со склона едва приметной каменной нитью, бусами известняка, вилась не то тропа, не то пересохшая промоина весеннего ручья — по ней-то и стали мы спускаться в сущую пропасть. Порою спуск был настолько крут, что всадники спешили, шадя коней, и сами вели их под уздцы. К полудню мы выбрались к большому аулу, неровными уступами взбирающемуся на склон и утопающему в буйной зелени садов. Селение расположилось под отвесным хребтом, по обеим берегам плоской, широкой и быстрой речки. Наше появление было встречено ружейной пальбой, собачьим визгом и воплями оборванных мальчишек, старавшихся во что бы то ни стало ушипнуть меня или дернуть за ус. Черкесы, не осаживая коней, разгоняли их плетка-

ми, гортанно перекрикиваясь с обитателями селения, сбегавшимися отовсюду. На крышах саклей появились женщины, которые любопытно обшаривали меня огромными глазами, прикрывая усмешки концами цветастых платков. Меня сбросили наземь, в пыль перед мечетью — сереньким додником, снабженным неказистым минаретом, с грубо устроенной площадки которого некий старец, видимо мулла, протяжно прокричал надо мной то ли проклятия, то ли назидание. Неровный полумесяц, прилепленный к облупившемуся куполу, бодал небо, словно насмехаясь над мощью солнечного дня, лучезарной стихией которого было охвачено все вокруг, так что даже привычные джигиты прикрывали глаза черными ладонями, шурясь на меня прокопченными складками века. Несколькое времени я лежал в кругу говорливой толпы, а после церемонных приветствий тот самый черкес, который напоил меня водой, раздвинул людей и жестом приказал мне подняться. Только сейчас я как следует разглядел его — дорогую кольчугу он успел уже сменить на зеленый бешмет, тоже показавшийся мне чрезвычайно дорогим и искусно пошитым. Оружие он оставил, и теперь только один кинжал в посеребренных ножнах, испещренных чеканными узорами, криво притаился у пояса. Я взглянул в его хищные глаза и смело дал ему сорок лет. Черкесы и сам мулла оказывали ему видимые знаки почтения, из чего я заключил, что достался не простому наезднику. Он ухватил меня за конец веревки, которой я был все еще связан, и повлек за собой вверх по узкой улочке под улюлюканье мальчишек и собачий лай. Собаки, юркие, словно форель, выныривали из-под самых ног моих конвойных, уворачивались от пинков с дьявольской ловкостью и настроенно меня обнюхивали, скаля желтые клыки. Эти намеки мне были очень понятны, и я уже никак не защищался от комьев сухой глины, изредка летевших мне в голову. Я с трудом добрал до какой-то сакли, меня провели в тесный дворик, затененный корявыми грушами, на ветвях которых замерли еще зеленые твердые плоды, и впихнули в маленький сарайчик. Смороенный усталостью, я собрал все оставшиеся силы, кое-как заполз в угол, подмял под себя клок вонючей соломы и забьлся коротким неумолимым сном, которым природа убеждает, что она является хозяйкой любых властелинов и повелительницей любых обстоятельств.

5

— В этом сарайчике меня надолго оставили наедине с собой, дважды в день угощая лепешкой, а когда принесли кувшин с водой, я опорожнил его в несколько минут, малодушно поддавшись минутному соблазну. Более всего меня устранили мысли о моей судьбе. На мне был мундир рядового, а черкесы за долгие годы непрерывных войн научились хорошо угадывать знаки отличия. Захватив офицера, они лелеяли мысль о выкупе, и блеск монет соблазнял их, но с нижними чинами они не цацкались. Если не подворачивалось okazji обменять солдата на труп собрата, они обращали его в раба, а то и убивали. Какие побуждения двигали ими в том или ином случае, когда им приходилось решать чужую судьбу, я, конечно же, не знал и не ломал голову, зато, вообразив, что мог быть облачен в офицерский сюртук, злорадно усмехнулся: при моей-то бедности, хорошо тебе известной, они могли бы ожидать выкупа до второго пришествия и получили бы, может быть, несколько жалких крох, собранных сестрицей, которых не хватило бы даже на то, чтобы купить у турка приличный чепрак для любимой лошади. Так что я кое-что и выигрывал от монаршей милости, — посмеялся Неврев, — а было мне, признаться ли, все равно — я наслаждался пленом и чувствовал облегчение и ощущал свободу после унижительного солдатского ранца, — черт знает что. Мне казалось, что я стою на пороге смерти, и на все наплевал. Откуда только и взялось это такое безразличие! Каждый скрип дверцы, ведущей в мою темницу, каждый звук чужого голоса, раздавшийся неподалеку, каждый услышанный мною шаг за стеной наполняли меня ожиданием, предчувствием гибели. Мне все мерещилось, что идут по мою душу. Участь свою я почитал решенной, и

единственное, о чем я сожалел, так это о том, что даже на пороге смерти я не находил в себе благодати, столь необходимой для того, чтобы встретить смерть без стоа и без ропота. В темном пространстве сарая я искал Бога, а находил только узкую щель между толстой дверью и перекладиной косяка, обмазанной глиной, к которой прикичал в ясные ночи, как к прицелу карабина, ловя неподвижным глазом какую-нибудь хилую звездочку. Я с тоской поминал цивилизованное прошлое и снова тосковал о Боге. Напрягая память, я восстанавливал образы, сооружал иконостасы, составлял из разрозненных черт лики знакомых священников, тщательно перебирал воспоминания, способен хоть на неуловимый миг приблизить меня к вере, как солдат перебирает свои грязные волосы, отыскивая вошь, — ничего — пустота, темнота. Почему я никогда не верил? Вопрос этот изгрыз мой ум, но полая душа была по-прежнему неподвластна его колючим жалам. К чему была моя жалкая жизнь — беспомощное, бесполезное существование. Воспаленные мозги расписали молниеносными кругами черепную коробку, но не проникли, не пронзили озарением немую логику мира.

Понемногу я дошел до полного отчаяния и тем самым воздвиг себе еще одну стену — стену отчаяния. Темница моя неожиданно сделалась вдвойне крепче, неприступней, и наивные тюремщики могли спокойно спать, сопровождая детским храпом задумчивые шорохи ночей, в одну из которых я без всякого страха заглянул уже в самую бездну. Небытие разверзлось незаметно, мысль достигла крайнего своего предела, словно волна лизнула песок, но не откатилась, оставив мокрый след, а замерла, затаилась, готовясь вползти в неизвестность, стараясь шагнуть за пределы возможного. Безумие, сумасшествие — не знаю, что ждало меня там. В эту страшную минуту я был близок к смерти, как никогда прежде, даже под пулями неприятеля, под свистящими шашками, но минута прошла, и я рассмеялся зловещим хохотом бесстрашия. Ничто отныне не способно было утратить меня, я словно родился на свет и не ведал тех страхов, которые гложут, снедают суетных людей. Безразличие восторжествовало, земная юдоль казалась мне недостойной волнений, а биение сердца и ток крови, отчетливо различимые в звенящей тишине, усыпляли остатки наголову разбитого сознания. Разум уступил.

Я ждал удара клинка и желал его, но не жаждал. Не один просвистал день, не одна ночь, возвеличенная трепетом светил, куполом отстояла над землей, пока я понял, что моя неистовая молитва услышана и ей внимают. Я ничего не просил. Страха не было, как и прежде, но теперь спасение стояло в двух шагах. Благодать амброзией, нектаром, божественным бальзамом наполнила трущобы духа, и я, грешный, узрел Бога — не в расплывчатом далеке, не в дымке сомнений, а совсем рядом — в себе... Вера вошла тихо, как входит заботливая сиделка в душную комнату больного, и наполняет ее благоуханной свежестью, и остается у изголовья, как на заре мать целует спящего ребенка полными, любящими губами, — блаженные минуты.

Как-то утром дверь растворилась, и меня вытащили во дворик. Двое черкесов раскладывали на солнце какие-то кузнечные приспособления, показавшиеся мне сначала орудиями казни. Один из них, потрясая крашеной бородой, походившей на лопатку, ощупал меня с головы до ног, долго мял тело, посмотрел на зубы и сказал на едва понятном, изломанном, словно его собственный торс нашими штыками, изуродованном русском языке:

— Твоя хозяйн, урус, кенязь Джембулат, большой джигит. Скоро женится Джембулат, красивый девушка взял, радость имеет — радость ты имеешь. Дарит тебе жизнь. Понимай. — Он еще раз внимательно рассмотрел мою форму, после чего они с своим товарищем притащили огромную колодку, в проеме которой зловеще темнела почти неразличимая запекшаяся кровь неизвестного мученика, и ловко приладили этот символ рабства мне на левую ногу.

— Твоя будет скот пасти, — сказал обладатель красной бороды и добавил, обнажив в улыбке белые влажные зубы: — А не солдат ты, — он покачал языком, покачал головой, — ты кенязь. Много думай.

Черкес лукаво посмотрел на меня, указал мне на дверь сарая и заложил снаружи огромный громыхающий засов.

6

— Что сулила мне эта необъяснимая пронизательность? Я привыкал к тяжелой колодке и «много думал». Придумать мне, однако, суждено было почти ничего. Уже месяца три я, изнемогая под бременем колодки, превратившей щиколотку в кровавое подгнивающее месиво, карабкался по склонам, оберегая важных баранов. Прежде всего, конечно, от собственного голода. Дворянин Неврев, захудалый род которого был занесен в родословные книги Казанской губернии, ходил за скотиной, таскал воду и ворочал душистое сено, из которого плел нехитрые прокладки для растерзанной ноги. Изредка я встречал того самого черкеса, поставившего под сомнение мое происхождение, и он улыбался, грозил крючковатым пальцем и довольно говорил:

— Ай, урус, кенязь, кенязь.

Никто надо мной не издевался, мальчишки оставили меня в покое и смотрели издали, не решаясь доносить свое любопытство ближе того числа шагов, сколько букв насчитывало имя моего повелителя. Его я почти не видал, потому что он то и дело был в отлучке. Все прочие ко мне попривыкли. Один из сыновей Джембулата, мальчик лет одиннадцати, как тень бродил за мной, чтобы предупредить взрослых о моих вероятных дурных намерениях, но тоже почти не приближался ко мне и поглядывал на меня весьма пугливо, стреляя черными бусинками чуть раскосых глаз. Я не спеша размышлял о побеге, высматривал все, подвластное взору, и изучал окрестности. Впрочем, моя ойкумена ограничивалась какой-нибудь всего одной квадратной верстой, а колодка — проклятие христианина — представлялась самым неодолимым препятствием. Как узник сживается со своей тюрьмой, так я сросся с этой колодкой, придумывал ей имена и иногда, когда она доставляла мне особенно невыносимые боли, хлестал ее сухим стебельком. Блаженство откровения вышло из меня так же тихо, как и вошло, однако благодатное воспоминание неизменно пребывало со мной и не позволяло ни унывать, ни отчаяться.

— Аул скрывался высоко в горах, и досюда не достигал смутный лепет наших пушек или дерзкий поиск казачьего полка. Сами черкесы, пропыленные, на спотыкающихся от усталости, запаленных конях, молчаливыми караванами вползали в аул, возвращаясь из набегов. Порою какая-нибудь из лошадей раскачивала на взмыленном, лоснящемся от пота крупе безжизненное тело своего хозяина, завернутое в бурку, — тогда аул притихал, чтобы тут же пронзить воздух погребальными воплями скорби, а старенький мулла кряхтя взбирался на минарет и дребезжащим голосом скопца доносил до Всевышнего все без исключения заслуги покойного, неутомимого борца за веру, снискавшего себе место в раю среди сладкозвучных гуррий, подобно суровому воину древней Валгаллы. В такие минуты черкесы злобно на меня поглядывали, но и только. Их первобытная выдержка обрекала меня на жизнь. Пленных не привозили никого, но я знал, что кроме меня в ауле уже много лет содержатся еще несколько русских солдат, которые уже не чаяли вернуться на ту сторону Кубани, взяли себе жен из черкешенок и завели свое хозяйство, оставив дворики столбами грецких орехов. Если б не колодка, с годами их пример, быть может, и прельстил бы меня, — улыбнулся Неврев, — ибо кто не видал черкешенку, тот не видел женщин; но все разрешилось иначе.

7

→ В то лето случился небывало большой падеж скота. Черкесы принимали свои меры, но остановить поветрие не могли. Крайняя озабоченность не покидала их лиц, как не покидал своей мечети мулла, прося у

Аллаха заступничества. Однажды на площади перед мечетью произошел всеобщий сход, прибыли всадники из соседних селений, над толпой стоял невообразимый гвалт, ржали разгоряченные кони, плакали дети. Меня тоже пригнали туда и поместили в самую гущу. Я плохо понимал, о чем они совещаются, но именно здесь увидел одного из тех пленных солдат, которые два десятка лет как сменили родину, повинувшись злой неизбежности времени. По одежде он был совершенный горец, даже и борода имела рыжеватый оттенок, но вот форма этой окладистой бороды, расчесанной на две стороны, опровергала все поспешные выводы. Солдат был уже пожилой человек, и глаза его ослабли, и смотрел он поэтому из-под узловатой руки, искривленные пальцы которой венчали выпуклые, толстые ногти, окаймленные неисчезающими, неподвластными никаким водам, черными дугами грязи. С черкесами солдат держался на равной ноге, вот только кинжала не было у него на поясе, зато тяжелый серебряный крест болтался поверх бешмета свободно и с достоинством. Меня подвели к нему, и он долго меня разглядывал, прежде чем произнести хоть слово. В заскорузлых пальцах он вертел самокрутку, кроша табак в сухой дубовый лист.

— Йок, — сказал наконец он и покивал лохматой головой тому черкесу, который называл меня «князь».

Черкес взвизгнул, замахал широкими рукавами халата, в которых утпали руки, и гортанный говор вокруг зажурчал с новой страстью. Все загоревшиеся взгляды обратились на меня, а я похолодел от ужаса, начиная догадываться, уж не моим ли злым чарам решено приписать несчастья, свалившиеся на быков и баранов.

— Ты, барин, не бойся басурман, — вдруг обратился ко мне старик-солдат, — они дурного не хотят.

Звуки родной речи благодатно разлились во мне. Я жадно уцепился глазами за солдата.

— Они знать желают, известны ли тебе иноземные наречия, — продолжил он, — потому знают, что господа учены вельми бывают и за морями живут.

Я отвечал правду, а солдат, который не спеша переводил мои откровения возбужденным горцам, между делом растолковывал мне, чего они от меня ждут: много лет тому назад один из шапсугских князей в набеге захватил ученого гяура. Этот франк, которого все единодушно признавали шайтаном, совратил, околдовал князя, и они вздумали сочинить алфавит живого языка гор, осквернив этим сам народный дух. Князь был изгнан из родных аулов возмущенным народом и увез своего зловещего пленника с собой. Все воспоминания о чужеземце, казавшемся шапсугам человеком необычным, были овеяны кровавыми преданиями. Сам он чем-то напоминал им грязных анапских дервишей, одержимых истиной и праведностью, и по этой причине ни у кого не поднималась рука, чтобы снести ему голову. Один удалец как-то раз стрелял в него, подкараулив на тропе, но старая кремневка трижды осеклась, и внезапный гром на минуту оглушил святотатца. Шапсуги расстались с мыслью лишить его жизни. Из-за него и его упрямого покровителя на многие годы в горах воцарилась опустошительная смута, и кровная месть дала соленые, разлапистые побеги.

Неподалеку от тех мест находилось глухое урочище, куда редко забредал даже отъявленный охотник. Там, в зарослях дикой малины и орешника, лежали какие-то огромные камни, которые шапсуги не причисляли к священным могилам предков. На этих-то камнях и обнаружили непонятные, пугающие письмена, которые глубокими щербинами сплошь покрывали их серые поверхности. Старики помнили, что пленник за неимением бумаги дни напролет просиживал у этих камней и тесал их булатным кинжалом, и не один затупил он прекрасный кинжал, высекая удивительные знаки, отдаленно напоминавшие самым просвещенным из них муллам причудливую арабскую вязь, заполнявшую ветхие страницы единственного истрепанного, благоговейно залистанного Корана. Старейшины опасаясь

лись, что таким путем гяур создал страшное заклятие, губительное заклинание, и все беды, падавшие на их головы, считали следствием этого заклятия. Нынешний падеж скота, как, впрочем, и любой неудачный набег на линию, объясняли тем же и искали среди своих полоняников того, кто мог бы прочесть и донести до них смысл зловещего проклятия. Камни, которых коснулась рука нечестивца, были столь огромны и тяжелы, что даже великому множеству людей оказалось не под силу перетащить их подальше от незащитных селений. Оставалось одно — проговорить вслух обжигающие страхом и холодом подземного мира эти слова неизвестного наречия и тем самым снять заклятие с пострадавшего народа адиге. Так князь отмстил вольному народу за свое изгнание и обрекли его нести непосильное бремя своих губительных страстей.

Я отвечал, что должен увидеть эти письмена, и черкесы воодушевились. В мгновение ока появился кузнец и двумя ловкими движениями долота освободил меня от колодки, правоверные совершили намаз. Возблагодарив Бога, несколько стариков, выделявшихся своим благочестивым видом, стариков, искалеченных на русских дорогах, пощаженных злым промыслом войны, отмеченных пророком, сели в седла, и сам Джембулат сопровождал нас в щемящую неизвестность. На меня возложили непомерно большие надежды, и это не могло не обеспокоить меня, ибо античную филологию, охоту к которой изрядно поотбили мои губернеры во время оно, я обладал правом назвать своею не более, чем имел на то право дряхлый и закосневший в своем воинственном невежестве мулла Рахим или дикий Джембулат. Они были напуганы грозными проклятиями, неисполнимыми завещаниями, я же опасался суровой латыни, и более того — с ужасом предчувствовал устойчивое благоухание неуывающего, но неизвестного лично мне языка Ксенофонта.

8

— Мне завязали руки, взгромоздили на лошадь, которую привязали к скакуну Джембулата, и после трехчасовой езды шагом мы приближались к проклятому месту.

— Солнце стояло в зените, насквозь просвечивая каждый неподвижный лист исполинских буков. У какой-то лощины черкесы спешились и стащили меня на землю — заросли и бурелом здесь были таковы, что пробраться возможно было только пешком. Несколько шапсугов остались с лошадьми, а остальные, угадывая направление, спускались по склону, удерживая равновесие при помощи кизилowych палок, на которые в другое время опирают ружья для прицельной стрельбы. Вскоре все мы оказались в крохотной висячей долинке, на маленькой полянке, редко уставленной неохватными буками, высоко к небу взметнувшими густые кроны; их непроницаемые ветви создавали угрюмую, почти сплошную тень, и всего лишь несколько бликов рассыпались по бесчисленным папоротникам, пробившимся к свету. В этих папоротниках утопали дольмены — погребальные домики, сложенные из цельных гранитных плит. Я насчитал их восемь. Они раскинулись на поляне беспорядочно, одни ровно вырастали из земли, другие накренились, завалились в разные стороны; подножия, надежно скрытые от света зубчатыми перьями папоротников, поросли мхом, словно корни могучих пней. Казалось, что я очутился в маленьком поселке гномов — поверье о карликаx-ацанах, некогда населявших эти места, кстати, живо среди черкесов, — забросивших свои крохотные сказочные жилища и ушедших под толщу земли и породы, тоже — по примеру суеверных черкесов — скрываясь от ужасающего воздействия словес. Мне освободили руки, и я не без трепета приблизился к этим древним гробницам, к склепам безымянного народа, давно стертого с светлого лица земли суровыми ветрами истории. Черкесы держались поодаль, не решаясь подходить близко, и расчехлили свои ружья, чьи тонкие дула следили за моим поведением философски-спокойно, но обещая в случае чего гром

небесный. С замирающим сердцем я дотронулся взглядом до неровных поверхностей гранитных плит и впрямь увидел, что все они стянуты паутиной клинописи. Однако то, что представлялось грозным джигитам изобретениями дьявольского ума, на самом деле, к моему неописуемому удивлению, оказалось... — Неврев загадочно помолчал, — обыкновенным, вполне читаемым, понятным французским языком! Сделав это открытие, я был обескуражен не меньше всех старейшин вольного народа! Самые настоящие французские слова были высечены на камнях аккуратно, разборчиво — словом, так, как если бы над этими надписями прилежно трудились каменотесы какого-нибудь Хаммурапи — царя вавилонского, не знающего бумаги и пергамена, но осознающего необходимость запечатлеть в веках громкую славу своих деяний. Только некоторые линии не вполне удались неизвестному автору этой странной забавы — на этих местах камень крошился, — зато он не пожалел ни труда, ни времени даже на аксанты и знаки препинания! Одни буквы казались больше, другие меньше, одни покосились, прочие имели необычный наклон, как бы открывая объятия собратьям, некоторые приникли к соседним, словно прося защиты и помощи, сильные и прямые служили подпорками немощным, но все они следовали одна за другой в незыблемом порядке грамотного языка, сгрудившись в слова, соединившись в предложения, сбитые в абзацы дрожащей мыслью и твердой дланью резчика, стиснутые в неподвижный крик, — это был текст, и текст был понятен. Сколько же времени отняла такая работа, сколько сил забрал подобный труд, исполненный давно забытой мощью духа! Оставалось только гадать. Я бродил между дольменов, переходил от одного к другому, счищая, соскребая взволнованными пальцами нежный мох, стараясь отыскать начало этого чуда — Логоса, еще обожествленного самоотверженным замыслом, воплощенного в веках, заставившего целый бесстрашный и гордый народ содрогаться от немого ужаса, от неверного по форме, но пронзительного по сути подозрения. Черкесы напряженно следили за каждым моим движением, и было видно, что мое оживление радует их и изгоняет страхи и видения. Мне показалось даже, что они поглядывают на меня с некоторым скрытым, сдержанным уважением, однако я не был волшебником, — рассмеялся Неврев. — Наконец на одном камне, прямо под наклонной крышей дольмена, слева вверху мои глаза нащупали первое печальное своей краткостью слово этого повествования. Каждый востребованный глагол, каждый кривой знак навсегда врезались мне в память, и вот оно слово в слово:

«Я, Густав Тревельян, рожденный Клаасом Вреде и Марией-Луизой Тревельян в городе Страсбурге в 1774 году от-Р. Х., находясь в уме и послушной памяти, возымел дерзкое желание познать все, но не рассчитал своих слабых сил. Покинув дом в молодые годы, я скитался по миру, и мое любопытство, обратившееся в страсть, завлекало меня дальше и дальше от родного порога, проведя по недоступным тропам Востока. Во что бы то ни стало я решил своими глазами узреть то, достижению чего прочие посвящают только затраты ума, не дополняя своих усилий гудящими, как колокол, биениями сердца, не создавая пороха познания и не давая себе труда возжечь искру над этой гремучей смесью. Я задумал своими руками ощупать то, что другие изучают в кабинете с занавешенными окнами, со спокойной душой. Кто способствовал втайне моим начинаниям, кто разжигал во мне надежду и хранил в пути, мне неизвестно, но присутствии ангела-хранителя я неизменно замечал. Ибо от события к событию, которые казались мне случайностями, я подвигался к своей неразумной всепоглощающей цели. Наконец мой страстный порыв обратил на себя внимание некой силы, несоизмеримо более могущественной, чем скромный ангел, и ангел оставил свой пост. Вскоре в моих руках оказалось сокровище значительно больше того, на какое я мог бы рассчитывать, остановившись я вовремя. То, что я поначалу приписал небывалой удаче, на самом деле оказалось вынужденным вниманием, но и снисхождением. Я нашел книгу...»

— На этом месте надпись оборвалась, — сказал Неврев, — и немалых усилий мне стоило отыскать ее логическое продолжение.

«Мелкие деспоты этой части земли твердят мне, что отныне я раб, но я смотрю на них и не вижу их. Видимое безразличие они самодовольно принимают за покорность и этим тешатся, злые дети. Покусившись узнать раньше положенного времени то главное знание, по которому неизменно тоскует человеческий ум и которое утоляет эту жажду ума только истечением естественно положенных пределов, то есть в момент смерти, я и сам словно почил. Хотя круг моей жизни еще не завершен и я не прекратил существования, я живу и не живу в одно и то же время. Вот почему я тоскую по обреченному миру и одновременно наслаждаюсь его кристальной чистотой, твердо зная, что душа моя призвана на суд раньше времени. Передо мной разверзлись все тайны мира, постигаемые одним-единственным взором, но взор мой отныне прикован к этому великому зрелищу, созерцание которого не оставляет уму никакой пищи. Именно поэтому я способен показаться сумасшедшим и нет одновременно, ибо безумием отмечают небеса тех, кто прозревает, не дожидаясь приличного часа. Мне неизвестно, наказание это или награда, ибо сам не награжден и не наказан. Вот почему я словно пребываю здесь, а словно и не здесь вовсе. Вот почему каждую секунду я, умерший и живой, нахожусь как будто между небом и землей, и мне нет возвращения, вот по какой причине та половина, что оставлена мне для жизни, — одно лишь ожидание. Эту книгу я намеренно выпустил из рук и укрыл ее высоко в этих дремучих ущельях, запрятал ее в руинах древнего христианского храма, чьи останки можно различить на правом берегу по течению реки, именуемой Большой Зеленчук. Заглянув туда, куда раньше времени не подобает заглядывать человеку, я больше не нуждаюсь в ней, в этой эманации беззлобного искушения, но не знаю, имею ли право уничтожить ее и тем самым утратить для людей. Если встать в день летнего солнцестояния, в полдень, лицом к фронтальной арке строго посередине, тень, которую отбросит фигура человека, укажет на камень, который следует поднять и под которым покоится книга. Этим я убеждаю, что поднимать этот камень не следует, но сделать это возможно. Я не шел, но бежал, сгорая от нетерпения, и теперь умолкаю там, куда стремился, в ожидании собственной тени. Я прошу прощения у своих бедных родителей, которых мои страсти обрекли на горькое и противоестественное одиночество, а также прошу прощения у многих поколений неизвестных предков, которые своим непрерывным разумным движением выбросили меня, словно голую, сухую, бесплодную ветвь, из глубины бесконечно зеленого древа времен. Эту надпись я, не жалея дикого труда, высек в надежде, что кто-нибудь прочтет и перескажет людям эту грустную повесть безумия. Боже милосердый, пошли мне терпения дожидаться собственной тени. Аминь».

Я оказался в большом затруднении, как объяснить черкесам смысл прочитанного, и недоумевал, какое истолкование этой невинной надписи подскажет им буйное воображение и гнет первобытного ума. Изучая эти странные словеса, я нагибался, ползал между камней, отыскивая концы и начала обрывков, переходя от одного замшелого камня к другому, следя за нитью и без того запутанного повествования. На моем лице отражались попеременно озабоченность, удовлетворение, предельное внимание и задумчивость, — черкесы все это отлично видели, и мой деловой вид водрушевлял их на благожелательные мысли. Все же они поглядывали на меня с опаской, видимо ожидая, что вот-вот страшное заклинание, в тайну которого я проник, словно медленно действующий яд, окажет свое губительное действие и уничтожит меня каким-нибудь диковинным, невиданным образом. Но со мной ничего не происходило, и я все не торопился сообщить вольным горцам свой вольный перевод, обдумывая каждое слово. Наконец я набрался духу и объявил им, что никакого заклинания тут нет, а есть всего лишь безобидное воспоминание о родине. Как я и ожидал, черкесы недоверчиво покачали головами, а потом один старик

возразил с поразившей меня рассудительностью, что для того, чтобы наслать проклятье, необязательно говорить об этом прямо, а иногда бывает достаточно составить в определенном порядке безотносительные слова, и этот строгий порядок и станет зловещим заклинанием. Пленный солдат перевел мне это, но я и сам уже немного понимал азиатское наречие. Ты, верно, помнишь, еще в бытность нашу в Ставрополе я проявил к этому языку прилежный интерес. Старейшины посовещались, после чего предложили мне дословно донести до них суть надписей, что я и сделал, по своему произволу слегка изменив некоторые подробности и благообразно умолчав о волшебной книге, упоминание о которой могло внести смятение в сознание суеверных черкесов.

«Я, Густав Тревельян, урожденный Клаасом Вреде и Марией-Луизой Тревельян, в 1774 году от Рождества Христова, в городе Страсбурге, в непогоду, в четвертый день Страстной недели, унаследовал от предков пылливый ум и любознательный нрав. Отец желал, чтобы я продолжил его дело и торговал молоком...»

— Молоком, — Неврев прервался. — Видишь ли, возможно все, я ничему уже не удивляюсь. Уж если я наяву читаю эти слова, оставленные французом, — да где! — рассуждал я, да как! — то разве ж было неосторожностью допустить это молоко.

«...Молоко в здешних местах жирное, густое и может поспорить с лучшими эльзасскими образцами. Отец, думаю, сильно бы обрадовался и непременно пошел бы в гору, появившись у него возможность торговать таким прекрасным товаром».

Черкесы внимательно меня выслушали и остались довольны, потому что согласно покивали головами, трижды плюнули в сторону камней и забирались в аул, — наступал вечер.

9

— Некоторое время дрожащий багряный диск раскаленного за день солнца сопровождал нас с левой стороны, а потом свалился за высокую гору, возникшую внезапно, когда заросшая тропинка круто вильнула в очередной раз. Впереди, распустив поводья, ехал Джембулат, за ним брела моя лошадь, его уздени, старики и мулла — всего человек девять-десять — растянулись и гортанно перекликались в сумрачной чаще, не совсем еще оставленной последними лучами, расплывчатыми и редкими пятнами повисшими на кустах можжевельника. Их голоса широко разносились по притихшему, безветренному лесу. Тишину возмущал только осторожный шаг коней да почти неуловимый ток мелких ручьев, там и сям пересекавших неезженую тропу. До аула, по моим предположениям, можно было смело считать верст восемь, когда Джембулат вдруг подобрал поводья и осадил коня, от неожиданности присевшего на задние ноги. Одной рукой он натягивал повод, а другая привычным движением скользнула к мохнату чехлу, от частого употребления пестревшему лоснящимися проплешинами. Но Джембулат не успел достать ружье, — какая-то черная тень, которую я сперва принял за барса, неслышно упала с ближайшего чинара прямо ему на спину. Борьбы почти не было, раздался только слабый хрип, и размякшее тело Джембулата медленно вывалилось из седла и упало в высокую траву с невнятным стуком. Убийца, наглухо замотанный в башлык, с рычанием вытер окровавленный кинжал о черкеску жертвы двумя энергичными движениями, молниеносно отцепил ружье, перекинув чехол через плечи, и взлетел на коня Джембулата, который недовольно заржал и беспокойно прядал наостренными ушами. После этого он ухватил мою покорную лошадь за повисший повод — меня буквально просверлили два огненных глаза, на миг блеснувшие из-под опущенного башлыка, — и бросился в чашу, увлекая меня за собой. Все это свершилось в какие-то полминуты. Я не издавал ни звука, повергнутый увиденным в настоящее оцепенение. Хорошо было то, что руки у меня на этот раз были стянуты

спереди, так что я вцепился в холку и всем корпусом приник к лошадиной шее. Несколько времени за спиной у меня и моего похитителя держалась привычная тишина, из глубины которой доносились спокойные и расслабленные голоса черкесов, но вдруг на какое-то страшное мгновение тишина сделалась безраздельной, полной, давящей, и яростный визг прорезал ее, словно клинок полотняную и тугую стенку палатки. Похититель оглянулся и поскакал быстрее. Я мог бы, конечно, прыгнуть на землю, но что тогда выпало бы на мою долю, со связанными-то руками? Или этот черкес прикончил бы меня как обузу, или сородичи Джембулата, пустившиеся в погоню, отрезали бы мне голову, прежде чем я нашел бы нужные слова и знаки, чтобы объяснить им, что не моя рука сразила их лучшего джигита. А все указывало именно на это, и даже старый солдат не спас бы меня точным переводом моих справедливых объяснений. Треск ломаемых веток, крики, торопливый топот копыт давали знать о приближении погони. Похититель издал свист, на который из чащи проворно выскочила, словно кошка, оседланная лошадь и понеслась бок о бок с хозяином. Даже в темноте можно было различить стать и мощь этого коня, созданного для простора, — казалось, ему было тесно в заросшем лесу, как бывает тесно помещику в крестьянской избе зимою, когда собраны вместе и люди, и скотина. Сильной вороной грудью он разрывал сплетенные кустарники. Незнакомый черкес на ходу перескочил из седла в седло, а потом перетащил и меня на коня Джембулата. Мою смирную конягу он изо всей силы хлестнул плетью, и она от боли припустила куда-то в сторону. Эта хитрость остановила разъяренных преследователей только на минуту, и наконец кто-то из них увидел мелькнувшие между стволов лоскуты моей давно истлевшей белой рубахи. Тут же град пуль усыпал то место, на котором мы находились секунду назад.

В горах темнеет быстро, незаметно, солнце словно проваливается в пропасть, тщательно собирая все-все рассеянные лучи и разом унося их с собой. Мы скакали уже почти в полнейшем мраке, защищаемые густыми кронами буков от жалких остатков света. Я целиком положился на этого шайтана, а он петлял с такой ловкостью, что я с трудом удерживался в седле после каждого резкого маневра. Я придумывал, как бы заставить его освободить мне руки, но не успел и заикнуться об этом, как он обернулся ко мне и выбросил руку с кинжалом. Сперва мне показалось, что он решил отделаться от меня, но рука неподвижно застыла в воздухе, прямо перед лошадиной мордой, — я догадался и, со всей силы сжав ногами конские бока, вставая в жесткое седло, сливаясь с крупом, вытянул связанные руки, стремясь прикоснуться клубком толстой бечевки, намотанной на заплатах, к блестящей, угрожающе дрожащей стали. Несколькими неловкими попытками я изрезал кисти, но наконец сталь, словно жало осы, сама впилась в веревку, и одного этого прикосновения, похожего на невеселый поцелуй, оказалось достаточно, чтобы веревки разошлись, — настолько остро было лезвие этого кинжала. Я стряхнул обрезки с окровавленных рук, и черкес молниеносным рывком перекинул мне поводья через дернувшуюся лошадиную голову. Но все эти меры оказались запоздалыми: черкесы, стреляя почти наугад, на шум, были рядом. Нас загнали в небольшую голую лощину, по кромке которой выдавались зубцами то ли остатки стен скали, то ли выход скальной породы. Лошади буквально скатились в это естественное углубление, подняв копытами целый ковер лежалой листвы. Джигит прыгнул на землю раньше, чем его конь прекратил переступать ногами. Обеими руками он ухватился за поводья и одну за одной уложил лошадей в кустарник. Они, к моему удивлению, лежали смирно, не пытаясь подняться, и только изредка поднимали головы и вытягивали мускулистые шеи, тревожно поводя глазами. Джигит расчехлил оба ружья и подполз к камням. Он сдернул торчащий черный башлык, и под ним оказалась каракулевая кабардинка, из-под которой в уже кромешной темноте бешено блистали белые глаза. Черкес поглядел наружу, вниз,

и жестом пригласил меня последовать его примеру. Я выглянул из-за камня и, напрягая зрение, различил фигуры еще более черные, чем самая темнота вокруг. Черкесы спешили и, укрываясь за стволами буков, крались к лошине. Мой джигит извел из газыря заряд и приготовился, а мне бросил кинжал — я положил его рядом с собой. Только сейчас передо мной вдалеке неясным еще видением восстал соблазнительный призрак свободы. Черные тени еще продвинулись вперед, но прозвучал выстрел, и с той стороны донесся стон раненого и злобные крики. Джигит издал глухое рычание и выразительно на меня посмотрел. Наконец он произвел и человеческие звуки, — мешая русские слова с своими, помогая себе красноречивыми отрывистыми жестами, он втолковал мне, что хотел. Поскольку у нас имелось два ружья, я должен был заряжать разряженное выстрелом второе ружье, в то время как мой избавитель сдерживал скопище первым.

— Тебе известно, как никому другому, — заметил Неврев, — я не был тогда искушен в горной войне, а был опытен в парадах и дуэлях, поэтому простой, почти гениальный, но такой обычный замысел не сразу нашел дорожку в тенета моей сообразительности. В самом деле, как только нападавшие поднимались с земли и показывались из-за стволов деревьев, надеясь броситься в шашки, навалиться скопом, смять нас и искрошить — а это несомненно бы произошло, — мой черкес хладнокровно посылал смертельный выстрел, и шайка с воем негодования опять рассыпалась за укрытия. В это время я заряжал второе ружье, лихорадочно подсыпал пороху, закатывал пулю и тут же получал ружье разряженное. Если бы мы, поддавшись искушению, выпустили сразу два заряда, из обеих ружей разом, расстояние, которое отделяло нас от преследователей и которое так точно определил мой неожиданный товарищ, сделав первый выстрел, не позволило бы нам вновь зарядить оружие, и рукопашная схватка, сулившая нам смерть, была бы делом решенным. Стрелять при всем при этом необходимо было без промаха, что и делал мой товарищ с непостижимой меткостью, принуждая откатываться своей дьявольской стрельбой наших, так сказать, недоброжелателей. Мои глаза привыкли к темноте, и я без труда различал движения противников. Они озверели, но ничего не могли поделать — выстрел был один, но кого из них унесет он высоко в небо, к престолу Аллаха? Они рассеялись полукругом, забирая нас в кольцо, однако подвижный джигит переползал по всей кромке лошины, посылая пули то в одном, то в другом направлении, словно убеждая нападающих, что смерть может коснуться любого из них. Им не оставалось ничего иного, как затеять с нами бурную перестрелку, но их многочисленные пули не причиняли нам вреда, потому что мы были надежно укрыты выступающими из земли камнями и черкесы находились ниже нашей лошины. Мы волновались за лошадей, но до поры вражеские выстрелы не доставали их. Только один залп сорвал кабардинку с головы моего бесстрашного стрелка, и она, простреленная, отлетела далеко назад, ударившись в одну из лошадей. Лошадь испуганно фыркнула и сделала попытку вскочить на ноги — черкес метнулся к ней и бережно уложил ее на место. Лошадь успокоилась.

Между тем за небо уцепилась мутная бляха луны и распушила вокруг себя сверкающее сияние. Свет исполосовал землю, разлегшись между косях длинных теней, которые отбросили буки. Лошади заворочались, вытягивая шеи и косясь испуганным глазом на полную низкую луну. Мы лежали в лошине уже несколько часов, но перед нами были не солдаты, а изощренные ветераны ночных схваток, мастера всяческих хитростей по части того, как бы побыстрее отправить на тот свет, поближе к этой вот луне, какого-нибудь недруга. Не считая солдата, их было девять человек; когда взошла луна, трое были ранены, двое убиты, следовательно, оставалось всего четверо. Я лежал на спине, искоса поглядывая на незнакомца. Противники растянулись за стволами и терпеливо ждали, когда у нас закончатся заряды, время от времени посылая к нам вялую вспышку.

10

— Джигит отличался сложением стройным и высоким, черты его лица можно было бы назвать красивыми, если бы не устойчивое выражение какой-то кровожадности, которое искажали линии, не лишённые сурового благородства. Кожа на лице, выдубленная всеми ветрами, повиновалась подвижным мускулам, которые своими гримасами одно за одним чередовали выражения радостной злобы, полного спокойствия — тогда морщины пропадали и кожа свободно обтягивала гладкую маску костей — или пристального внимания. Ему было лет сорок, из-под распахнувшейся черкески навстречу предательскому лунному свету выглядывала тусклая кабардинская кольчуга, локти кое-где дырявой черкески охватывали стальные пластины наподобие одеяния римского легионера.

— Почему ты напал на них, убил Джембулата? — спросил я по-черкески.

Он повел на меня глазом и, прильнув к камням, долго ничего не говорил. Его горбатый нос, который принято называть орлиным, трепетно втягивал воздух, словно нос зверя, почуявшего добычу. Дрожащие ноздри как будто желали сбросить, стряхнуть лунный свет, мешающий дыханию, мешающий жизни. Он ответил на мой вопрос с той откровенностью, которая свойственна людям в минуту, когда пульс существования замирает в ожидании между жизнью и смертью, когда человек заглядывает в прошлое внимательным взглядом, когда охватывает свои утекшие дни самыми главными, немногими словами.

— Мое имя — Салма-хан, — негромко начал незнакомец, не глядя на меня, — я сын бей-Султана, одного из князей народа адиге, и поэтому сам князь, — гордо вымолвил он. — Того самого народа, с которым сейчас веду перестрелку. Когда моего отца предательством прогнали с родного очага, мой детский писк еще не звучал в горах. Изгнанием отца запятнал себя Айтек, будь трижды проклято это имя, неблагодарный! Женщину не поделили они! Отца приняли абадзехи, живущие к югу от шапсугов. К тому времени отец уже имел детей: меня и сестру Лотоко. Многие из абадзехов желали породниться с отцом, поэтому отец отдал меня на воспитание старому Мансуру, жившему одиноко. Мансур был кузнецом, изделия его рук высоко ценились в горах. Едва я появился на свет, как отец поговорил с Мансуром, и тот — согласно древнему обычаю — стал моим аталыком. «Учись ковать железо, — говорил мне отец, — ибо князья больше никому не нужны». Я поселился у Мансура, в уединенной сакле на берегу Пшехи. День-деньской Мансур проводил у горна, а я, как и подобает мужчине, упражнялся в искусстве наездничества и в нелегком ремесле стрельбы. Мансур выковал мне маленькую саблю, и я рубил ею орешник. В это время отца моего умертвили на охоте пришлые абреки. Так говорили люди.

Я подрос и помогал старому Мансуру в кузне. Бесчисленные годы ослабили удар его руки и притупили остроту взгляда. Все юноши, рожденные на свет в один год со мной, уже давно сели в седла и добывали себе славы отважными делами, а я ни разу еще не видел правого берега Кубани, не видел, как колышется под ветром казацкая пика.

Тем временем юная Лотоко, сестра моя, вступила в пору первой прелести. Слава о ее красе гремела в селениях. К ней посватался Джембулат, сын нечестивого Айтека, первый из шапсугов. Как красота сестры моей затмевала самые прекрасные горы, так удалство Джембулата обросло молвой, словно обрастает вьюном ствол чинара. Имя это все хорошо знали на обоих берегах холодной Кубани, и в Кабарде, и на той стороне большого хребта — в земле абхазов. Я, скромный кузнец, был горд, что такой знаменитый белад обратил свои взоры на мою сестру. Случилось так, что Мансур, мой аталык, стоял уже на пороге смерти. Радость жизни омрачилась его тяжелыми хворьями, дни и ночи я проводил у его изголовья, моля всемогущего Аллаха продлить его дни, утолить его страдания. Но, видно,

угодно было Всевышнему поскорее приблизить к себе праведника — Мансур умирал. Перед тем как закрыть глаза свои навеки, он призвал меня к себе и поведал следующее:

— Знай, Салма-хан, мальчик, что многие годы храню я в сердце жгучую тайну. Не абреки убили твоего отца и не казаки на него напали — нечестивый Айтек своей рукой сразил его. Кончилась смута, ибо все на свете имеет конец, и многие князья вернулись в родные аулы. Страх за содеянное будил по ночам Айтека, и понял он, что не будут спокойны его ночи, пока жив бей-Султан. Он, сын греха, подстерг его на охоте и насквозь прострелил ему грудь, — мало того, снял с мертвого оружие, которому позавидовал бы любой джигит, и присвоил себе, а теперь сын его носит это оружие, Джембулат, которому ты, несчастный, отдал свою сестру.

— Почему ты раньше молчал, старик? — вскричал я в ужасе.

— Я молчал, — ответил Мансур, одарив меня взглядом, просветленным предчувствием небес, — ибо тайна — это как отцовское наследство, как отцовское ружье, отцовская шашка: только тогда младший может познать блеск клинка и взяться за рукоять, когда старший выпустит его из своих рук. Только тогда дозволено передать тайну, когда сам стоишь в преддверии других великих тайн.

Так сказал Мансур, и тут же душа его отлетела. Я похоронил старика и расцарапал себе лицо, словно женщина, без оглядки бросился в горы и бродил там, как зверь. Обезумев, шатался я по скалам, и конь мой понуро шел за мной и вторил моему вою жалобным ржанием. Бесчестие душило меня, я забыл о голоде, о жажде, упал на камни на берегу мелкой речки и призвал смерть... Я лежал на камнях у самой воды. Солнце стояло высоко, просвечивало прозрачную воду до самого дна, ласкалось ко мне, но не для меня оно светило. Быстрая форель мелькнула в голубоватой воде и замерла под камнем. Прелесть мира не радовала моих очей, и злая тоска проникла в душу... Я лежал недвижим до самой ночи и слушал напев потока. Мгла опустилась на землю, и камни похолодели — словно моя душа. Вот уже журчащий поток скрылся от глаз во мраке, и голос его переменялся. Охваченный прохладой, теперь он стал звонким и чистым, и среди его легких волн издалека, из глубины, донеслись такие же легкие звенящие голоса. То красавицы дочери Матери вод вышли играть под луной и черпали воду серебряными кувшинами, и плескались, забавляясь, друг на друга, и тихо смеялись неверным серебряным смехом, вплетавшимся в пенистый говор воды. Они звали в ту невидимую, неясную страну, которая рядом, всех тех, кто устал жить при свете солнца. В первый раз за свою жизнь я не шептал молитву, и мне не было жутко от печального смеха волн — страх не осквернил моего пустого сердца. Уже трепещущие звезды нежно заглядывали в мои глаза, и их неживой свет увлекал меня на истоптанную тропу позора...

Вдруг во тьме кто-то назвал мое имя. Я схватился за кинжал и присел. Никого не было вокруг. Валлах! Рано я подумал о смерти! Лучше джехеннем, чем считать печали в глазах любимой и сносить обиды от нечестивцев! Что-то прожгло меня изнутри, и силы мои утроились. Я разостлал килим и вознес хвалу Всевышнему за то, что удержал меня на краю пропасти и указал мне путь на темном своде небес одной маленькой звездочкой, одним негромким словом рассеял тишину, — этого мне было довольно. Я жарко молился, и слезы протекли по моим щекам. Как будто новую жизнь обрел я в ту ночь — один помысел теперь владел мной и направлял бег моего коня... Я поднялся, подозвал коня и взнуздal его. Он словно понимал, что творится в моей душе, и приветливо заржал, поискав мордой ладони. Я погладил его по спутанной гриве и расчесал ее. Потом обнажил свою шашку, подставил ее под лунный свет. Не одну могилу гяуров разрыл я, чтобы найти меч франка, не один месяц старый Мансур трудился над клинком, зато на всей Кубани не было такой. Здесь я дал себе заклятье и смешал свою кровь с водами потока. Поел сыра и сел в седло.

11

— Над нами разлилось благоухание ночного простора, как бывает только тогда, когда ночь переваливает на вторую половину. Повеяло холодком — загухающим порывом налетел случайный ветерок. Луна прояснилась, и ее безжизненный свет полил все вокруг. Со стороны противников послышался удаляющийся конский топот. Несколько пуль расплющились о камни у самых наших голов. Страдальчески и протяжно проржала лошадь.

— Поскакал в аул за подмогой, — прислушался Салма-хан и выпустил очередной заряд, заметив какое-то движение за деревьями. — Сейчас надо уходить, — сказал он, — когда джигиты прискачут, поздно будет. Убьют нас.

— Роговые газыри его черкески были пусты. Он ощупал круглую деревянную пороховницу, привязанную к поясу кожаным ремешком, и пересчитал пули. Пола длинной черкески распахнулась, и я увидел два пистолета, заткнутые за пояс. Сначала я не обратил было на них никакого внимания, но вдруг заметил, что пистолеты эти — не что иное, как дуэльные кухенрейтеры. Более того, на одном стволе я явственно разглядел глубокую зарубку, какую делают обычно по какому-то негласному правилу после того, как из этого пистолета на дуэли был убит человек. Такую насечку, помнится, ты и сам некогда сделал, — нахмурился Неврев. — Я потянулся к этим пистолетам. Салма-хан, обнаружив мое любопытство, вытащил один и протянул мне.

— Хвала Всевышнему, я не ошибся, — воздел он руки к густо поси-невшему небу, на котором неожиданно появились серые полосы перистых облаков.

— Я ничего не мог понять, но было не до того. Оставшиеся горцы терпеливо ждали подкрепления и не делали больше бесполезных попыток наброситься на нас, залегши за прямыми и толстыми, словно колонны романского храма, стволами буков. Они караулили нас, и пули то и дело испытывали надежность нашего естественного укрытия, щедро освещенного лунным сиянием. Теперь Салма-хан зарядил уже оба ружья, но хитрые черкесы выжидали — время было на их стороне. Салма-хан поглядывал на луну, пытаясь по ее перемещениям на небосводе определить, сколько минут еще находится в нашем распоряжении. Мне казалось, что вот-вот появятся многочисленные рассвирепевшие всадники, — я прикладывал ухо к земле, стараясь расслышать далекий гул кавалькады, но Салма-хан был спокоен и следил за луной. Луна медленно подвигалась навстречу темной опухоли облаков, и сгусток этих облаков едва заметно переползал по направлению к ней, теряя по дороге отставшие клочки. Мы с надеждой следили за их возможной встречей. Через несколько минут, показавшихся часами, стало ясно, что эта встреча скоро и неминуема, и в тот самый миг, когда облако осторожно покрыло желтый блин, сын бей-Султана поднял лошадей. На минуту упала настоящая темнота, так что я не сразу различил черные силуэты вставших во весь рост и мотавших мордами лошадей, и Салма-хан благословил эту спасительную минуту. Мы вскочили в седла, держа ружья наизготове, и я, по примеру опытного Салма-хана, спрятался за конскую шею. Спустя секунду мы вырвались из лощины и промчались между притаившимися черкесами в тот самый миг, когда луна уже просвечивала нежный, тонкий и рваный оком равномерно уплывавшего облака. Джигиты на секунду опешили от неожиданности, и мы пронеслись перед ними, словно огромные птицы, взлетевшие с земли. Раздался визг людей и визг ружей — шесть выстрелов прогремели разом, прямыми молниями столкнувшись с темнотой, рядом, но запоздалые черкесские выстрелы не причинили нам никакого вреда. Мы выстрелили на вспышки и услышали позади звуки бьющейся лошади. Черкесы подняли коней, и трое пустились за нами, — силы были равны, однако Салма-хан не поворотил своего скакуна и не обнажил шашки — не стал искушать судьбу, сберегая драгоценное время. Под нами были отличные кони, и погоня стихла очень скоро, затерявшись где-то в завалах валежника, завязнув в подлеске. По моим подсчетам, через час

должны были примчаться джигиты из аула, за которыми был, скорее всего, послан беглый солдат, если, конечно, пуля Салма-хана не уложила его прежде. Было бы наивно рассчитывать на то, что черкесы, потеряв столько людей, откажутся от преследования. Для них началась в эти минуты настоящая жизнь — та жизнь, ради которой они и рождаются на свет. Когда рассветет, они пойдут по сакме, словно стая волков, десятки неумолимых хищников на неутомимых конях. Все тропы, даже звериные, им были известны так же хорошо, как нам знакомы вывески Невского проспекта. Но и Салма-хан тоже отлично их знал. Мы взбирались на косогоры, стремясь подняться повыше, выбраться из полосы леса на обнаженные вершины хребта, круто поворачивали, но снова и снова возвращали первоначальное направление — на север, к Кубани. Дорога шла низом. Луна сопровождала нас то слева, то справа — словно недремлющее око небес, — она была рядом, не отставая ни на шаг, и, казалось, с интересом и жалостью наблюдала странные игры маленьких человечков — насекомых, затерянных в мохнатых складках гор. Как ни был хорош конь Джембулата, а до коня Салма-хана ему было далеко. Он рассекал ночь, подминая препятствия, разрывая хитросплетения кустарника, как разрывает рубаху пьяный мужик, когда душа его просит раздолья. Где-то сбоку шелестела речка — Салма-хан поворотил скакуна, и тот, повинувшись самой мысли седока, словно рысь, мягко прыгнул в чашу. Мы пересекли речушку и выехали наконец на торную дорогу, белевшую во мраке двумя извилистыми нитями, протянутыми неуклюжими колесами арб. Здесь мы вверили себя Аллаху... да, Аллаху, — Неврев усмехнулся, — тогда это был Аллах, и понеслись бешеным наметом.

12

— До самого рассвета продолжалась эта неистовая скачка. Дорога незаметно спускалась и постепенно выводила в холмистые безлесные предгорья. К утру дыхание моего коня стало тяжелеть, круп взлоснился от влаги, тогда как конь Салма-хана по-прежнему летел вперед, почти не касаясь ногами грешной земли, дробя копытом кремнистую россыпь. Я стал отставать. Восток прозрачно побледнел, поголубел. Свет одну за одной изгонял со сбросившего дрему небосклона последние потухшие звезды — гроздь созвездий пропала для взора еще раньше, как первыми уходят с карнавала в Дворянском собрании почтенные семейства, обремененные детьми, оставляя блестящий паркет одиноким франтам, которым некуда спешить.

Мы перебили Кубань, размеренно катившую плоские, молочного цвета волны, и выбрались на берег у самого креста. Окруженные возбужденными казаками, мы тронулись к крепости, до которой считали версты две. Казаки завистливо поглядывали на наших лошадей, а один из них узнал белого коня Джембулата, известного на линии ничуть не меньше, чем его навеки успокоившийся хозяин. Русская речь ласкала мне слух, и я словно позабыл, что ожидает меня, — солдатский ранец, матерчатые погоны с номером и кивер без козырька.

Комендантом крепости состоял майор Иванов-девятый — офицер условно заслуженный, большой любитель чихиря. Я, сбиваясь, доложил ему обо всех наших приключениях. К моему удивлению, оказалось, что майору прекрасно знаком Салма-хан, мой чудесный избавитель, и они обращаются как добрые приятели. Удивление мое возросло еще более, когда Иванов, в свою очередь, поведал мне о тебе, о том, как всего за месяц от этого утра тебя перевели в Нижегородский драгунский полк, в Грузию, и о многом другом, что тебе безусловно известно лучше моего. Иванов провел нас в свою квартиру, велел фельдфебелю принести сухую форму для меня и трубку для своего кунака, который вышел позаботиться о любимой лошади — этого он не доверил бы и родному брату. Вернувшись, Салма-хан распустил скатанную бурку, не успевшую как следует намокнуть, накинул себе на плечи и преспокойно забрался на широкую лавку, сложив ноги на

турецкий манер, как если бы находился в арзерумской кофейне. Пришел фельдфебель, принес сюртук.

— Ваше благородие, — отрапортовал он майору, — только офицерский остался, от юнкера того, что месяц назад уехали.

— Давай, — вздохнул Иванов.

— Признаться, эта насмешка судьбы не развеселила меня, но делать было нечего — я облачился в твой сюртук, благо он был сухой и чистый. Я вспомнил про дуэльный пистолет и вернул его моему спасителю. Перед тем как отдать, я еще раз его рассмотрел, и почему-то мне показалось, что именно из него довелось убить Елагина. — На мгновение Неврев опустил голову на грудь. — Впрочем, — он вопросительно взглянул на меня, — так ведь оно и было, не правда ли?

Я кивнул.

— Так вот, — продолжил он, — Иванов тут же при мне сел писать рапорт, а в комнату в эту минуту вошла молодая черкешенка. Одета она была в шелковый бешмет, застегнутый на груди серебряными пуговицами, из-под которого показались деревянные башмачки, украшенные тонкими инкрустациями. Голову покрывал обыкновенный платок, замотанный под самыми огромными глазами. Эти бархатные глаза посмотрели испуганно, но минутный испуг только оттенил суровое достоинство. Увидев ее, Иванов поднялся, взял за руку и подвел к Салма-хану, который издал какие-то непонятные звуки удовольствия. Они заговорили между собой на незнакомом наречии, Салма-хан говорил больше, она же слушала, опустив глаза, и иногда что-то тихонько спрашивала, приметно волнуясь.

— Сестра его, — кивнул мне майор. — Увез ее Джембулат, а он выкрал. Не захотел такой женитьбы. В тот раз еле ушел. Тож до самой Кубани гнали.

После обеда небо вдруг сплошь затянуло рябыми тучками. Они быстро сгущались, выдавливая первую морось дождя, первые неосязаемые капли, еще не достигающие земли. Салма-хан вывел своего Адгура. На коня Джембулата он возложил высокое, выгнутое, словно ендова, абхазское седло, устроенное по-женски. На его спину он набросил мягкое шерстяное покрывало и посадил сестру. Мы с майором вышли проводить их за крепостные ворота.

— Куда ты теперь? — спросил я Салма-хана.

— В Дагестан, — невозмутимо отвечал он, невзирая на присутствие русского штаб-офицера, — к Гамзат-беку, под знамя Пророка. Обет абречества я исполнил... — Он помолчал немного и пожелал то ли мне, то ли майору: — Живи долго.

Брат с сестрой, еле заметно покачиваясь в седлах, послушные переливам лошадиных мышц, шагом поехали к опушке, захваченной мутной пеленой тумана. Салма-хан затянул какую-то тоскливую песню. Негромкая, печальная, она была под стать дождю, под стать разлуке и скитаниям, скитаниям, бесконечным скитаниям ищущего человека.

— Да, — поглядел им вслед майор, — убил Джембулата — теперь радость у него. Можно жить. Кровомщение — такая уж штука, — вздохнул он.

— Что он поет? — спросил я, ни слова не разобравший в этой клокочущей мелодии.

— Что поет?.. — прислушался Иванов. — Это абхазская песня. «Дзиуоу, Дзиуоу! Сын князя вина не пьет, воду раздобыть не может. И обходит повсюду ручейки. Немного воды! Немного воды!» Так, чертовня какая-то, — заключил он. — А красиво.

— Кроме официального донесения, — продолжил Неврев, закашлявшись, — Иванов любезно отписал моему командиру полка, коего лично знал. Все хотели во мне видеть убийцу знаменитого Джембулата, и если бы

Салма-хан не забрал для сестрицы белого жеребца, то, может быть, на это и было бы похоже. Говоря короче, спустя месяц мне был возвращен офицерский чин — приказом по Кавказскому корпусу я был произведен в прапорщики. Затем шесть лет безупречной службы, — Неврев махнул рукой, — впрочем, это вовсе не интересно, право. Одним словом, чин подполковника в шесть лет, без протекции. После плена удача мне широко улыбнулась. Во весь свой беззубый рот. Однако давай продолжим.

— Странное дело, в мыслях я постоянно возвращался к тому солнечному дню, когда прочел надпись на погребальных камнях. Это непонятное заклинание преследовало меня днем и не давало спать ночью, совсем как Айтеку мысль о здравствовании бей-Султана. Я повторял про себя эти странные слова, переставлял местами фразы, выхватывая предложения, рассматривал их со всех сторон точно так, как любитесь содержатель ломбарда последним бриллиантом бедной вдовы. Может быть, думалось мне, правы были черкесы, обходившие стороной страшные камни, быть может, в самом деле содержали они колдовское заклинание, возможно, и впрямь разведали душу, словно яд, подсыпанный в рог. Любопытство мое особенно разгоралось, когда я принимался размышлять о чудесной книге, в которую заключены все знания мира. Меня, как тебе хорошо известно, всегда привлекали тайны мира, — улыбнулся Неврев, — если, конечно, у мира имеются какие-либо тайны. Я поднаторел в мистике и в науке разгадывать разного рода секреты, — рассмеялся он, — я, философ поневоле... И я настойчиво вызывал неизвестный образ мученика, оставившего исполненный величия крик одиночества среди угрюмых красот горной природы и жестоких нравов обитателей этих суровых мест.

Как-то раз я находился в отряде, в нижнем течении Зеленчука. Само собой, я тут же вспомнил указания этого загадочного Густава Тревельяна.

— Какое сегодня число? — спросил я у одного приятеля.

— Двадцать второе июня, — такой ответ я получил.

Помнишь ли того вечно скучающего прапорщика, который был известен всему правому флангу своей шегольской венгеркой? Он тогда был с нами в отряде.

— Не желаете проехаться в верховья? — предложил я ему.

— Почему бы и нет? Какая разница, где скучать? — сказал этот чудак.

Мы отправились перед самым светом, захватив с собою одного черноморского казака, Дорофея Калинина, который знал горы и тропы так же хорошо, как знал расположение лавок в своем курене. Казак был матерый, охотник и джигит.

— Знаешь ли ты развалины храма на Зеленчуке? — спросили мы с надеждой.

— Как не знать, — задумчиво проговорил он. — Верст десять отсюда станет.

Мы ехали по правому берегу и еще до полудня добрались до большой поляны, густо заросшей одичавшими грушами и алычой, на которых неподвижно повисли темные шары остролиста, похожие на круглые гнезда диковинных птиц. Сколько столетий назад покинули люди эти места? Среди листвы, на склоне, в скалах, чернели отверстия дыры рукодельных пещер, служивших некогда кельями аланским монахам. Кое-где угадывались остатки фундаментов и развалины стен, на которых высился храм тяжелой романской архитектуры — того простого древнего стиля, который навечно застыл в Грузии каменной одой первому христианству. Мощные останки — воплощение догмата, символ откровения, скелеты первого проблеска веры, которую мудрый Кавказ бережно принял от неразумной Европы, — шурились на ослепительное солнце узкими, словно щели, вытянутыми проемами окон. Как всегда бывает при виде низверженного временем величия, нам сделалось грустно... Посконин вытащил часы — до полудня оставался один час. Над нами сгущалась яростная голубизна летнего неба, оттененная черной зеленью ущелья, а в низине с бешеным ревом нес, ворочая гальку, прозрачные холодные волны рассирепевший Зе-

ленчук. Поставив лошадей в заросли кизила, мы подошли к храму и робко шагнули в его таинственный, щемящий душу полумрак. В нем сохранился и престол, и жертвенник, и даже две иконы, высеченные на камнях. Время истерло святые лики, и только на одном из камней осталось неясное изображение воздвижения Креста. Грустно, грустно наблюдать в прорехе купола синее небо, до боли тоскливо видеть траву, устлавшую плиты дорожки, неровно ушедшие в землю, а на занесенном песком полу церкви — диалектические цвета птичьего помета...

Я тщательно припомнил все рекомендации несчастного француза, и ровно в полдень, который Посконин отметил со всей возможной точностью по своим немецким часам, я стоял лицом к зияющей пасти входной арки, отступив на пять шагов от разбитого ветрами порога, глядя в темноту. Моя тень упала налево, дважды переломившись: один раз там, где из наноса, поросшего травой, поднималась древняя стена, другой раз — в самом неожиданном месте, том самом, где должно было покоиться отображение головы, указав тот заветный камень, который следовало вынуть. Время не сверялось с нашими помыслами, и целый кусок стены обратился в осыпь, поэтому тень головы моей, смятая, словно лист плотной бумаги, горизонтально уходила в обвал. А может быть, это человеческая рука в нетерпении разворочала стену? Нашупала священную книгу? Такая догадка исторгла из меня стон. Но кто, кроме неграмотных горцев и пленного русского офицера, мог набрести на город дольменов, кого коварный случай мог заставить прочесть эти надписи? Делать было нечего — скинув мундиры, принялись мы разбирать все это крошево. Копаться пришлось совсем недолго. Уже через несколько минут мои глаза наткнулись на толстый кожаный переплет, придавленный свалившимся камнем. Сердце у меня бешено заколотилось. Неужели правда, думал я, — нет, не думал даже, боялся мыслью спугнуть наваждение. Я подозвал Посконина, и мы отвалили тяжелый тесаный камень. Секунду спустя я взял в дрожащие — то ли от физического напряжения, то ли от трепета души, — в дрожащие руки эту загадочную книгу. Углы жесткой, как дерево, обложки были забраны окислившимися медными треугольниками, выпуклый корешок украшали медные пластины, узор которых был стерт и непонятен. Тысячелетняя кожа переплета слезалась в стекло и, как пересохшая глазурь китайского фарфора, обзавелась паутиной трещин. Когда-то обложка была выкрашена темно-коричневой краской, какой-нибудь охрой, разведенной в яичном желтке, и кое-где, местами, между чуть выпуклых бугорков поверхности упрямо забили остатки этой краски. Я распахнул книгу — она была пуста!.. Из корешка торчали изглоданные корни пергаменных страниц — безобразные объедки времени, желтые и рваные раны вожделенной сути, — и ни одной целой, ни единой поблекшей миниатюры, на которой наивное воображение иконописца облакает Господа в те же одежды, которые носит он сам, ни одной, несшей на себе хотя бы смутный отпечаток буквы, оттиск божественного слова, хорошо, пускай даже след неподдающегося истолкованию иероглифа. Ничего!

— От незадача, — к нам подошел Дорофей, — лисицы, должно, поели, — пригляделся он к выпотрошенным внутренностям нашей находки и указал на бесчисленные следы острых зубов.

Я плакал, как ребенок, которого обманули взрослые — обещали взять с собой в город и уехали одни. Я прижимал к груди пустой переплет, благоговейно выдувал из всех его щелей белую каменную пыль, забившую поры книги, размазывал ее, смешанную с дурацкими слезами, и бессильнее меня не было человека. Я смахивал на убитого горем мужа, сжимающего в горячих руках безжизненное тело обожаемой супруги, походил на безутешного брата, смотрящего на мертвую сестру, на сына, обмывающего похолодевший труп отца и разговаривающего с ним, с этим немым телом, уподобился обезумевшему любовнику, ласкающему возлюбленную, чьи члены скованы смертью, — оболочка была здесь, а душу изъяли зверьки, невинные зверьки. Ох и позабавились же они. А может быть, были просто

голодны. Это была мрачная игра Калигулы с бездыханным телом Клавдиллы, извечная игра желаемого и действительного, мифа и реальности, света и тени... намерения и результата... Этот список можно продолжать до бесконечности. Трагикомедия...

— Знатный оклад, — молвил Дорофей, продолжая любоваться переплетом. — А что, ваше благородие, не отдадите ли мне?

— На что он тебе, братец? — спросил Посконин.

— Да отвезу в станицу, отдам отцу Мануилу, а то у него в церкви, — Дорофей перекрестился, — молитвослов совсем поистрепался, обложка — та совсем разошлась, смотреть жалко. — Старик помолчал. — Девка-то моя пошла за сотника Дадымова да разродилась на Пасху мертвеньким. Не дает Бог внучат, — тяжело вздохнул он.

Мы отдали переплет казаку.

Некоторое время мы с Невревым в задумчивом молчании смотрели в разные стороны.

— Да, — сказал я наконец, — мир тесен. Тесен, как кибитка кочевника.

— Как мундир павловского гренадера, — отвечал Неврев, и мы рассмеялись так легко, как не смеялись уже много-много лет подряд.

— Тебе когда ехать? — спросил я.

— Назавтра ехать. Вот только прогоны получу...

14

Неврев уехал в армию, я остался и очень скоро понял, что это чудесное свидание в полутьме дядиного дома есть последнее, что еще раз связало меня с промелькнувшими двадцатью восьмью годами жизни.

Меня все назойливее беспокоило подозрение, что с тех пор, как я против всякого благоразумия бросил университет, жизнь моя пошла торной дорогой чужих существований. Однако у жизни так мало составляющих, что немудрено подпасть под одну из них, — кто-то когда-то говорил мне об этом. Ах да, Елена. Ведь донашивают же люди, стесненные в средствах, одежду с чужого плеча, и, бывает, при этом счастливы. Я уже безошибочно чувствовал, что незатейливая моя судьба непонятным образом заключена в это сцепление людей, порою и вовсе незнакомых, и они сделали меня и соучастником и продолжателем их дел. Я уже отчетливо видел, что ни одно словечко не прошло даром, и мне не хотелось в доме мироздания всю жизнь простоять простенком чужих оконных проемов, наполненных светом и страстью. Мало-помалу я превратился в дознавателя, распутывая на досуге клубки противоречий их беспокойных дней, догадываясь, что каждая крупница этого знания как воздух необходима мне самому. Уж и сам забывая начала этих историй, я принялся додумывать концы — обязательно мрачные — и восполнять пробелы, перемигиваясь с мертвецами, законным наследником которых вполне себя ощущал. Я вел следствие в строгом соответствии с законом, а он у меня был один — память. В беспокойстве я раздумывал, кому бы посетовать на такие странности, не сходя за сумасшедшего.

Я все глубже погружался в пучину самой непосредственной тоски. Я жаждал небытия, словно глотка воды в нестерпимо жаркий августовский полдень на сухом и соленом крымском побережье. Все эти истории, затверженные неподвластной, незримой памятью, все эти оставленные мужья, которые бросили сами себя, все эти несчастные влюбленные, все имевшие для счастья, но не имевшие средства достичь его, ибо есть нечто, что не в нашей власти, — все эти разодранные судьбы, все эти томления по утерянной родине, забытой вере, поруганной религии, вечные скитальцы, сумасшедший смех Альфреда де Синьи, этот старая развалюха граф, нависший надо мной безжизненной тенью, преследующий меня по ночам мертворожденными сказаниями... Может быть, он тоже остался влачить свое голое существование, поджидая собственную тень, как самоотверженный Густав? Как будто все эти рассказы, невзначай излитые, между делом припоминаемые, все эти слова, кажущиеся такими безобидными, на

самом деле соткали, извратили и мою жизнь, предательски открывшую объятия этим магическим словам, которые были подсказаны как из будки суфлера бесстрастному, но чуткому слуху актера, и моя судьба, внимая им, понемногу, незаметно принооровилась к беспричинным страданиям, к несуществующей грусти, к печали и скуке, как будто бы не имеющим причин, а сам себе я казался слепком нечаянных слов.

Старый граф наделил меня меланхолией, доходящей до сумасшествия, дядя, бедный дядя одарил покорностью и безотчетной страстью к ударам судьбы, Неврев поселил во мне вялую безысходность, Квисницкий — отвлечение к мундиру, Троссер сообщил ненависть к путешествиям, Вера Николаевна облекла здоровое чувство любви в темный креп разлук, покойный Альфред зародил сомнения в разумности молодого счастья, а все вместе они наполнили меня до краев и перебили охоту жить, развратив заодно душу бесконечными сказками с неизменно плохими концами. Эфир и впрямь был полон намеков, указаний и напоминаний, уста рассказчиков производили на свет химеры, и эти химеры тут же оборачивались для меня дорожными указателями. И не сбылось только одно предсказание, данное по всем правилам провидческого искусства, — непонятное, но ясно высказанное обещание счастья от старухи гадалки, проживавшей в домике с дырявой крышей.

Так прошел год. Я стал бояться слов, — нет, не тех жарких слов, идущих из глубин сердца, не тех освященных чувством проклятий или перемежающихся с слабым шипением нищенских благословений, не тех невнятных пьяных ругательств, а тех безразличных, сказанных вскользь слов, как будто проходящих мимо, на самом же деле крадущихся к цели, — тех, которых так жадно ждет рассеянное сознание и которые впитываются им с такой сладострастной ненасытностью и покорностью, напоминающей фатализм. И я прислушивался к словам, пытаюсь угадать, какие еще скорпионы они мне предложат. Я прятался от скуки, нося ее с собой, скрывался от того, что неизменно рядом, и перебрался в Москву, подальше от дядиного дома, оваянного непобедимой легендой. Долгими зимними вечерами — вечерами, насыщенными мрачной синевой, высасывающими из души остатки живительных сил, — я таскался в Английский клуб, где, конечно же, не встречал ни одного англичанина, зато встречал бездумных повес, обремененных семьями, отчаянных ветрогонов, обремененных долгами, пожилых франтов, обремененных любовницами и монаршим благоволением, — будущих деятелей либеральной эпохи, — и еще каких-то уж вовсе непонятных людей, независимо от возраста отягченных сразу всеми этими признаками полнокровной жизни, и все они коротали дни, скорее ночи, в бесплодных разговорах, отмеченных смыслом в самой своей незначительности, топили равнодушные слова в осторожных глотках шампанского и бургундского, превращая жизнь в вечную проволочку, в сплошной антракт между несодеянным и тем, что никогда не будет сделано, между делом также исповедуя выпренную меланхолию, закапывая во времени каждый свою правду. Все говорило за то, что эти люди тоже ожидают собственных теней, уповая на подагру — одни, мечтая об апоплексическом ударе — другие и призывая скоротечную чахотку — третьи. И среди них был я — престарелый юноша, бездарный ученик равнодушной жизни, вносящий в это собрание скопцов от инфантерии, от кавалерии, от землеустройства, внухов большой политики и камерных салонов, сверкающих наградами — заслуженными и не очень, — скалящих в морозные окна дурные зубы, затайливо сточенные трюфелями и дымами походных костров, — вносящий туда ревниво скрытую от чужого глаза отцветающую молодость, а вместе с ней угасшие страсти, неразгаданные загадки, секреты полишинеля и неразрешенные аккорды, потерявший цвет, свет, жену, но чудом сохранивший и шевелюру, и репутацию, и — что всего удивительнее — дядино наследство, чему целиком обязан все той же скуке, ибо мотать — занятие столь же скучное и бессмысленное, как и все прочие, не нашедший в жизни ни смысла, ни веры, ни ремесла. Похоже, что и я тоже ожидал

собственной тени. Однако что толку ждать тень, когда в небе нет солнца. Следовательно, сначала нужно дождаться солнца.

Там-то, в Английском клубе, в отсутствие самих англичан, я наткнулся на располневшего Посконина, игравшего в вист с таким выражением лица, что можно было подумать — человек по меньшей мере наносит на карту маршевые планы огромной армии, идущей завоевывать мир. Пресловутой венгерки не осталось и следа — теперь его дородная фигура была облачена в тесный фрак, скроенный в Париже, а пошитый на Кузнецком мосту. Цвет сего фрака, равно как и окраска модных панталон, не оставлял сомнений — что-то случилось.

— Боже мой, — воскликнул я, — куда же вы дели свою хандру? Куда задевали великолепную венгерку?

— Женюсь, — сообщил Посконин и весело примигнул. — Собрались за границу, в Рим. Восемь месяцев назад оставил службу, — предупредил он следующий вопрос.

Мне припомнился старик Квисницкий, и я понимающе кивнул.

— Да, между прочим, — помрачнел Посконин, — слыхали новость: Неврев убит... Как вы сказали?

Я ничего не сказал. Я молчал.

— Да-да, — подтвердил Посконин, — в Гойтинском ущелье, командуя цепью передовых стрелков. В июле. Жаль беднягу. Ведь хорошо двигался по службе. Был бы жив — полковник в тридцать лет. У него, кажется, родных никого не было, не так ли? Или нет, сестра, по-моему, осталась младшая. Князь Воронцов весьма лестно об нем отзывался. Очень переживал.

Эпилог

Минувшие после описанных событий немногие годы ознаменовались губительными поисками смысла и страхом, который хранишь и несешь через всю жизнь, и все затем, чтобы в смертный час бережно поставить его на край могилы.

Вскоре я сбежал в деревню. Эхо печалей отдавалось здесь еще отчетливее, порождая тоску, на первый взгляд не имеющую под собой причин, но зывающую к хандре, которая столь знаменита к северу от Моздока. Наступили сутки, когда я уже просто перепутал день с ночью и испугался собственного неведения. Я был полонен бесконечной схваткой с вездесущим самим собой. В одну из этих ночей, наполненных безосновательным ожиданием чуда, я велел закладывать, невзирая на слезливые причитания Трофима и оголтелый крик дворни, покинувшей свои ложа. Или, может быть, лежанки. Кто уж теперь скажет? «Долг платежом красен», — последние слова Неврева, оставшиеся в памяти Посконина, были к моим услугам, а я был в долгу; и эти слова несуществующего уже человека в который раз почили на мне как заговор. Чтобы хоть как-то оправдать свое существование, я жадно уцепился за свое толкование этих немногих слов. Ямщики, еще издали оповещавшие своих продрогших собратий о небывалых чаевых, наперегонки подгоняли сытые упряжки и промчали меня через эту ночь на своих клячах. Скажем прямо, в эту безумную ночь лучшие кони казались мне клячами и низко падали в моих глазах. Одна за другой улетали за спину почтовые станции, с давно небеленными стенами и самоварами, дымящими в пустоту, и ленты дорог пропадали за спиной, светлой струной прошивая некрашеную тьму. Мы рассекли эту ненастную ночь, как только джигиты, рвущиеся за Кубань, способны разрезать грудью скакунов прибрежный камыш и предрассветный туман, окутавший казацьи посты, — так, как и следует спешащему русскому, одержимому лучезарной прихотью, путешествовать по своим необъятным пространствам, пожирая чудовищные, неподвластные воображению расстояния. К исходу суток обессиленные лошади и довольный собою молодой залихватский ямщик, каким-то чудом избежавший рекрутского набора, выбросили меня на пустой площади перед зданием смоленского губернского правления, и будочник, тщетно ловивший непослушной рукой прикорнувшую алебарду, сле-

дил за мной сонными глазами. Но не дом губернатора, окунувшийся в темноту, вперивший в меня темные провалы по-петербургски огромных окон, украшенный колоннами беспощадного, но площадного дорического стиля, мне был нужен. И не дом почтмейстера, и не сарай полицмейстера, и не прочие почтенные дома, изредка мигавшие мне во мраке дрожащими свечами сострадания, и не хоромы купцов, похожие на вобановские бастиионы, не амбары, крепостной стеной вытянувшиеся вдоль прихотливого русла реки, плескавшей в своих волнах голубую кровь императорских егерей, рожденных бретонцами, и не хижины мещан, резные окошки которых шурились в темноту распустившимися очами гераней, и не трактир, где ломовые извозчики вознаграждали себя за злые судьбы пшеничными наградами, которые тоже принимаются на грудь, как Георгиевские кресты под стенами турецкой крепости из рук седого генерал-майора, видевшего Париж в нежной дымке осадной артиллерии. Я искал домик скоропостижно скончавшегося коллежского асессора Ивана Сергеевича Полуэктова и его супруги, Полуэктовой Татьяны Алексеевны, в девичестве Невревой, пестовавшей двух детей — старшего мальчика и девочку. Я поспел вовремя, ибо чахотка уже готовилась лишить этих детей не только более чем скромной отцовской пенсии, но и самого дорогого — матери.

Татьяна Алексеевна отдала Богу душу уже в нашей подмосковной, в день, когда цветущий жасмин испускает последние пряные ароматы, и одряхлевший отец Серафим свистящим старческим голосом, запинаясь прочитал над ней отходную, слова которой витали в полумраке пустой церковки, сбивались в легкий вихрь, поднимаясь под куполок, откуда белой маской взирал на нас облупившийся Пантократор.

Лето и осень мы живем в деревне. Из Москвы спешит гувернер-француз: экзамен в корпус, хотя и не скорый, предстоит нешуточный. Пансион также не терпит неграмотности. Короткие серые осенние дни мы проводим в седле. Весело дышать этим грустным, холодным воздухом, весело запрягать маленькую мохнатую Опушку для Полины, весело подсаживать ее, облаченную в игрушечную амазонку, подбитую мерлушкой, в сафьяновое седло. Весело замечать, как гордо Алексей косится на сестру и недовольно счищает хлыстиком комок липкой глины с блестящего сапожка, — он чувствует себя мужчиной.

Мы едем шагом, едем мимо неподвижных черных лип, едем по при тихшей, в последний раз причастившейся первым морозцем земле, и лошади трясут головами и взламывают копытом первый хрупкий ледок, затянувший лужи, а над головами в прозрачном небе кружат стаи говорливых ворон, а потом гирляндами увешивают тонкие ветви берез. Обнаженные березы не в силах стряхнуть бесцеремонных птиц и только качают их на гибких ветках, как качают холмистые дороги Бессарабии шумные цыганские таборы. Заяц выскакивает из-под самых лошадиных ног и опрометью несется к замершему перелеску. Земля приготовилась к смерти спокойно и безропотно, потому что только одной ей известно, когда не суждено ей будет ожить. Низкое небо придавило нас, придавило стоячую шевелюру березовой рощи, расплющило жесткий подлесок. Неизвестно, какими небесными тропами пробравшийся мимо пикетов непогоды тоненький солнечный лучик вдруг стремительно падает под копыто, звенит об лед как благовест, как обещание незыблемости нескончаемой круговерти и, оттолкнувшись от размякающей почвы, поспешно взмывает вверх, как будто боится, что тучи захлопнутся и оставят его барахтаться здесь, внизу, в предательской склизе земли. В молодости невыносимо терзают эти предчувствия скуки, зато потом смирение приходит удивительно легко. Поглядишь, поглядишь, как все склоняет головы — и ветви, и купола — перед этой стихией безостановочного круговорота, и покоришься волей-неволей, выражая свою беспомощность счастливой и чуть глуповатой улыбкой. Такая-то улыбка кривит мои губы, когда краем глаза я слежу за детьми, — я вижу, что ему хочется охотиться и им обоим хочется любить.

Я не люблю охоты.

— Хочется лю-лю-лю-лю... — во весь голос кричу вдруг я и, лукаво оглядываясь, пускаюсь галопом.

Дети не трогаются с места, и в глазах у них бесконечное удивление. Однако дети раздумывают недолго и скоро меня догоняют, смеясь и передразнивая. Мы снова едем шагом.

Раздумываю я. Сбылись ли предсказания, данные нам некогда? Или нам только кажется, что сбылись? Или мы сами стащили их оттуда, куда вход нам воспрещен? Во что мы верим? Сложно сказать.

Мы верим в то, что через три четверти часа мы постучимся в сторожку Силантия, который степенно разведет огонь в небеленой печурке и будет долго копать в сундуке, отыскивая обещанные свистульки. Случается, мы заезжаем к нему с прогулки обсушиться и полюбоваться сквозь щели ржавой заслонки плясками косматого пламени, нервическими ужимками углей. Дети пьют чай из деревянных кружек, а я прикладываюсь к фляжке и угощаю Силантия. Лошади тихонько фыркают под прохудившимся навесом. Быстро смеркается за слюдяным окошком. После первой стопки Силантий отирает бороду широкой ладонью, хотя отирать там нечего, и красноречиво взглядывает на фляжку. Скоро нам возвращается, но возвращаться не хочется. Все это знают, и Силантий знает.

— А что, барин, — как бы в раздумье завязывает он разговор, продолжая коситься на фляжку, — вчера гром-то не слышали? Октябрьский гром — зима белоснежная...

— Да уж не замерзнем, думаю, — улыбаюсь я и берусь за фляжку.

Силантий кряхтит, тянется за стопкой, и она тонет в его огромной руке. Осторожно, благоговейно, словно крест кладет после причастия, он выпивает. Дети притихли и смотрят ему в рот. Им скучно слушать про молодняк, порубки и цены на лес. Они переглядываются, и Алексей говорит:

— Дядюшка, вы обещали сказать нам, страшный ли Шамиль?

— Дружок, когда я служил на Кавказе, Шамяля еще не было.

— Ну все равно, скажите про того, кто был, — просят дети.

— Одну минуту, — отвечаю я, глядя, как туго колеблется прозрачная жидкость в серебряной стопке. Там, на потемневшем доньшке, вдруг вижу я, как царевна в сказке, смутные образы, легкие тени. Я молчу, и картинки прожитого становятся отчетливей. Тогда я выпиваю все до капли и начинаю так...



НИКОЛАЙ КОНОНОВ



СУММА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

* *
*

Пилот, наблюдающий нас из шустрой авиетки, — вот ты, вот роллс-ройса
табакерка,
Вот лепет дев, слезы, смех, букет диве балетной, обещаешь, одни
поцелуи...
И все это значит для меня так много или вовсе ничего, так — припухнет,
померкнет,
То лаковой дверкой щелкнет, то устрицей побалуует, то матерком
прибалуует...

Вот выпивка, прости Господи, делает меня парнокопытным, свинорылым,
мычащим.
Где ж, бездна, парус твой чуткий над холодами, что держал крепясь
Овидий?
О косноязыкий брат мой угрюмый, выходящий из бурелома, ведь эти
чащи
Были любезны и мне во всех стыдных проекциях, в самом непотребном
виде.

А еще розы, если можно, розовые, с липкой росой в завоях, персика
пыльца, перси
Глупых дев, великолепии скудного быта, военные игры, твой молодой
мускул...
Стисни, Боже, жарче этот двустворчатый, бессердечный, чудный,
отверстый...
Освети пагоду соска, что поднимает тенниску и растворяет блузку.

И вот я в темных ризах кризиса, лоске комплексов, лафэ конфликтов
Выбираю, чем сподручней прозябать: выжиганьем татуировок,
дельтопланеризмом...
Но ты прикасаешься ко мне губами, словно археолог к тихому праху
реликтов,
И я плачу робкой железой аттического атавизма.

Пилот Крылов, библиотекарь Книгин, кассир Монетов, продавец Карпов
Выгрызают ходы в ноосфере, точат ее голубое безоблачное глупое тело.
Этим ли светом кончается темное кино после обрыва кадров,
Жаром, лезущим на рожон так жадно и неумело?

* *
*

В перископ взирай на волны — только шапок страусиные султаны
не забудь.
Кто сказал, что плоть — звезда ручная, в самый лютый жар не утопить,
а промокнуть.
Умоляя, мямлит блеск и лоск свой. О, роса на сердце — пылкие берега
Александррии
Огибая, проступают тенью родины влекущей, так ли, милые мои
и дорогие?..

Это сон, а снам я угрожать не смею, спи и снись себе, себя собой дробя,
Жабры сновидений раздувая, но за слезы слизня и за селезенку соловья —
На волне горячей станешь рясть, в брызгах тупо соловья.
Пыл и жар все это, Господи, вот так, туда, как скользко и светло, веди,
еще светлее.

На мою штанину мочит ямбы златошвейно куцый хилый кобелек.
Я слова забыл списать, струистые, как в захолустье сердца разжигают
камелек,
Чтобы ясно было, как поползновения текут — почти ручьи рептилий,
Всю любезную брюшину Нижнего Поволжья заливая золотой морзянкой
без усилий.

* *
*

Все это кончилось, улеглось, заглохло, стало гнездом
для подслушивающего устройства,
В котором обитает водяной знак твоего голоса, в сердечных лучах
невзрачных, —
О, не юношеской стрункой, а нагрублой жилой, к которой
не то чтобы там Ойстрах,
Да чего уж, — ножку на нее не вскинет безупречная брезгающая
всего собачка.

Погляди: в зоомагазине на устах игуаны не вянет вечнозеленая улыбка,
Уф... как все мертво-мрачно, и если я тебя никогда-нигде...
и довольно-хватит, —
О, на фото, липнущих к перстам криминально, о, на хомячках,
беснующихся в опилках,
Та же тень лежит, что нас полой прикрыла на однокрылой кровати.

Ну что пчелу жить понуждает, если не пылкой жимолостью одержимость,
Если не то, что, попадая в порочные следы, бесстыдные пятна,
множа улики,
Мы совсем твари или дерева и мне до листвы, мой ангел, до коготка,
моя живность,
Себя жалко, и я полощу сладкий список утех в твоей ушной раковине
невеликой.

* *
*

Похудеть на $\frac{7}{8}$ своего вечернего веса — греза розового облака,
И вот оно опадает туманом, и его мнут телки утренним выменем.
Эти несколько тысяч лье молочного тихого сентиментального обморока
Мнятся мне приветом от тебя — детским призом, чудным посулом,
переходящим вымпелом.

О! Если порешить до подъема $\frac{1}{3}$ мужского населения, извести мух,
 перебить кроликов.
 Это не по-царски ли кровь бодрит, скулы бреет, струны будит,
 близит неизбежные
 Приступы меломании, ведь наших псалмов популярных малосольная
 толика
 Вострит желание выпить не поранившись горькую рюмочку чего-нибудь
 безутешного.

И мы затеваем, царь Давид, сладко эту патоку, измарав в ней усики.
 О, на сердце хорошо как, тускло, жаль до слез нам своих стареньких
 родителей.
 Лишь животные домашние и домоседки девушки такого оборота
 прямодушного не струсил.
 Ой-люли, ой-люли, разлюли с эмпирей стрекочут им золотиносные
 вредители.

Я прошел по улочке своей родной, где в жар кидало умственноотсталую
 Слабенькую бузину; хорошо ж скотиниться нам было под двускатными
 покатыми
 Кисло-розовыми небесами... О, за ночь одну рехнулся, пересох с канавой
 и кустами я
 Захмелевшего боярышника... О, с собачками чумными,
 воробьями-энцефалопатами.

* *
 *

Под рев белуг, мечущих икру в тесные рукава Нижней Волги,
 Под ропот снегов, холодящих погонами плечи Северного Урала,
 Под присягу платяной моли, под ее тонко-золотистые вопли
 В ночной казарме вспухший меч глумится над малодушным оралом.

Ведь и нежные перелески тут обложены воробьиными взятками и данью
 фазаньей,
 И овраги жадны до комариной песенки и шмелиной ласки,
 То они не отводят пятерни тумана, лезущего им ранью ранней
 За ворот, в ширинку, за пазуху, расстегивая пуговицы и разрывая завязки.

А так как русская пытливая, неотзывчивая на тычки, поддтая природа
 Готова зеленеть на сборном пункте по первому боевому зову,
 То и молодой барашек спускает с себя три шкуры, и ему говорят: то-то,
 Так-то, — добавляют, — ну-ну; и жгут со всех сторон как стерню и мнут
 как полову.

Вот я смотрю на наши звезды не дыша и говорю: волки вы, зеки,
 В лучшем случае пороховая пасека, нарывающая 73 года и 3 недели,
 Так как тот, кто кис на кисельном полу и пил ваши молочные реки,
 Все-таки жив, наш бьяша, герой, голубчик, выстояв еле-еле.

О, справедливое возмездие, гражданская казнь, казанская подростковая
 пытка,
 Умертвляющие друг друга просторы, мстящие нам времена года...
 Оса, выходящая из себя, как ямщик на снег с облучка золотой кибитки
 В бисеринках пота.

* *
*

Этот снимок тусклый — легких дней податливых ухудшенный
 Вариант — подбородок оплывающий свечной, ужасный нос...
 За стеною — слышишь, помнишь ли? — лепечет, плещется
 почти полупридушенный
 Под губою пианино вальс-пародонтоз.

Помню-помню эти пальцы, бегающие шустро-мелко, и так далее...
 И не музыка как будто — бритый наголо кустарник, стриженный вальсок.
 Что забыть нельзя? Оставить? Признаки смятения, детали
 Страх потного ночного, но ошиблись мы на волосок.

Тесно-тесно, хмуро-хмуро и совсем неможется.
 Пальца легкое копытце выбивает звук фальшивый. Так
 Прорастает луковица в сетке, опустела золотая кожаца,
 Белоруко обнимающая новогодний мрак...

* *
*

Дальнобойный стрекот кузнечиков, скрип личинок, чахнувших в арсеналах,
 Свист и шелк ста тысяч птичек, отдающих тебе и мне рапорт,
 Это все образует сердечное томление, неизмеримое в баллах,
 Налетающее в темноте сознания на табуретки хрипа и тумбочки храпа.

А пока, мой дорогой дневальный, ты эфир подпираешь кариатидой,
 Радиослушатель мой, пока ты качаешь в люлечках слуха лепеты тверди,
 Пока тебя к жизни понуждает все, кроме на весь этот мир обиды,
 Которая меня захлестнула, как тебя на волне УКВ пена Верди.

И потому, где для тебя комариная безделица, шутка — мне боль и мука;
 Например, сто миллионов электробрив на тысячах га щетины
 За час до подъема колобродят в невыносимых клубах звука,
 От которых, я чувю, бегут рядовые ангелы и негодные к строевой
 серафимы.

* *
*

Как Герасим и Муму, мы тоже люди совершенно лишние:
 Рощи наших хрящиков напрасным кумачом полны, но он сумрака
 не скрасит.
 Мимо мальв пылающих, не уязвленный грушами, черемухами, вишнями,
 Вымпел еле дышащий прижав к груди несет Герасим.

Вот несет он помраченную, небесную, на все без слов согласную
 Слабоумную субстанцию мою: о, как жарко, душно, без возврата...
 Эту тему проявляя, до поры до времени неясную,
 В сердце наглыми курьершами кровь рвалась, как в дверь комиссариата.

Шум и шорох, *мны да нны*, и пальцы в браунинг он сложит или в маузер,
 Машет, чиркает по воздуху... Тихо будем мы, без крика...
 Гладь, целуй, трепи по холке, плачь, вмести в две паузы
 Соболезнованья, нежность, задыханья. Петушок вдали пропикал.

Отчего герани все завяли разом? Небосвод надтреснутый кого лизнул
зарницею?
 Чем еще, любовь безропотная, сердце будешь нежить, холодить и трогать?
 Тем, что теплится тепло минуты две над смятой жизнью, словно
рукавицею,
 Тем, что за ночь распрямился волос, на микрон какой-то отрастает ноготь.

О, понимаю, принимаю всю эту безусловную
 Сумму обстоятельств, мотивов, вхожу в тень этого события,
 Словно в воду, вспухшую горячими кругами и опять ровную,
 И уже ничего не могу поделывать, обмануть, вернуться, скрыть я.

* *
 *

Если даже сборщиц тли, трусих, лакомок нарекли Божиими коровками,
 Значит, Господу любезно с желтым молочком крохотное вымя,
 Значит, есть надежда, что и нас с той стороны проруби карасями
подмороженными
 Он заметит: ведь синим плавником над каждым топорщится его имя.

Ведь не может быть, чтобы, например, любовь, вторично непереносимая,
 Как и смерть, в войлочных шлепанцах вальсирующая тихо,
 Были Ему безразличны: ведь даже лесов этих ласка лосиная
 Лапником ломится в объятия. О! — шепчу, — хаос, неразбериха...

Так и тепло оленихой почти не проминая эпидермы ягеля
 Крадется от мочки уха к губам по-детски несмело
 Не для того ведь, чтобы знаменитой перчаткой его натягивали
 Не на ту руку, басурманской буркой пеленая не то тело.

Ведь и селезень шепнул уточке: «Девушка, напрасно выщипываем
 Перышки на груди мы — все равно замерзнем, окоченеем, погибнем,
 Так как ночь сюда въезжает на ужасном, судорожно поскрипывающем
 Аппарате. Разве Господу ты крякнешь: помоги мне».



ЮЛИУ ЭДЛИС



ДВА РАССКАЗА

АБСУРДИСТ

Все дни погода стояла безоблачная и теплая, на солнце было и вовсе по-летнему жарко, но в саду Биеннале желтела уже октябрьская листва платанов и от каналов начинало потягивать осенней приторной гнильцой.

Он жил на Сан-Джордже, в *ферестерии* при бывшем монастыре, в котором и проходила конференция, и с острова в город можно было добраться только на *вапоретто*.

После заключительного заседания — назавтра все уже разъезжались — он и переправился на другую сторону Канале Гранде, где в ресторане неподалеку от Сан-Марко был назначен прощальный ужин.

На площади тесно толклись туристы, глазели на золотую мозаику собора и Дворец дождей или, обсыпав себе голову и плечи конопляным семенем, замирали, пока разжиревшие голуби деловито и сосредоточенно склевывали с них зерна, и фотографировали друг друга.

Он был в Венеции не впервые, и раз от раза тут ничего не менялось — туристы, голуби, шелканье фотоаппаратов, разноязычный гомон, отбивающие часы колокольные удары бронзовых мавров-молотобойцев, аскетическая вертикаль кирпичной кампанилы, сплошные аркады по три другие стороны площади, делающие ее похожей на огромную бальную залу.

Я-то свое отплясал, сказал он себе, пора и честь знать.

До ужина еще оставалось часа три, и он долго гулял, продираясь сквозь плотную толпу, по набережной, ноги спеклись в тяжелых, не по здешней погоде, ботинках, и он присел на стоящие вдоль фасадов домов и похожие на длинные и низкие рыночные прилавки *пассарелли* — мостки, которые расставляют поперек Сан-Марко и вдоль каналов при восточном ветре, когда воды лагуны выходят из берегов и затопляют площадь и набережные.

Глядя на снующую перед глазами толпу, он в который раз привычно подумал, что всегда и везде, где бы он ни был, он никогда не сливается, не растворяется в жизни, которой, нисколько о ней не задумываясь, живут все остальные вокруг. Разве что дома, в Москве... — хотел было он возразить самому себе, но тут же и опроверг: дома?! Ты говоришь «я еду домой», когда возвращаешься из Москвы в Париж, а когда собираешься в Москву, то так и говоришь: «я еду в Москву», никакой это тебе уже не дом, Москва, хоть самому себе не вешай лапшу на уши.

А чтобы обвести себя вокруг пальца и спрятать голову в песок, ты носишься из страны в страну, из города в город по конференциям, вот как эта, только что закончившаяся, по симпозиумам и семинарам, от которых тебя воротит, потому что тебе давно уже нечего сказать нового или хотя бы такого, во что ты сам бы хоть на самую малость мог верить. Дырка от бублика. Я лечу не в пропасть, а в дырку от бублика. Да и был ли бублик?..

Выпить бы, затосковал он, самое бы время выпить...

Но при его денежных обстоятельствах тратиться, когда предстоит дармовой ужин, было глупо. Вот только бы устроители не забыли о водке или хотя бы о местной граппе. Собственно, граппа, вспомнил он ее вкус, это та же грузинская чача. И на память пришел Тбилиси, щедрое, хоть и малость напоказ, хлебосольство тамошних друзей, долгие, до самого рассвета, застоля на Мтацминда либо в маленьких хинкальных или хашных поблизости от Майдана. Впрочем, и в Москве с этим дело было неплохо, да и годы и силы были другие.

Сидеть на дощатых мостках было неловко, затекали болтающиеся на весу ноги, и он пошел вдоль витрин под аркадами площади. Вот уж на что никогда не надоест смотреть, так на эти играющие багровыми, синими, золотистыми и молочно-белыми искрами фантазии муранских стеклодувов. А если прислушаться, казалось ему, то сквозь толстое зеркальное стекло витрины можно услышать дробный перезвон хрустальных подвесок люстр, низкие голоса тяжелых кувшинов, дисканты рюмок и бокалов на тонких балетных ножках.

Но тут ему пришел на ум родной граненый стакан, он даже как бы ощутил в руке его наглуую плебейскую тяжесть и подумал, что все эти изящные, хрупкие и, собственно, совершенно бесполезные вещицы — не про него, не эмигрантское это дело — роскошь и нега. И даже под конец, заключил он язвительно, не чашу последнюю тебе суждено испить, а тот же российский граненый стакан.

Россия, подумал он, куда ни ткнишь, везде она. И выпить не на что. Абсурд!

Когда-то, еще в Москве, он и писал абсурдистские пьесы — его так и звали среди своих: «наш абсурдист», — о постановке которых на сцене в те времена мечтать не приходилось, только оставалось, что тешить свое тщеславие строжайшим запретом на них — а в те годы это чего-то да стоило, даже побольше, чем официальное признание, такие уж были времена. Пьесы его ходили по Москве в слепых, со скачущими буквами машинописных списках, а там своим ходом, безо всякого участия с его стороны, попали, разумеется, и за границу. И сразу же в его телефоне появились какие-то странные посторонние шумы, а раза два он заметил у своего подъезда черную «Волгу» со стоящей торчком антенной на крыше. Тогда-то он и решил уехать. Инстинкт самосохранения, не более того.

Он обошел, витрина за витриной, площадь и, только выйдя из-под аркад, заметил, что уже стемнело, зажглись фонари, а небо заволокло низкими сине-бурыми тучами и со стороны лагуны дул ровный, плотный ветер. *Нетурбин* в оранжевых жилетах расставляли вдоль двух сторон площади мостки. Наводнения, усмехнулся он, вот чего тебе не хватало. Потоп и Ноева ковчега — авось среди семи пар нечистых найдется и для тебя местечко.

Он взглянул на часы — до назначенного времени оставалось всего ничего, как бы не опоздать на ужин.

Когда он отыскал в узкой улочке неподалеку от Сан-Марко ресторан, разом хлынул стеною ливень, в двух шагах стало ничего не различить.

Ужин, как он и ожидал и как это всегда бывало в подобных случаях и с подобной публикой, был долгий, шумный и скучный. Хотя, пожалуй, скучал он один — водки, само собою, не оказалось, одно вино, но всем этим господам философам, социологам и прочим разным шведам и того было довольно, они быстро захмелели, разговорились, перебивая и не слыша друг друга. А ему без водки ихняя Европа вообще — поперек горла. И он привычно припомнил, что в его времена водка в Москве стоила три шестьдесят две пол-литра, а ночью у таксистов — от силы пятерку. Да что говорить — иные времена, иные нравы. В Москве у него было, честно говоря, все, что по тогдашним меркам свидетельствовало о полном благополучии, — двухкомнатная квартира на Аэропортовской, дубленка, кожаный пиджак, импортный магнитофон и даже «Жигули» первой модели, он

очень даже неплохо зарабатывал сценариями для детских мультфильмов, фельетонами и сатирическими монологами для эстрады, вплоть до самого Райкина. Да знай он наперед, что даже в таких роскошных ресторанах, как этот, не подают к столу водки...

Он слушал вполуха застольные разговоры, не совсем их понимая и не участвуя в них, — английский он знал с пятого на десятое, да и французского своего стеснялся, за без малого двадцать лет он не только грассировать не научился, но и в спряжениях и склонениях был не силен. Ничего не оставалось, как пить бокал за бокалом кислое вино, которое ни жажду не утоляет, ни от невеселых мыслей не уведит.

Сквозь окна, зашторенные тяжелым малиновым бархатом, делавшим ресторанный зал похожим на средней руки бордель, не слышно было, идет ли дождь, но он мысленно представил себе, как вышли из берегов каналы и залили набережные и площадь, как вымокшие прохожие пробираются под дождем по утлым мосткам, боясь оступиться и упасть в черную воду, в которой отражается подсвеченный собор и кампанила. И увидел самого себя на залитой водою площади, в кромешной тьме, совсем одного, и надо идти не туда, куда тебе нужно, а куда тебя ведут шаткие, заливаемые потоком мостки. И никому до тебя нет дела.

Вот как этот, обвел он глазами шумный стол, говорят о чем-то своем, и если и вспомнят о тебе, то только из одной их хваленой европейской вежливости, а спросят о чем-нибудь, отворачиваются, не дождавшись ответа, и глядят на тебя с учтывым безразличием. Чужие — на чужого. И просиди с ними за этим столом хоть целую жизнь, пей на брудершафт и братайся, ближе и понятнее им не станешь. Как и они мне, признался он, и напрасно я пошел с ними ужинать, надо было просто дойти до Риальто и выпить граппы, там это дешево.

Когда он приехал в Европу, две или три его пьесы поставили в маленьких театриках в «красном поясе» Парижа, но шли они неподолгу, французы, объевшиеся Беккетом и Ионеско, отнеслись к ним вполне равнодушно, а критики снисходительно похваливали не пьесы, а автора за то, что он набрался храбрости написать их в России, где к тому же был известным диссидентом — хотя, по правде говоря, это было преувеличением, он никогда политикой не занимался, ни в чем таком не участвовал, если не считать того, что время от времени подписывал разные письма в защиту диссидентов настоящих. Ему приискали работенку на радиостанции «Свобода», он наговаривал на магнитофонную ленту воспоминания о Москве шестидесятых годов, брал и давал интервью и даже некоторое время вел самостоятельную регулярную передачу «Меж двух огней». А когда парижское бюро «Свободы» прикрыли, пришлось перебиваться случайными гонорарами да носиться как неприкаянный по всем этим правозащитным конференциям, за участие в которых платят жалкие гроши. Зато, утешал он себя, ты повидал десятка с два стран и столиц, пожил в дорогих гостиницах и ел, как сейчас, в лучших ресторанах, и на том спасибо. Только вот кусок не лезет в горло, когда ловишь на себе эти снисходительные и сочувственные взгляды, — так глядят в зоопарке на диковинного зверя и кормят его сладкими булочками, но в меру, не то как бы, не приведи Господь, не перекормить.

Халявщик, сказал он самому себе, вот в кого ты превратился, профессиональный халявщик, и диссидентский твой послужной список, за который тебя и подкармливают, — сплошная липа...

«Халявщик» — это новое для себя слово он услышал в Москве, куда после восьмидесят девятого стал наезжать время от времени. В первый раз он ехал с твердым намерением — все, сыт по горло, хватит с тебя этих Парижей, Римов, Лондонов и Венеций, как ни старайся, ты все равно всегда будешь тут третьим лишним, чужаком, незванным пришельцем. Но и в Москве он тоже был уже не свой, не тот, каким был для нее прежде. Мозолили глаза и вызывали едкое, глухое раздражение разбитые тротуары, невывезенные баки с мусором, плохая пища, запах застарелого пота в ва-

гонах метро, а главное — вечное ощущение неведомой угрозы из-за угла, ощущение неустроенности и неустойчивости жизни. И еще повылезшие из всех щелей, словно тараканы, те, кто и при прежней власти жил не тузил, а теперь вдруг объявился демократом из демократов, иссеченным старыми ранами комбатантом с большевистской деспотией.

И там, в Москве, ты тоже кажешься себе то ли отставшим от поезда незадачливым пассажиром, то ли мешающимся под ногами осколком чего-то, чего уже давно нет и в помине и что надо поскорее забыть и выбросить из памяти, чтобы дать простор тем, кто, вынырнув из мутной воды, оказался половчее и побойчее тебя.

Он взглянул на часы — уже четверть второго, а эти чертовы интеллектуалы и не думают расходиться, им-то спешить некуда, они наверняка живут в дорогих гостиницах на этом берегу, а ему еще добираться на свой остров, да и ходят ли ночью вапоретто?..

Когда они вышли наконец из ресторана, оказалось, что дождя уже нет, ветер разгонял в небе рваные тучи. Как он и предполагал, ему одному надо было возвращаться на Сан-Джордже, и, распрощавшись и обменявшись визитными карточками со всеми прочими, он пошел залитой огнями витрин улочкой к ближайшему причалу.

Усевшись на скамью под навесом, он первым делом выбросил в канал ненужные — никому из них он звонить не станет — визитные карточки, ну их всех к лешему, и стал ждать вапоретто, глядя на белые квадратики картона на темной воде. Кроме него, на причале никого не было, и на набережной тоже, и он не на шутку забеспокоился, ходят ли ночью речные трамваи, а потратиться на гондолу-такси он позволить себе не мог.

В маслянисто-черной воде канала отражались подсвеченные фасады палатцо, и казалось, что то два города — один живой, из камня и мрамора, и другой, призрачный и зыбкий, живущий днем потаенной жизнью в подводной тьме и ожидающий своего часа, чтобы с ночью вынырнуть навстречу своему двойнику, и было трудно сказать, который из них настоящий.

Потому что город из камня и мрамора казался таким же призрачным — в роскошных дворцах по обе стороны канала не светилось ни одного окна, они тоже были давно и безнадежно вымершими и, обновляемые перед туристским сезоном лишь с одних фасадов, дряхлели и уходили на дно, превращаясь в собственные свои, опрокинутые головою вниз, отражения, колеблемые ленивой волной, словно гримасничая и строя рожи живым пока еще своим собратьям.

Настил причала покачивало на воде, от этого его слегка мутило, а может, он просто выпил лишнего за ужином. Ветер к ночи стал свежее, забирался под легкий плащ, ждать вапоретто было бессмысленно, и он решил, что раз ему все равно надо дожидаться утра, то уж лучше, чтобы совсем не озябнуть, походить по пустому ночному городу. Завтра уезжать, и кто знает, попадет ли он еще когда-нибудь сюда, русские эмигранты с каждым годом становятся Европе все менее интересны, надоели мы хуже горькой редьки, набили оскомину вечными своими жалобами, нищетою и воспоминаниями о былом величии, за душою ничего нужного ей у нас давно уже нет. Старушка поспешила забыть свой унижительный страх перед медведем с атомной палицей в лапах, так что не мутите воду, господа бывшие диссиденты, не до вас, песенка ваша спета, — и едва ли его будут теперь приглашать на конференции вроде той, что закончилась вчера.

Впрочем, подумал он, подняв ворот плаща и уходя с причала, в России — тоже. Нынешние ушлые ребятки не стали ждать нашего возвращения, они и без нас управятся, шестидесятники там кажутся теперь чем-то вроде городских сумасшедших, сентиментальных и мечтательных чудаков, не умевших вовремя ни власть перехватить, ни деньги делать, обветшавшие былые идеалы у них — как гири на ногах. Идеалы... — перебил он насмешливо самого себя, мы стали чем-то вроде старых дев, которым ничего не остается, как носиться с собственной девственностью как с писаной

торбой. Что здесь, что там. Новые и ушлые все наши слова усвоили — вот именно, обрадовался он пришедшему решению загадки, слова, слова, слова, мы всегда были напичканы словами, как сдоба изюмом! — и вывернули их наизнанку, вот и Федот, да не тот, явился миру. Не только не дождались, не позвали, не выставили красным сукном дорожку за былые заслуги и беды — в рожу плюнули, вот что нестерпимо!

Ночью, с припогашенными фонарями, площадь Сан-Марко казалась еще необъятнее, чем при свете дня. Пластиковые белые столики у закрытых ресторанов на ночь не убрали, и от этого площадь была еще пустыньнее и печальнее. Он пересек ее и узкими безлюдными улочками пошел куда глаза глядят, заблудиться в ночном городе было нельзя — на каждом углу висели указатели со стрелками: к Академии, к Риальто, к Сан-Марко. В ярко освещенных витринах были выставлены венецианские маски, трюголки с плюмажами, манекены в черных домино, будто город только и жил ожиданием карнавала и для того только и был выстроен на гнилых болотах лагуны, в которую его год от года засасывает все глубже.

Недолго ему еще красоваться своими палаццо и карнавалами, думал он, заглушая этой мыслью едкую обиду на другой город и другую страну, какая-нибудь тыща лет — и о нем забудут, как забыли о каких-нибудь Микенах или Карфагене... Вот там, на дне, ты и встретишься с ним, наберись терпения...

Но эта мысль мало его утешила. Все проходит, но этот город так прекрасен, что без него на земле станет и вовсе скучно. Хотя вот была у меня моя Москва — и нет ее. Есть, правда, Париж — но меня в нем нет. И вообще — где оно, то место на земле, где я по-настоящему есть? Где бы я твердо знал, и никаких доказательств мне не надо было, что я — есть? И что, исчезни я вдруг, стало бы на одну живую душу меньше?..

Карнавальные маски в витринах пялили на него пустые глаза, кривили насмешливо губы и разевали беззубые рты, красно-желтые и черно-белые арлекины прятали под масками язвительную усмешку, город был совершенно необитаем, и казалось, что эти маски, арлекины и маркизы в черных кружевах, — единственные оставшиеся в нем жители, все остальные покинули его в страхе перед вселенским потопом, когда никакие пассажирелли не помогут, никуда не выведут.

Лишь на торговой улице у моста Риальто, где днем кипит уличная торговля, ночные нетурбины, громко и весело перекликаясь, выметали горы мусора и увозили его на грузовых гондолах на свалку в Местре.

Он повернул обратно и пошел той же дорогой к Сан-Марко. Выйдя на площадь, он взглянул вверх, не будет ли опять дождя, и вдруг над ним открылось то, чего уже много лет он не видел, от чего отвык и что давно позабыл: все безбрежное небо было усеяно, словно золотой искрящейся пылью, яркими, крупными, ясными звездами. Ни в одном городе мира такого неба не увидеть, только в Венеции, где нет ни одного автомобиля и ни одной заводской трубы и воздух прозрачен и чист, как высоко в горах или в открытом море. Пораженный этим забытым с детства, с тех пор, как родители его вывозили летом на подмосковную дачу, незнакомым небом, он не мог отвести от него глаз. Ему казалось, что он никогда и не видал такого просторного неба. Просторного, глубокого, бездонного, распахнутого навстречу ему. Голубые, красноватые, зеленые и ярко-белые звезды перемигивались, словно о чем-то говорили друг с другом, но он не понимал их языка. И ему казалось, что, пойми он этот их язык, с души свалится камень и можно будет и дальше жить, потому что там, среди них, он не будет ни изгнанником, ни изгоем, там найдется место и для него.

Он стоял на пустынной площади задрал голову и не мог отвести взгляда с пульсирующего, словно живое существо кровью, звездным светом неба. И ничего уже ему не было ни страшно, ни жаль.

Выпить бы, сказал он себе, когда же еще выпить, как не под таким небом...

В половине шестого стали ходить вапоретто, он добрался до Сан-Джордже, побросал свои вещи в чемодан и успел на парижский рейс, и первое, что он сделал в самолете, — это попросил у стюардессы рюмку водки, выпил ее залпом и, откинув спинку кресла, тут же уснул, и во весь полет с лица его не сходила во сне счастливая и доверчивая улыбка.

Всякий раз, проходя мимо, молоденькая стюардесса, у которой перед самым отлетом было неприятное, злое объяснение с женихом, глядя на него с завистью, думала, что вот уж у кого наверняка все в порядке.

ГРАФИНЯ ЧИЖИК

Леля была донельзя рада, когда Чижик вышла замуж за итальянца и уехала из Парижа. Во-первых, Чижик была уже в том возрасте, когда — сейчас или никогда. Во-вторых, после неоднократных тщетных попыток ей удалось-таки выйти замуж за настоящего иностранца, к тому же чистых кровей графа, пусть и обедневшего и работающего простым бухгалтером в одной небольшой миланской торговой фирме. И в-третьих, с каждым годом им все труднее становилось скрывать тайну их родства. Впрочем, Лелины подруги в Париже знали на этот счет всю правду и не распространялись о ней из одной эмигрантской солидарности.

Первой уехала из Москвы Леля, выйдя замуж за студента Университета дружбы народов, ливанца, много моложе ее, о чем сам он поначалу не догадывался, — в ее тогдашние тридцать четыре года, с девичьи чистыми и наивными голубыми глазами и открывающим нежную высокую шею тяжелым русым пучком на затылке, Леле никак было не дать больше двадцати, ну, двадцати трех. Это-то наивное выражение ее глаз и беззащитная нежность шеи и ввели ливанца в заблуждение. Но даже загляни он в ее паспорт до свадьбы, он навряд ли изменил бы свое решение — арабы, как и вообще все восточные мужчины, млеют и теряют голову от русских женщин, а Леля и на самом деле была истинно русской красавицей. К тому же ливанец объявился в самое время — ни рано, ни поздно. И чтобы не слишком травмировать ранимую арабскую горделивость нового мужа, Леле пришлось, знакомя его с шестнадцатилетней Чижиком, назвать ее своей сестрой. Но и спустя десять или даже все пятнадцать лет, когда Леля уже давно сбежала из Бейрута в Париж, спасаясь не столько от затянувшейся войны, сколько от магометанского тиранства свекрови, да и муж к тому времени поостыл к ее северным чарам и с готовностью не только согласился на развод, но и щедро откупился от нее чеком на вполне удовлетворившую ее сумму, а Чижик тоже, на свой страх и риск, перебралась в Париж, — даже много лет спустя их можно было принять за сестер.

Что же до прозвища «Чижик», то дочь его получила еще в школе не просто по фамилии отца, первого Лелиного мужа, — Чижов, но и в полном соответствии с рано определившимся характером: щебетунья, легко перепархивающая с ветки на ветку, нрав веселый, беззастенчивый и бесстрашный, свойство чрезвычайно полезное в эмиграции, особенно для молодой, пусть и успевшей вкусить власть вяжущих рот яблок с дерева познания девушки, отстаивающей свое право на место под чужим солнцем.

В Париже Леля споро пустила на ветер мужнины откупные, снявши для начала большую квартиру в шестнадцатом, самом престижном, округе, одевшись с головы до ног у дорогих кутюрье и детально ознакомившись с ночной жизнью мировой, в этом смысле, столицы. Да и Чижик, быстро расставшись с неким опальным поэтом, известным в Москве больше как отличный парикмахер, ради которого, как она клялась, только и покинула родные палестины, жила не считая денег бывшего отчима. И вообще отношения матери и дочери были скорее отношениями двух близких подружек-погодков, которые не могло расстроить даже то, что материны друзья-мужчины — все без исключения — рано или поздно переносили свою нежность на дочь, предпочтя красоте зрелости свежую миловидность первой молодости. Правда, это стало происходить уже тогда, когда деньги

щедрого ливанца подошли к концу. И Леля вспоминала его тем чаще, чем скорее таяли эти его деньги.

От ливанца у Лели был сын, но сына он ей не отдал, это было его, и особенно его матери, Лелиной свекрови, непереносимое условие, собственно говоря, и откупные-то Леля получила не за согласие на развод, а за то, что отказалась от каких бы то ни было прав на сына, и за обещание напрочь вычеркнуть его из памяти.

Но забыть его совсем она так и не смогла и время от времени, вспоминая о нем, тайком от дочери всплакивала короткими, быстро высыхающими слезами, и более всего ее тяготило и делало ее вину неотмолимой то, что она никому, даже Чижику, не смела рассказать о сыне или хотя бы по печалиться на чьей-нибудь груди.

Да и расскажи она ей об этом, едва ли бы Чижику тронула эта печальная история — у нее и своих неразрешимых личных проблем было сверх головы; ей уже перевалило за тридцать, а устроить свою жизнь не получалось, на крохоборов французов надеяться, она скоро это поняла, не приходилось, а годы шли и шли, только и гляди бессильно им вслед.

Лелин же век подходил уже к пятидесяти, и поугас наивный девичий блеск поблекших голубых глаз, а русые некогда волосы приходилось каждую неделю подкрашивать, чтобы скрыть беспардонную седину. Да и отношения с дочерью как-то незаметно изменились, они словно бы поменялись ролями — теперь не Леля, а Чижики была как бы старшей сестрой.

Из шестнадцатого округа давно пришлось переехать в крохотную нелепую квартиру на рю де ля Гарп — ниша-кухонька отделялась от комнаты ситцевой занавеской, а уборная — фанерной дверью, так что было слышно, как течет, булькая, вода в неисправном унитазе, и на ночь приходилось раскладывать два кресла-кровати.

Чижики очень походила на мать, какой та была еще несколько лет назад, — такие же ярко-голубые глаза, разве что в них была не наивная непосвященность в теневые стороны жизни, а льдисто-холодное и трезвое знание того, чего ей надо, да волосы она не укладывала в пучок, а, напротив, распускала тяжелой золотистой волной по плечам, и, в угоду моде, не было у нее такой пышной высокой груди, как у матери, от которой и пришел некогда в угар юный студент Университета дружбы народов. Чижики знала себе цену и готова была постоять за себя всеми подручными средствами, и Леле иногда приходило на ум, что будь Чижики на ее месте, Бейрутской тиранке-свекрови никогда бы не удалось выжить ее из дома и развести с мужем. И она свято верила, что рано или поздно Чижики добьется своего.

С каждым годом Чижики все более отдалялась от матери и даже хотела было разъехаться с нею и жить в собственной квартире, но денег на это пока не было, и она, приходя за полночь домой, когда мать уже спала, старалась не разбудить ее, чтобы не надо было отвечать на вопросы, где и с кем она провела вечер, и выслушивать бесполезные советы. Но Леля все-таки просыпалась и потом долго не могла уснуть, слушая легкое, безмятежное дыхание дочери и думая о том, что где-то в далеком и после долгой войны наверняка изменившемся до неузнаваемости Бейруте у нее растет сын, который и не подозревает о ее существовании и наверняка похож не на нее, а на отца.

Однажды, вернувшись домой под утро, Чижики сама ее разбудила и сообщила, что ей сделал предложение араб, студент Сорбонны, намного ее моложе, совсем еще, собственно, мальчик, зато из очень богатой семьи, чуть ли не миллионер, его отец чем-то там торгует, — и у Лели разом похолодело сердце, ей почудилось, что то не просто случайное повторение ее собственной жизни, а как бы грозящий ей, а заодно и дочери возмездием и карой перст судьбы. Но ни объяснить самой себе, а тем более Чижики, ни справиться со своими нелепыми страхами она не могла. Да и Чижики ее бы не услышала, потому что, не успев лечь в постель, тут же и уснула, но теперь ровное дыхание спящей дочери не успокаивало Лелю, не внушало

ей, как прежде, что все будет хорошо, и Чижик своего добьется, и жизнь у нее сложится совсем не так, как у матери. Напротив — в ровности и безмятежности этого дыхания она слышала теперь лишь ее незащищенность, такую же, как когда-то у нее самой, уязвимость перед не знающей поблажек жизнью и думала, что, очень может быть, дочери суждено расплачиваться не только за свои, но и за материны грехи и заблуждения.

Назавтра она попыталась, запинаясь и перескакивая с одного на другое, рассказать дочери все начистоту про свои опасения, но Чижик, проспавши до полудня и проснувшись, как это всегда с ней бывало по утрам, в дурном расположении духа, и слушать ее не стала, а под конец напрямую выложила, что та попросту ей завидует — у нее с ее арабом ничего не получилось, но уж она-то, Чижик, своего не упустит, не родился еще такой человек, тем более какой-то черножопый, которому она далась бы в обиду. И Леле ничего не оставалось, как потребовать, чтобы Чижик познакомил ее со своим арабом прежде, чем лечь с ним в постель, на что та коротко ответила, что совет хорош, да жаль, запоздал, но что перед тем, как выйти замуж, она непременно покажет матери своего суженого. Она так и сказала: «суженый», как бы в насмешку над старомодными предрассудками матери.

Еще через несколько дней Чижик объявила, что смотрины состоятся сегодняшним же вечером — она уже обо всем договорилась со своим арабом — и на следующей неделе они идут в мэрию узаконить свой брак, а сегодня они — она так и сказала: «мы», а не «он» — приглашают Лелю на ужин. А поскольку теперь его деньги — это и ее, Чижика, деньги и вообще нечего пижонить, они пойдут не в какой-нибудь дорогой и безвкусный, для одних америкашек и япошек, которым деньги некуда девать, роскошный ресторан, а в милое и простое заведение на Левом берегу. И упаси Бог Лелю ударить перед арабом лицом в грязь, пусть принарядится и намарфетится, тем более что она, разумеется, сказала арабу, что приведет не мать, а старшую сестру, из одного этого факта мать может заключить, как она ее любит. Кстати говоря, араб обещался помогать и ей, денег у его папаши куры не клюют, и вообще арабы, хоть и черножопые, не сквалыги, как эти чертовы французы.

Вечером, проведя часа два перед зеркалом и примеряя одно за другим лучшие свои платья, Леля не переставала слышать в себе прежние страхи и дурные предчувствия, а чтобы их отогнать и избавиться от них, надо было прежде всего понять, откуда они берутся и в чем заключаются. И в тот самый момент, когда Леля, уже на пахнувшей кошками, грязной лестничной площадке, доставала из сумочки ключ, чтобы запереть за собою дверь, она вдруг все поняла и ужаснулась правдоподобию и, более того, несомненности того, что, словно изображение на фотобумаге, помещенной в проявитель, возникло перед ее мысленным взором: молодой араб, сделавший Чижикку предложение, наверняка неизбежно, неотвратимо окажется — и доказательств тому ждать недолго! — ее собственным сыном от ливанца. И эта слепящая ужасом воображение картина свершившегося кровосмешительства так потрясла Лелю и выбила из колеи, что она не сразу нашла в Латинском квартале короткую и такую узкую, что можно было коснуться руками глухих стен по обеим ее сторонам, улочку Кота Рыболова, где к назначенному часу дожидались в греческом ресторанчике Чижик и ее араб.

В толчее переполненного зала Леля не могла разглядеть их за дальним столиком. Чижик послала жениха навстречу матери, и когда он подошел к ней сзади и вежливо тронул за плечо и она обернулась к нему, она почувствовала, как сначала сердце ее остановилось, а потом забилось так лихорадочно о ребра, что показалось ей, все вокруг не могут не слышать эти оглушительные колокольные удары: перед нею был ее ливанец, с которым она познакомилась в Москве семнадцать лет назад и каким запомнила на всю жизнь — желто-смуглое лицо, полыхающие черным пламенем глаза чуть навывкат, набриолиненные, чтобы смягчить курчавость, густые и

жесткие волосы, еще более черные, чем зрачки глаз. Идя с ним к столику, она пыталась ухватиться за спасительную, как соломинка для утопающего, мысль, что, честно говоря, ей и тогда, когда она познакомилась со своим ливанцем, и потом все арабы казались на одно лицо, да и вот этот, Чижикин, араб выглядит старше того, как мог бы выглядеть ее сын от ливанца, и Чижик, вспомнила она, что-то говорила, что он вовсе не ливанец, а сириец, но Леля поняла, что какие бы несомненные, какие бы непреложные доказательства ни приводились, что Чижикин араб вовсе не ее, Лели, сын, — она никогда не сможет поверить в это и, вопреки доказательствам и здравому смыслу, грех за это кровосмешительство падет в первую очередь на нее.

И в любом молодом арабе, будь он не только не ливанцем, но хоть туарегом из Сахары, она будет видеть своего сына.

Она так и не проронила ни одного слова за весь вечер, но молодые этого не заметили, они просто-напросто забыли о ее присутствии, глядели только друг на друга и говорили только друг с другом, до нее им и дела не было.

Более же всего пугало Лелю выражение спокойного, не замутненного никакими сомнениями и расчетами счастья, которое не сходило с лица Чижика, будто ушла из ее сердца и из глаз та вечная цепкая настороженность, та льдисто-холодная решимость не упустить своего, идти до конца, не выбирая средств. Пугало потому, что Леля поняла — Чижик и вправду, может быть, в первый раз в своей жизни, если не считать поэта-парикмахера, любит по-настоящему, в первый раз потеряла голову и готова на любое безрассудство.

В ресторане праздновали какую-то греческую свадьбу, танцевали под оркестр сиртаки, официанты, по греческому обычаю, то и дело били вдребезги о пол специально предназначенные для этого тарелки из необожженной глины, танцующие ступали и прыгали по черепкам, и из-за шума и громкой музыки Леле не было слышно, о чем говорят между собою Чижик и араб, о чем они, изредка вспоминая о ней, спрашивают ее, она только согласно кивала головою и натужно улыбалась в ответ и, глядя на смуглого, черноглазого и черноволосого араба, все больше убеждалась, что это ее сын.

После ужина она пошла домой одна, благо рю де ля Гарп была отсюда в двух шагах, а молодые решили, по их словам, еще прогуляться. Придя домой, Леля как бы впервые увидела во всем ее убожестве жалкую свою квартиру; слышно было, как булькает вода в унитазе, обтерлась до самого испода обивка на креслах-кроватях, в раковине за ситцевой занавеской горой стояла невымытая со вчерашнего дня грязная посуда, и Лелю охватило не отчаяние от всей этой бедности и безнадёги, а чувство вины перед дочерью и, как это ни показалось странным ей самой, перед своим сыном из Бейрута, который и не подозревает, что у него где-то есть родная мать.

Она не стала раздеваться, не смыла с разом осунувшегося, постаревшего лица макияж, сидела без сил в кресле и никак не могла решить, сказать ли дочери всю правду, в которой у нее самой не было никаких сомнений.

Чижик вернулась под самое утро, и, глядя, как она спокойно и не подозревая ничего сидит перед зеркалом и стирает ваткой с лица тон и тени под глазами, Леля забыла об осторожности или деликатности и все рассказала дочери — рассказала так, будто точно знала и нимало не сомневалась, что молодой араб наверняка ее сын, а Чижик приходится пусть и сводным, но братом.

Чижик слушала ее, не прекращая приводить себя в порядок перед сном, не перебивая, ни о чем не переспрашивая, и когда мать умолкла, сказала, не оборачиваясь к ней, спокойно и рассудительно, что все это — ее, Лелины, проблемы, что никакого сводного брата она не знает и знать не желает, что матери все это примерешилось, да и будь это и вправду так, как говорит мать, дело сделано, она уже переспала, и не раз, с этим сводным своим, если верить матери, братцем, и что теперь уж лучше выйти за

него замуж, это будет честнее и порядочнее, чем продолжать спать с ним, как с каким-нибудь случайно подвернувшимся мужчиной. К тому же он уже написал отцу, у этих дикарей, видите ли, нельзя жениться без разрешения мамочки и папочки, к стати говоря, у него есть, представь себе, мамочка, и он нисколько не сомневается, что — родная. Так что Леле ничего не остается, как держать язык за зубами, тем более что никто и не поверит в ее жалкую историю, очень похожую на одну из тех американских картин, на которые давно уже никто не ходит.

Однако — и Леля увидела в этом лишнее подтверждение тому, что Бог все видит и все знает и никого не оставляет без помощи и утешения, — однако вскоре пришло гневное письмо отца молодого араба, который под страхом лишить сына не только своего благословения, но и надежд на наследство запретил ему и думать о женитьбе на гяурке, всем им место на панели, это известно всякому, кто хоть раз побывал в Москве, и потребовал, чтобы безумец в двадцать четыре часа уехал из Парижа, в противном случае он сам за ним приедет и за себя не ручается.

Сын, причитая во весь голос и расцарапав от горя себе лицо ногтями, все же не осмелился послушаться отцовской воли, на что Чижик, молча его выслушав, не стала ни плакать, ни умолять, ни упрекать, а закатила ему хлопнувшую как выстрел пощечину, да еще — на давний московский манер — смачно плюнула в лицо и ушла громко хлопнув дверью. Матери же объяснила свой неожиданный даже для нее самой поступок тем, что араб и в постели оказался далеко не орлом, а воспитывать его и делать из него настоящего мужчину — все равно что метать бисер перед свиньями.

На самом же деле она страдала и кляла судьбу — этот араб и вправду вызвал в ней нечто большее, чем просто надежду устроить свою жизнь и одним махом разрешить все проблемы, от которых она уже порядком устала. Любишь и вообще-то всегда невпопад, и ничего не остается, как сжать в кулак сердце и жить дальше.

А забывать, зачеркивать то, чего не хотелось бы, не нужно было помнить, рвать с прошлым и никогда к нему не возвращаться даже мыслью — эту науку в эмиграции хочешь не хочешь, а приходится усвоить, иначе — беда.

Но тут как раз и подвернулся граф-итальянец и, как все южные, горячие мужчины, беззащитный перед русской красотой, сделал Чижикю предложение, на которое с благословения матери — а итальянец был первым, кому Чижик представила Лелю не как старшую сестру, а как мать, — она дала согласие и глазом не успела моргнуть, как стала графиней.

В Милане и единственная оставшаяся в доме от лучших времен прислуга, и лавочники в магазинах, в которых Чижик делает покупки, и соседи по улице так ее и называют: графиня, — она к этому скоро привыкла и теперь сама, знакомясь с кем-нибудь, так и представляется: графиня Кампаньолло.

Теперь она живет в некогда полностью принадлежавшем семье Кампаньолло большом доме рядом с Кастелло Сфорцеско, у нее трое детей, все сыновья, будущие графы, старший из них, в отличие от двух младших, светлокожих и рыжеватых в отца-ломбардца, смугл и черноволос, с миндалевидными угольно-черными глазами в пол-лица. Граф давно уже стал из простого бухгалтера старшим и ждет ухода на пенсию заместителя управляющего фирмой, эту должность ему уже обещали, правда в ни к чему не обязывающих выражениях, но надежды он не теряет. Семья живет в достатке, и получившая от жизни все, о чем она могла мечтать не только прозябая в Москве, но и живя на рю де ля Гарп в Париже, Чижик вполне довольна и своей жизнью, и тихим, покладистым, но и, как она считает, темпераментным мужем, и детьми, счастлива и покойна душой, хотя временами от этого мирного, покойного и однообразного счастья ей становится тошно и неудержимо тянет на что-то иное, более, если можно так сказать, пестрое, на нечто непредвиденное, но она повзрослела и, как сама считает, поумнела и быстро справляется с подобными бреднями. Гуляя с

детьми по Пассажу и по площади собора, иногда она просто не верит, что все это случилось с нею, взбалмошной, непутевой и беспутной девицей, известной всей Москве под кличкой Чижик, для которой некогда улицей Горького — «Бродом», как ее во времена оны называли, — ограничивался мир мечтаний и радужных грез.

А теперь вот она — графиня.

Леля же осталась жить в Париже, в той же квартире на рю де ля Гарп, зять и дочь ей высылают ежемесячно три тысячи франков, этого, вместе с пособием по бедности, которое она получает от муниципалитета, хватает на вполне сносную жизнь. Она сильно постарела и, поскольку теперь не надо прилагать усилий, чтобы походить на старшую сестру собственной дочери, не слишком следит за собою. Она с нетерпением ждет Рождества, когда, из года в год, дочь и зять приглашают ее в Милан повидаться с внуками, она всех троих равно любит, разве что к старшему, смуглому и черноволосому, испытывает сверх любви и нежности еще и нечто такое, что будит в ней зыбкие, почти стершиеся в памяти воспоминания о себе самой — молодой, с девичьи-наивными голубыми глазами и тяжелым русым пучком на затылке, оставляющим открытой нежную высокую шею.

И она подолгу смотрит на себя в мутное от старости зеркало, стараясь разглядеть в нем ту, прежнюю, а если выпьет рюмку-другую, что с ней случается все чаще, то ей удается это.



ГЕЛИЙ КОВАЛЕВИЧ



РАССКАЗЫ

НАШЕСТВИЕ

Как во всякой скверной истории, и в этой была неожиданность. Утром, еще жена спала, Петеньков, допивая чай на кухне, — свободный день выдался ему среди недели, — с кислой неодобрительностью смотрел в окно на мокрый ледяной тротуар, март стоял никуда, сколесь, дожди, и было не то чтобы предчувствие, а какая-то душевная ненадежность ощущалась. Это он честно помнил. И когда открыл дверь на звонок и увидел женщину с трагическим лицом и совершеннейшего сходства с теткой, то сразу ударило: вот она и неожиданность тут как тут! Со старухой неладно... Не в гости же пожаловали — с утра пораньше и с сумасшедшим лицом!

Петеньков стоял в передней, женщина на площадке — и, верно, дольше, чем следовало. Женщина, о которой от тетки же и слышал — не слишком хвалебное, — прижимала под локтем портфелишко и твердила, что она Леля из Сибири, та самая Леля... Да он и так понял, что Леля, двоюродная сестрица. Платок на спутанных волосах и воротник вздернут — неженская во всем небрежность и не по возрасту. И еще, господи, эта дрожащая у горла рука!

Трагическое лицо было под стать портфельчику, торчавшему из-под локотка: расстегнут, измят. Особенно же сиротскому воротнику — как бы чего-то ждал настороженно.

Наконец она вошла (или он наконец ее впустил?), но тут же оказалось, им надо ехать немедленно, как можно скорее, это их долг, и она поедет, пока он оденется. Куда ехать, к кому — Петеньков и без того уже догадывался. Голова у него пошла кругом. Тем временем сестрица сбросила и пальто, и платок на табурет, — ах, все равно, хоть бы и на пол. Если только совсем ненадолго присесть, чтоб с духом собраться?.. Бедная тетя! Так все ужасно, ужасно!

Пока рассказывала о каких-то двух, одно за другим, теткинских письмах (поторопивших с приездом, что-то с теткой происходило), о том, как приехала, как соседи объявили, что старуха пропала, как справки навела через милицию, больницу нашла, как ночевала на полу в коридоре с разрешения соседей, — Петеньков смятенно вспоминал внезапное появление тетушкино прошлой осенью. Длинное, как мешок, пальто и руки на животе узлом: «Я за Библией приехала!» Сурово и вместо «здравствуй». В Библии, которую Петеньков не осилил, но раскрыл-таки однажды на словах о Господе, простиравшем небеса как ковер, только предостерегали да грозили перстом. Образа Петеньков не постиг, потому что сразу чепухой перебило — учрежденческим коридором с ковровой дорожкой. А тем и оборачивалось: в старуху ткнул сухой перст. Верно, шла-брела и вдруг закатила глаза и —

Гелий Емельянович Ковалевич родился в 1929 году. Живет в Москве. Печатался в журналах «Октябрь», «Москва», «Дружба народов» и др. Автор книги рассказов «От света и до света» (1984). В «Новом мире» публикуется впервые.

об ледяной тротуар... Уж от ветра качало! Больничная койка — все, что осталось напоследок.

— Надо ехать, что она, как она? Так кричать не может человек, что-то ужасное! И ключи от ее комнаты забрать обязательно! — торопили Петенькова. — Мне вчера их не выдали.

Иначе бы ему в это мартовское утро повести себя! Если не с первой минуты, то хоть после больницы, куда невзрачный чертик не одолел. Ну, не знал бы он об этой Леле ничего — так знал! В какую помощь и пользу был он ей нужен, человек Петеньков, которого прежде знать не желала, если бы не тетушкино наследство? А ну как все целиком Петенькову завещано? Слышал, что копила старуха, — и от матери, и от тетки самой, та намекала, если хорошенько припомнить, когда навещал... Слышать-то слышал, да краем уха слушал. Так уж сразу и наследство! Что-нибудь старушечье, нищенское. Да по Лелиной панике выходило: совсем и не нищенское! И ведь как все его вопросы предупредила сестричка, какими горькими глазами, какими вздохами! Брат, вы не обидите моих бедных детей? А он насчет ключей хотел было спросить. Они-то, дескать, зачем? Явно что-то беспутное затевалось... Старуха, видимо, последние дни доживала на свете. А земные ее дела пребывали в непредусмотренном беспорядке, тайна окружала наследство. (Лишь потом это понял — дошел поздним гневом и умом задним.)

А тут как раз жена Петенькова вышла:

— Я все слышала... Здравствуйте.

— Я Леля. Просто Леля зовите.

— Да вы сидите, сидите...

— О, я помешала! Вы отпустите мужа? Это и его долг. — Нет, она не давала говорить, пусть ее выслушают, все в двух словах: она уезжает сегодня, подготовить детей... боже мой, такое горе!

Одеваясь, Петеньков лишь ее голос слышал, добравшийся из-за стены: перепады на одной разволнованной ноте. Бесснежная улица лежала за двойными рамами — черный асфальт, среди луж, взъерошенных дождем, отражалась неубранная постель... Он подосадовал, что день пропадает: хотел своего парня-пятиклашку навестить, вторая неделя пошла, как отправили в лесную школу. А с теткой одним нынешним днем не обойтись. Стало быть, на работу в «гипроконтору» звонить, ехать, отпрашиваться... такого еще не было. Нехорошо, не надо бы: месяц квартальный. И все-таки спросить бы себя, хоть в это утро, — про тетку: а кто они друг другу? Годами не виделись... Не из-за дурных отношений, а так, из-за никаких. Безразлично принял, помнится, и весть о Леле вот этой, которую тетка разыскала, будто бы разделившую, к самообману теткинemu, такую же одинокую судьбу, несчастливую. Пригласила приехать, денег выслала на поезд. Сорокалетняя племянница явилась с двумя пацанами, от кого неизвестно распутно прижитыми — от разных людей. Это никак не вязалось со строгими понятиями тетки, вроде бы даже баптистки. Пригласила, да вскоре и выгнала. Потом назад позвала: верно, из-за детей, ласковые показались. Наезды племянницы из сибирского города, где с отпрысками осела к тому времени, пошли по нескольку раз в году. И, само собой, без копейки на обратную дорогу...

Обо всем этом знал Петеньков. Только никакие его отношения с теткой ничего не меняли в нынешнем дне, который получался днем ответного, что ли, визита к ней, может быть, и последнего.

Голос за стеной угомонился, прожурчал и смешок не к месту. Точно узелок нарочно то затягивали туго-натуго, так что саднило, то распускали ниточку...

Канительный день лишь начинался, и первый его час был не в сравнение с теми, что следом пошли — с поездкой, хождениями всякими по огромному больничному зданию, с теткой, распластанной на койке, почти уж и неживой, и говорением, говорением, говорением свалившейся на

него блаженной сестрицы... Воротник пальто настороженно торчал у затылка, пальцы замком на животе по-старушечьи, совершенно по-теткинскому. И в лице беспризорная толчея перемен: то отрешенность находила рассеянная, то — вся оживление, костерек на скулах! Скользящая усмешечка пробегала, и возобновлялся хоровод. Покуда в метро и в трамвае ехали к черту на кулички, кое-как шумом спасался. Но в тиши больничного вестибюля в захлебе заново была ему рассказана Лелина жизнь от самого что ни на есть начала: и про какую-то сибирскую речку, в которую бросилась с ребенком безумная мать — от любви! — и про спасителя, кормившего и воспитавшего Лелю до зрелого возраста... и про скитания, про первенца, зачатого с женатым подлым человеком, и про иные интимные немелочи. Пенсионная книжечка, медсправки были извлечены доверительно в подтверждение ужасной жизни — и Петеньков затосковал, точно глухой мешок натягивали на голову и пришепывали по темени...

Но наконец врач к ним вышел стремительно, и Петеньков мешок с головы потащил.

Врач был молодой, спортивного вида, он летал — оттого, что дел по горло. Родственники? Слушает родственников... Утешить не может, надежд, к сожалению... А навестить — это пожалуйста. Поднимитесь.

И Петеньков поднялся на четвертый этаж — никакого халата ему не выдали, все палатные двери стояли настежь, и он тотчас увидел торчащие ступни под простыней... Он еще внизу преодолел себя, готовясь к крикам и стонам, да по простыне понял: все кончено. Ступни плоско торчали в самую дверь, и простыня была, какой покойников накрывают. По стенам бабки лежали с переломами, у кого что, — жевали, глядели на Петенькова, как он, с бугылкой из-под кефира (жена в нее клюквенного морса нацедила), с кульком апельсинов, топчется у койки, а старуха с белым светом прощалась. Что для нее было вокруг, какой мир под беленым потолком?

— Ты узнаешь меня? — спросил Петеньков.

— Как же, дождайся! — весело сказали ему. — А ты ей-то кем будешь? Тут гадали, что одинокая.

Он нашарил на тумбочке среди пузырьков казенную ложечку — почернелую, давно пользовались. И, обливая простынь, стал носить ложечку, тяжелую-претяжелую, к запавшему рту. И старуха — мглистые глаза к потолку — буднично угиралась, поднимая руку, еще жила, хотя ее уже к носилкам приготовили: голая лежала под простыней.

Как же не сообщили! — терялся Петеньков. Этого быть не могло, чтоб все время в беспамятстве, так что спросить нельзя: есть ли кто у человека на свете? И бабки, лежавшие тут в кислой вони, бубнили насчет безродности — они-то не безродные, колбасу жевали...

А так и было, что сообщать и не думали! В кошельке, который по описи значился среди теткингого барахла, бумажка оказалась — с его, Петенькова, адресом и именем-фамилией. Да никто не развернул, не заглянул...

Только и кошелька дождался не скоро. Где-то какое-то шло совещание, а после него вроде и дню конец... Петеньков похаживал по чистенькому вестибюльчику, поглядывая, однако, чтобы не пропустить белый халат. И все время близко откуда-то тревожно пахло апельсинами, куда бы ни сунулся. А от рук пахло, от пальцев липких, которыми надавливал сок в ложечку. Вымыть бы где, далеко не отлучаясь, думал он, словно в крови были руки. И представил себе: жил-был человек, тихая пылинка на свету, и погас свет...

Погас, пропала пылиночка.

Но смерть осветила сумеречный день — своим светом. Да так безобразно все выступило, осветившись, все щелочки, потайнички, куда от людей-жизни тетка забивалась. Они отмыкали замки, сосед неспросавшийся вышел: майка, тапки. «Я вас не признаю!» — Петенькову с угрозой. И чуть не сцепились у двери (а старуха меж тем хрипела под гробовой просты-

ней), скандальненько друг у друга точно карманы повыворачивали. «Родственнички пожаловали... набежали! А если он, жэковец, при исполнении? Он — ничего, он — проследит».

Этот курьезный момент как бы с раздеванием Петеньков скорей проскальзывал, вспоминая. Но нельзя было целым проскользнуть, потому что тут и торчал царапающий гвоздик: все трое (похоже, и он, Петеньков) и толпились-то из-за старухиных денег, которые где-то по тайничкам лежали за дверью. Не мародер, а от нетерпения, слезного страха Лелиного как от заразы не уберется, вспомнить стыдно.

Но и это была не вся память, не главная, — когда обманутая корысть и досада отошли.

А пока они вроде партию в шашки разыгрывали.

Жэковец в два коротких счета одолел замки (привычная рука чувствовалась, это надо заметить! — не раз, наверное, проникал в старухину комнату за водочкой поддавала по-тараканьи!) — и рванулись родственнички, жэковца оттерли, а может, сам оттерся, не полез следом, только заухмылялся: все увидел Петеньков, потому что свет этот, злой, уже грянул как гром.

Сестрица перерыла постель, шкаф, чемодан с тряпьем из-под кровати и ветошь какую-то по углам — все вверх дном. И не нашла того, что искала, — *сберкнижку!* Слезы текли по щекам... Петеньков все пресечь пытался разгром, смотрел на патлатую бабу, как она ползала, и себя видел: тыркался, шевелил усиками еще один таракан... Вот что пришибло Петенькова. И невольно стало, когда напоззались и уставились друг на друга подозрительно-подозрительно: ну а дальше-то что? Петеньков головой качал: не на рубли нацеливалась сестрица, пусть и на обратную дорогу неблизкую где было теперь взять без возврата, как не под крышкой стола — знала, куда тетка прячет наличные, — не на рубли сразу пошел счет! А он сидел здесь некогда на табурете, малолетний Петеньков, и пил чай, торча у тетки на глазах (жили у нее, отцовской сестры, временно с матерью, а по какой причине — из-за малолетства не понимал)... он пил чай, ожидая маму, как вдруг тетка *завыла*. Да так страшно — «у-у-у, Господи!» — что долго потом Петеньков подзаикивался. По здравому рассуждению, пришедшему с годами, он сделал вывод: в помрачении старухи он и был повинен, мальчишка, да мать-приживалка, вдова. Жизнь заедали! По-другому не объяснить. «Старухе» же, если подсчитать, было около тридцати пяти, но все равно — она уже тогда копила на старость, она никогда не была нестарухой, тетка, молодой ее нельзя было ни вспомнить, ни вообразить. В отличие, вероятно, от матери, почти ее одногодки, которая, выдумывала себе тетка, «по вечерам... с мужиками шилась». Ненависть, зависть душили: после мужика да к ней в постель! Они спали в одной, «валетом»...

Он огляделся нахмурясь: где же сидел *тогда*, в каком из углов? Высоченный такой табурет, ноги до полу не доставали. Не под той ли бумажной иконкой, то исчезавшей на год или два, то вновь появлявшейся вон там, где кресло и баба с потным скуластым лицом?

Он встал в отупении и взялся за шапку.

В комнате смеркло, а в разрытой постели словно бы кто-то лежал не дыша...

Никуда она не уехала. Было второе странное утро и второй лицемерный лихорадочный день. Ко вчерашнему в добавление намучились Петеньков с женой — гостья ловила их поодиночке, а то настигала обоих в коридоре, на кухне, убежавших, и рассказывала о своей жертвенной жизни: «О, все ради детей!» И стало известно, кто есть кто из многочисленных даже полузнакомых — там, в сибирском городе, кто есть кто из сыновей, и прочее, прочее... Но было объявлено наконец, что «пора!» (слава богу), найдено и надето пальто, запахнуто кое-как, и вздорный воротник — внахлобучку над затылком: на вокзал за билетом.

— Вы когда поедете к тете? — было спрошено настороженно, с горько опущенными глазами.

Петеньков неделикатно сказал, что позвонит в больницу. Возможно, и ехать не надо.

И на него шквал налетел: тогда она останется здесь, мать бедных детей, как они там одни, будет ночи сидеть возле больной. Несчастливая тетя! Она исполнит свой долг... Она немедленно едет в больницу! И — слезы.

Чем же ответил Петеньков?

Можно бы так — и следовало: за порог выпроводить. Эти крики, слезы, бабий шантаж!

Но Петеньков никак не ответил.

А было бы не поздно и вечером, когда, не истратив в хождениях, поездках ни часу впустую, явилась с оживленными восклицаниями (только о тетке ни слова), с сумкой апельсинов (в Сибири их нет), с пачкой книг (сыну-студенту), с телеграфной квитанцией на денежный перевод — туда же, домой. И, разумеется, без билета. Было совсем не поздно!

И сызнова Петеньков промолчал. Вроде душевного насморка случилось у него в ту неделю.

Напоследок сестрица вызвала в подмогу старшего сына — медика-студента, который был человек *разбирающийся*. Хоть тут непонятно: по какой же части разбирается, пусть бы и медик? А к сведению — непроницательному растерянному Петенькову: вызнала-таки Леля, что не ему *завещано* (как и где удалось вызнать — загадка!), и стал Петеньков фигурой незначительной, даже участвовал в хлопотах похоронных, поездках тягостных как бы не по праву — можно вовсе не ездить. Его точно локотком оттеснили.

Скончалась старуха, и как раз, когда они ползали по углам!

Прилетел медик не мешкая, и пожалуйста — в придачу к мамаше молодой человек, с неюношеской, однако, угрюминкой: непочтительно молчалив, строг, интереса к Петенькову не проявил, был слишком юн для бескорыстного любопытства.

В канун похорон без него, впрочем, поехали за погребальным нарядом на опустевшую квартиру.

Открыл тот же сосед — жэковец в белой майке.

— Здравствуйте, вот, видите ли, пришли...

Петеньков вынул старухин самодельный кошелечек-реликвию и достал из него ключи.

— А вы кто будете такие? — поинтересовался жэковец. — Извиняюсь, конечно.

— Как... не узнаете?

— Я-то узнаю. А закон? Не имею права.

— Боже мой, какого права? — заулыбалась наследница.

— А такого. Ваши паспорта!

Жэковец превышал. А все равно можно бы поумнее: предъявить, присесть и потом, когда Петеньков из магазина вернется, помянули бы старушку по русскому обычаю, потому что — ну, ей-богу — ей не чужие ни сосед, ни оба родственничка второго колена.

Не приняла этого наследница во внимание, и произошла предрекающая сцена — с выкриками, Лелиными угрозами, с упоминанием имени начальника милиции, который был с нею любезен (удивительно — сам начальник?), ворвалась в комнату жэковца, чтоб немедленно куда-то звонить, и жэковец, конечно, тут же вытолкнул ее за порог. Он сам позвонил «куда следует». И явился участковый в сопровождении управдома и какого-то старичка — тоже, по виду, представитель общественности — вроде понятного. Отомкнули дверь, вошли толпой — никогда в старухиной комнате не было столько народу, и жэковец-сосед встал как на страже, глаза постные, должностные... И прочие стояли, тесно сделалось, точно в вагонном тамбуре, сесть некуда.

И пришлось-таки предъявить. И на вопросы ответить: в каком родстве с проживавшей? сами откуда? есть ли родственники еще? Как на допросе — чтоб не глумили.

И опять Леля кричала: она единственная, она протестует. Даже кинулась к кровати, вспрыгнула обоими коленями — к ковру, стала срывать с одного гвоздика, с другого... Кусочек темных обоев приоткрылся. Петеньков смотрел на ерзавшие грязные сапоги со сбитыми молниями. И участковый смотрел...

— Разрешите мне уйти, — попросился Петеньков. Получилось, что у старичка, стоявшего возле. Тот не знал, можно ли, и пожал плечами.

— Предатель! — услышал Петеньков.

Пришла с улицы и протиснулась жена жэковца — верно, крики до улицы, до двора добрались; мелькнуло личико ребенка рядом с милицеевской шинелью...

— Предатель! Оставляет меня... — И Леля упала лицом в ладони.

— Гражданка, вещь не трогать. Повесьте назад.

— Это моя вещь.

— Ничего не знаю.

— Хорошо-хорошо... А книжки? Сберегательные книжки, у бабушки были... Были они! Их нет! Их украли! Я знаю, кто! Я заявление на имя прокурора... Я не уйду!

И вот вынырнул — чуть ли не из-под локтя старичка — пиджак, накинутый на белую майку, распахнул створочку шкафа:

— Возьмите, искать надо лучше!

Леля их так и выхватила у жэковца из руки. И Петеньков поверил в свое докучное давешнее подозрение: именно там оказались, в шкафу, где сестрицей было до щелочки высмотрено... (А тетушка, промелькнуло у Петенькова, про то, верно, и писала — два малопонятных письма, о которых сестрица твердила: нет ей, мол, ни среди людей, ни дома покоя.) Как он, однако, быстро нырнул, этот пиджак! Вот сейчас из своей комнаты вынес и подброев за створочку...

Как во сне дальше пошло: участковый крутил бровями — «ого! ничего себе жила старушка!», — все притиснулись, и Петеньков тоже, стеклянный абажурчик в виде цветка-колокольчика качался над людьми, лампочка светила тускло, и старичок с толстяком-управдомом дышали близко-близко над ухом... Одна из книжечек побежала по рукам, а Леля все шею тянула из воротника, пока голос участкового неотвердевший (еще удивление в нем играло) не сказал, чтоб гражданка выложила вторую сберкнижечку на стол: где одна, туда и другую.

— Нехорошо, между прочим.

— Я не брала! — Сами собой глаза наследницы сделались круглыми, такими молящими. — У меня ничего нет... возмутительно!

— Тогда прошу проследовать в отделение.

Тут она вынуждена была — к стыду-то какому! — из-за пазухи, перед всеми...

Дверь опечатали, все как положено, и спустились порознь в сырой двор. Окно старухи не жило глядело.

И Леля всплеснула руками, качаясь как в помешательстве:

— Двенадцать тысяч! Боже мой, двенадцать тысяч! — и засмеялась.

Петеньков озадачивался, когда пробегал мысленно по тетушкиному жилью-бытью. По годам — как по ступенькам в подвал. Комнатушка-пятитенка с двумя косыми углами и окном у потолка, одно небо в окне; фотография в простенке, там они всей семьей, молодые, за руки взялись, и сбоку Спаситель-Христос в фольговом нимбе, над табуретом, над стриженным петеньковским теменем, а напротив — портрет вождя... и эта девственная кровать с подзором, гора снежных подушек — ладыя или гроб, он всегда боялся притронуться. Петеньков держал растопыренные пальцы у лба и словно бы слышал тот вой, словно бы видел запрокинутые теткинны скулы и мглистые зрачки, повернутые вовнутрь.

Взрослый уже, лобастый Петеньков, приезжая, пил водку, ноги его в крепких ботинках стояли на полу. И в окне стали видны железные крыши... Те, молодые, — состарились, разняли руки. Старуха и себя не узнавала на ослепшей фотографии.

— Ты по себе не оставила ни посаженного куста, ни сына, ни дочери! — в сердцах говорил Петеньков. — Стало быть, ни добра, ни зла.

И старуха по-книжному же отвечала ему — с чужого внушения:

— А что такое добро-зло? Что это такое, как не слова, в которых всегда подвох и обман! А то и вовсе без смысла — слова и слова. Люди — они только обижают друг друга.

— Нет! — тряс Петеньков лысеющей головой. — Ты разве обидела меня? А я тебя?

— В жизни да на самом виду все наоборот делается, не по словам.

И вдруг представилась ее жизнь, которая ползком себя протащила, как бы и спасением в жертве. Как в вере! Вот уж чего, казалось, понять было нельзя — а Петеньков вполне понимал. Мысленно оглядывал сумрачное теткинo жилище: уже другая койка, другой табурет и пустые стены... и еще мертвые тысячи, что от поддавалы соседа по чужим рукам пошли серенькими книжечками, — ее жертва, ее утешение... Головой понимал, но чувством не доходил. Ради чего ж тогда жила? Тень на его мысли ложилась... Проще, все отодвинуть бы от себя, но тут было единокровие, была жуть, тайна какая-то ветви его рода, последней и обрубленной как топором.

В жизни самого Петенькова все было ясно и видимо полезно. Как вчера, так и сегодня. Социальное положение, писал в анкетах: служащий; родители — до революции крестьяне.

По материнской линии ничего не было примечательного. Со стороны же отца — все перекошено, перевернуто: сам смертельно больной, семью таскал за собой по длительным командировкам в провинцию (что было делать — партия посылала!); дядя затерявшийся, сгинувший. Наконец и тетка, еще одна несурзацица, загадка тихая, как в норе прожила...

Было жаль тетку. Уже и не в связи с кончиной самой, не с последней ее мукой: жалел, что на годы отдалился как от чужой. Это его *яность* держала в нетерпимости! Раздражали чудачества теткины. Хотя бы ее миссионерство от баптистов, что ли: не примет ли и он их веру, не войдет ли в братство спасенное, истинно познающее Бога?.. Со смехом он разводил руками — недоумевал. И редкие его набегу на теткин пятый этаж, в вдуматься — на ее душу потерянную, в собственной его душе ничего не оставляли. Вот поди ж ты! Но Библию взял — редкость. С этакой снисходительностью. Сам же на том и поймал себя — тоже, впрочем, с усмешкой: так и есть, снисходительностью...

А была еще книжница, неизвестно как попавшая в шкафчик с тряпьем: география. Пока Леля расшвыривала теткин чемоданишко, Петеньков и наткнулся. Выпал тетрадный листок, исписанный кривою рукой: дни святых, какой когда ждать. Школьный учебник случайно тут пробыл вместе с брезентовыми рукавицами и пучками заводских «концов». На что было то и другое употребить? Все и лежало. Чердачный хлам. Но вот новые ковер и кресло... Чистое разорение! Не по ее воле, конечно, как Петеньков смекнул. Кто-то здесь бывал, либо брат, либо сестра Христовы — не иначе. Пили чай, душевные беседы вели... Слова с тайной, не из жизни — как свеча перед слепой... и было старухино признание о накопленном, очень неосторожное, и внушение было дано, что «Господу угоден уют». Все можно вообразить. Даже водочку при беседе. Ту самую, по которую лазил сосед. Превращался в мышшь или таракана — и под дверь. Вылакает — и назад тем же путем...

Все лукаво, все темно выглядело на поверку! И преоскорбительно, коли — как Петенькову помнилось — до опорок дошло, явно с мусорной свалки, пальтецо-балахон носила не оттуда ли тоже? И где-то в одежонках — забулавленный клеенчатый кошелечек с тыщами — на магазинный,

копеечный поскупились! Комок вставал в горле: она еще и голодом себя морила!

Между тем — ее последний визит, осенью... Ведь не за чем иным, как за теплом человеческого! Она и это от себя утаила: «за Библией». Просидела хмурую, в платке, пока племянника дожидалась — очередь выстаивал в магазине. Но были потом о близком и о далеком разговоры с племянниковой женой и с самим племянником за обедом, было забытое тепло и сытости, и человеческого участия, с простыми словами! Может, пугалась в такие минуты, веря в радость, совсем не далекую, как из разговора — из слов! — оказывалось: кооперативная квартирка, тишина, телевизор даже...

Три времени пережил Петеньков — это уж позже, три отношения к себе и тетке: и возмущения (неделя та совратила), и равнодушия, когда все не вспоминалась, куда не обожгло: он и сам-то живет *никак*.

Ранним субботним утром они с узелком первые поехали — мать с сыном-медиком. Отчужденно выходили за порог, спинами повернувшись к хозяевам, молча... Как-нибудь перетерпеть день. Лучше в стороне друг от друга. Тут само собой теткин выбор сыграл главную роль, сразу их разделивший. А связала временная денежная зависимость: у хозяев сотню одолжили на похороны, на какие-то церковные добавки «от себя». И на обратную свою дорогу. Нехороший долг — скорее бы забыть, не томиться!

Все четверо они сошлись во дворе клиники на Садовой. Было солнечно, сухо, серенький снег лежал в тени... Сестрица расхаживала в одиночестве, сцепив пальцы, глаза возбужденные; сын ее стоял с Петеньковым. Тот уже знал: к телу не допустили, медик был презрительно недоволен:

— Странные порядки! У меня годичный опыт прозектора. А вы про «морячков» слышали? Ха!.. Часы на запястье — голом, конечно: покровы разложились, — месяц, число показывают. Можно судить, сколько проплавал. От истлевших носков — одни резинки... Девочки в обморок падали, случалось... А вот по железнодорожным был у нас такой деятель: от тела месиво, а он сшивал по кускам. За большие деньги — для родственников. Мастер!

И интересовался — так, между прочим:

— А вы что видели?

— В каком смысле? — не понимал Петеньков.

— Да вот все такое! — и подытожил, отворачиваясь: — Что же вы видели, прожив столько лет?

Был вынос — очередь дошла, парни из морга встали по перилам крыльца, с одинаковыми служебными лицами. В гробу что-то кукольно-деревянное покоилось, в платочке, иконка, кружевца на веселом солнышке. А Лелина длинная фигура тем временем моталась в отдалении, этот стервный, внахлобучку, воротник... Парни выждали минуту, опустили крышку, всё разом подняли на руки. И поехали, повезли — целый автобус на одну старуху. Уголочек кружевца из-под крышки трепетал в сквозняке, дувшем от окон к окнам. Жена Петенькова с Лелей переговаривались — такие вспышки разговоров; и однажды гроб что есть силы дернулся, к общему ужасу: наверно, слишком быстрой была езда по загородному шоссе. Притормозили, и жена шепнула Петенькову:

— За своими тысячами рванулась!

У разрытого пологого поля стояли потом в скопище машин. Глинистые ручьи из-под сотен человеческих ног стекались в необозримые лужи, ярмарочный шум докатывался... Пронзительной синевы было небо. Старуха ждала.

Еще потрескивало жесткое эхо; Петеньков не дышал, взглядом тихо обегал лица жены, женщины рядом с ней; за ними, в окнах автобуса, белел город вдаль — их было пятеро со ждущей в заколоченном гробу старухой, обряженной в кружева, как невеста, в нетерпении стянут ее рот, и

яростные зрачки глядят под деревянными веками; уголочек кружевца, придавленный, беспокойно теребило...

И сызнова заговорила эта Леля — выпрыгнула из молчания.

— Библиотека у нас... по художникам, медицине... Приобретаем!

Старуха чутко прислушалась.

Ну, я сейчас скажу! — темнея, решался Петеньков. Пыль-то она хоть стирает с библиотеки?

И, кажется, сказал. Потому что тут же их разбросало. Порхнувшее голубенькое пламя, взрыв...

Он покачался на ступеньке автобуса и спрыгнул. И, обходя завязшие в мартовской грязи салазки с гробами, слышал за спиной выкрики истерические: «Он не придет! Мы его не найдем!» — о сыне, ушел договариваться с могильщиками, пропал. Не придет. И слышал еще смех жены:

— Да перестаньте вы, черт вас возьми!

Одну из послевоенных весен вспомнил Петеньков — легло на этот день и не потеснило. Участок вскапывали под картошку пацан Петеньков с матерью, пересмеивались, переругивались, и так же как бы празднично было, солнце, те же утренние облака, люди с лопатами по всему полю... одолеть которое, казалось, ничего не стоит.

РЕМОНТ

Запах искрошенного бетона и сквозь веки — тень, свет... Дрожащая вспышка и тьма. Наверное, ветер. Раскачивалась ветка перед уличным фонарем — голый хлыст за голым окном. С нарастающей телесной мукой (эти нелепые воздержания!), он лежал рядом с женой, а дочь — за стеною, в разгромленной многонедельным ремонтом квартире, при настезь открытых дверях. Сонное дыхание, ни шороха, но не спала, как и он.

Он попытался представить себе, что с женой наконец одни... какой-то дом, совершенно пустой, вечер, предновогодье. Нет, жена еще в городе и придет до полуночи. Поездом. (Наверняка с дочерью.) Он встретит, выйдет на лыжах. Луна над неправдоподобной чернью полей и завалами вырубленного елового леса. Пни, старая хвоя, вмятая в глину. Он перекидывает лыжи за высокий забор, перелезает и идет к станции, напрямик. Межоблачные полыньи полны звезд; и что-то дьявольское и ностальгическое в свирепости старинного паровоза, в блеске его черного длинного тела, в выбросах жаркого пара. Но сразу же с платформы в сторону от поселка: хоть и топор под фуфайкой, да безопаснее лесом, по своей лыжне. Там, в большом деревянном доме, натоплено, пахнет печами. И милая керосиновая лампа... которую он уже несет мимо дверей, за ними пусто, необжито, несет к окну с синей луной. Пол забрызган, лужи — как талые. Жена будет мыться с дороги. Это его волнует. Сумеречно, но лампа не нужна. Он ставит ее снаружи у двери, привертывает фитиль, садится и ждет, вздрагивая.

Жена прошаркивает, в халате до горла, пальцы, сжавшие воротничок, делают приветливое движение — ей чудится, что откуда-то дует. Он слышит, как она напеваает, слышит босое шлепанье. Брякает дужка ведра. Вплотную за окнами лес. И только в окне, где оплывает луна, стелется чистое поле.

Поезд же с промерзшими вагонами к утру пересечет две губернии, если доедет. И одышно замрет, уткнувшись промеж лесов и оснеженного озера. Когда-то на далекой этой станции пили «блади мэри» с приятелем в доме приезжих. За картами, разговорами — все вечера в обществе грустного человека: приехал купить пару галош. (А они рыбу удить.) Человек горевал по телке: не докормить до взрослой коровы. Он был из безобидного племени плакальщиков, которое само сгнуло до времени, свернувшись как червячок...

Бормотало радио: безразличный голос, прерываемый будто колесным скрипом. Потом заглохло. Может, ветром оборвало провода. Стоя на мок-

ром горячем полу, жена терлась мочалкой и пела. И счастливо не думала ни о чем. (О чем думать листве под дождем?)

В коридоре загремели тазы с книгами. «Господи! Невыносимо!» — простонала дочь. Щелкнул дверной замок в туалете, и стихло.

Он вжался лицом в подушку.

Ему ничего не снилось. (Сны — промежуточные бдения «блуждающей души»?) Уснул в режущем помигивании фонаря — руки на груди, стиснуты, как для защиты, — и проснулся: утро, серое солнце.

На тросах протащи́лась мимо окон люлька с малярами. И опустела. На виду выпивали, сидя на ступеньках бытовки, как на крыльце.

Мелькал предвесенний дождик, плавал сор в ведрах с краской.

Прогуливались пенсионеры — трое теток и поодаль дедок...

Он сказал о себе: мальчик остался дома. Отзвенели звонки, и пролетел первый урок. Мне так уютно, один, сам по себе! Ледяное окно, тишина. И не заботит, повторится ли это когда-нибудь. (Повторится, когда жизнь почти пройдет.) Мальчишка волен распорядиться собой: поехать, скажем, в планетарий. Или никуда не поехать. Как ты сегодня. И — позавчера... Потому что в бессрочном домосидении. Полуторачасовой обег магазинов — добывание еды (скудость и привлекательность скудости), затем некая работенка, напоминающая склеивание коробочек, дай Бог здоровья приятелю. Плата из рук в руки — по минимуму твоих (гуманитарных) навыков. За усердие... Скатится к вечеру, и занует ветер в пробитых насквозь потолках и полах. В дыры перекрикивались бы дети, но они выросли: дом старый, с времен первых «хрущевок». С грохотом отворяется парадная дверь, и, кажется, от сотрясений где-то дымно искрит в путанице проводов, ныряющих за лестничное окно. Но пожара пока никакого. Будет — большой ремонт спишет. Хотя ремонта как бы и нет.

А дочери снился голубоглазый Христос. Лик, безмолвно склонившийся над изголовьем, где, как всегда, иконка и ее нательный серебряный крестик. Она отчетливо видела каждый предмет. И потом — переплет деревянного низенького расцветного окна, позади стена елового леса. Отец топил печь. Она представляется ей в виде большого раскрытого сундука, что ли, или, может быть, голландки (кафель, решетка)... осторожно укладываются мерзлые поленья, и она смотрит, как, набухая от жара, пробегают по коре влажные пузырьки, воздух дрожит, и плывет голова: что-то языческое в ее общении с огнем... А вчера эта адская дорога от станции, остекленелая лесная и звездная синь, ветер, его долгие стоны, из-под снега черная трава... Отец помог девочке вскарабкаться на забор. Она засучила ногами и вскрикнула, мягко опустившись по ту сторону в сугроб. Отец удовлетворенно прикрыл глаза и достал топор. Срубить елку, взвалить на плечо и вернуться... пока истекают из года последние часы. В тепле из-под ботинок сольются ручейки, присыпанные хвоей, он будет медлить, разглядывая плотно настланный пол, под луною как мраморный, в щепках и шербах — хранилище памяти о жизни нескольких поколений. Небрежный быт посторонних людей помнили стены в залатанных проломах. Последним из роду-племени здесь был отец (уходил и возвращался, пока выросстал сын с младенческих карачек до шатких шажков). И вот сын тоже вернулся...

Жена уляжется, разметавшись, под одеялом, после бани, одна. И он, думая о ней и себе, согласится с постничеством. Житейские обстоятельства, права, обязанности — перепутаются и утратят смысл... Женщина-девочка. Безгрудая фигурка с целомудренным животиком, знающая лишь прикосновение воды и собственных рук. Она напевала детскую песенку, простенькую, два птичьих коленца...

Среди ночи, пробив тишину перекликом гудков и фарами, осадив с трех сторон, из машин повысыпет горлающее, топочущее, задубасит, пробегая, в окна, в дверь.

— Хозяева поотдавали концы!

И — грохнут чем-то подобраным, как тараном.

Кое-как он пересилит эту напасть. И подосадует на свою (господи!) связанность с взбесившимся миром.

Бедное будет утро, огороженное безлюдными лесами. Осыпавшаяся елка, сквозит от окон... и они трое за единственным в доме столом, непокрытым, грубым — миска вареных картошек и хлеб. Сценка, многократно описанная и изображенная: непритязательность и согласие.

Когда-нибудь приснится и женщине: она в неведомом доме, двери повсюду, ищет свою и с каждой стирает пыль. Занятие приятно, но ощущение шаткой высоты под ногами, как в лифте, совсем никуда с сердцем. Только не крыши внизу, а, как растопыренные пальцы, кривенькие ветки деревьев, похоже на раннюю весну, и очень близко земля. И еще вровень с окном, где деревья, резная спинка одинокой скамьи. Склонившись, сидит дочь, на коленях книга, а может быть, и ребенок... Дочь одевает его, точно куклу: какая-то шубка, рукавички, — и отпускает гулять одного. Самостоятельное взрослое существо! Виден дочери угол сельского дома на некотором отдалении, а над домом, над полем, утонувшим в лесах, серебряно-черное небо. Шепотом, словно молитву, она читает стихи. Слова исчезают с движением губ...



НИНА ИСКРЕНКО

(1951 — 1995)



ПРИНИМАЯ ПОКОЙ КАК НАРКОТИК

Она многому успела порадоваться при жизни. Три книжки стихов, шумные выступления в забитых залах, любовь и признание домашних и друзей. Даже в запредельной Америке побывала не однажды.

Наверное, она была счастлива. Настолько, впрочем, насколько имеет право быть счастливым человек, посвятивший себя этому неоднозначному занятию. Но чем она обладала бесспорно, так это поразительной способностью делать счастливыми других. Раскрашивать окружающую бытовуху своими красками и давать людям с обычным зрением счастливую возможность эти краски воспринимать. В любом — самом общем — месте она в считанные мгновения умудрялась развернуть свой маленький самодельный, самодостаточный цирк, вытащить на арену обычного зануду, и тому — отлично помню себя — ничего не оставалось, как подчиниться ее необременительному диктату.

Не все, что она делала, я понимал и принимал. По сию пору домашний, уютный Перышкин кажется мне ближе и надежнее отдающих космическим сквозняком Дирака или, к примеру, Планка — мир им обоим. Она же, физик по образованию и, во многом, по складу ума, до конца своих — так незаслуженно коротких — дней искала химическую связь между физической и поэтической картиной мира. Не зря ее любимым образом было всеобъемлющее яйцо: «такое первое снаружи и в нем такая курица внутри».

Врожденное чувство гармонии и благородный слух позволяли ей на ограниченном пространстве одного стиха совмещать шокирующую брутальность с задыхающейся нежностью и беззащитностью. В ее иронии — не частый случай — не было ни малейшей примеси цинизма и отгороженности от несобственной боли.

Стихи, представленные в этой подборке, были написаны, когда жизнь уходила из нее. Я помню, как шелестел в трубке ее голос, с каким трудом произносила она слова И до сих пор поражаюсь ее мужеству и верности назначению.

Выстраивание любых иерархий в искусстве — дело заведомо уязвимое. Слишком силен и очевиден бывает эмоциональный момент. Но думаю, что в нашем поколении Нина Искренко была самым крупным явлением поэтической природы. Время, прошедшее со дня ее смерти, позволяет мне сказать об этом вполне осознанно.

Игорь Иртеньев.

Кладбище

1

Тоже женщина Тоже мужчина
ДОРОГОМУ ОТЦУ Чье-то личное дело
А теперь у них общее тело
Каждый третий крещеный

Каждый пятый старуха ребенок
 Восемнадцатый каждый писатель
 Где-то неподалеку Спаситель
 положил свой отвес и рубанок

Мы губами берем осторожно
 колокольные звоны враскачку
 мы покой покупаем в рассрочку
 и несем осторожно пакетик бумажный

прижимая к груди
 принимая покой как наркотик
 в два часа пополудни Мелькнуло Кольнуло
 и глядя на осенний листок трепыхнувшийся под колоннадой
 Щас накатит

Этих острых и ломких краев завещанье
 не содержит угроз или замысловатых созвучий
 Только факты стесняющие как увечья
 Тоже женщина Тоже мужчина

2

Кладбище ночью не то же что кладбище днем
 Ночью на кладбище сразу же набок съезжает ментальность
 Ночью медлительность тайная мнительность членораздельность
 тут же зачеркиваются каким-нибудь чиркнувшим звуком одним

Днем ты на кладбище ходишь как будто случайный прохожий
 Будто бы ты постороннее здесь абсолютно чужое лицо
 А ночью на кладбище всяк тебе смотрит в лицо
 пальцами тычет куда-то в лицо или хуже

Хуже чем кладбище ночью в раскисшем уже октябре
 трудно придумать себе развлечение То есть
 страшного нет ничего Так грязища по пояс
 холод и чьи-то нелепые рожи абсолютно не нужные в общем
 ни мне ни тебе

Биографический скетч — 2

Первый муж был алкоголик
 а последний сутенер
 В промежутке было жутко
 Даже неприятно вспоминать

Был мне муж родная мать
 А потом папаша родный
 Я пришла к нему нарядной
 У него была кровать

Он мне сделал харакири
 хачапури и пирке
 И отчалил налегке
 Я опять осталась в горе

Я осталась в чем была
 Я проплакала субботу
 и на новую работу
 заявление подала

Написала все как было
дескать многое могу
Написала
и наклеила на лбу

Первый муж был теоретик
А последний негодяй
Я умею извините
очаровывать людей

* *
*

Она поцеловала его в подушку
А он поцеловал ее в край пододеяльника
А она поцеловала его в наволочку
а он ее в последнюю горящую лампочку в люстре
Она вытянувшись поцеловала его в спинку стула
а он наклонившись поцеловал ее в ручку кресла
тогда она изловчилась и поцеловала его в кнопку будильника
А он тут же поцеловал ее в дверцу холодильника
Ах так она немедленно поцеловала его в скатерть
А он заметил что скатерть уже в прачечной
и как бы между прочим поцеловал ее в замочную скважину
Она тут же поцеловала его в зонтик
Зонтик раскрылся и улетел и ему ничего не оставалось как
поцеловать ее в мыльницу
которая вся пошла пузырями и уплыла в Средиземное море
но она не растерялась
и поцеловала его в светофор
Загорелся красный свет и он не переходя улицу поцеловал ее
в яблочный мармелад
Она стала целовать его всего перемазанного мармеладом
и в хвост и в гриву
и в витрину Елисеевского гастронома и в компьютер «Макинтош»
А он нарочно подставлял ей то одну то другую дискету
не забывая при этом целовать ее в каждый кохиноровский карандаш
и в каждый смычок Государственного симфонического оркестра
под руководством Геннадия Рождественского
в каждый волосок каждого смычка
исполняющего верхнее до-диез-бемоль с тремя точками
и выматывающим душу фермато
переходящим
в тремоло
литавр
RRRRRRRrrrrrrrr

Она поцеловала его в литр кваса и белый коралл
в керамической кружке на подоконнике и сказала Господи
Мы совсем с ума сошли
Надо же огурцы сажать и на стол накрывать Сейчас гости придут
а у нас конь не валялся и даже НЕ ПРО-ПЫ-ЛЕ-СО-ШЕ-НО!

Он сказал Конечно Конечно
Вскочил на пылесос посадил ее перед собой дернул поводья
и нажал кнопку ПУСК

Н О В Ы Е П Е Р Е В О Д Ы

ВИТОЛЬД ГОМБРОВИЧ



ИЗ «ДНЕВНИКА»

В августе 1939 года уже ставший известным у себя на родине автор сборника рассказов «Дневник периода возмужания» (1933), пьесы «Ивонна, принцесса Бургундская» (1935), романа «Фердыдурке» (1938) Витольд Гомбрович (род. в 1904) выезжает круизным рейсом теплохода «Хоробрый» в Аргентину, где его и застают начало войны. Для выпускника Варшавского университета, магистра правоведения В. Гомбровича находится место мелкого служащего в аргентинском филиале Польского банка. Аргентинский период продлился до 1961 года, за это время Гомбрович пишет пьесу «Венчание» (1947), романы «Транс-Атлантик» (1951), «Порнография» (1960), «Космос» (1963), первый вариант пьесы «Оперетта» (1958). В 1953 году В. Гомбрович начал писать короткие эссе для парижской «Культуры», журнала, издававшегося Польским литературным институтом. Эти заметки впоследствии сложились в трехтомный «Дневник»: в первый том вошли тексты 1953 — 1956 годов, во второй — 1957 — 1961 годов, в третий — 1961 — 1966 годов. При жизни автора эти тома вышли соответственно в 1957, 1962 и 1966 годах в Париже, затем они были воспроизведены в издававшемся также в Париже в 1961 — 1966 годах собрании сочинений и стали соответственно VI, VII и VIII томами собрания. В Польше «Дневник» был опубликован значительно позже других работ писателя — лишь в 1988 году. Витольд Гомбрович не дождал до этого дня каких-нибудь двадцать лет — в июле 1969-го он скончался от длившейся всю жизнь жесточайшей астмы в южнофранцузском городе Ванс, там он и похоронен. «Дневник» переведен на многие языки. Только в 1961 — 1970 годах он вышел на английском, немецком, французском, итальянском, испанском, голландском, чешском, сербско-хорватском языках. В России страницы «Дневника» впервые увидели свет в издании «„Девственность” и другие рассказы. „Порнография”. Из „Дневника”» издательства «Лабиринт» (М., 1992). В настоящей публикации представлены отдельные тексты, датированные 1953 — 1954 годами.

Понедельник

Я.

Вторник

Я.

Среда

Я.

Четверг

Я.

Понедельник

После шестнадцатичасовой вполне сносной автобусной поездки из Буэнос-Айреса (если бы только не танго, которыми надрывался репродуктор!) — зеленые холмы Салсипуэдес и я среди них с книгой Милоша¹ под мышкой;

книга называется «Поработанное сознание». Вчера весь день лило, сегодня завершаю чтение. А значит, так вам было суждено, такая уж наша судьба, такая дорога, старые мои знакомые, товарищи, друзья по «Землянской» и по «Зодиаку»², что я здесь, а вы там, вот так все и определилось, так получилось. Милош гладко излагает историю банкротства литературы в Польше, и я еду на его книге через это кладбище плавно и без рывков, как третьего дня по асфальтовому шоссе.

Но страшна эта поездка! Меня не пугает, что *tempora mutantur*^{*}, меня пугает, что *nos mutantur in illis*^{**}. Меня страшит не изменение условий жизни, падение государств, исчезновение городов и прочие гейзеры сюрпризов, так и бьющие из лона Истории, а то, что человек, которого я знал как Икса, вдруг стал Игреком, что он меняет свою личность, как пиджак, и начинает действовать, говорить, думать, чувствовать вопреки себе самому, — вот что наполняет меня страхом и ввергает в замешательство. Какое жуткое бесстыдство! Какая смешная кончина! Стать граммофоном, на который поставили пластинку с надписью «*His master's voice*» — голос моего хозяина! Вот гротескная судьба этих писателей!

А писателей ли? Мы избавились бы от великого множества разочарований, если бы не называли «писателем» всякого, кто сумеет «писать»... Знал я таких «писателей» — это были люди в основном небольшой интеллигентности, с довольно узкими взглядами, которые, насколько я помню, так никем и не стали... вследствие чего им сегодня даже не от чего отказываться. Эти трупы при их жизни характеризовала такая особенность: им легко удавалось имитировать наличие морали и идеологии и срывать таким образом похвалы критиков и значительной части читателей. Я и пяти минут не верил в католицизм Ежи Анджеевского³, а после прочтения нескольких страниц его романа в кафе «Зодиак» поприветствовал его мученическое и одухотворенное лицо столь двузначной миной, что обиженный автор немедленно порвал со мною все отношения.

Но и католицизм, и муки, и книга были приняты возгласами «осанна» тех наивных, которые разогретую струганину принимают за кровавый бифштекс из вырезки. Запойный национализм Галчиньского⁴, впрочем действительно талантливый человек, стоил того же, что и интеллектуализмы Важигов⁵ или идеология группы «Просто-з-мосту»⁶. В варшавских кафе, как и в кафе всего мира, тогда витала потребность в «идее и вере», в соответствии с чем писатели с пятницы на субботу начинали верить в то или другое. Что касается меня, я всегда считал это ребячеством и даже делал вид, что меня это забавляет, однако в глубине души меня охватывал страх перед лицом этой увертюры к более позднему Великому Маскараду. Самое главное, что все это было дешевой, и не меньшей дешевой в большинстве случаев были слащавая человечность различных дамочек, поэтичность Тувима⁷ и группы «Скамандер»⁸, находки авангарда, эстетическо-философские безумства Пейперов, Браунов⁹ и другие проявления литературной жизни.

Дух рождался из имитации духа, и писатель должен был притворяться писателем, чтобы в конце концов стать писателем. Довоенная литература в Польше была, за малым исключением, неплохой имитацией литературы, вот и все. Эти люди знали, каким должен быть великий писатель — «настоящим» — «глубоким» — «конструктивным», — а потому они изо всех сил старались соответствовать этим положениям, но все дело им портило сознание того, что отнюдь не их собственная «глубина» и «возвышенность» толкает их к писательству, а совсем наоборот — они культивируют в себе эти глубины ради того, чтобы сделаться писателями. Вот так и происходил этот тонкий шантаж ценностями, и уже было неизвестно, не провозглашает ли кто приниженности, дабы возвыситься и вырваться вперед, не провозглашает ли кто банкротства культуры и литературы лишь для того, чтобы войти в число хороших литераторов. И чем большим среди этих опутанных собственными противоречиями существ был голод на настоящие и чистые ценности, тем отчаяннее становилось чувство необоримой и отовсюду лезущей пошлости. Ох уж эти сочинен-

* Времена меняются (*лат.*).

** Мы меняемся в них (*лат.*).

ные интеллигентности, взвинченные уровни, вытянутые за волосы утонченности, эти душевные муки — и все ради читателя! Существовало одно лишь средство, чтобы выбраться из этого ада: показать действительность, обнажить весь ее механизм и чистосердечно признать верховенство человеческого над божественным, — однако именно этого не просто боялась наша литература, на это ни за что не соглашались литераторы — хотя одно лишь такое признание могло вооружить их новой правдой и искренностью. Вот причина, в силу которой довоенная польская литература все больше и больше становилась подражательством. А добродушенький народ, принимавший ее всерьез, очень удивлялся, наблюдая, как его «ведущие писатели», припертые историческим моментом к стенке, начали менять кожу, как они быстро приобщились к новой вере и заплясали под новую дудку. Писатели! Но в том-то все и дело, что это все были такие писатели, которые ни за что не хотели перестать быть писателями, они были готовы на самые героические жертвы, лишь бы только удержаться в своем писательстве.

Я вовсе не утверждаю, что если бы на меня стали давить те же самые силы, какие давили на них, то я не совершил бы того же самого ляпа, более того: считаю такой исход весьма правдоподобным, — однако при этом я не сваял бы дурака, как это сделали они, ибо по отношению к себе я был более искренним и не изрыгал абсолютные ценности так обильно, как они. Тогда, в оживленных и шумных варшавских кафе, во мне зрело предчувствие приближающегося дня конфронтации, выявления и обнажения позиций, в результате чего я на всякий случай призывал избегать славословия. Однако не все было банкротством в этом банкротстве, и сегодня в книге Милоша я склонен выискивать скорее то новое, что давало возможность развития, нежели признаки окончательной катастрофы. А интересует меня вот что: насколько этот мрачный опыт может гарантировать писателям Востока превосходство над их западными коллегами.

Ясно, что в своем упадке они оказываются каким-то странным образом выше Запада, и Милош не раз подчеркивал те своеобразные силу и ум, которые способна обеспечить школа фальши, террора и систематического искажения. Но и сам Милош представляет собой иллюстрацию этого своеобразного развития, поскольку его спокойное, ровное слово, которое с таким убийственным спокойствием выглядывает в то, что оно описывает, имеет привкус определенной специфической зрелости, несколько отличающейся от той, которая расцветает на Западе. Я бы сказал, что в своей книге Милош сражается на два фронта: у него речь идет не только о том, чтобы во имя западной культуры осудить Восток, но также и о том, чтобы навязать Западу собственное, привнесенное извне личное переживание и свое новое знание о мире. И этот вот поединок, который практически в одиночку ведет современный польский писатель с Западом, где суть игры состоит в том, чтобы показать собственную ценность, силу, индивидуальность, для меня представляет больший интерес, чем анализ проблем коммунизма, поскольку каким бы глубоким ни был анализ, ничего нового он дать уже не сможет.

Сам Милош как-то сказал нечто вроде того, что разница между западным и восточным интеллектуалами в том, что первому как следует не врезали по ж... . В соответствии с этим замечанием, наше преимущество (я включаю сюда и себя) состоит в том, что мы являемся представителями культуры брутализированной, а стало быть, более близкой жизни. Впрочем, Милош прекрасно понимает границы данной истины — было бы печально, если бы наш престиж должен был основываться исключительно на побитой части тела, поскольку побитая часть тела — это не часть тела в нормальном состоянии, а философия, литература, искусство должны все-таки служить тем, кому не повыбивали зубов, не подбили глаза и не своротили скулы. А теперь посмотрите на Милоша, как он все еще силится приспособить свое одичание к требованиям западной утонченности.

Дух и тело. Бывает, что убаживание тела обостряет чуткость души, и за задернутыми занавесками, в душной комнате буржуа рождается та суровость духа, которая даже и не снилась тем, кто с бутылками бросался на танки. Вот почему наша брутализированная культура пригодится только тогда, когда она

станет чем-то переваренным, новым образом истинной культуры, продуманным и организованным нами вкладом в универсальную духовность.

А теперь вопрос: в состоянии ли Милош и та польская литература, которая сейчас находится на свободе, хотя бы отчасти реализовать эту программу?

Все это я пишу в моей каморке и должен кончать, потому что в пансионе «*Las Delicias*» меня ждет ужин. А потому — пока, мой дневничок, верный песик моей души; только не вой — твой хозяин уходит, но скоро вернется.

Среда

С некоторых пор (и, возможно, в результате монотонности здешнего моего образа жизни) меня разбирает любопытство, которого до сих пор я не испытывал столь интенсивно, а именно — желание знать, что произойдет в следующую минуту. Перед моим носом стена темноты, из которой сейчас выступит нечто такое, что явится грозным предзнаменованием. За тем углом... что там? Человек? Собака? Если собака, то как выглядит, какой породы? Вот сижу я за столом, сейчас подадут суп, но... какой суп? Это основное, по сути, познание до сих пор не было отражено в искусстве, человек как инструмент превращения Неизвестного в Известное не фигурирует в числе ее главных героев.

Четверг

Как-то раз я объяснял, что для того, чтобы адекватно почувствовать то воистину космическое значение, какое для человека имеет человек, следует представить себе следующее: ты совсем один, в пустыне, никогда раньше не видел людей и даже не догадываешься о возможности существования другого человека. Затем в поле твоего зрения попадает похожее на тебя существо, однако это не ты — тот же самый принцип, но воплощенный в другом теле, кто-то такой же, но все же другой, — и тогда ты начинаешь ощущать чудесное дополнение и болезненное раздвоение; надо всем воцаряется откровение: ты стал неограниченным, непредвиденным для самого себя, помноженным на все свои возможности этой чужой, свежей, но все-таки похожей на тебя силы, которая приближается к тебе так, как будто ты сам подходишь к себе снаружи.

А теперь для завершения рассуждений о Милоше: я пытаюсь понять, в чем может состоять та ключевая идея, которую наш восточный опыт может дать Западу, каким может быть вклад современной польской литературы в западную литературу.

Разумеется, я гляжу на этот предмет несколько субъективно. Я не специалист по части умствования и не скрываю, что мысль для меня — только строительные леса. Я хочу лишь поведать о том, какие струны затрагивает во мне та, наша, восточная действительность.

Убежденному коммунисту революция представляется триумфом разума, добродетели и истины, поэтому для него в ней нет ничего такого, что отходило бы от правильной линии прогресса человечества. Зато «язычнику», говорит Милош, революция приносит другое сознание, и выразить его можно такой сентенцией: человек с человеком может сделать все, что угодно.

В этом состоит нечто такое, что нас, восточных писателей, начинает в основных чертах отделять от Запада. (Обратите внимание, какой я осторожный. Я говорю: «в основных чертах», «начинает».) Запад упорно продолжает жить образом обособленного человека и абсолютных ценностей. Нам же зримо начинает являться формула: человек плюс человек; человек, помноженный на человека, — однако ее не следует соединять с каким бы то ни было коллективизмом. Бубер, еврейский философ, довольно неплохо определил это, сказав, что существовавшей до сих пор философии индивидуализма пришел конец и что самым большим разочарованием, какое только ожидает людей в ближайшем будущем, будет банкротство философии коллективизма, которая, рассматривая личность в качестве функции массы, отдает ее в действительности таким абстракциям, как общественный класс, государство, народ, раса; и только на трупах этих мировоззрений родится третье видение человека: человек в соединении с другим, конкретным человеком, я в связи с тобой и с ним...

Человек через человека. Человек по отношению к человеку. Человек, создаваемый человеком. Человек, усиленный человеком. Не впадаю ли я в иллю-

зию, когда вижу в этом спрятанную от взоров действительность? Ведь, рассматривая все те недоразумения, которые возникают теперь между нами и Западом, я всегда сталкиваюсь с этим «другим человеком», возвеличенным до категории создающей силы. Это можно определить двадцатью разными дефинициями, выразить полутора сотнями способов, но факт остается фактом: у нас, сынов Востока, та проблема, которой усиленно питается половина французской литературы, — проблема индивидуальной совести — начинает таять в руках, Леди Макбет с Достоевским становятся неправдоподобными... и по крайней мере половина текстов разных там Мориаков представляется нам свалившейся с луны, а в голосах Камю, Жида, Валери, Элиота, Хаксли мы ощущаем ту роскошь, которая досталась нам в наследство от давно минувших дней, но которую мы не в силах переварить. Эти различия становятся на практике так явственны, что я, например (я говорю это без тени преувеличения), вообще не в состоянии разговаривать об искусстве с художниками, поскольку Запад, до сих пор сохраняющий верность своим абсолютным ценностям, все еще верит в искусство и в то наслаждение, которое оно нам дает; по мне, так это наслаждение нам навязывается, оно рождается между нами — и там, где они видят человека, преклоняющего колена перед музыкой Баха, я вижу людей, которые заставляют друг друга встать на колени и восхищаться, наслаждаться, восторгаться. Поэтому такое видение искусства должно было отразиться на всем моем с ним общении, и я иначе слушаю концерт, иначе восхищаюсь великими мастерами, иначе оцениваю поэзию.

И так во всем. Если это ощущение еще не выявилось в нас с достаточной силой, то это только потому, что мы — рабы полученного нами в наследственной языке; однако через щели формы все сильнее оно лезет наружу. Что родится, что *могло бы* родиться в Польше и в душах разбитых и огрубленных людей, когда однажды исчезнет и этот новый порядок, который раздавил старый, и наступит Ничто? Вот картина: почтенное высокое здание тысячелетней цивилизации рухнуло, тишина и пустота, а на развалинах — рой старых и мелких человеческих существ, которые все никак не могут очнуться. Ибо рухнула их церковь, эти алтари, эти росписи, витражи, статуи, перед которыми они преклоняли колена, та кровля, которая их защищала, обратилась в прах, а они — во всей своей наготе, они голые. Где укрыться? Что любить? На кого молиться? Кого бояться? В чем искать источник вдохновения и силы? Разве было бы странным, если бы они увидели в себе единственную созидательную силу и единственно доступное им Божество? Вот тот путь, что ведет от обожания созданных человеком произведений к открытию человека как решающей и голой силы.

Обитатели прекрасного здания западной цивилизации должны приготовиться к нашествию бездомных с их новым пониманием человека... Впрочем, никакого нашествия не будет, я только что сменил точку зрения: откуда ему быть, если болгарин не доверяет болгарину, болгарин презирает болгарина, болгарин считает болгарина ... (здесь надо употребить то знаменитое слово, которое всегда заменяется точками). Поскольку мы относимся к нашим чувствам как к чему-то несерьезному, мы никому не навязываем нашего чувствования. И было бы довольно странно, если бы новое видение человека родилось среди людей, которые собой пренебрегают.

Среда

На встрече у Гродзицких¹⁰ с молодым художником Эйхлером я заявил: не верю в живопись! (Музыкантам я говорю: не верю в музыку!) Потом я узнал от Зигмунта Грохольского¹¹, что Эйхлер интересовался, не ради ли хохмы я бросаю в публику такие парадоксы. Они даже не догадываются, сколько в этой хохме истины... истины, наверно, более истинной, чем те истины, которыми кормится их рабская «привязанность» к искусству.

Вчера я выбрался в Национальный музей изящных искусств с N. N., поддавшись его уговорам. Избыток картин утомил меня еще до того, как я приступил к их осмотру; мы переходили из зала в зал, останавливались перед отдельными картинами, после чего шли к следующим. Мой спутник, разумеется, дышал «простотой» и «естественностью» (этой вторичной естественностью,

являющейся преодолением искусственности) и, в соответствии с приличествующим *savoir-vivre*^{*}, избегал всего, что могло бы восприниматься как преувеличение... я же источал апатию, переливавшуюся всеми красками отвращения, неприятия, бунта, злости, абсурда.

Кроме нас было еще человек десять... Они подходили к экспонатам, всматривались в них, отходили... механистичность их движений в абсолютной тишине делала их похожими на марионеток, лица этих людей были никакими в сравнении с теми лицами, что глядели с полотен. Мне не впервой докучает лицо искусства, гасящее лица живых людей. Кто же ходит в музей? Художник какой-нибудь, чаще всего студент школы изобразительных искусств, или ученик средней школы, или женщина, не знающая, куда девать время, несколько любителей, приехавших издалека на экскурсию в город, — вот и все, больше практически никого, хотя все готовы коленапреклоненно присягнуть, что Тициан или Рембрандт — это такие чудеса, от которых просто мороз по коже.

Меня не удивляет малолюдье. Увешанные полотнами большие пустые залы до отвращения противны и способны толкнуть человека на дно отчаяния. Картины негоже располагать на голой стене одну возле другой, картина существует для того, чтобы украшать интерьер и быть радостью для тех, кто может ее увидеть. Здесь же — толчея, количество подавляет качество; насчитываемые дюжинами, шедевры перестают быть шедеврами. Кто же может всмотреться в Мурильо, когда Тьеполо рядом требует внимания к себе, а подалее еще тридцать полотен взывают: смотри, смотри! Существует невыносимый, принижающий контраст между *интенцией* каждого из этих произведений искусства (а каждое из них хочет быть единственным и исключительным) и их пребыванием в этом здании. Не только живопись, искусство вообще избилует до предела доведенными диссонансами, абсурдами, мерзостями, глупостями, которые мы выставляем за скобки нашего восприятия. Нас не шокирует старый тенор в роли Зигфрида, фрески, на которых практически ничего не видно, Венера с отбитым носом, преклонный возраст женщины, декламирующей молодцевато-задорные стихи.

Я все менее и менее склонен делить мою впечатлительность на отсеки и не хочу закрывать глаза на тот абсурд, который сопровождает искусство, не будучи им. Я требую от искусства не только того, чтобы оно было хорошим как искусство, но также и то, чтобы оно хорошо вписывалось в жизнь. Я не желаю принимать ни слишком смешные его святыни, ни его заклинания. Если это шедевры, которые должны преисполнить нас восхищением, то почему же наше чувство столь тревожно, столь неуверенно и блуждает как впотымах? Прежде чем упасть на колени перед шедевром, мы пытаемся понять, точно ли это шедевр, робко спрашиваем, должен ли он нас ошеломить, тщательно разузнаем, можно ли нам проникнуться этим небесным блаженством, и только после того, как все хорошенько разузнаем, предаемся восторгу. Как совместить эту пресловутую громоподобную, неотразимую, спонтанную и несомненную силу искусства с прохладностью нашей реакции? На каждом шагу забавные промахи, ужасные ляпы, фатальные ошибки разоблачают всю фальшь нашего языка. Факты ежеминутно бьют наше вранье по щекам. Почему этот оригинал стоит 10 миллионов, а вон та его копия (хотя она настолько прекрасна, что вызывает абсолютно те же самые художественные впечатления) стоит только 10 тысяч? Почему перед оригиналом собирается набожная толпа, а на копию никто не смотрит? Та картина вызывала божественные чувства, пока считалась «произведением Леонардо», сегодня никто на нее не смотрит, а все потому, что анализ красок показал: это работа его ученика. А вот спины Гогена — шедевр, но чтобы оценить этот шедевр, надо знать технику, держать в голове всю историю живописи и иметь особый вкус, — по какому же праву им восхищаются те, кто недостаточно подготовлен? Если бы мы (говорил я своему спутнику после того, как мы вышли из музея) вместо того, чтобы анализировать краски, более точно, более внимательно исследовали реакции зрителей, мы бы выманили наружу безмерное количество фальшивок, от которых с треском завалились бы все Парфеноны и сгорела бы со стыда Сикстина.

* Здесь: правила поведения (франц.).

Он посмотрел на меня исподлобья, и я понял, что он переживает кризис доверия. Мои доводы звучали для него простецки не потому, что в его понимании я был не прав, а потому главным образом, что я говорил языком человека не из артистического «общества» и ни Мальро, ни Кокто, ни кто-либо другой из числа тех, с кем он считался, никогда бы таким образом не сказали. Это была та сфера понятий, которую они уже давно переросли; да, это была «низшая сфера», что-то ниже уровня. Нет, в таком тоне нельзя говорить об искусстве! Я знал, что пришло ему в голову: что я — поляк, то есть существо более примитивное. Однако я в то же время был автором книг, которые он считал «европейскими»... стало быть, сказанное мною было не славянским примитивом, а розыгрышем, юродством. И он ответил: «Вы все это говорите, чтобы только подразнить».

«Подразнить»! Если меня раздражает ваша тупость, то уж позвольте мне подразнить, пораздражать вас! Почему вам так не хочется принять к сведению, что утонченность не только не исключает простоты, а что они должны, что они просто обязаны идти вместе, рука об руку? Что тот, кто, усложняя себя, не может одновременно упрощать себя, теряет способность внутренне противостоять тем силам, которые он в себе разбудил и которые в итоге его уничтожат? Даже если бы в моих словах не было ничего, кроме желания подчиниться искусству, сохранив в отношении его суверенность, уже тогда следовало бы приветствовать такой подход, поскольку это нормальная, здравая политика художника. Кроме того, у меня имелись и другие, более глубокие, основания, но о них он не знал. Я бы мог ему сказать:

— Ты думаешь про меня, что я наивный, а наивный как раз ты. Ты не отдаешь себе отчета в том, что в тебе происходит, когда ты смотришь на картины. Ты считаешь, что, привлеченный красотой искусства, ты добровольно приближаешься к нему, что это общение происходит в атмосфере свободы и что в тебе спонтанно, как по мановению волшебной палочки Прекрасного, рождается наслаждение. В действительности же дело обстоит так: какая-то неведомая рука схватила тебя за шкуру, подвела к картине, бросила на колени и более сильная по сравнению с твоей воля приказала тебе поднатужиться и проникнуться соответствующим чувством. Что это за рука и что это за воля? Это рука не какого-то одного человека, воля — коллективная воля, рожденная в межчеловеческом пространстве, совершенно тебе чуждом. Поэтому ты вовсе не восхищаешься, а лишь стараешься восхищаться.

Я мог бы сказать и это, и много больше... но воздержался... Пока что приходится все держать в себе под спудом — мысли надо придать необходимый вес, развить ее и оформить в более обширную работу, но как это сделать, если мое время — это никем не уважаемое время мелкого служащего? Высказываться полупамятками? Намеками на истину, которую нельзя высказать во всей полноте? Я был обречен остаться непризнанным и фрагментарным, бессильным перед лицом абсурда, так коробившего меня... впрочем, не только меня...

Он говорит: «Я восхищен». Я же говорю: «Ты стараешься восхититься». Маленькая разница, но из этой мелкой детали выросла гора набожной лжи. Вот так в этой пролгавшейся школе и складывается стиль, причем не только художественный, но и стиль мышления и ощущения элиты, которая приходит сюда, чтобы усовершенствовать свои ощущения и приобрести уверенность формы.

Пятница

Вспоминаю свое выступление во «Фрэй Мочо»¹² (потом его опубликовали в «Культуре»¹³ — «Против поэтов»). Тогда, когда я старался доказать этим столь удаленным от Европы аргентинцам необходимость обновления нашего подхода к рифмованной поэзии, мне сказали: «Как же так? Вы — типично элитарный писатель, — и требуете, чтобы искусство было «для всех»?»

Но я, во всяком случае, не требую популярного искусства, я не враг (а об этом тоже говорилось) искусства и не сомневаюсь в его весе и значении. Я лишь утверждаю, что оно воздействует иначе, чем мы себе это представляем. Мне досадно, что незнание этого механизма делает нас ненастоящими как раз там, где добросовестность ценится превыше всего. И досаднее всего видеть это в поляках.

Наше славянское отношение к вопросам искусства более свободное, поэтому мы меньше втянулись в искусство, чем западноевропейские народы, и можем позволить себе большую свободу движений. Я не раз объяснял это Зигмунту Грохольскому, так тяжело переживавшему свою стихийную и придавленную Парижем польскость; его метания так же тяжелы, как и драма многих польских художников, единственным девизом которых стало «догнать Европу» и которым в этой гонке мешает то, что они представляют собой иной, специфический тип европейца, что они родились в той географической точке, где Европа — не совсем Европа. Что-то в этом духе я сказал и Эйхлеру, когда мы разговаривали у Гродзицких:

— Меня удивляет, что польские художники не пытаются использовать то преимущество, которым на территории искусства является польскость. Неужели вам хочется вечно копировать Европу? Униженно преклоняться перед живописью, как французы? Писать картины серьезно? Рисовать стоя на коленях, в глубочайшем благоговении, рисовать робко? Я признаю этот тип изобразительного творчества, но он ведь не в нашей природе, во всяком случае, наши традиции иные, поляки никогда не принимали слишком близко к сердцу искусство, мы были склонны считать, что не нос существует для табакерки, а табакерка для носа, и нам больше импонирует та мысль, что «человек выше того, что создает». Перестаньте бояться собственных картин, перестаньте любить искусство, подойдите к нему по-польски, свысока, подчините его себе, и тогда в вас проявится оригинальность, перед вами откроются новые пути и вы найдете самое ценное, самое плодотворное — собственную действительность.

Я так и не убедил Эйхлера, вложившего столько усилий в воспитание в себе солидной европейскости, — он смотрел на меня таким взглядом, к которому я уже привык и который говорил: как легко говорить! Художники, скульпторы, придавленные громадой технических трудностей, сосредоточенные на своей борьбе за совершенство рисунка, цвета, совершенно не стремятся вырваться из своего цеха, они не ценят того, что новый подход позволяет разрубить не один из тех узлов, что невозможно развязать. В то время как я требую от них быть людьми, которые пишат картины, они хотят быть всего лишь и только художниками. И все же я верю, что в нас сегодняшних найдется место для более самостоятельной и творческой мысли об искусстве. Мы испытали на себе одно за другим влияние двух концепций, одна из которых — аристократическая, заставляющая воспринимающего восхищаться чем-то таким, чего воспринимающий не может ни почувствовать, ни понять, а вторая — пролетарская, заставляющая творца фабриковать нечто такое, что он презирает, что ниже его и что годится только простачкам и ничтожествам. Противоборство этих враждебных школ происходит на нашем теле, и они с такою силой уничтожают друг друга, что в нас образовался вакуум, — выберемся ли мы когда-нибудь из этой бани чистыми и способными к собственному и самостоятельному творческому акту?

Не теряйте драгоценного времени на гонку за Европой — вы никогда ее не догоните. Не пытайтесь стать польскими Матиссами — от наших браков не родится Брак. Вам бы лучше ударить по этому европейскому искусству, стать теми, кто срывает маски; вместо того чтобы тянуться к чужой зрелости, попытайтесь лучше выявить незрелость Европы. Постарайтесь так организовать ваше истинное ощущение, чтобы оно в этом мире воплотилось в объективное бытие, отыщите такую теорию, которая соответствовала бы вашей практике, создайте такую картину мира, человека, культуры, которая находилась бы с вами в согласии, а когда вы напишете эту картину, тогда вам нетрудно будет написать и другие.

Воскресенье

Для себя я не желаю, не жажду войны с католицизмом; я искренне ишу взаимопонимания. Причем вне зависимости от политической конъюнктуры. Много воды утекло с того времени, когда Бой напал на «черную оккупацию»¹⁴. Я никогда не был сторонником слишком плоского лаицизма, а война и послевоенное время мало изменили меня в этом отношении, они скорее утвердили меня в желании видеть мир более гибким, с более глубокой перспективой.

Если я могу жить вместе с католицизмом, то только потому, что меня меньше и меньше трогают сами идеи и главный упор я делаю на отношении человека к идее. Идея есть и всегда будет прикрытием, за которым творятся другие, более важные, дела. Идея — это повод. Идея — это вспомогательный инструмент. То мышление, которое в отрыве от человеческой реальности является чем-то величественным и великолепным, растворенное в массе страстных и несовершенных существ, превращается в говорильню. Меня утомили эти глупые дискуссии. Этот контрданс аргументации. Высокомерное умствование интеллигентов. Пустые формулы философии. Наши разговоры были бы прекрасными, полными логики, дисциплины, эрудиции, метода, точности, основательности, благородства, новаторства, если бы они не происходили двадцатью этажами выше нас. Был я недавно у одного интеллектуала на завтраке. Никто бы не догадался, слушая дефиниции, подкрепленные столькими цитатами, что это — абсолютно тупой недоумок, разряжающийся в высоких сферах.

Эта усталость свойственна не только мне. Она все больше отвращает от всяческого обмена мнениями. Я уже почти не вслушиваюсь в содержание слов, а только в то, *как* их произносят; я требую от человека лишь одного: чтобы он не дал оглупить себя своими собственными умностями, чтобы его мировоззрение не лишило его природного ума, чтобы его доктрина не лишила его человечности, чтобы его система не ожесточила его, не механизировала, чтобы его философия не сделала его тупым. Я живу в мире, который до сих пор кормится системами, идеями, доктринами, но симптомы несварения становятся все более и более явными: у пациента уже началась икота.

Отвращение, которое я испытываю к идее как таковой, позволяет мне найти *modus vivendi** с людьми, исповедующими некую идею. Вопрос, задаваемый мною католикам, состоит не в том, в какого Бога они верят, а в том, какими людьми они хотят быть. Задавая его, я исхожу из того, что человек недостаточно развит. В моем понимании, люди сбились в группу, подчинившуюся определенному мифу, чтобы взаимно соиздаться. Сам миф для меня имеет второстепенное значение, важнее то, какой человек рождается под его влиянием. Но и здесь мои требования стали менее высокими, чем были раньше, в эпоху триумфа разума. Сегодня я смотрю на католиков так, как будто смотрю на самого себя, и в этом зеркале я вижу те изменения, которые произошли во мне под воздействием суровых событий последних лет. Требую ли я от человечества, чтобы оно было прогрессивным, боролось с суевериями, чтобы оно несло знамя просвещения и культуры, заботилось о развитии искусства и науки? Разумеется, да... но прежде всего я хотел бы, чтобы тот, другой, человек не укусил меня, не оплевал и не замучил. В чем-то я солидарен с католицизмом. Меня соединяет с ним его глубокое ощущение ада, заключенного в нашей натуре, и его страх перед чрезмерной динамикой человека. Всматриваясь в католика, я вижу, что я в определенном смысле стал более осторожным. То, что в гордый век Ницше считалось отступничеством от дионисийского начала жизни, именно эта осмотрительная политика католицизма в отношении данных от природы сил стала для меня ближе с тех пор, как только достигшая своего максимального напряжения воля к жизни начала пожирать себя.

Церковь стала мне близка своим недоверием к человеку: моя неприязнь к форме, стремление вырваться из ее очертаний, высказывание «это еще не я», сопровождающее каждую мою мысль и каждое чувство, — все совпадает с направленностью ее доктрины. Церковь боится человека — и я боюсь человека. Церковь не верит человеку — и я не верю. Противопоставляя преходящее вечности, землю — Небу, Церковь пытается обеспечить человеку именно ту дистанцию до его природы, которая необходима и мне. Но нигде это родство не обозначено так четко, как в нашем подходе к Прекрасному. И я и она — Церковь — опасаемся прекрасного в этой юдоли слез, стремимся ослабить его напряжение, пытаемся защититься от чрезмерного очарования. Решающим для меня является то, что и она и я стремимся раздвоить человека, она — на божественное и на человеческое начала, я — на жизнь и сознание. После перио-

* Здесь: способ сосуществования (лат.).

да, когда искусство, философия, политика искали целостного, монолитного, конкретного человека, человека от сих до сих, растет потребность в человеке неуловимом, представляющем собой игру противоречий, систему бесконечной компенсации, фонтан, бьющий антиномиями. А тот, кто назовет это эскапизмом, — просто неумный.

Мы, несмотря ни на что, созреваем где-то на самом дне. Если католицизм и нанес, в моем представлении, большой вред польскому развитию, то потому, что он измельчал в нас до размеров слишком легкой и слишком безоблачной философии, находящейся в услужении у жизни и ее непосредственных потребностей. Литературе сегодня нетрудно найти общий язык с глубоким, с трагическим католицизмом, поскольку в нем заключено то эмоциональное содержание, которое растет в нас, когда мы глядим на распад мира. Назад! Назад! Назад! И вот когда мы поймем, что забрели слишком далеко, когда захотим уйти от себя, гениальный Христос подаст нам руку, ибо эта душа, как никакая другая, познала секрет возвращения назад. Учение, развалившее римскую империю, — наш союзник в борьбе за разрушение всех слишком высоких зданий, которые мы сегодня строим, за достижение обнаженности и простоты, простой, элементарной добродетели.

Тот интеллектуальный кризис, который мы сейчас переживаем, следует отнести, может быть, не столько на счет неверия в силу разума, сколько на счет того, что его потенциал столь незначителен. Мы с удивлением обнаружили, что нас окружают миллионы и миллионы темных умов, похищающих у нас наши истины для того, чтобы порочить их, принижать, переделывать в инструменты своих страстей; при этом мы обнаружили, что количество этих людей решает гораздо больше, чем качество истин. Отсюда в нас потребность языка настолько простого и основательного, чтобы он мог стать местом встречи философа с невеждой. И отсюда наше восхищение христианством, этой мудростью для всех умов, песней для всех голосов — от самых низких до самых высоких, мудростью, которая не может превратиться в глупость ни на одном из уровней сознания. Но если бы мне кто сказал, что, несмотря на это, не может быть настоящего взаимопонимания между духовно свободным человеком и догматиком, я возражу: «Приглядитесь к католикам. Они тоже существуют во времени и подвержены его воздействию. Незаметно и медленно меняется отношение католика к вере. Во скольких из них вы можете прочесть то же самое, что прочитал я в письме, о котором речь была вначале¹⁵: „Надо верить в то, что надо верить. Надо иметь веру в веру“».

Отец этой дамы наверняка верил по-простому, без предварительных процедур. А вот она для того, чтобы проникнуться верой, должна сначала «хотеть верить», вера стала в ней усилием. Значит, если этой католичке Бог перестает обьявляться и если она вынуждена создавать его для себя, то разве мы, в таком случае, не падаем с неба на землю и разве эта воля веры не является человеческой, слишком человеческой? Вот так появившаяся в нас вера начинает вместе со всеми человеческими идеями марш к своим истокам. А стало быть, и с той стороны не столько истина мешает взаимопониманию, сколько воля, стремление навязать себе определенный канон, чтобы стать кем-то определенным, чтобы стать кем-то.

Делаю вывод для себя: надо этот факт иметь в виду, никогда не выпускать его из поля зрения, искать ту точку, в которой божественное сходится с человеческим, поскольку от этого зависит все будущее моего мышления. Никогда не забывать, что современные веры даже в самых бурных своих проявлениях — это уже не вера в старинном значении этого слова. Тот, кто хочет верить, очень сильно отличается от того, кто верит. Акцент, сделанный современностью на созидание веры, как раз свидетельствует о том, что готовой веры не хватает. Вне зависимости от того, какие у кого кредо, мы все должны сменить курс с мира откровения, мира готового, на мир созидающийся — если этого не произойдет, исчезнет последняя возможность прийти к взаимопониманию.

Суббота

Мое отношение к Польше берет начало в моем отношении к форме: я хочу вернуться от Польши точно так же, как я хочу вернуться от формы, я

стремлюсь взлететь как над Польшей, так и над стилем — и здесь и там одна и та же задача.

Иногда я чувствую себя Моисеем. Забавна, ей-богу, в моем характере эта склонность к преувеличениям в том, что касается меня. В мечтах я пыжусь, надуваюсь как только могу. Почему же, спросите вы, я ощущаю себя Моисеем? Отвечаю: сто лет тому назад один литовский поэт¹⁶ отлил форму для польского духа, а сегодня я, как Моисей, вывожу поляков из рабства этой формы, увожу поляка от самого себя...

До слез смеялся я моей мании величия! Но в теоретическом плане эта антиномия не такая уж необоснованная. Интересно, сколько людей из нашей сегодняшней так называемой интеллигенции в состоянии понять смысл данного процесса, состоящего в том, что какой-то там поляк, именно потому что он слишком сильно, слишком рьяно был поляком, во что бы то ни стало пожелал освободиться от поляка; а также в том, что как раз среди нас, из-за существующего в нас сильного национального самозабвения, должно было возникнуть совершенно противоположное чувство, абсолютно противоположная идея. Хочу спросить: сколько из этих интеллигентов смогли бы понять, какие безмерные перспективы создает перед нами такая революция, при условии, что она найдет людей довольно основательных и немелочных, чтобы довести ее до конечного воплощения? Зато какое грядет обновление! Какой приток творческой энергии и какой динамизм свободы, опирающейся на обновленное отношение поляка к себе! Ах, как иногда я мечтаю найти сторонников, которые раздули бы меня до размеров события нашей истории, и понимаю, что такое вполне возможно, поскольку, по моему разумению, значение произведения зависит как от того, кто его пишет, так и от того, кто его читает. Есть столько книг, которые могли бы взречь трубами иерихонскими, если бы люди подняли их и приложили к устам своим... Спи, моя труба, брошенная на свалку не востребуемых польских возможностей.

Свалка. Дело в том, что я беру начало на вашей свалке. Во мне говорит то, что вы в течение веков выбрасывали как мусор. Если моя форма является пародией формы, то и дух мой является пародией духа, а моя личность — пародией личности. Разве дело обстоит не так, что форму нельзя ослабить противопоставлением ей другой формы, но можно — ослаблением самого отношения к форме? Совсем не случайно, что в тот момент, когда позарез требуется герой, ни с того ни с сего появляется шут... все понимающий и поэтому — серьезный. Слишком долго вы были слишком дословными и слишком наивными в вашем состязании с судьбой. Вы забыли, что человек не только является собой, но и прикидывается собой. Вы выбросили на свалку все то, что в вас было театром и актерством, и попытались об этом забыть; а сегодня вы смотрите в окно и видите, что на свалке выросло дерево, представляющее собой пародию на дерево.

Допустив, что я родился (что не факт), я родился для того, чтобы разоблачить вашу игру. Мои книги должны вам сказать не «будь тем, кто ты есть», а «ты делаешь вид, что ты таков, какой ты есть». Я хотел бы, чтобы в вас стало плодотворным как раз то, что вы всегда считали абсолютно бесплодным и даже постыдным. Если вы так ненавидите актерство, то только потому, что оно сидит в вас; но для меня актерство становится ключом к жизни и действительности. Если вам претит незрелость, то потому, что она в вас, но для меня польская незрелость определяет все мое отношение к культуре. Моими устами говорит ваша молодость, ваша жажда игры, ваша ускользающая гибкость и неопределенность — вы ненавидите как раз то, что выталкиваете из себя, — во мне освобождается скрытый поляк, ваше *alter ego*, оборотная сторона вашей медали, невидимая до сих пор часть вашей луны. Ах, как бы мне хотелось, чтобы вы стали актерами, понимающими, что идет игра!

Но в этот момент я думаю о массе народа, о тысячах и тысячах простых людей. Зачем им все это? Что поделаешь — в той темноте, в которой я оказался, приходится двигаться вслепую. Я пишу все это в качестве предложения, чтобы посмотреть, какой получится эффект... и если эффект будет положительным, я пойду дальше.

Среда

Мое самомнение, похоже, становится серьезной болезнью. Я начинаю опасаться, что мне поделом достанется от фельетонистов. Но что поделаешь с той спесью, которая охватила меня, не к врачу же идти. (Я написал это, чтобы подстраховаться, а подстраховавшись, обеспечить себе большую свободу действий.)

Кроме того — понимаю ли я себя? Определяя себя, я не только грешу против собственной философии, но и прежде всего — против моей лирической стихии. Некто весьма проникательный предостерегает меня в письме: «Вы уж не комментируйте себя! Только пишите. Как жаль, что Вы поддаетесь на провокации и пишете предисловия к своим произведениям и даже комментарию!»

И тем не менее я обязан толковать себя настолько, так далеко, насколько я в состоянии это делать. Во мне теплится убеждение, что тот писатель, который не может писать о себе, неполон.

Пятница

Гедройц¹⁷ хотел, чтобы я ответил Чиорану¹⁸ (румынскому писателю) на его статью «Плюсы и минусы изгнания». В этом ответе заключается мой взгляд на роль литературы в изгнании.

Хотя от слов Чиорана несет подвальный холодом и могильным смрадом, его слова — слишком мелочны. О ком, собственно, речь? Кого следует понимать под определением «писатель в изгнании»? Адам Мицкевич писал книги — и г-н Х. тоже пишет книги, причем вполне приличные и пользующиеся спросом у читающей публики, оба они — «писатели», притом, заметьте, в изгнании... но на этом и кончается сходство между ними.

Рембо? Норвид? Кафка? Словацкий?.. (разные бывают изгнания). Я думаю, что ни один из них не испугался бы слишком этой разновидности ада. Печально не иметь читателей — очень неприятно не иметь возможности издавать свои произведения — очень несладко пребывать в неизвестности — чрезвычайно прискорбно ощущать себя лишенным помощи того механизма, который выталкивает наверх, пропагандирует и организует славу... но искусство начинено элементами одиночества и самодостаточности, оно удовлетворяется самим собой и находит свое оправдание в себе самом. Отчизна? Но ведь каждый из выдающихся в результате своей исключительности был иностранцем в собственном дому. Читатели? Они ведь никогда не писали «для» читателей, а всегда «наперекор» читателям. Успех, резонанс, почитание, известность — но ведь они стали известными как раз потому, что больше, чем свой успех, ценили самих себя.

И то, что в каждом, даже меньшего калибра, литераторе есть от Кафки или от Конрада или от Мицкевича, то, что является истинным талантом и истинной высотой или истинной зрелостью, — никакими силами не запихнуть в чиорановский подвал. Хотелось бы также напомнить Чиорану, что не только эмигрантское, но и всякое вообще искусство находится в самой тесной связи с разложением, рождается из упадка, что оно является превращением болезни в здоровье. Что вообще всякое искусство ходит рядом с осмеянием, поражением, унижением. Разве существует такой художник, который бы не был, как говорит Чиоран, «существом амбициозным, агрессивным в своем падении, озлобленным покорителем»? Видал ли когда-нибудь Чиоран художника, писателя, который бы не был, не должен был быть мегаломаном? Искусство, как когда-то справедливо заметил Бой, — это кладбище: на тысячу тех, кто не смог осуществиться, состояться в сфере болезненного несовершенства, всего одному или двум удается «осуществиться» по-настоящему. Эта грязь, эта желчь неудовлетворенных амбиций, это метание в пустоте, эта катастрофа — все это имеет мало общего с эмиграцией, но много с искусством, является характеристикой каждого литературного кафе, и воистину не все ли равно, в каком из уголков света мучается писатель, который не вполне писатель, чтобы стать настоящим писателем.

А может, оно и к лучшему, что они остались без поддержки, без аплодисментов, без тех мелких нежностей, которыми их в старые добрые времена

осыпало государство и общество во имя «поддержки национального творчества». Привычная игра в величие и незаурядность — сочувственный шум, создаваемый благодушно улыбающейся прессой и неуравновешенной, лишенной представления о соразмерности явлений критикой, — этот процесс искусственного раздувания кандидатов на звание «национального писателя»... разве все это не отдавало пошлостью? Результат? Те народы, которых хватило бы в лучшем случае на нескольких подлинных артистов, разводили в этом питомнике целые отряды знаменитостей, а в миленьком семейном тепле, представляющем из себя смесь тетушкиного благодушия и циничного пренебрежения ценностями, таяла любая иерархия. Что же удивляться, что тепличные растения, возвращенные в лоне народа, вянут вне этого лона? Чиоран рассказывает, как гибнет писатель, оторванный от своего общества. А может, писателя такого никогда не было на самом деле, а был лишь эмбрион писателя.

Еще менее реальным представляется, что — с теоретической точки зрения и не принимая во внимание материальные трудности — это погружение в мир, каким является эмиграция, может стать мощным стимулом для литературы.

Вот элита страны выброшена за границу. Она может думать, чувствовать, писать отсюда, извне. Она приобретает дистанцию. Она получает неслыханную духовную свободу. Рвутся все узы. Можно в еще большей степени быть собой. Во всеобщей сумятице расслабляются существовавшие до сих пор формы, можно смелее идти в будущее.

Исключительный шанс! Минута, о которой можно только мечтать! Казалось бы, что более сильные индивидуальности, более богатые личности должны зарычать львами. Чего же они не рычат? Почему голос этих людей ослаб за границей?

Не рычат, потому... потому что прежде всего они слишком свободны. Искусство требует стиля, порядка, дисциплины. Чиоран справедливо подчеркивает опасность слишком сильного отрыва, слишком большой свободы. Все то, с чем они были связаны и что их связало — отчизна, идеология, политика, группа, программа, вера, среда, — все утонул водоворот истории, а на поверхности осталась плавать пустая банка... Выброшенные из своего мирка, они очутились перед миром, миром безмерным и потому — им неподвластным. Только универсальная культура может быть на высоте мировых требований и никогда — местные культуры, никогда — тот, кто живет только фрагментами экзистенции. Потеря родины не ввергнет в растерянность только того, кто сможет пойти глубже, выйти за пределы родины, для кого родина — это только одно из проявлений вечной и универсальной жизни. Потеря родины не нарушит внутреннего порядка только у тех, родиной для кого является весь мир. Современная история оказалась слишком насильственной и безграничной для литературы слишком национальных и слишком партикулярных.

Вот этот избыток свободы и стесняет писателя сильнее всего. Почувствовав опасность, исходящую от громадности мира и неизбежности его проблем, они начинают судорожно цепляться за прошлое, они цепляются за самих себя, стремятся остаться такими, какими были, боятся даже самой малой перемены в себе из опасения, что тогда все разлетится; и наконец, они судорожно хватаются за единственную оставшуюся в них надежду — надежду на воссоединение с родиной. Но воссоединение с родиной не может наступить без борьбы, борьба же требует сил, а коллективная сила может возникнуть только на пути отказа от собственного «я». Для того чтобы ее создать, писатель должен навязать себе и соотечественникам слепую веру и массу прочего слепого, а роскошь объективного и свободного мышления становится самым тяжким из грехов. Вот и получается: писателем без отчизны он быть не умеет, а для того, чтобы воссоединиться с отчизной, он должен перестать быть серьезным писателем.

Возможно, существует и другая причина этого духовного паралича, по крайней мере в тех случаях, когда речь идет не об интеллектуалах, а о людях искусства. Я имею в виду самую концепцию искусства и художника, в том виде, в каком она сформировалась на западе Европы. Мне кажется, что наши современные взгляды в том, что касается сущности искусства, роли художника, отношения художника к обществу, не отражают реального положения вещей. Та философия искусства, которая возникла у элиты Запада, в четко структу-

рированных обществах, где ничто не нарушает стройности условного языка, мало может пригодиться человеку, выброшенному за рамки условностей. А концепция искусства, которую пролетарская бюрократия выковывает по ту сторону занавеса, еще более элитарна... и более наивна. Но художник в эмиграции, вынужденный существовать не только вне народа, но и вне элиты, еще чаще и ближе сталкивается с низшей духовной и интеллектуальной сферой, ничто не может изолировать его от этих контактов, он своими силами должен выдержать напор жизни грубой и незрелой. Он как обанкротившийся граф, увидевший, что салонные манеры потеряли ценность, когда не стало салона. Одних это толкает в «демократическую плоскость», в добродушную общительность или вульгарный «реализм»... других же обрекает на изоляцию. Нам надо найти какой-нибудь способ, чтобы снова почувствовать себя аристократией (в самом глубоком значении этого слова).

Если разговор идет о разложении и декадансе эмигрантских литератур, то меня больше убедило бы такое понимание вопроса... поскольку здесь мы на мгновение вырываемся из заколдованного круга мелочей и касаемся тех трудностей, которые в состоянии разложить настоящих писателей. Я вовсе не отрицаю, что их преодоление требует большой основательности и смелости духа. Нелегко быть писателем в эмиграции, поскольку это означает практически полное одиночество. Что же удивительного в том, что, испуганные собственной слабостью и громадностью задач, мы прячем голову в песок и, пародируя свое прошлое, спасаемся бегством из мира в мирок?...

И все-таки раньше или позже, но наша мысль проторит себе дорогу, выводящую из застоя. В данный момент речь идет не непосредственно о творчестве, а о завоевании возможности творить. Мы должны создать те порции свободы, смелости и беспощадности, я даже сказал бы — безответственности, без которых творчество невозможно. Просто нам надо освоиться с новым измерением нашего существования. Нам придется хладнокровно и бесцеремонно отнестись к самым дорогим для нас чувствам, чтобы прийти к новым ценностям. В тот момент, когда мы приступим к построению мира — из того места, в котором мы находимся, и теми средствами, которыми мы располагаем, — громада уменьшится, безмерность обретет формы и начнут спадать бурные воды хаоса.

Четверг

Мне прислали из Парижа пачку важных французских книг, справедливо полагая, что они мне неизвестны и что мне надо их прочитать. Я обречен читать только те из книг, которые попадают мне в руки, потому что на покупку у меня не хватит денег. Зубами скрежещу, когда вижу промышленников и торговцев, обставляющих свои кабинеты книгами как украшением, в то время как мне недоступны произведения, столь необходимые для совсем других целей. Ведь вы требуете, чтобы я был начитан и находился в курсе, не так ли? Мне когда-то говорил Ивашкевич¹⁹, что художник не должен знать слишком много. Это правильно, даже очень, но художник не может позволить, чтобы его голос опаздывал; а беспредельный идиотизм строя, который захлопывает перед ним двери театров, концертных залов, книжных магазинов, двери, открытые настезь перед снобистскими деньгами, когда-нибудь отомстит и вам. Эта система, спихивающая интеллектuala на обочину, отбирающая у интеллигенции возможность развития, в будущем получит надлежашую оценку, и наши внуки назовут вас глупцами (ах, если бы вас это волновало!).

Только теперь, благодаря щедрости друзей из Парижа, я смог познакомиться с работой Камю «Человек бунтующий» — через год после издания книги. Читаю ее «под партией», как некогда в школе. Камю справедливо мог бы возразить против такого чтения, но несмотря на это его текст тут же стал осью моих раздумий. «Ужас»? Да, «ужас» (по правде говоря, я испытываю чувства не иначе как в кавычках). Коль скоро речь зашла об ужасе, то скажу, что меня меньше ужасает та драма, о которой говорится в книге, чем та воля создания драмы, которая ощущается в самом авторе. Гегель, Шопенгауэр, Ницше, о которых мы ежеминутно должны думать во время этого чтения, были не менее драматичны, но трагическая мысль человечества в те времена еще име-

ла в себе блаженство открытия, столь явное у Шопенгауэра, столь осязаемое и детское у Ницше. А вот Камю — холоден.

Ад этой книги сильно берedit душу потому, что это холодный ад, а еще сильнее потому, что этот ад создан преднамеренно. Казалось бы, нет ничего более несправедливого, чем эти слова, поскольку трудно найти произведение более человеческое и благородное по замыслу, сильнее переживающее за человека. Но смертельный холод вызван как раз тем, что Камю запрещает себе даже то удовольствие, какое дает понимание мира, он хочет дать вам только боль, он не позволяет себе проникнуться чувством наслаждения врача, радующегося правильно поставленному диагнозу, он хочет быть аскетичным, отстраненным. Его жажда трагедии коренится в том, что сегодня для нас трагедия и величие, трагедия и глубина, трагедия и правда стали синонимами. А это означает, что мы можем быть великими, глубокими, правдивыми только в трагедии.

Возможно, в этом одна из главных черт нашего мышления на протяжении последнего столетия. С одной стороны, мы созрели настолько, что больше не можем радоваться нашим истинам. С другой — мы сориентированы на трагичность и упорно ищем ее, ищем как клад. Наверное, не старый и постоянный в своем несчастье мир стал более трагичным, а человек. И здесь действительно можно беспокоиться: если мы не перестанем, свесившись над пропастью, вызывать демона, он придет и заполнит все уголки нашего бытия! Мир будет таким, каким мы захотим. Если Бог существует и если Он к тому же милосерден, то пусть Он сделает так, чтобы у нас «не было плохих снов», поскольку «это и нехорошо, и ничего хорошего из этого выйти не может».

Что же мне сказать о морали «Человека бунтующего»?

Это то произведение, которое я всей душой хотел бы принять. Но в tomto и дело, что для меня совесть, индивидуальная совесть, не обладает той силой, какой она наделена у него, когда речь заходит о спасении мира. Разве мы на каждом шагу не видим, что совести практически нечего сказать? Разве человек убивает, мучает, потому что пришел к выводу, что у него есть право? Он убивает, потому что убивают другие. Он мучает, потому что мучают другие. Самое жуткое деяние становится легким, когда путь к нему проторен; в концлагерях, например, тропинка смерти была так утоптана, что добропорядочный мещанин, не способный мухи обидеть, легко умерщвлял людей. Что нас сегодня обескураживает, так это не та или иная проблематика, а растворение, если можно так сказать, проблематики в людской массе, ее уничтожение под воздействием людей.

Я убиваю, потому что ты убиваешь. И ты, и он, и вы все мучаете, а потому и я мучаю. Я убил его, потому что если бы я его не убил, то вы убили бы меня. Вот такие существуют спряжения и склонения в настоящем времени. А из этого следует, что не в совести индивида находится пружина действия, а в том отношении, которое устанавливается между ним и другими людьми. Мы не потому творим зло, что уничтожили в себе Бога, а потому, что Бог и даже сатана становятся не важны, когда санкцию на деяние дает другой человек. Сколько ни листал я книгу Камю, так и не нашел в ней той простой истины, что грех обратно пропорционален количеству людей, которые предаются ему, и это обесценивание греха и совести не находит отражения в произведении, которое стремится сделать их рельефнее, крупнее. Вслед за другими Камю вырывает человека из людской массы, более того — из общения с другим человеком, противопоставляя единичную душу экзистенции; все равно что рыбу лишить воды.

Его мысль слишком индивидуалистична, слишком абстрактна. Уже давно эта порода моралистов видится мне как бы подвешенной в пустоте. Если вы хотите, чтобы я не убивал, не преследовал, не пытайтесь мне объяснять, что бунт является «признанием ценности», попробуйте лучше разрядить сеть напрядений, которые возникли между мной и другими, покажите, как не уступить ей. Совесть? Да, у меня есть совесть, но, как и все во мне, это скорее полусовесть и недосовесть. Я полуслепой. Я легкомысленный. Я ни то ни се. Камю, этот хищный знаток низшего мира, один из тех, кто лучше всех сумел показать «зазор», царящий в нашей неочеловеченности, и тот ищет спасения в сублимированных формулах.

Почему, когда я читаю моралистов, у меня всегда возникает впечатление, что у них пропадает человек? Мораль мне представляется бессильной, абстрактной, теоретичной, как будто наше истинное существование реализуется где-то вне ее. Я спрашиваю: сам Камю говорит со мною в этой книге или некая школа моральной мысли, возникшая на французской земле коллективными усилиями всевозможных Паскалей? И они этот усовершенствованный и отточенный упорной работой стольких мыслителей инструмент вот так непосредственно навязывают мне и другим людям? Разве это не специализированная мораль? Слишком развитая? Я бы даже сказал, чересчур глубокая? Чрезмерная? Перерастающая себя? Мораль, являющаяся не только произведением людей, обладающих особым чувством глубины, но и взаимно друг друга в ней совершенствующих. Их мысль только на первый взгляд индивидуалистична, потому что предмет ее — индивид, однако она не является созданием индивида.

Ежесекундно страсть Камю разрушает этот скелет, и лишь в эти моменты я могу вздохнуть. Не меньше меня мучает та взвинченная совесть, которую он мне подсовывает, совесть высшая и космическая. Как оживить мораль, избавиться от этого аспекта теории, как сделать, чтобы она попадала в меня, в человека? Напрасно Камю хочет углубить мою совесть. Моя проблема — не в совершенствовании моей совести, а в том, насколько моя совесть является моей. Потому что та совесть, которой я сегодня располагаю, является продуктом культуры, а культура — это то, что, по сути, из людей и возникло, но с человеком не совпадает. И здесь я хочу сказать: применяя ко мне этот продукт коллективного творчества, не трактуйте меня так, как будто я некая самосущая душа в космосе — путь ко мне идет через других людей. Если вы хотите убедительно сказать мне что-то, никогда не говорите мне этого прямо.

Одиночество, бьющее из Камю, мучает меня не меньше сухого марксистского коллективизма. И чем истиннее ценности этой книги, тем более оно меня мучает. Восхищаюсь, соглашаюсь, подписываюсь под ними, поддерживаю — и вместе с тем отношусь к своему собственному одобрению недоверчиво.

В этом направлении иду, и не потому, что хотел, а потому, что обязан.

Пятница

Сходил я в модный магазин Остенде и купил пару желтых ботинок, которые оказались слишком малы, жали. Тогда я вернулся в магазин и обменял эту пару на новую, того же самого фасона и того же самого размера и вообще — во всех отношениях идентичную. И эта пара тоже жала.

Надо же, иногда сам себе удивляюсь.

Четверг

Он, Милош, как и все они (литераторы определенной школы, воспитанные на «социальной» проблематике), переживает такие боренья, муки, сомнения, которые были абсолютно неизвестны писателям прошлого.

Рабле понятия не имел, «историчный» он или «надысторичный». Он не собирался ни заниматься «абсолютным писательством», ни поклоняться «чистому искусству», ни — наоборот — выражать свою эпоху, он вообще ничего не намеревался, потому что писал так же, как ребенок справляет свою нужду под кустиком, он облегчался. Он бил в то, что его бесило, боролся с тем, что стояло у него на пути, и писал ради наслаждения — своего и других, — на бумагу ложилось все, что слетало с пера.

Тем не менее Рабле сумел отразить свою эпоху и почувствовать эпоху надвигающуюся, а кроме того — он создал непреходящее и чистейшее искусство; и произошло это все потому, что, выражая себя с максимальной свободой, он выражал вечную сущность своей человечности, себя как сына своего времени и себя как зарю времени грядущего.

Но сегодня Милош (и не он один) приставляет палец ко лбу и размышляет: как и о чем я должен писать? Где мое место? Каковы мои обязанности? Должен ли я углубиться в историю? А может, лучше поискать «другой берег»? Кем я должен быть? Что я должен делать? Покойный Жеромский²⁰ в таких случаях имел обыкновение отвечать: пиши, что тебе диктует сердце, — и этот совет для меня самый убедительный.

Когда же, для того чтобы по-новому увидеть конкретный мир, мы положим конец тирании жупелов абстракции? Мощь этих философизированных антиномий столь велика, что Милош совершенно забывает, с кем ведет разговор, и подбрасывает мне роль защитника «чистого искусства» — роль, можно сказать, эстета. Что же у меня с этим общего? Если я выступаю против схем, ставших проклятием для слишком злободневной литературы, то вовсе не для того, чтобы навязывать другую схему. Я не высказывался ни в пользу вечного, ни в пользу чистого искусства, я всего лишь говорю Милошу: надо следить, чтобы жизнь не превратилась у нас под пером в политику, или в философию, или в эстетику. Я не требую ни прикладного, ни чистого искусства — я требую свободы, требую «естественного» творчества, такого, которое является непреднамеренным осуществлением человека.

Он же говорит: «Боюсь... боюсь, что, отдалившись от Истории (читай: от трюизмов злобы дня), я останусь в одиночестве». На что я ему отвечаю: «Этот страх неприличен, и что хуже — это мнимый страх. Неприличный, потому что он воистину представляет собой отказ не только от исключительности, но и от собственной истины, отказ от, наверное, единственного героизма, составляющего гордость, силу, жизненность литературы. Тот, кто боится людского презрения и одиночества среди людей, пусть молчит. Но страх этот к тому же мнимый, ибо та популярность, которая приходит на службе читателю и течениям эпохи, означает лишь большие тиражи и ничего, ничего больше; и только тот, кто сумел выделиться из массы людей и начать существовать как отдельный человек, а лишь потом завоевать себе двух, трех, десять сторонников, братьев, только он уходит от одиночества в разрешенных искусству границах».

Он говорит (продолжая оставаться во власти своего видения, которое так в нем и борется с самыми ценными свойствами его личности): мы, поляки, можем сегодня свысока и смело говорить с Западом потому, что (здесь я цитирую дословно) «наша страна является ареалом самых важных перемен, какие только могут произойти, и что в этих переменях слышна „песнь грядущего“». На что я ответил советом, чтобы он эту мысль приложил к Болгарии или к Китаю, которые тоже находятся в историческом авангарде. Нет, дорогой Милош, никакая история не заменит тебе личного сознания, зрелости, глубины, ничто не отпустит тебя от тебя самого. Если ты в личном плане важен, то, живи ты хоть в самой консервативной точке земного шара, твое свидетельство о жизни будет важным, но никакой исторический пресс не выдавит важных слов из людей незрелых.

Так, все становится трудным, сомнительным, темным, усложненным под воздействием хитрой софистики нашего времени; но приобретет кристальную ясность, когда мы поймем, что мы сегодня говорим и пишем не каким-то новым и особенным способом, а точно так же, как это делалось с сотворения мира. И никакие концепции не заменят примера великих мастеров, никакая философия не заменит литературе ее генеалогического древа, изобилующего гордыми именами. Выбора нет: либо писать так, как это делали Рабле, По, Гейне, Расин или Гоголь, — либо не писать совсем. Полученное нами наследие этой великой породы — вот тот единственный закон, который правит нами. Но здесь я полемизирую не с Милошем, этим породистым конем, а с хомутом породистого коня да с тем возом угрызений совести, в который впрягло его прошлое.

Вторник

Речь, произнесенная перед публикой на банкете в гостеприимном доме г.г. Х., на исходе А. Д. 1953.

Когда подходят праздники, вы любите подлить слезу в клумбу воспоминаний, сентиментально вздыхая о покинутых родных местах. Не будьте смешными и слащавыми! Научитесь нести собственное предназначение. Перестаньте умиленно воспевать красоты Груйца, Пиотркова или Билгорая. Знайте, что наша родина — это не Груец и не Скерневице и даже не вся та страна, и пусть кровь прильет к вашим щекам румянцем силы от мысли, что родина — это вы сами! Что с того, что вас нет сейчас в Гродно, Кутно или в Едлиньске? Разве может человек пребывать где-то вне себя? Вы у себя, даже если вы находитесь

в Аргентине или в Канаде, потому что родина — это не место на карте, а живое существо человека.

А потому перестаньте пестовать в себе набожные иллюзии и искусственные сантименты. Нет, мы никогда не были счастливы в Польше. Тамошние сосны, березы и ивы — это, по сути, просто деревья, нагонявшие на вас необоримую зевоту, когда от нечего делать вы глядели в окно и видели их каждое утро. Неправда, что Груец — нечто большее, чем страшная провинциальная дыра, в которой некогда горе мыкала ваша серая экзистенция. Нет, это ложь: Рядом никогда не был поэмой, даже при восходе солнца! Тамошние цветы вовсе не чудесные и незабываемые, а нищета, грязь, болезни, скука и ложь — вот что окружало вас тогда, как воюющие в сумерках псы глухих польских деревень.

Прекратите, говорю я вам, хныкать. Не забывайте, что, пока вы жили в Польше, никто из вас Польшей не восхищался, потому что она была для вас повседневностью. Сегодня же вы больше не живете в Польше, зато Польша еще глубже пустила в вас корни — та Польша, которую следует определить как самую глубокую вашу человечность, выработанную трудом поколений. Знайте, что родина возникает везде, где взгляд юноши открывает свое предназначение в глазах девушки. Когда на ваших устах проявляется гнев или восхищение, когда кулак метит в подлость, когда слово мудреца или песнь Бетховена жжет вам душу, уводя ее в неземные сферы, тогда вне зависимости от того, на Аляске вы или на экваторе, рождается отчизна. Но на Саской площади в Варшаве, на краковском Рынке вы останетесь бездомными бродягами, приживальщиками без места жительства и безнадежно примитивными странствующими грошовыми поденщиками, если позволите тривиальности убить в вас прекрасное.

Прискорбно, что вы не столь благородны и преисполнены духа, чтобы открыть патетический смысл ваших скитаний.

Но не теряйте надежды. В этой борьбе за глубинный смысл жизни и ее красоту вы не одиноки. К счастью, с вами рядом польское искусство, которое сегодня стало чем-то более истинным и важным, чем лишённые власти бездомные министерства и конторы. Это искусство и научит вас глубине, его бич — суровый и добрый одновременно — упадет на вас со свистом сразу, как только вы начнете расклеиваться, становиться размазнями и плаксами. Оно, искусство, откроет вам глаза на яркую красоту современности, на величие вашей задачи, и слишком провинциальное чувство сменится чувством новым, достойным мира, достойным тех горизонтов, которые открываются сегодня перед вами. Оно вернет вам способность летать, вернет вам силу, чтобы потом о вас нельзя было сказать словами Шекспира:

Беда посредственности, если жизнь бросает
Ее меж двух сражающихся станов!

Четверг

Летит птица. Одновременно залаяла собака.

Вместо того чтобы сказать: «Птица летает, собака лает», — я умышленно сказал: «Собака летает, птица лает».

Что в этих предложениях сильнее — подлежащее или сказуемое? Вот в «собака летает» что больше не на месте — «собака» или «летает»? И еще: можно ли написать что-нибудь на основе такого извращенного сочетания понятий, на основе языкового распутства?

Суббота

Разговор с Каролем Свечевским²¹ о «Венчании» и одновременно письмо от S. с уведомлением, что в Штатах кто-то хочет поставить «Венчание», а еще письмо от Камю с вопросом, согласен ли я дать «Венчание» одному директору театра в Париже.

Что делать? «Венчанию» без театра — как рыбе без воды, потому что это не только пьеса, написанная для театра, но, по крайней мере в самой своей сути, — это самоосвобождающаяся театральность бытия. Однако я опасаясь, что никто, кроме меня, не сможет это срежиссировать и что постановка про-

валится, к великому моему стыду, погребя под собой на долгие годы сценическую карьеру произведения.

Самая большая трудность состоит в том, что «Венчание» не является художественной обработкой какой-то проблемы или ситуации (к чему нас приучила Франция), это — свободная разгрузка фантазии, которой, правда, придали определенное направление. Это вовсе не значит, что «Венчание» не доносит до нас некой истории; история есть: это драма современного человека, мир которого рухнул, который (во сне) увидел свой дом, превратившийся в кабак, и свою невесту, ставшую девкой. Пытаясь вернуть прошлое, человек этот объедает своего отца королем, а в невесте хочет видеть девственницу. Тщетно. Поскольку рухнул не только его мир, но и он сам и нет больше ни одного из прошлых чувств... Зато на руинах прошлого проступают черты нового мира, наполненного ужасными ловушками и непредсказуемой динамикой, мира, лишённого Бога, мира, рождающегося из людей в удивительных конвульсиях Формы. Упоенный всевластием своей освобожденной человечности, он провозглашает себя королем, богом, диктатором и хочет с помощью этой новой механики возродить в себе чистоту, любовь... да, он сам устроит свое венчание, навяжет его людям, заставит их ратифицировать это действие! Но та действительность, которая создается через форму, оборачивается против него и крушит его.

Это анекдот... Но им не исчерпывается содержание «Венчания», поскольку тот новый мир, который проявляется здесь, заранее не известен, даже автору, пьеса — всего лишь попытка художественного приближения к действительности, которую накрывает Будущее. Это сон об эпохе, выражающий муки нашей современности, но также и сон, опережающий эпоху, пытающийся угадать... на обочине действия спящий дух героя-художника хочет пробить темноту, это сонная борьба с демонами завтрашнего дня, это богослужение святого обряда нового и неизвестного Становления... Поэтому «Венчание» на сцене должно стать горой Синай, полной мистических явлений, тучей, беременной тысячей значений, стремительной работой фантазии и интуиции, «Гранд Гиньодем»²², изобилующим играми, загадочной *missa solennis** на переломе времен у подножия неведомого алтаря. Этот сон — просто сон, и он погружен во тьму, его можно освещать только молниями (прошу прощения, что выражаюсь так высокопарно, но в противном случае мне трудно было бы объяснить, как следует ставить «Венчание»).

Если вы так его поймете — то есть как разрядку души, беременной смутным предчувствием надвигающихся времен, как богослужение будущего, — тогда оно заиграет на сцене, но только не забывайте, что эта постановка должна быть сколь чувственной, столь же и метафизичной, то есть что все грозы и блеск стремительной формы, упоение маской, жизнь в игре ради самой игры должны сделать ее наслаждением. И наконец, не забудьте, что ее финальный трагизм состоит в ужасе человека, увидевшего, что он формирует себя таким образом, о котором он даже не подозревал, — в несоответствии между человеком и формой.

Меланхоличен смысл этих замечаний. В действительности же дело обстоит так, что я вообще не уверен, будет ли «Венчание» поставлено при моей жизни.

Понедельник

Можно ли мне давать в печать такие комментарии к собственным произведениям? Не превышение ли это полномочий? Не слишком ли скучно?

Скажи себе: люди мечтают тебя узнать. Они жаждут тебя. Они интересуются тобой. Посвящай их в свои дела, даже в те, до которых им и дела нет. Заставляй их интересоваться тем, что интересует тебя. И чем больше они будут знать о тебе, тем больше ты будешь им нужен.

«Я» не препятствует общению с людьми, «я» — это то, чего «они» хотят. Дело, однако, в том, чтобы «я» не перевозилось, как запрещенный, контрабандный товар. Чего не выносит «я»? Половинчатости, боязни, застенчивости.

* Торжественной месой (лат.).

Вторник

В чем я различаюсь с г-ном Гётелем²³?

Гётель говорит (в «Ведомостях») ²⁴, что поляки в изгнании живут половинчатой, неистинной жизнью и что для того, чтобы поляки начали жить по-настоящему, они должны вернуть себе Польшу. Что, на самом деле, время от времени нас охватывает усталость от мысли о бесконечной, многовековой, постоянной борьбе за Польшу, что дьявол эскапизма шепчет нам на ухо, подбрасывая те или иные попытки увильнуть от выполнения этой задачи, — но нет, не может быть для нас истинной жизни вне Польши, нет для нас иной судьбы, иного призвания, иной задачи, кроме этой капитальной — вернуть себе Польшу.

Прежде всего я спрошу: разве так очевидно и верно, что жизнь поляка в Польше была менее половинчатой и менее нереальной? Разве та жизнь не была также нищей, бедной и узкой — разве она не была вечным ожиданием жизни, которая «начинается завтра»? Вспомните лица в довоенном варшавском трамвае. Какие изможденные! Какие удрученные! На этих лицах вы читали всепроникающее ощущение жизни как врага.

Во-вторых, я спрашиваю: неужели правда, что жизнь поляка на чужбине должна быть лишена самого основного ее содержания? Чему тогда научил вас католический Костел? Что у вас бессмертная душа, независимая от географической широты, на которой вы находитесь. Что, где бы вы ни находились, вы обязаны заботиться о спасении — своем и ближнего.

Моя позиция полностью совпадает с позицией Костела, с той только разницей, что вместо того, чтобы говорить о душе в церковном понимании, я упомянул бы некоторые исходные ценности человека, такие, как ум, благородство, способность развиваться, свободу и искренность... Из слов г-на Гётеля следует, что к этим ценностям путь лежит только через Польшу, я же считаю, что к ним вообще нет путей, потому что каждый носит их в себе.

А теперь я подхожу к тому вопросу, который станет испытанием огнем, вопросу воистину демоническому: если бы вам сказали, что для того, чтобы остаться поляками, вы должны отказаться от части ваших человеческих ценностей, то есть что вы сможете быть поляками только при условии, что станете хуже как люди — менее способными, менее умными, менее благородными, — согласились бы вы тогда на такую жертву для поддержания Польши?

Те из вас, кого научили умирать, дадут положительный ответ. Но подавляющее большинство ответит, что такая дилемма вообще не может возникнуть, поскольку Польша является неперменным условием перечисленных добродетелей, а поляк без Польши не может состояться как совершенный, полный человек. Но такой ответ я назову поражением самого что ни на есть классического стиля. Это ответ труса, который боится действительности, ибо те ценности, о которых идет речь, имеют абсолютный характер и не могут ни от чего зависеть, а тот, кто говорит, что только Польша может обеспечить ему ум или благородство, заранее отказывается от собственного ума и собственно-го благородства.

Вижу, что я никогда не смогу договориться с г-ном Гётелем, поскольку для него главное Польша, а для меня — поляки. Гётель так отягощен Польшей, что даже достижения Конрада или Кюри-Склодовской он рассматривает лишь под углом их пропагандистского значения — как велик их вклад в дело популяризации Польши за границей. Гётель пренебрежительно оценивает роль «интеллектуалов», потому что они не очень могут пригодиться для польского дела. Поэтому у него и Конрад, и Кюри превратились в насекомых, кружащих вокруг одной свечи — Польши.

Что на это скажет г-н Гётель? Скажет, что я пораженец, слабак, мегаломан, интеллектуалист (псевдо), предатель, трус, эстет. Ничего другого Гётель сказать не сможет. Гётель должен сказать именно это (с самой чистой совестью).

Четверг

Язык. Дело не в том, чтобы не было языковых ошибок, а в том, чтобы ошибка не позорила. Ошибка в написании, даже грамматическая, даже орфографическая, может случиться у каждого, но только одни рядятся в тогу клас-

сика, и их ошибка, даже незначительная, сразу их лишает энергии. Зато писатель, который в способе выражения не старается быть слишком безупречным, может позволить себе массу промахов, и никто его за это не призывает к ответу. Писатель должен заботиться не только о языке, но — и прежде всего — о правильном отношении к языку. Правильном, то есть насколько возможно нескованном. Плох тот стилист, который позволяет хвататься за словечки. Плох тот, кто, подобно некоторым женщинам, закрепляет за собой славу безгрешного, — и тогда самый незначительный грешок становится для него скандалом.

Писатели, слишком увлекающиеся так называемой отточенностью стиля, пытающиеся эпатировать какой-то немислимой математикой языка, кокетничающие (школа Анатоля Франса) «мастерством», — это уже не про нас, к тому же сибаритство стало немодным. Современный стилист должен иметь чувство языка как чего-то бесконечного и подвижного, неподдающегося. Он сделает акцент скорее на свою борьбу с формой, чем на саму форму. Он отнесется к слову с недоверием, как к чему-то, что от него ускользает. Это ослабление связи писателя со словом позволяет ему смелее пользоваться словом.

Самое главное — это чтобы излишнее теоретизирование, слишком заумный подход к стилю не отняли бы у слова его практическую, жизненную ответственность. Во всяком случае, искусство осуществляется между живыми, конкретными людьми — то есть людьми несовершенными. Сегодня пруд пруди стилей, которые наводят скуку, утомляют, от которых скулы воротит, потому что они созданы в соответствии с интеллектуальным рецептом и являются творением необщительных или просто плохо воспитанных людей. Надо нацеливать слово на людей, а не на теорию, на людей, а не на искусство. Мой язык в этом дневнике слишком правильный, в художественных произведениях я чувствую себя свободнее.

Пятница

Хорошая польская литература, как современная, так и давнишняя, не слишком мне пригодилась и не так уж многому научила — и все потому, что она так никогда и не решилась взглянуть на конкретного, отдельно взятого человека.

Индивидуум если и появлялся на ее страницах, то делал это тревожно, слабо, не по-настоящему, всегда оставаясь не раскрытым до конца. Польская литература — это типичная литература-обольстительница, пытающаяся очаровать личность, подчинить ее массе, сманить на патриотизм, гражданственность, веру, служение... Это — литература-воспитательница, а стало быть — не вызывающая доверия.

Но вот что касается плохой польской литературы, то она была для меня и интересной, и поучительной. Изучая жуткие повестушки разных теток в воскресном номере «Варшавского курьера»²⁵ или романы Германа, Мнишкунны, Жажыцкой, Мостовича²⁶, я открывал для себя реальность... поскольку все это были романы-разоблачители, романы-предатели. Их бездарная фикция рвется ежеминутно, и через дыры можно взглянуть на всю грязь, накопившуюся в душах этих авторов.

История литературы... Оно конечно, но почему только история хорошей литературы? Плохое искусство может в большей степени характеризовать народ. История польской графомании могла бы больше рассказать нам о нас, чем история Мицкевичей и Прусов.

Понедельник

Мы поехали к Тигре. Это дельта Параны. Мы плывем по темному, тихо стоящему зеркалу вод меж густой зелени островов. Зелень, голубизна, приятно и весело. Остановка, высаживается девушка, которая... как бы это сказать? У прекрасного есть свои тайны. Много есть прекрасных мелодий, но лишь некоторые из них подобны руке, хватающей за горло. Эта красота была такой «забирающей», что всем стало как-то не по себе, может, даже стыдно, — и никто не посмел признаться, что наблюдает за ней, хоть и не было глаз, которые украдкой не посматривали бы на ее лучезарное существо.

Потом это существо невозмутимо принялось ковырять в носу.

Четверг

Смогу ли я умереть, как и все остальные, и каковы будут мои дальнейшие судьбы? Сосредоточенный на себе, я существую среди людей, от себя убегающих. Я все раздуваю себя — но доколе можно этим заниматься? Не признак ли это болезни? Насколько и в каком смысле это нездорово? Иногда я прихожу к мысли, что такое раздувание, которому я отдаюсь, не проходит бесследно для природы человека, потому что оно по сути своей — провокация. Не нарушил ли я чего-нибудь фундаментального в самом моем отношении к природным силам и не станут ли вследствие этого судьбы мои «потом» другими из-за того, что я обращался с собой не так, как с собой поступают остальные?

Воскресенье

Трагедия.

Я ходил под дождем в надвинутой на глаза шляпе, с поднятым воротником, держа руки в карманах.

Потом я возвратился.

Я вышел еще раз, чтобы купить что-нибудь поесть.

И съел.

Пятница

С испанским художником Санезом в Галеоне. Он приехал сюда на два месяца, продал картин на несколько тысяч, знает Лободовского²⁷ и высоко его ценит. Несмотря на то что в Аргентине он много заработал, отзывается о стране без энтузиазма. «В Мадриде человек сидит за столиком в кафе, на улице, просто сидит, не ожидая ничего конкретного, но он знает, что случиться может все: дружба, любовь, приключение. Здесь же известно заранее — не случится ничего».

Однако недовольство Санеза весьма умеренно по сравнению с тем, что говорят на сей предмет другие приезжие. Эти претензии иностранцев к Аргентине, их высокомерная критика и огульное охаивание — отнюдь не пример лучшего вкуса. Аргентина полна чудес и очарования, но очарование это скромное, оно скрыто за улыбкой, которая не хочет слишком много сказать. Здесь мы имеем неплохое *materia prima* (сырье), хоть и не можем пока дать конечный продукт. У нас нет ни Нотр-Дама, ни Лувра, зато часто видишь ослепительную белозубую улыбку, прекрасные глаза, гармоничную форму тела. Когда нас время от времени посещают французские юнги, аргентинку неизбежно охватывает восхищение, как будто она увидела сам Париж, но она говорит: «Ах, как жаль, что они не такие красивые». Французские актрисы, естественно, захватывают аргентинцев парижским парфюмом, но о каждой слышишь: «Ну ни одной нет, у которой все было бы в порядке». Этой стране, насыщенной молодежью, присуще некое аристократическое спокойствие, свойственное легким на подъем создателям с чистым сердцем.

Речь идет исключительно о молодежи, потому что отличительной чертой Аргентины является красота молодая и «низкая»; та красота, которая идет от земли, вы не найдете ее в высших или средних сферах. Здесь только простые людины благовоспитанны и сохраняют хороший вкус. Только простой народ аристократичен. Только молодежь безошибочна в каждом своем акценте. Эта страна — страна наизнанку, в которой шенок, продавец литературного журнала, имеет больше стиля, чем все сотрудники этого журнала, где салоны — что плутократов, что интеллектуалов — ужасают своей безликостью, где на границе тридцати наступает катастрофа, полное преобразование молодости в зрелость, как правило не слишком интересную. Аргентина, вместе со всей Америкой, молода, потому что умирает молодой. Но ее молодость, кроме того и несмотря ни на что, бесполезна. Посмотрите, как на местных танцульках при первых звуках механической музыки двадцатилетний рабочий, живое воплощение мелодии Моцарта, подходит к девушке, живой вазе Бенвенуто Челлини, но из этого сближения шедевров не возникает ничего... А потому это край, в котором поэзия не воплощается, но тем сильнее чувствуется ее пугающе тихое присутствие за занавесом.

Впрочем, не следует говорить о шедеврах, поскольку это слово в Аргентине не проходит — здесь нет шедевров, здесь есть только произведения, пре-

красное здесь не является чем-то аномальным, а как раз представляет собой воплощение обычного здоровья и среднего развития, триумф материи, а не явление Бога. И эта простая красота знает, что она — не что-то необычное, а потому и не ценит себя, эта красота совершенно мирская, лишенная благодати, но в то же время она, связанная всем существом своим с благодатью и божественностью, еще сильнее электризует, как жертва.

И наконец:

С формой дело обстоит точно так же, как и с физической красотой: Аргентина — это страна ранней и легкой формы, здесь редко встречаются те боли, падения, терзания, грязь, которые обычно сопутствуют медленно и с напряжением сил совершенствующейся форме. Здесь редко случаются оплошности. Робость — исключение. Явная глупость не часта, и эти люди не впадают ни в мелодраму, ни в сентиментализм, ни в пафос, ни в шутовство — во всяком случае, если и впадают, то не целиком. Но в результате этой рано и равномерно созревающей формы (благодаря которой ребенок действует со свободой взрослого), которая облегчает, сглаживает, в этой стране не формируется иерархия ценностей европейского пошиба. И это, возможно, больше всего привлекает меня в Аргентине. Они не брезгают... не возмущаются... не осуждают... не стыдятся в той степени, в какой это делаем мы. Они не пережили формы, не познали ее драматизма. Грех в Аргентине — менее грешен, святость — менее свята, отвращение — менее отвратительно, и не только телесная красота, но и вообще всякая другая добродетель склонна здесь есть из одной тарелки с грехом. Здесь в воздухе носится нечто обезоруживающее... и аргентинец не верит собственным иерархиям или принимает их как нечто навязанное. Дух в Аргентине звучит неубедительно, о чем они сами прекрасно знают; здесь существуют два отдельных языка — один публичный, на службе духа, являющийся ритуалом и риторикой, и второй — частный, на котором люди разговаривают за спиной первого. Между этими двумя языками нет ни малейшей связи: аргентинец нажимает в себе кнопку переключателя, входя в режим парения в облаках, и снова нажимает ее, когда возвращается в обыденность.

Что такое Аргентина? Это — тесто, которое пока еще не стало хлебом, то есть нечто недооформленное, а может, и протест против механизации духа, небрежный, ленивый жест человека, отдаляющего от себя слишком автоматическое накопление — слишком интеллигентную интеллигентность, слишком красивую красоту, слишком моральную мораль? В этом климате, в этой обстановке мог бы возникнуть реальный и творческий протест против Европы, если бы... если бы мягкость нашла способ стать твердой... если бы неопределенность могла бы стать программой, то есть — дефиницией, определением.

Четверг

Письмо членам Дискуссионного Клуба в Лос-Анджелесе:

Спасибо за симпатичные поздравления с Рождеством и Новым годом, а сообщение, что первое заседание Клуба было посвящено рассмотрению моих работ, очень меня обрадовало. Позвольте, дорогие Члены Клуба, поделиться с вами несколькими замечаниями на тему того дела, которому вы посвятили себя, то есть — на тему искусства вести дискуссию.

Вместе с вами я хочу порассуждать на эту тему, потому что я с прискорбием отмечаю, что дискуссия относится к тем явлениям культуры, которые не приносят нам ничего, кроме унижения, которое я назвал бы «дисквалифицирующим». Давайте подумаем, откуда берется весь тот яд унижения, которым нас поит дискуссия. Мы приступаем к ней, полагая, что она должна выявить, кто прав и в чем состоит истина, в свете чего мы, во-первых, определяем тему, во-вторых, договариваемся о понятиях, в-третьих, заботимся о точности выражений и, в-четвертых, — о логике вывода. После чего сооружается вавилонская башня, сумбур понятий, хаос слов и истина тонет в говорильне. Но как же упорно мы храним в себе ту профессорскую наивность родом из прошлого столетия, по мнению которой дискуссию можно организовать! Неужели вы еще чего-то не поняли? Неужели вам нужно еще больше болтовни в большом дискуссионном мире, чтобы понять, что говорильня — это отнюдь не по-

мост для правды? Морские маяки и те не могут пробить стену темноты, а вы все еще хотите разогнать темноту этой свечкой?

Если я сказал, что дискуссия относится к «дисквалифицирующим» явлениям, то, конечно, я имею в виду дискуссию, поднимающую высокие и оторванные от земли вопросы, ибо нельзя унижить и осмеять человека, рассуждающего о способах приготовления картофельного супа. Осмеяние может стать результатом не только того, что дискуссия не справляется со своей задачей, оно рождается здесь прежде всего потому, что мы сами поддаемся некоторой мистификации, которая становится тем сильнее, чем больше вес темы. Конкретно: перед собой и перед другими мы делаем вид, что главное для нас — это истина, в то время как в действительности истина является для нас всего лишь поводом для нашей личной разрядки в ходе дискуссии, короче говоря, поводом получить удовольствие. Когда вы играете в теннис, вы не пытаетесь никого убедить в том, что вас интересует что-то другое, а не игра, — но вот когда вы перебрываетесь аргументами, вы не хотите признаться в том, что истина, вера, мировоззрение, идеал, гуманизм или искусство стали мячиком и что, в сущности, главное, кто кого победит, кто блеснет, кто как себя покажет в этой игре, так мило заполняющей послеполуденное время.

Так что чему служит — Дискуссия Истине или Истина Дискуссии? Скорее всего, и то и другое — правда, и, видимо, в раздвоении этого аспекта скрывается нечто неуловимое, что и составляет тайну жизни и культуры. Однако человек, держащий речь, должен отдавать себе отчет в том, зачем он говорит, и достаточно нам стыдливо укрыть эту менее важную сторону дискуссии, как наш стиль завирается и ломается, и тогда во весь рост встает связанный с этим позор. Те, кто забывает о людях и сосредоточивается исключительно на стремлении к Истине, говорят тяжело и неистинно, лишена жизни, их речь становится не мячом, а мечом. Но тех, кто умеет получать удовольствие, для кого дискуссия является и работой и игрой, игрой для работы, работой для игры, их не придавишь, и тогда обмен репликами становится крылатым, блестящим очарованием, влечением и поэзией и — что самое главное — независимо от своего результата становится триумфом. Ни глупость, ни даже неправда не положат тебя на обе лопатки, если ты сумеешь играть.

Мне кажется, что здесь я случайно выдал самый большой и главный секрет стиля: мы должны уметь наслаждаться словом. И если литература вообще осмеливается говорить, то совсем не потому, что она уверена в своей истинности, а лишь потому, что она уверена в своем очаровании. Но если я, дорогие Члены Клуба, хочу обратить ваше внимание на эту особенность дискуссии, то только потому, что мир стал убийственно и до глупого серьезным, а те из наших истин, которым мы отказываем в игре, начинают слишком скучать и на нас самих навевать скуку. Мы забываем, что человек существует не только для того, чтобы переубедить другого человека, а для того, чтобы привлечь его, сделать своим союзником, захватить, очаровать, овладеть им. Истина — это вопрос не только аргументов, это — вопрос привлекательности, то есть притягательности. Истина рождается не в абстрактном турнире идей, а в столкновении людей. Будучи обреченным на чтение книг, заполненных только лишь аргументами, я знаю, что такое истина, содранная с человека, истина-трактат. Вот почему я обращаюсь к вам с призывом: не позволяйте, чтобы идея росла в вас за счет индивидуальности.

Вы пишете, что я был предметом ваших разговоров. Хотелось бы спросить: вы с уважением отнеслись к моей личности? Как звучали ваши слова: бесстрастно, или вы говорили обо мне воодушевленно, с полетом и страстью, как и надлежит говорить об искусстве, или вы только вытрясли из меня какие-то мои «взгляды» и грызли их, как кость от моего скелета? Знайте же, что обо мне нельзя говорить скучно, заурядно, обыкновенно. Я это категорически запрещаю. Я требую, чтобы обо мне звучало праздничное слово. А тех, кто позволяет себе говорить обо мне скучно и рассудительно, я наказываю жестоко: я умираю у них на устах и забиваю своим трупом их рты.

Воскресенье

Холодный южный ветер вынес из Буэнос-Айреса массу жаркого и влажного воздуха, и теперь этот ветер плавно проносится, с воем и свистом, хлопая и

звения оконными стеклами, вздымая бумажки на перекрестках, вызывая настоящие оргии невидимых фей. Этот псевдоосенний ветер захватывает и меня, он несется вместе со мной — всегда в прошлое, — у него есть привилегия вызывать во мне картины минувшего, и я иногда часами остаюсь в его власти, сидя где-нибудь на лавке. Там, овеянный ветром, я силюсь сделать то, что выше моих сил и что столь желанно, — вернуться с Витольдом Гомбровичем в невозвратимую эпоху. Много времени посвятил я реконструкции моего прошлого, я старательно устанавливал хронологию, до предела обострял память и искал себя, точно Пруст, но ничего не получалось: прошлое бездонно, а Пруст лжет — ничего, абсолютно ничего не получится... Однако южный ветер, вызывающий какие-то расстройствa в организме, ввергал меня в состояние чуть ли не любовного вожделения, в такое состояние, в котором, отчаянно блуждая, я пытаюсь хоть на мгновение разбудить в себе давнишнее мое бытие.

На авенида Костанера я долго смотрю на волны, с яростным упорством взлетающие вверх белыми клубами над каменной облицовкой берега, и зову к себе я, сегодняшней, Гомбровича тех лет, того далекого моего предшественника со всей его молодой и трепетной безоружностью. Тривиальность давних событий сегодня приобретала для меня (для меня уже знающего, ставшего сегодня своим тогдашним будущим, решением загадки того мальчика), — приобретала для меня святость легенды о далеких истоках; и сегодня я знал серьезность той смешной муки, знал *ex post**... Вот так, например, вспомнил я, как однажды вечером поехал он и я погулять к соседям в Бартодзеи, где была одна особа, которая очаровала его-меня и перед которой я-он хотел показать себя, блеснуть; и это было мне-ему крайне необходимо. Но вот вхожу я в гостиную, а там вместо восхищения — сокрушенное оханье теток, шутки кузин, грубоватая ирония всех этих местных помещиков. Что же произошло?! А произошло то, что Каден-Бандровский²⁸ «проехался» по какому-то моему рассказу в выражениях полных снисхождения, но недвусмысленно отказывавших мне в таланте. И эта самая газета попала им в руки. И они поверили ей, потому что «писатель знает, как надо писать». В тот вечер я не знал, куда деться.

Если он-я был в таких делах бессильным, то вовсе не потому, что они были ему не по силам. Совсем напротив. Эти ситуации были необоримы потому, что не стоили борьбы: они были слишком глупыми и смешными, чтобы можно было отнестись серьезно к тем мукам, которые они создавали. Вот и приходилось терпеть муку и в то же самое время стыдиться своей муки, и ты, который уже тогда неплохо мог справиться с демонами гораздо более грозными, в этой ситуации ломался, выбитый из седла своей собственной болью. Бедный, бедный мальчик! Почему меня не было рядом с тобой, почему я тогда не мог войти в ту гостиную и встать за твоей спиной, чтобы исполнить тебя смыслом твоей последующей жизни? Но я — твоё воплощение — был — есть — за тысячу миль, за много лет от тебя — сидел — сижу — здесь, на американском берегу, так горько опоздавший... и все смотрю на воду, взлетающую над каменным парапетом, заполненный далью ветра, летящего с полярных широт.

Воскресенье

Когда сегодня, после многих лет, став гораздо более спокойным и менее подверженным чужим суждениям, я снова смотрю позиции «Фердыдурке» относительно критики, я снова без колебаний подписываюсь под ними. Хватит нам невинных произведений, входящих в жизнь с таким личиком, как будто они не знают, что будут изнасилованы тысячьо идиотских оценок; хватит авторов, делающих вид, что это насилие, которое вершит над ними поверхностное, небрежное суждение, является чем-то таким, что их не касается и на что не следует обращать внимания. Произведение, даже если оно рождено в чистейшем созерцании, должно быть так написано, чтобы оно давало автору преимущества в его состязании с людьми. Тот стиль, который не может защитить себя перед людской молвой, который отдает своего творца каждому кретину на поругание, не выполняет главной своей задачи. Но защита от этих мнений возможна только тогда, когда мы повинно склоним голову и признаем, как

* Здесь: задним числом (лат.).

много эти мнения для нас значат — даже тогда, когда их изрекает глупец. Поэтому безоружность искусства в отношении людской молвы представляет из себя печальное наследство его гордости: ах, я выше того, я считаю только с мнением умных! Но эта фикция абсурдна, а истина является как раз истинной трудной и трагической, состоящей в том, что суждение глупца также кое-что значит, также нас формирует, отделявая нас и снаружи и изнутри, ведя за собой далеко идущие последствия практического и житейского свойства.

Но у критики есть еще и другой аспект. Ее можно рассматривать со стороны автора, но можно также посмотреть на нее со стороны публики — и тогда она окрашивается в еще более яркие цвета скандала, фальши, обмана. Как все происходит? Публика желает через прессу получить информацию о появляющихся книгах. Отсюда берет начало ветвь журналистской критики, корпус которой составляют люди, имеющие контакты с литературой. Но если бы эти люди действительно что-нибудь могли сделать в искусстве, они наверняка не остановились бы на статьях — а стало быть, нет — всё это второ- и третьеразрядные литераторы, люди, остающиеся в свободном, скорее приятельском отношении с миром духа, люди, не находящиеся на уровне той проблемы, которой они занимаются. В этом как раз и состоит самая большая трудность, которую никак не преодолеть, из которой рождается весь скандал критики и ее аморальность. Вопрос стоит так: как низший человек может критиковать человека высшего, оценивать его личность, выносить суждения о его работе — как такое может быть, не будучи одновременно абсурдом?

Никогда, слышите, господа критики, по крайней мере польские критики, вы не удосужились посвятить этому деликатному вопросу и пяти минут внимания. А тем не менее Иксинский²⁹, осуждающий человека такого ранга, как Норвид, ставит себя в головоломную, совершенно невозможную ситуацию. Поскольку для того, чтобы судить о Норвиде, надо быть выше Норвида, а он ниже Норвида. За этой фундаментальной фальшью тянется бесконечная цепь другой фальши. И критика становится отрицанием всех своих самых высоких претензий.

Они хотят быть судьями искусства? Но для этого надо сначала встретиться с искусством, а они пока что в прихожей, у них нет пути к духовным состояниям, из которых искусство возникает, и они ничего не знают о его напряжении.

Они хотят быть методичными, профессиональными, объективными, справедливыми, а сами представляют из себя триумф дилетантизма, высказываясь на темы, которых они не в силах освоить, — прекрасный пример самой несправедливой узурпации.

Стражи морали? Но мораль базируется на иерархии ценностей, а они как раз являются насмешкой над иерархией, сам факт их существования — по своей сути аморален. Во всяком случае, они ничем не доказали, что имеют право на эту роль. Одно только — зачем редактор позволяет им писать? Предаваясь аморальной работе, состоящей в изречении дешевых, легких, поспешных суждений, лишенных подтверждения, они желают осуждать мораль тех людей, которые всю свою жизнь отдали искусству.

Они хотят оценивать стиль? Но они сами являют собой пародию на стиль воплощением претенциозности; они настолько плохие стилисты, что их не убивает неизлечимый диссонанс этих проклятых «выше» и «ниже». Не говоря даже о том, что пишут они второпях и небрежно: это грязь самой дешевой публицистики...

Учителя, воспитатели, духовные руководители? По сути, это они научили польского читателя той истине о литературе, что она является чем-то вроде школьных сочинений на тему, которые пишутся ради того, чтобы училке было под чем поставить отметку, что творчество — это вовсе не игра сил, которые нельзя в полной мере проконтролировать и которые представляют из себя взрыв энергии, работу созидающего духа, а всего лишь годовая литературная «продукция» с обязательными рецензиями, конкурсами, наградами и фельетонами. Это — мастера примитивизации, своего рода артисты в деле преобразования острой жизни в нудную жвачку, все элементы которой более или менее соразмерны и малозначимы.

Вот к каким губительным последствиям приводит избыток паразитов. Писать о литературе легче, чем писать литературу, — вот в чем загвоздка. На их месте я очень бы призадумался, как выбраться из того позора, имя которому «упрощение». Их преимущества, по сути, чисто технического свойства. Их голос мощно звучит не потому, что он мощный, а всего лишь потому, что им разрешено говорить через мегафон прессы.

Так в чем же решение?

Отбросить с презрением и гордостью все искусственные преимущества, которые тебе дает твое положение. Поскольку литературная критика — это не вынесение суждения одного человека в отношении другого (ибо кто тебе даст такое право?), а состязание двух личностей на абсолютно равных правах.

А стало быть — не суди. Описывай только свои реакции. Никогда не пиши ни об авторе, ни о произведении — только о себе при конфронтации с произведением или с автором. О себе ты писать можешь.

Но если пишешь о себе, пиши так, чтобы твоя личность приобрела вес, значимость и жизненность, чтобы она стала твоим решающим аргументом. А потому пиши не как псевдоученый, а как художник. Критика должна быть так же напряженна и трепетна, как и то, чего она касается, — в противном случае она становится только выпусканьем газа из шарика, резанием тупым ножом, разложением, анатомией, могилой.

А если ты так не можешь или не хочешь — отойди в сторонку.

(Я написал это, узнав, что Союз польских писателей в изгнании, считая критику особо важной для писательского творчества, учредил премию в 25 фунтов за лучшую работу в области критики. И хотя все премии существуют где-то вне меня, что-то вроде танца, на который меня не пригласили... может, все-таки на этот раз?.. Представляю настоящую «критическую работу» на премию и горячо рекомендую ее вниманию Комитета.)

Суббота

Тем, кто интересуется моей писательской техникой, предлагаю такой рецепт.

Войди в сферу сна.

После чего начни писать первую попавшуюся историю, какая только придет тебе в голову, и напиши страниц эдак двадцать. Потом прочти.

На этих двадцати страницах найдется, может быть, одна сцена, несколько отрывочных предложений, которые воодушевят тебя. Тогда напиши все еще раз и постарайся, чтобы эти воодушевляющие элементы стали основой, — и пиши, не считаясь с реальностью, стремись только к удовлетворению потребностей твоей фантазии.

Во время этой второй редакции твоя фантазия примет определенное направление — тогда ты дойдешь до новых ассоциаций, которые лучше определят поле деятельности. После этого напиши двадцать страниц продолжения, продвигаясь по ассоциативной линии, всегда оставаясь в поисках возбуждающего, вдохновляющего, творческого, загадочного, первооткрывательского начала. Потом напиши все еще раз. Делай так до тех пор, пока не заметишь, что появился ряд ключевых сцен, метафор, символов (как в «Транс-Атлантике» «хождение», «пустой пистолет», «мерин» или в «Фердыдурке» «части тела»), и тогда ты получишь истинный шифр. Все начнет округляться под твоими пальцами в силу своей собственной логики, сцены, герои, понятия, картины потребуют дополнить себя, а то, что ты уже успел создать, продиктует тебе остальное.

Но вся штука в том и состоит, чтобы, отдаваясь пассивно произведению и позволяя ему самому создаваться, ты ни на минуту не переставал бы господствовать над ним. Твой принцип должен быть таким: я не знаю, куда меня это уведет, но, куда бы оно меня ни завело, оно везде должно выражать меня и удовлетворять мою прихоть. Приступая к «Транс-Атлантику», я и понятия не имел о том, что он приведет меня в Польшу, но когда это случилось, я постарался не врать, врать поменьше и использовать этот случай для того, чтобы дать выход моей энергии... И все проблемы, которые создает тебе такое самозарождающееся и создающееся вслепую произведение, — проблемы этики, стиля, формы, интеллекта — должны быть решены при полнейшем участии до

предела заостренного твоего сознания и с максимальным реализмом (поскольку все это является игрой компенсации: чем ты безумнее, фантастичнее, интуитивнее, непредсказуемее, безответственнее, тем более трезвым, сдержанным, ответственным ты должен быть).

В итоге между тобой и произведением начинается борьба, такая, как между возницей и внезапно понесшими его конями. Я не могу совладать с конями, но я должен стараться, чтобы ни на одном из поворотов гонки не вывалиться из повозки. Куда приеду — не знаю, но я обязан доехать в целости и сохранности. Более того — по возможности я должен получить от этой езды максимальные наслаждения.

И в конце концов: из борьбы между внутренней логикой произведения и моей личностью (поскольку неизвестно, произведение является поводом для моей исповеди или я — поводом для произведения), в этом противоборстве рождается нечто третье, нечто опосредованное, что-то как будто не мною написанное и все-таки мое — это и не чистая форма, и не непосредственное мое повествование, но лишь деформация, рожденная в сфере «между» — между мной и формой, между мной и читателем, между мной и миром. Это странное создание, этого ублюдка я пакую в конверт и высылаю издателю.

После чего вы читаете в газетах: «Гомбрович написал «Транс-Атлантик», чтобы доказать...», «Главной темой пьесы «Венчание» является...», «В «Ферды-дурке» Гомбрович хочет сказать...».

Четверг

Встал, как всегда, около 10-ти и позавтракал: чай с бисквитами, потом *quaker*. Письма: одно от Литки³⁰ из Нью-Йорка, другое от Еленьского³¹, Париж.

К 12-ти пошел на службу (пешком, недалеко). Разговаривал по телефону с Мэррил Альберес³⁰ по вопросам переводов и с Руссо³⁰ в связи с предполагаемой поездкой в Гойя. Звонил Риос³⁰, он уже вернулся из Мирамара, еще Домбровский³⁰ (о квартире).

В 3 кофе и бутерброд с ветчиной.

В 7 я вышел со службы и направился на авенида Костанера, подышать свежим воздухом (жара 32 градуса). Думал о том, что вчера говорил мне Альдо³⁰. После чего я пошел к Цецилии Бенедит³², и мы вместе пошли на ужин. Я ел: суп, бифштекс с картошкой и салатом, компот. Давно ее не видел, она рассказывала мне о своих приключениях в Мерседес. К нам подседа какая-то певичка. Был также разговор об Адольфо³³ и о его астрологии. Оттуда, уже около 12-ти, я пошел в «Рекс»³⁴ на кофе. Ко мне подсел Айслер³⁰, с которым мои разговоры выглядят приблизительно так: «Ну, что там слышать, господин Гомбрович?» — «Придите в себя, Айслер, хоть на минутку, очень Вас прошу».

На пути домой я зашел к Тортони³⁰ взять посылку и поговорить с Почо³⁰. Дома я читал «Дневник» Кафки. Заснул около 3-х.

Все это я написал, чтобы вы знали, какой я в повседневности.

Среда

Ветер и клубы облаков, тучи несутся с юга на вершины гор.

Курица на газоне... клюет...

Быть конкретным человеком. Быть индивидуумом. Не стремиться к изменению мира как целого — жить в мире, переделывая его лишь в той мере, в какой это присуще моей натуре. Осуществлять себя в соответствии со своими собственными, индивидуальными потребностями.

Я не хочу сказать, что коллективная, абстрактная мысль и что Человечество как таковое не важны. Но все должно быть приведено в равновесие. Самое современное направление мысли — то направление, которое снова откроет отдельного человека.

Пятница

В «Ведомостях» письмо Еленьского, в котором он отвечает на заметку Коллектора о публикации моих вещей в *Preuves*³⁵. Хотя я полностью согласен

с Еленьским, что существует определенное сходство между мною и Пиранделло (проблема деформации), а также с Сартром (в «Фердыдурке» можно найти предчувствие восходящего экзистенциализма), я предпочел бы, чтобы они, как говорит Коллектор, не имели с моими взглядами слишком много общего. На всякий случай я не хочу ни на кого быть похожим. Мысль — это только один из элементов искусства, хоть случалось, что брали самую заурядную мыслишку вроде «любовь освящает» или «жизнь прекрасна» и высекали из них произведение, блистающее вдохновением и поражающее оригинальностью и силой. Что такое идея, что такое взгляд на мир глазами искусства? Сами по себе они ничто — они могут иметь значение только как следствие того способа, каким были прочувствованы и духовно исчерпаны, той высоты, на которую они смогли подняться, и блеска, льющегося с этой высоты. Произведение искусства — это предмет не одной только мысли, не одного только открытия, это произведение, возникающее из тысячи мелких вдохновений, творение человека, который поселился в своей шахте и добывает из нее все новые и новые минералы.

Но от Сартров и Пиранделл я желал бы отделиться в силу других соображений — соображений общественного, светского свойства. Слишком часто случается в специфических условиях нашего, польского, бытования, что некто с помощью этих «громких фамилий» пытается мною пренебречь и, пыжась Сартром, снисходительно произнести: а, Гомбрович. А с этим я не могу согласиться в моем дневнике, являющемся частным дневником, в котором речь идет всегда только о личных делах, тех делах, в которых я стремлюсь защитить себя как личность и расчистить этой личности место среди людей.

Ах! Друг Еленьский!

Выбраться наконец из этого захолустья, этой прихожей, этого шкафа, стать не польским — то есть заурядным, не так ли? — автором, но явлением, имеющим свой собственный смысл и собственный закон бытия! Пробриться сквозь убийственную второсортность моей среды и наконец осуществиться! Ситуация моя драматична и, я сказал бы, отчаянна: уже долгое время я деликатно внушаю этим умам, обставленным «громкими фамилиями», что и без мировой славы можно что-то значить, если по-настоящему и безусловно оставаться самим собой, но они хотят, чтобы я сначала стал известным, и только потом они занесут меня в свой список и будут надо мной ломать голову. В мнении всех этих рассеянных польских знатоков меня губит как раз то, что существует определенное сходство между мной и мыслями Сартров или Пиранделл. Поэтому считается, что я хочу сказать то же самое, что и они, ломаясь в открытые двери, и что если я все-таки говорю что-то другое, то только потому, что я менее способный и менее серьезный, но более путанный; им, например, кажется, что мое ощущение формы вместе с его практическими последствиями — это «ничего нового», и они полагают, что моя критика искусства — это необдуманная гримаса, злоба и каприз; с кичливостью снобов (а сноб кичится не собственной значимостью, а тем, что знаком с кем-то, что что-то значит) они не станут утруждать себя проверкой, в чем состоит внутренняя логика этих моих реакций, а их лакейская душа приходит в восхищение, когда ей удастся представить мою душу как служанку и покорную, но не радивую подражательницу тех, господских, духов.

Я могу бороться с этим только определяя себя, постоянно, беспрестанно определяя себя. Снова и снова я буду определять себя, пока наконец самый нерасторопный из знатоков не заметит мое присутствие. Мой метод состоит в следующем: показать мою борьбу с людьми за собственную личность и использовать все эти личные раздражения, что возникают между мной и ними, для все более четкого выявления собственного «я».

Вам нужно, чтобы я определил себя по отношению к сартризмам и всей обостренной, раскаленной до белого каления современной мысли?

Нет ничего проще! Я — необостренная мысль, существо средних температур, дух, находящийся в состоянии некоторой расслабленности... Я тот, кто снимает напряжение. Я как аспирин, который, если верить рекламе, снимает слишком сильные судороги.

Какое остается впечатление от чтения моего дневника? Разве не такое, что сандомирская деревенщина зашел на трясущуюся и вертящуюся фабрику и ходит по ней, как по собственному огороду? Вот пышущая жаром печь, в которой готовится экзистенциализмы, а вот Сартр: из расплавленного свинца он отливает свою свободу-ответственность. Там цех поэзии, где тысячи истекающих седьмым потом рабочих в головокружительном темпе конвейеров и шестеренок режут становящимся все более острым суперэлектромагнитным ножом все более и более твердый материал, а вон — бездонные котлы, в которых варятся идеологии, мировоззрения и веры. Вот жерло католицизма. А там дальше — плавильня марксизма, здесь — молот психоанализа, а вот артезианские колодцы Гегеля и обрабатывающие станки феноменологии, дальше — гидравлические прессы и гальванические ванны сюрреализма, а может, и прагматизма. И вот эта фабрика все крутится и крутится и в грохоте и коло-вращении все производит и производит все более совершенные инструменты, инструменты же те служат для улучшения качества продукта и ускорения производственного процесса, а потому все это становится все более и более мощным, сильным, точным. Но я хожу среди этих машин и изделий с задумчивой миной и не выказываю большой заинтересованности, совсем так, как будто я хожу у себя по своему деревенскому саду. Хожу, значит, я по этой фабрике и время от времени пробую то одно, то другое изделие (точно грушу или сливу) и говорю: «Хм... хм... для меня твердовато». Или: «Вот это по мне, дюже богато». Или: «К чертям такое неудобство, слишком жесткое». Или так: «Вот это не так плохо, если бы не было таким горячим!»

А рабочие неприязненно смотрят на меня исподлобья. Гляди-ка, среди производителей появился потребитель!

Вторник

Ла-Фальда. Курорт в горах Кордобы. На авенида Эден дамы и господа за столиками кафе попивают *refrescos*^{*}, в то время как привязанные к деревьям ослы объедают кору, а из громкоговорителя доносится увертюра к третьему акту «Травиаты».

Ничего особенного, и тем не менее это место для меня, как лица во сне, составлено из разных частей, эти лица так мучительны, потому что составлены из двух разных обликов: одно вплывает на другое и они маскируют друг друга. Отовсюду на меня здесь глядит враждебная Двойственность, скрывающая тяжелый и запутанный секрет. А все потому, что я уже был здесь лет десять тому назад.

Теперь я вижу.

Тогда, потерянный в Аргентине, без работы, без опоры, висящий в пустоте, не знающий, чем буду заниматься через месяц, я спрашивал себя с любопытством, доходившим иногда до абсолютно болезненного напряжения, которое имело привычку будить во мне будущее, — спрашивал, что будет со мною через десять лет.

Поднялся занавес. И вот я вижу себя за столиком в кафе все той же авениды; да, это я. Это я через десять лет. Кладу руку на столик. Смотрю на дом напротив. Зову официанта и прошу *un cortado*^{**}. Барабаню пальцами по столу. Но все это имеет характер дешевой информации, переданной тому, кто был десять лет назад, и я веду себя так, как будто он смотрит на меня. Но вместе с тем я вижу его, когда он сидел здесь за тем же самым столиком. Отсюда этот ужас двойного видения, который я ощущаю как раскол действительности, нечто непереносимое — как будто сам себе гляжу в глаза.

Из репродуктора доносится увертюра к третьему акту «Травиаты».

Среда

«Дневник» Кафки. В связи с ним решил снова перелистать «Процесс», сравнивая его со сценическим вариантом Жида. Однако и на этот раз мне не удалось честно прочитать эту книгу: на меня льет свои лучи солнце гениаль-

* Прохладительные напитки (*исп.*).

** Кофе с молоком (*исп.*).

ной метафоры, пробивающееся сквозь тучи Талмуда, но читать страницу за страницей выше моих сил.

Когда-нибудь мы узнаем, почему в нашем веке столько великих художников написали столько нечитабельных произведений. И каким чудом эти нечитабельные и нечитанные книги стали событием столетия и получили известность. С истинным удивлением, с неподдельным признанием я прерывал чтение многих книг, которые оказывались для меня слишком скучными. Потом когда-нибудь выяснится, от какого несчастного брака творца с читателями рождаются произведения, лишённые художественной сексапильности. Какой позор! Иногда у меня создается такое впечатление, что среди нас, писателей, живет какая-то глупость, которая портит все, что мы делаем, от которой мы не умеем защититься, поскольку она все еще неопознана. Иногда абсурд появляется с бесстыдством раскоряченной девки; несколько дней тому назад со мной нечто такое имело место. Сижу я в баре. Подходит один аргентинец, чтобы показать мне сборник чилийского поэта Пабло Де Рокха — том размерами с маленький чемоданчик. Смотрю я на этот чемоданчик. Открываю. В середине четыре фотографии автора и три фотографии его жены (тоже поэтессы), дальше — оттиск манускрипта, вступление от автора, в котором он говорит, что «эти поэмы он посвящает чилийскому народу» (или что-то в этом духе), здесь же множество других добавлений. Перескакиваю через несколько страниц, читаю:

«Преступные лица выкрикивают свой бледный треугольник».

«Солнце мощно звучит в солнечной системе, воз мусора полон молний».

«Буря войны в урагане каждого дня сообщает о себе грохотом сумерек»...

Я цитирую, может, не очень точно, но и так видно, что совсем неплохо, приличный класс. Но...

Аргентинец сказал: «Это великий поэт».

Я ничего не отвечаю. Ноль. С этим громадным томищем, лежащим у меня на коленях, с этим гигантским предметом... материальная величина вещи сокрушала меня, как сапог. Я понимал: что бы я ни сказал из того, что хотел сказать, он ответит, что я не понимаю поэзии, что я не проник в чилийскую душу, что я не чувствую метафоры или не улавливаю скрытого трепета слова. Поэтому я пообещал ему, что прочту, и пошел домой, таща свою ношу, которую дома я положил в уголок, а через несколько дней мне пришлось снова взять ее и отнести аргентинцу обратно, что и сделал, а когда этот громадный предмет в конце концов оказался вне меня, я еще был вынужден пробурчать какие-то слова, которые соединились в космосе со всеми словами, сказанными другими носильщиками при других обстоятельствах, чтобы воздать маэстро Де Рокха вечную славу в небесах, аминь.

Да, да... Но том Де Рокха — всего лишь карикатурное увеличение микроба, этого тайного стыда литературы, — она больше не притягивает, не манит. Несчастные! Вас больше никто не любит! Вы никому больше не нравитесь! Вы больше никого не волнуете! Вас только ценят — не больше...

Вы — свидетельство достоинств человеческого Духа и величия Искусства, но люди вас не любят.

Положение ухудшается тем, что современной критике недостает интеллигентности, другими словами — недостает силы, чтобы решить самую трудную задачу: вернуться к элементарным и вечно актуальным вопросам, которые как бы умерли среди нас только потому, что они слишком уж легкие, слишком простые. Критики хватает только на совершенствование — совершенствование до абсурда — того механизма, который сегодня правит нами и в силу которого возникают все более и более совершенные в литературном отношении книги. Эти господа никогда не решаются на разрушение самой системы, а впрочем, это выше их возможностей. Поскольку тот или иной литературный характер является результатом тех обстоятельств, тех отношений, что возникают между художником и другими людьми. Если вы хотите, чтобы певец запел по-другому, вы должны связать его с другими — влюбить его в кого-то другого, и влюбить по-другому. Комбинации стилей неисчерпаемы, но все они, по сути, являются комбинациями людей, очарованием человека перед человеком. Литература остается, к сожалению, романом пожилых утонченных мужчин, влюбленных друг в друга и друг другу объясняющихся в любви. Нужна решительность! Разорвите этот заколдованный круг, идите на поиски нового вдохновения,

дайте ребенку, сопляку, полуинтеллигенту закабалить вас, свяжитесь с людьми другого уровня!

До сих пор только марксизм отважился на такую реформу самой ситуации писателя, отдав его пролетариату. В действительности же он отдал его только теории и бюрократии, и в результате родилась самая скучная литература из когда-либо существовавших времен. Нет. Вы с вашими вымученными и как перец сухими теориями этого сделать не сумеете — надо, чтобы волна омолаживающего очарования, которая накатывается из тех, из более низких, слоев, вытащила вас из вас. И в тот момент, когда вы сумеете по-настоящему влюбиться в низкое, вы сами начнете ему нравиться. Даже если ваша любовь окажется для братьев ваших низших слишком трудной, то вы, влюбленные, и явно влюбленные, перестанете быть одинокими.

*

Трусость! Отсутствие патриотизма!

Странная вещь! «Транс-Атлантик» — это самое патриотическое и самое смелое произведение, когда-либо написанное мною. И именно из-за него на мою голову сыплются претензии, что я трус и плохой поляк.

Заметьте, я ведь мог не затрагивать этих моментов моей жизни. Я мог бы написать книгу на совсем другую тему. Никто никогда не выдвигал против меня никаких претензий, которых я сам не вызвал бы на свою голову, публикуя фрагменты из «Транс-Атлантика».

Пусть же вам не кажется, что вы поймали меня с поличным. Это я сам, добровольно и свободно признался в кое-каких своих чувствах... Но обнародование этих чувственных состояний (в наличии которых и вы — наедине с собою, тихо — должны были, наверное, не раз признаваться) не было с моей стороны ни цинизмом, ни бесстыдством. Я мог позволить себе это, потому что имел достаточно веские основания и потому что мною руководило соображение общего блага.

Какие же это основания?

Я считаю, что польская литература сейчас берет совершенно другое направление по сравнению с тем, которого она придерживалась до сих пор. Вместо того чтобы стремиться к самой тесной связи поляка с Польшей, она должна скорее приняться за выработку определенной дистанции между нами и Отчиной. Мы должны эмоционально и интеллектуально оторваться от Польши затем, чтобы получить в ее отношении бóльшую свободу действий, чтобы быть в состоянии созидать ее.

Мы должны — считаю я — усвоить чувство временности нашей нынешней польскости. Без него мы не сможем угнаться за миром.

Воскресенье

С глубочайшим смирением я, червь, признаюсь, что вчера во сне ко мне явился Дух и вручил мне Программу из пяти пунктов:

1. Вернуть польской литературе — безнадежно плоской и раскисшей, слабенькой и боязливой — веру в себя, решительность и гордость, размах и полет.

2. Опереть ее крепко на «я», сделать из «я» ее суверенность и силу, ввести наконец в польский язык это «я»... но подчеркнуть его зависимость от мира...

3. Перевести ее на самые современные пути, но сделать это не потихоньку, а скачком, вот так, просто из прошлого в будущее (поскольку *les extrêmes se touchent*^{*}). Ввести ее в самую трудную проблематику, в самые болезненные хитросплетения... но научить ее легкости и пренебрежительности и тому, как соблюдать дистанцию.

Научить презирать идею и культ личности.

4. Изменить ее отношение к форме.

5. Европеизировать, но вместе с тем использовать все возможности, чтобы противопоставить ее Европе.

А внизу виднелась ироническая надпись: не для пса колбаса!

* Крайности сходятся (франц.).

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Милош Чеслав (род. в 1911) — польский поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Лауреат Нобелевской премии по литературе за 1980 год. Проживает в США.

² «Земьянская», «Зодиак» — популярные кафе довоенной Варшавы, места встреч творческой интеллигенции.

³ Анджеевский Ежи (1909 — 1983) — польский писатель.

⁴ Галчиньский Константы Ильдефонс (1905 — 1953) — польский поэт-лирик, автор патристических стихов, воспевающих строительство Народной Польши.

⁵ Важи́к Адам (род. в 1905) — польский писатель, эссеист, связанный с Краковским авангардом.

⁶ «Просто-з-мосту» — литературный еженедельник, издававшийся в Варшаве в 1935 — 1939 годах, главный редактор — С. Пясецкий. Издание, конкурировавшее с «Вядомости литерацке» (см. примеч. 24).

⁷ Тувим Юлиан (1894 — 1953) — польский поэт, переводчик, автор стихов для детей.

⁸ «Скамандер» — поэтическое объединение, образовавшееся в 1919 году и просуществовавшее до конца 30-х годов. В него входили Ю. Тувим, Я. Лехонь, А. Слонимский, К. Вежинский, Я. Ивашкевич. Тематикой и поэтическим языком группа стремилась связать поэзию с повседневностью, охватить многообразие проявлений жизни.

⁹ Пейпер Тадеуш (1891 — 1969) — польский поэт и теоретик поэзии, разработал программу новой поэзии, призванной сопровождать жизнь современного человека — строителя новой урбанистически-технологической цивилизации.

Браун Мечислав (1900 — 1941) — польский поэт, автор описательно-рефлективных стихов о различных видах труда; характерны названия сборников: «Ремесла», «Промышленность».

¹⁰ Гродзицкие Кшиштоф и Халина — супружеская пара, в 1949 году эмигрировавшая в Аргентину. Знакомые Гомбровича по Буэнос-Айресу.

¹¹ Эйхлер, Грохольский Зигмунт — молодые польские художники, осевшие в Буэнос-Айресе. Знакомые Гомбровича.

¹² «Фрэй Мочо» — клуб в Буэнос-Айресе, в зале которого Гомбрович выступал с лекциями по литературе.

¹³ «Культура» — издаваемый с 1947 года в Риме, а с 1948 года в Париже еженедельник на польском языке. Главный редактор — Ежи Гедройц (род. в 1906).

¹⁴ Бой — Бой-Желеньский Тадеуш (1874 — 1941), польский писатель, переводчик французской классики, называл «черной оккупацией» засилье клерикалов в общественной жизни.

¹⁵ Имеется в виду полученное Гомбровичем письмо, автор которого призывает отстаивать католическую веру любыми средствами, вплоть до того, что «верить в необходимость веры». Дневниковую запись, в которой приведен текст письма, см.: Гомбрович В. «Девственность» и другие рассказы. «Порнография». Из «Дневника». М. «Лабиринт». 1992, стр. 264.

¹⁶ ...один литовский поэт... — Имеется в виду Адам Мицкевич.

¹⁷ См. примеч. 13.

¹⁸ Чиоран Эмиль М. (1911 — 1995) — румынский писатель, философ. Жил во Франции.

¹⁹ Ивашкевич Ярослав (1894 — 1980) — польский писатель, общественный деятель.

²⁰ Жеромский Стефан (1894 — 1925) — польский писатель; критиковал в своих романах польскую буржуазную действительность.

²¹ Свечевский Кароль — польский инженер, в 1949 году эмигрировал в Аргентину. Знакомый Гомбровича.

²² «Гранд Гиньоль» — пьесы, спектакли, сценические приемы, в основе которых изображение злодейств, избиений, пыток и т. д. Термин произведен от Гиньоля, персонажа французского театра кукол наподобие русского Петрушки.

²³ Гётель Фердинанд (1890 — 1960) — польский писатель и публицист, автор психологических романов с экзотической тематикой.

²⁴ «Ведомости» («Вядомости литерацке») — еженедельник, издававшийся в Варшаве в 1924 — 1939 годах. Главный редактор — М. Грыдзевский.

²⁵ «Варшавский курьер» — популярная в довоенной Польше газета.

²⁶ Герман Юлиуш (1881 — 1951) — польский писатель, приверженец полонофильской традиции, воспевавшей величие польского духа и всего польского.

Мнишкувна Хелена (1878 — 1943) — польская романистка, автор книг, романтически описывающих жизнь «высших сфер».

Зажыцкая — польская писательница, автор популярных в 30-е годы бульварных романов; литературные справочники сведений о ней не содержат.

Мостович (Доленга-Мостович) Тадеуш (1898 — 1939) — популярный польский романист в жанре сатирического бытописательства.

²⁷ Лободовский Юзеф (род. в 1909) — польский поэт и прозаик, с 1939 года — в эмиграции, сотрудник Мадридского радио.

²⁸ Каде н-Б андр ов с к и й Юлиуш (1885 — 1944) — польский писатель, хроникер I Бригады Польского Легиона, один из основных деятелей лагеря Пилсудского.

²⁹ Иксинский — некто усредненный, «мистер X», «г-н N».

³⁰ Литка, Мэррил Альберес, Руссо Алехандро Руссович, Риос, Домбровский, Альдо, Айслер, Тортони, Почо — аргентинские знакомые Гомбровича.

³¹ Еленьский Константы (1922 — 1987) — в 1952 — 1972 годах член секретариата международной интеллигентской организации либерального толка Конгресс свободной культуры. Пропагандист творчества В. Гомбровича.

³² Бенедит де Бенедетти Цецилия — аргентинская меценатка, на ее деньги был издан испанский перевод «Венчания».

³³ Адольфо — Бьой Касарес Адольфо (род. в 1914), аргентинский писатель. Несколько книг написал в соавторстве с Хорхе Луисом Борхесом.

³⁴ «Рекс» — кафе в Буэнос-Айресе, завсегдатаем которого был В. Гомбрович.

³⁵ «Revue» — интеллектуальный журнал антикоммунистической направленности, издававшийся Конгрессом свободной культуры (см. примеч. 31).

Перевод с польского и примечания Ю. В. Чайникова.



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

АНАТОЛИЙ НАЙМАН

*

ОДИН, ДВОЕ, ТРОЕ

Этой истории без малого тридцать лет. Летним днем 1968 года три молодых человека зашли в ресторан пообедать. Все трое ленинградцы, ресторан тоже ленинградский. Между ними и чешской парой за соседним столиком завязывается разговор, пара пересаживается к ним. Всем по тридцать — годом больше, годом меньше. Чехи чувствуют себя именинниками, и ленинградцы их чувства разделяют — время Пражской весны. В конце обеда чешка спрашивает, не знают ли они лично Иосифа Бродского, перед судьбой и стихами которого она и муж преклоняются. Один из ленинградцев говорит, что это он. Чехи не верят. Впятером они идут на улицу Пестеля, Бродский выносит паспорт. Затем они покупают несколько бутылок пива и отправляются на Разъезжую, домой к другому участнику истории, Игорю Ефимову.

За пивом чехи рассказывают, что такое свобода. Поженившись, они сняли комнату, и время от времени их вызывали в районное отделение госбезопасности дать объяснения по поводу той или иной фразы, которую они произнесли один другому наедине. На них доносила квартирная хозяйка, чего от них не только не скрывала, но подавала как образец выполнения гражданского долга, каковой, согласно обычаям страны и национальному характеру, ничем дурным — так, чтобы это скрывать, — быть не может. Когда начались перемены, они первым делом вывалили на хозяйку — на кухне, открыто, громким голосом — весь запас своего антикоммунизма и антисоветизма, а главные положения написали на отдельном листе и вывесили его в передней. Также и дворника до сих пор не отказывают они себе в удовольствии называть при встрече «пан доносчик».

Чехи заводятся, говорят не умолкая, перебивая друг друга. Он рассказывает, как, учась в университете и живя в общежитии, дождался, чтобы вся комната заснула, зажигал настольную лампу, раскладывал на столе газету «Руде право», прочитывал от начала до конца, раскрывал складной нож и мелко-мелко искалывал, рубил газетный лист. Она говорит, что с приходом Дубчека пришло и сексуальное раскрепощение, и в подтверждение достает фотографию, где они с мужем сняты голые на фоне леса. Две сантиметровые фигурки, ничего не разобрать, но можно догадаться. Третий ленинградец спрашивает, кто снимал. Чехи хохочут — «аутоспуск». Третий ленинградец — я, мне не нравится фотография, неприятно, что надо на нее смотреть. «Комариное место», — высказываюсь я. Да, соглашаются чехи, покусали, пришлось потерпеть. Они вглядываются в снимок: что-то видят в нем, невидимое нам.

Мы провозжаем их до метро. Обратю мне и Ефимову по дороге, мы живем в одном квартале. Он говорит, что чувствует себя одновременно и ножом, и «Руде право». Я испытываю прилив признательности и уважения к нему за то, что он может выговорить эти слова и они не звучат фальшиво. И уголком сознания отмечаю его цельность, ибо сам в эту минуту бесконтрольно и необъяснимо повторяю про себя: «Трибуна люду», — в такт нашим шагам.

К этому времени мы были знакомы уже несколько лет. Сперва, живя близко друг от друга и встречаясь на улице, останавливались переброситься несколькими фразами, потом стали сближаться. Сближаясь, узнаешь, узнавая, сближаешься — это у всех так, а вот почему именно у тебя именно с ним, это не всегда понятно, во всяком случае, не сразу. Игорь Ефимов писал прозу,

я — стихи. Он, при возвышенном складе ума и сильных чувствах, основывал свой опыт прежде всего на прозе жизни; я, при моем тогдашнем легкомыслии и некоторой легковесности в оценке происходящего, прозой жизни тяготился, как школьными уроками, и пренебрегал. И вот постепенно, потихоньку стали сходиться, друг другом интересоваться, друг в друге принимать участие.

Он умел быть другом, многим нравилось с ним дружить. Он был заметной фигурой среди ленинградской, как тогда говорили, творческой молодежи, одно время — самым молодым членом Союза писателей СССР. Еще он был членом литературной группы «Горожане», единственной настоящей литературной группы, то есть объединившейся на основе совместно принятых принципов, а не личного родства. От «Горожан» в моей памяти сохранил парадоксальную яркость абзаца из рассказа одного из них о том, что смотреть телевизор все равно что в подворотню и что люди в нем маленькие, как мыши, — телевизоры тогда были черно-белые и с линзой. От членства в ССП — какие-то поездки Ефимова в дома творчества, где его как-то особенно уродливо и унижительно стриг парикмахер, о чем он охотно потом рассказывал. «Отсутствие иронии, — утверждал он, — знак того, что человек не ощущает вертикальную компоненту мироздания. То есть разницу между высоким и низким». И прибавлял: «Вообще, иногда хочется сказать Богу: Вы знаете, мне все нравится в Вашем творении, за исключением венца».

Он окончил Политехнический институт и, пока не стал профессиональным литератором, был толковым инженером. Был рукастым, соображал в технике, мог починить стул, водопровод и электричество. (Это прошедшее время «был», «мог» начинает меня угнетать, потому что не вполне правомерно; он и сейчас ловко сколачивает новое крыльцо к дому, меняет кран в ванной, проводит свет в подвал.) Гордился он по-настоящему, без зазрения совести, только успехами в рыбной ловле. Свидетели этих успехов должны были им восхищаться; лосось, выловленный в реке Жеймяне пареньком с соседнего хутора, портил ему настроение до вечера. На очередной день его рождения, который в августе, Евгений Рейн, соответствующим образом переписав Пастернака, кончил поздравительные стихи: «и образ мира, в слове явленный, и творчество, и рыболовство».

Он писал — и пишет — свои рассказы и романы в традиционной манере. В них нет нервности, алогичности, немотивированности, скачков сознания, рассчитанных на то, что читатель и так поверит, а не поверит — значит, не дорос. Под новый, 1996-й год я читал его новую, только что оконченную книгу и ловил себя на редком удовольствии, которое доставляет уравновешенность грамматики, мысли, композиции. Его сильной стороной уже в молодости было тщательное продумывание занимавших его явлений и идей, логика, с которой он шел от начала к концу рассуждения, — иногда, на мой вкус, излишне главенствующая над предметом рассуждения.

Он сильно чувствовал и много думал над тем, почему он так чувствует. Такая комбинация идеальна для того, чтобы стать философом, она, собственно говоря, и есть философия. Он сильно чувствовал несовершенство человеческой природы и несовершенство миропорядка, лишаящего эту природу единственно оправдывающей ее одаренности — свободы. Острее и конкретнее всего миропорядок ранил его мерзостью того единодушия, которое называлось советской властью. Всякий, кто думает самостоятельно, обычно переносит это единодушие и его последствия — ложь, свое унижительное молчание, травлю знакомых, все более близких, их аресты, ссылки, лагеря, облегчение оттого, что не тебя, и доходящее до ярости презрение к себе за это чувство облегчения — болезненно, в той или иной степени. Таких, как Ефимов, это превращает в непримиримых противостоятелей режиму, создающему и обеспечивающему подобное положение вещей. Не в диссидентов, а в тех, кто не поступается ничем, ни единой мелочью, добытой в свободных поисках истины, — кто, стало быть, не принимает все, всю полноту, ни для чего не делая исключения в том конкретном миропорядке, который по самому замыслу тотально направлен на искажение истины.

Он мог бы найти свою нишу в стене, возведенной государственным и подпираемой общественным строем, мог проложить свою дорожку в литературе — в обход, наискосок, по касательной к той, что внутренне сознавалась как пря-

мая и предначертанная. Но искать ее не стал, потому что больше всего на свете дорожил свободой думать без поправок и ограничений со стороны. Вероятно, этот выбор и дал ему позднее право в статье о подцензурном романе Юрия Трифонова «Старик» прийти к заключению, что у писателя, находившегося «на вершине славы и успеха, ни жизненной, ни тем более творческой необходимости писать и публиковать такой роман не было». Статья называлась «Писатель, расконвоированный в истории».

Через несколько лет писательской карьеры Ефимова, поначалу умеренно благополучной, встало вровень с чисто литературным творчеством литературно-философское. Как он признавался позже, уже «годам к тридцати мне опротивела игра на наивности в литературе — сразу и вдруг». Он пишет две бескомпромиссные энергичные книги, «Метаполитику» и «Практическую метафизику». Его любимые Шопенгауэр и Кьеркегор, каждый по отдельности, согласились бы дать автору убедительные рекомендации в гильдию философов. В нормальной европейской стране, в какой-нибудь Швейцарии или Германии, после таких книг предлагают университетскую кафедру, учреждают факультативные курсы в других университетах. Но, как сказал в то время неглупый партийный функционер, «мы, слава Богу, не в Европе».

Рукописи были тайно преправлены за границу, там изданы под псевдонимом, автор автоматически произведен в политические диссиденты. Оставалось получить семь лет лагерей и пять последующей ссылки, результатом чего, опять-таки, стало бы предложение все той же кафедры — на этот раз как известному борцу с тоталитарной системой и мученику. В КГБ уже вызывали, уже угрожали, знакомых уже на предмет компромата допрашивали. Однако и подчиняться навязываемой схеме не хотелось, и садиться, честно говоря. В 1978 году Ефимов эмигрировал в Америку.

* * *

Эмиграция в сорок лет — всегда катастрофа. Не такая, разумеется, как концлагерь, но катастрофа, и об этом написано — с гораздо большими, чем наши, основаниями и глубиной — множество книг, эссе, стихов. Мы отметим лишь две, с нашей точки зрения, главные воздушные ямы: самую первую, а потом самую глубокую. Как ни готовься к эмиграции, ты знаешь только одну половину шага, только то, от чего твоя нога отталкивается: ночь, пятно разложенной на столе людоедской газеты, кромсающий ее нож. Вторая половина завершается тем, на что нога, опускаясь, ставится, и это место ты, во-первых, совершенно не знаешь, а во-вторых, узнавая, никогда не будешь *знать* до конца, оно всегда будет тебе лишь *казаться*. Сплошь и рядом, выдернув ногу из вязкой глины, ты опускаешь ее на зыбучий песок. С этого все начинается, шок от такого начала — сильнейший и по мере изживания острой стадии переходит в хроническую.

Самый же долгий провал, или, если угодно, свободное падение, — это процесс вдумывания, постижения, наконец, привыкания-приспособления к новому порядку вещей, процесс, также не имеющий конца и неизбежно идущий в ущерб личности и чувству собственного ее достоинства. «Здесь *вот так* надо жить!» — горит над воротами нового города вроде «Забудь надежду всяк сюда входящий!». Потому что эмигрировать больше некуда. А та часть личности, которая генетически связана с городом покинутым и до самой смерти не изменится (и хотела бы измениться, да не может), запрет тебя в вольеру твоей национальной эмигрантской общины, раз и навсегда. Община может оказаться более или менее приемлемой, более или менее подходящей, но ей присуще качество, которое не побороть: ее объем всегда критический, то есть взрывоопасный. Вспышка зависти, ревности, ненависти, которая в пространстве метрополии может погаснуть или вылетев за пределы слишком малой массы, или увязнув в слишком большой, в эмиграции будет разгораться и разгораться. Кто-то кому что-то не то в России сказал, кто-то возвысился, кто-то куда-то переметнулся — да пошел он подальше! Свет клином на нем не сошелся. А в эмиграции — сошелся, потому что — одна компания, единственная.

Ефимов эмигрировал. Эмиграция — катастрофа, но формы ее, этапы и сама повседневность могут быть необычайно привлекательными. Как «Гамлет»: трагедия, но во дворце и интересно. Все новое — дом, автомобиль, отношения, профессия. Вначале, как Бродский, как Лосев, как еще несколько человек, приземлился он в Анн-Арбор, штат Мичиган, к Профферам. Те держали русскоязычное издательство «Ардис», и он был у них в подмастерьях. Потом переехал в Нью-Йорк и открыл собственное — «Эрмитаж». Точнее, это пригород Нью-Йорка, на «не той стороне реки», как говорят ньюйоркцы, имея в виду Гудзон. Сейчас на счету издательства сотни две-три выпущенных книжек, из которых десятка два-три замечательных, и незапятнанное имя. У издателя же — отношения практически со всеми пишущими русскими в Америке. С одними — такие, с другими — сякие. Взаимная корреспонденция по поводу сяких подталкивает к подготовке книги «Выбранные места из переписки с врагами». Причина — те самые вспышки, кончающиеся взрывами. И чем дальше, тем яснее, что замечание на эту тему Набокова универсально, хотя сделал он его лишь о первой волне эмиграции: «Общая атмосфера ссыльной культуры, с ее великолепием, мощью и чистотой, с ее чуткой способностью к отражению жизни, рассеялась...»

Собственных книг написал Ефимов за это время восемь: четыре романа, две философско-публицистические, одну — документальное исследование об убийстве президента Кеннеди и одну — коротких заметок в духе «иронической метафизики». Написал, и опубликовал, и получил газетные и журнальные рецензии на них. И вот делает Петр Вайль историко-критический обзор русской эмигрантской, сосредоточенной в аккурат в Нью-Йорке, литературы аккурат последних полутора десятилетий («Знамя», 1994, № 10) — Ефимова там нет. Ни в каком виде — ни как писателя, ни как издателя. Понятное дело, это не простой обзор, а, как раньше говорили, «с направлением» плюс — и это главное — то, что сейчас называется «авторский». То есть такой, читая который мы не столько должны получать представление и оценивать предмет рассмотрения, сколько получать представление и оценивать того, кто рассматривает, обозревателя.

Вайль-и-Генис — пара известных критиков из эмиграции третьей волны. С непреложностью Бойля-и-Мариотта, допускающей даже некоторую снисходительность к тем, кто еще не понимает, что сформулированное — это такой объективный закон природы, ими выведены некие остроумные художественные положения, стилистически тяготеющие к максимам. Например, что вершины русская литература достигла в творчестве Татьяны Толстой, еще кого-то, а также Соколова, Сорокина и Галковского. Например, что Толстая, как сообщает в вайлевском обзоре, «привозит в лучшие нью-йоркские журналы статьи и рецензии». И мы не понимаем, хорошо это или плохо для русской литературы и вообще как это. Им более или менее безразлично, про что и что именно про что писать, — нам в ту же меру безразлично, что и про что ими написано. И все-таки...

И все-таки мне интересно, почему нет Ефимова. Казалось бы, его роман «Седьмая жена», как мало какая другая книга, отвечает «направлению» обзора, которое автор выразил словами «чужая страна — всегда аллегория, метафора своей», а проще — что, дескать, эмигрант, в том числе и писатель, неизбежно сопоставляет, сравнивает страну, в которую приехал, с той, из которой уехал. Так что в данном случае Ефимов — и конкретный, и некий символический Ефимов — пропущен по другой причине. Похоже, что выбранный критиком критерий, по которому о ком-то стоит говорить, о ком-то нет, — из критериев не культуры, а массовой культуры, а именно: интерес и высшее его выражение — успех. Не культура как результат творчества, но культура как результат массового признания. Либо — ему равноценного, полученного у грандов культурной политики, у «княгини Марьи Алексевны Зонтаг», как едко острит тот же Ефимов.

Тогда понятно, что публиковать статьи и рецензии в «лучших нью-йоркских журналах» — хорошо; лучше, чем в не лучших. Больше того: что опубликованное в лучших журналах хорошо — самим фактом публикации в них, а не качествами написанного. И еще понятно, что Ефимов, который ценза, соответствующего лучшим нью-йоркским журналам, не прошел, то есть успеха не

имел ни массового, ни у литературного истеблишмента, скандальной известности в хотя бы эмигрантском кругу не получил, в постмодернизм не подался, а сидит в своем кабинете в Энглвуде, штат Нью-Джерси, и пишет, как писал на Разъезжей улице в Ленинграде, — внимания, в общем, недостойн.

Но это, в конце концов, внутреннее дело критика — кого упоминать, кого нет, какую книгу хвалить, какую ругать. Зависит от индивидуального вкуса, концепции, пристрастий. Не такова реальная жизнь: факты — не художественные произведения, и ни вкусы, ни установки не вправе сделать то, что существует, несуществующим. Мне попалось недавнее интервью Рейна, в котором он описывает нашу общую молодую ленинградскую компанию, литературную, достаточно узкую. Он называет Битова и забывает Ефимова. Как говорится, хозяин — барин, но юношеская компания не совпадает с позднейшей табелью о рангах: в *компанию* входил Ефимов, а Битов — в круг хороших приятелей, если угодно, товарищей. Я знаю, что Рейн с Ефимовым поддерживают отношения и сейчас, но его имя не на слуху, и, по-видимому, для публичного упоминания Битов оказался лучше. Историю норовят переписывать все всегда и во всех точках земного шара, но, похоже, нигде не делают это с такой легкостью, как у нас. Бедный Ефимов, он напомнил мне маршала Блюхера из учебника истории СССР, по которому я учился в четвертом классе: новых тогда не выпускалось, старые переходили от старших к младшим, и одна из страниц, посвященных гражданской войне, открывалась тремя строчками сверху, заключалась пятью внизу, а посередине был непроглядный черный прямоугольник. Все знали, что это портрет некоего Блюхера, не настолько, однако, необходимого истории, чтобы на позднейшем этапе не залить его тушью.

* * *

Последняя книга Ефимова — исторический роман. Он писал ее почти четыре года и кончил в самом конце 1995-го. Когда я читал ее, название — «Невеста императора» — было еще условным¹. После пятидесяти писатель, принимаясь за большую вещь, сознательно или бессознательно смотрит на нее если не как на завершающую, то, во всяком случае, уже не подлежащую исправлению. Не может она быть и «случайной», написанной потому, что автор «наткнулся» на яркий или просто забористый исторический эпизод, про который «хорошо бы написать книгу». «Невеста императора» — из разряда «Мартовских ид» Торнтона Уайлдера или романов Мережковского.

Временной период такой протяженности, которая достаточна для того, чтобы ему стать историческим, то есть минимально тридцатилетний, так или иначе, по сходству или по контрасту, образует параллель с любым другим. Особенно на разломе истории, на смене эпох, особенно такой универсальной, как падение Рима. Действие романа Ефимова происходит в Римской империи между 400 и 423 годом, эпилог относится к 438-му. Конец России монархической, иначе говоря, с оглядкой на ее по меньшей мере четырехсотлетнюю историю, конец России как таковой, катастрофы, привязанные к конкретным датам и растянутые на десятилетия, падение советского режима и нынешнее пересаживание его с больничной койки в инвалидное кресло как нельзя лучше просятся на сопоставление с теми временами и событиями. Узнаваемы нравы, государственные институты, повороты общественного мнения. Причем автор скрупулезно точен в изложении исторических фактов, он-то уж отнюдь не «переписывает» их под современность, не перетасовывает, не фальсифицирует с целью создания прозрачных намеков на нашу действительность. Современность — недавняя и самая последняя — выстраивается параллельно сама собой. Параллели наглядны и впечатляющи, и все-таки книга написана не как вариация на тему «и-сейчас-так-же» или «и-тогда-так-же-было».

Все сюжетные линии романа, развивающиеся увлекательно, драматически и затрагивающие нежные и нервные струны читательского сердца, располагаются вокруг центра, каковым является фигура Пелагия, христианского мысли-

¹ Окончательное, «Не шит, но меч», не кажется мне удачным.

теля, которого Церковь официально признала еретиком. Точнее, минус-фигура, ибо сам Пелагий отсутствует — его следов ищет и о нем повествует рассказчик всей этой истории, он же — один из ее героев. Собственно говоря, весь роман — про то, как он собирает материал о Пелагии: что может быть естественнее для построения и движения сюжета! Если прибавить к этому, что Пелагий был гоним и в случае поимки был бы казнен — как и все его последователи, в том числе оставшиеся в живых, как и сам рассказчик, их посещающий, — то пружины романа оказываются взведены и современны от начала и до конца.

Изложение пелагианского кредо отложим для специального разговора, а сейчас отметим только центральный его пункт, вызвавший как опровержения Августина, обвинения Иеронима, осуждение папы Иннокентия, так и интерес Игоря Ефимова. Пелагий не считал грех неизбежным, наследуемым от Адама, а лишь сознательно предпочитаемым личной волей. Человек *сам* грешит, а если допустить, что предопределение всецело зависит от Бога, то, стало быть, и вечная гибель погибающих предопределена свыше, то бишь существует предопределение к злу. Пелагия возмущал августианский взгляд на отношение человека к Богу, сводимое к молитве «дай, что повелеваешь, и повелевай, что хочешь».

Впрочем, «возмущал» — слово слишком сильное применительно к Пелагию. Он был кроток и миролюбив — ученики, как водится, передавали его мысли поглубей и порезче. Ересь начиналась с того, что из посылки «человек *сам* грешит» следовало, что человек и спасается сам: Божией благодати отводилась второстепенная роль. Главный последователь Пелагия доказывал папе, что их учение никак не ересь, поскольку не касается вопросов веры и принимает ее всю целиком, а есть лишь результат умственного исследования. Но то, что иерархи Церкви могли допустить и даже поощрить в личной беседе или переписке как живую работу и тонкую игру ума, они обязаны были клеймить «в интересах дела» как нечестие и гниль, подтачивающую церковное здание. Ну а оргвыводы всегда одни и те же и зависят только от величины власти, которой в данную минуту обладают обвинители. Все вместе и знание этого «все-го» изнутри и побудило Ефимова принять сторону церковного *диссидента*, да и именно что не диссидента, а, как обычно, сделанного, записанного в таковые, и через четырнадцать без малого веков после его странствия по земле посвятить ему несколько лет собственной жизни.

Поэт Олейников сравнивал время с граммофонной пластинкой, на которой вместе с тем звуком, который игла снимает сию секунду, существуют и все остальные всего опуса в целом. Образ требует уточнения: пластинка все-таки — арифметическая сумма последовательных мгновений — время скорее интеграл, все предельно малые частицы которого «звучат» вместе. Пелагий жил, умер, был осужден как ересиарх окончательно в 418 году — и это «окончательное» осуждение существует с тех пор наравне с осужденной ересью, к которой может склониться еще и еще один непредвзятый ум, уже зная, что она осуждена, но сам осудит, только когда *сам* осудит, а не повторит покорно то, что решили карфагенские епископы. То есть когда Бог ему это откроет, а он открывшееся сможет принять. И, таким образом, оказывается, что Пелагий живет, проповедует, осуждается и умирает с тех дней, когда это случилось в первый раз, и донныне, и самое недавнее засвидетельствование этой бесконечной повторяемости — в книге Ефимова «Невеста императора».

* * *

Бог есть истина и путь и жизнь. Что такое эта истина, какова она в полноте и в каждой детали, никто, даже самые духовно просвещенные люди, не знает, но зато каждый знает, что такое ложь. И если не говорить о лжи бесспорной, прущей в глаза, то среди первых лжей — так называемая «жесточкая правда», «правда-матка», «правда-без-прикрас». Правда, в которой нет любви, пусть хотя бы всего лишь высказываемая без любви, не может быть не ложью уже потому, что Бог есть также и любовь. Дважды два, сопровождаемые розгами, — не четыре, а издевательство, унижение, слезы — не четыре, а чертовщи-

на. Бог не внушает Себя как истину, а дает Себя как истину полюбить. Тогда Он открывается как путь и как жизнь. Так, по крайней мере, делал Христос, когда ходил по земле.

Церковь — это «где двое или трое соберутся во имя Мое». Лев Толстой старался доказать собравшимся, что они здесь не во имя Бога, тем самым поставил себя вне Церкви, был анафемствован, но Бог дал ему пожить еще несколько лет после этого, хотя Церковь «в интересах дела» желала бы — и довольно открыто это желание выражала, — чтобы его не стало немедленно. Таким образом, намерения Церкви и намерения Бога иногда расходятся. «Правду, — как пишет Ефимов, — убить нельзя. Надо сделать ее силой, и тогда она умрет сама собой». Один православный священник, Стефан по имени, год назад поучал, что Церковь должна быть не просто непримирима, а безжалостна к врагам. Он приводил в пример киевских епископов, заставивших князя Владимира вернуть отмененную было смертную казнь на Руси, а также английского епископа VI века, который спросил у присных, казнены ли пойманные вчера воры, и, услышав, что еще нет, сказал: «В таком случае, я не могу начинать литургию». Специфическая трактовка заповеди «любите врагов своих», да? И специфический настрой в изучении церковной истории.

Другой, по имени Александр, выпустил брошюру «Антихрист в Москве». На наш вкус, название немного истерическое для священнослужителя — не говоря уже о том, что это не та область, в которой вещи, не стопроцентно достоверные, можно выдавать за столь же несомненные, как, например, то, что в Москве есть Арбат. Брошюра сводится к многократному повторению ссылки на правило такое-то, пункт такой-то такого-то Вселенского Собора об анафемствовании за демонстрацию непристойных сцен и картин. Составлены списки газет и журналов, подпадающих под этот пункт. Обвинен как сообщник священник, освещавший редакцию одной из этих газет. Каждая фраза дышит справедливым гневом, а так как, по христианскому вероучению, человеческий гнев не может быть справедливым, то — попросту ненавистью.

Автора я знал, когда он добивался стать настоятелем храма, уже отбитого тогда у советских властей независимой православной общиной, глава которой ждал рукоположения в сан, но оно по разным причинам откладывалось. Кульминацией тяжбы было собрание сторон в церкви, где автор служил тогда одним из младших священников. Его духовные чада построились в благочестивое каре и били наотмашь, смиренные рыцари независимого братства отвечали тем же, но уступали и числом, и умением. Время от времени всем предлагалось запеть, и запевали — «Царю небесный», после чего с новой яростью набрасывались на противника. Борец с московским антихристом победил.

Картины, которые продают с газетных лотков, и сцены, что показывают по телевидению, сплошь и рядом действительно непристойны. Государство, хотя бы делающее вид, что признает «общечеловеческие» ценности, должно наказывать тех, кто развращает души, особенно кто растлевает детей. Граждане, остро ощущающие недопустимость происходящего, должны принимать против них все допустимые меры. Каковы же, по мнению упомянутых батюшек, допустимые меры? Поместить в резервации, а лучше бы, конечно, уничтожить. Кто под эти меры подпадает? Все, сознательно или бессознательно такому положению дел способствующие, например специально отмеченная ими старушонка с пластмассовой продуктовой сумкой, на которой изображена девица в купальнике.

Первые апостолы, ревностные ученики Христа, хотели на самаритян, не принявших Его, свести огонь с неба. Но Он «запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа». Ревностным батюшкам уже несколько раз пытались об этом напомнить, но в ответ, помимо обличений в начетничестве и безмозглости, слышали гневное: «А вы не знаете, в какое время живете. Антихрист в Москве!» А раз так, то — огонь с неба! И закрадывается в голову, что, может, он и правда где-то тут, в Москве и Московской области, но не потому, что нравы пали ниже некуда, а потому, что, как известно, в последние времена любовь оскудевает.

Запереть в резервации и истребить с лица земли хотели только в самые недавние годы: революционеры — царя, большевики — эсеров, Сталин —

всех. Мусульманские коршуны не прочь разделаться таким же образом с православными, не исключая и этих двух священников, — и так далее, и так далее. И у всех, если вдуматься, убедительные основания. И всех, надо признаться, воспринимаешь как норму. В самом деле, коммунизм что с человеческим, что с нечеловеческим лицом обещает что угодно — только не любовь.

Но христианские священники, заполнившие вакуум после ухода партийных пропагандистов и учащие по проклятому ими телевидению-радио, со страниц презираемых ими газет, как гнусен Пушкин и никуда не годен Лермонтов, за кого надо голосовать на ближайших выборах, а главное, кого надо *не любить*, как-то, согласитесь, «не смотряся». Неправда — хлеб политработников, и никто, кроме считанных неопрятных фанатиков с воспаленным взглядом, никогда не верил, что коммунизм — правда. Но нелюбовью превращать в неправду самое Истину — значит поступать прямо против Бога и разрушать веру в Него. «Кто не любит, тот не познал Бога» — кажется, так?

И, измаявшись от нелюбви, преследующей нас на каждом шагу в этом мире, мы обессилеваем и надламываемся от нелюбви, изливающейся с церковного амвона. Или бежим прочь.

* * *

О чем думает и до чего додумывается человек, который ради реализации свободной мысли отказался от налаженного быта, родных стен, небесчестной карьеры, пересек восемь часовых поясов и за полтора десятилетия вполне освоился в стране — про которую уже в первый год понял, что равнодушная к себе самой свобода не способствует реализации таковой мысли точно так же, как весьма заинтересованная в себе несвобода? О том, что абсолютно свободен один Бог, а Его человеческое подобие с большой охотой поступает этим своим сходством с Ним — доставшейся даром свободой — в пользу множества разнообразных вещей. В частности, в пользу завоевания Его расположения не поступками, за которые несешь ответственность, а соблюдением свода неких, безусловно замечательных и необходимых, правил поведения.

О, таинственное расположение Бога к человеку! Вот уж и несомнительно Его исповедуешь, и глаза опустив долу ходишь, и постишься-молишься, и первый на службу приходишь — последний уходишь, и каждое слово батюшки без обсуждения исполняешь, — а сидит в сердце несокрушимое знание, что все это Богу нужно только как гарнир, а блюдо — жизнь. Что, живя, — желая, влюбляясь, оскорбляясь, трусая, раскаиваясь и проч. и при этом молясь и так далее, то есть именно *живя*, — спасаешься, а не одним благочестивым «и так далее» в отрыве от твоей реальной жизни. Что Ему любезен не только Авраам, без обскуждения и вопрошаний отдающий сына на смерть, но и Иов, решивший тягаться с Ним, чтобы понять, зачем нужна была Богу смерть всех его детей. Словом, что Богу любезен человек, а не просто раб.

Еще он думает, сидя в тени большого дерева позади своего дома и наблюдая пестрых птиц у кормушки, что когда несколько человек гонятся за одним, даже если он вор, а они честные, то инстинктивно присоединяешься к гонимому и пытаешься остановить гонителей. Что единодушные подозрительно, чтобы не сказать — невозможно, и если все говорят, что сегодня холодно, то согласиться с ними он мог бы не раньше, чем сам выйдет на улицу. Что учитель не тот, кто учит, а тот, у кого хотят учиться. И «пасти стадо следует, не господствуя над ним». А так как это редко когда получается, то, может быть, действительно Церковь — это «когда двое или трое соберутся во имя Моё», то есть *не больше* двух-трех. И тогда на ум приходит Пелагий.

Не пелагиане и тем более не пелагианство, а сам этот нищий странник из Шотландии, монах, до глубины сердца пораженный нравственной распущенностью римлян, что мирян, что клириков, и, однако, не выпускавший брошюр «Антихрист в Риме». Для него неприемлемы были их объяснения, что человек немощен, а грех всемогущ и что кому кем на роду написано быть — «кому что *предопределено*», — тот тем и будет. Он так настаивал на том, что человек своей волей выбирает сделать добро или зло, что признавал благодать, дей-

ствующую в человеке от Бога, скорее сопутствующей, чем главенствующей в деле спасения, впадая тем самым в великую ересь.

Но он никого не *заставлял* с ним соглашаться, ни с кем не *боролся*, никого не *гнал* — напротив: *его* гнали, *ему* приходилось скрываться, *его* смерти искали римские и карфагенские церковные власти. Непримирымый к язычеству, он не желал аутодафе для язычников; видя силу их веры, не опускался до того, чтобы называть ее примитивной, их же самих — дикарями, а, напротив, делал ударение на том же, на чем апостол Павел: «По всему вижу я, что вы как бы особенно набожны». Те немногие, кто хотели, чтобы он был их учителем, были такие же люди, как все: грешные, страстные, ограниченные — их слабости были открыты ему как его собственные, он себя осуждал, а их прощал, им сочувствовал. Они его прятали, переправляли из одного места в другое, друг через друга отыскивали. Находили его на заднем двореке какого-нибудь дома что-то пишущим или наблюдающим птичек.

«Честь вечная и память тем, кто в жизни воздвиг и охраняет Фермопилы», — не упускает случая Ефимов продекламировать своего обожаемого Кавафиса.

Тем большая им честь, когда предвидят
(а многие предвидят), что в конце
появится коварный Эфиальт
и что мидяне все-таки прорвутся.

Январь 1996.



ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

ДМИТРИЙ ЛИХАЧЕВ



ДЕТСТВО С КУОККАЛОЙ И ДОСТОЕВСКИМ

Обрывки воспоминаний

Детство мое живет во мне — Петербургом. А он для меня — вовсе не тот малый отрезок Невы, что славится своими горизонтальными линиями, низкими набережными, плотно соединенными в единый фасад дворцами и казармами, над которыми молитвенно поднимаются к небу скупо расставленные шпили, колокольни, купола и башни.

...Каждое утро сбегая к морю (не дай Бог сказать «залив» — это значило бы унижить его), я видел вокруг себя Петербург (или, как я привык в детстве выговаривать на немецкий лад, — ПетерСбург): море окружено Петербургом. Лисий Нос, с остатками петровских дубов, Петергоф, Ораниенбаум, Толбухин маяк у морских ворот, встречающий и провожающий корабли ритмично мигающим огнем, едва начинала сгущаться тьма.

На ту сторону моря — к Мартышкину и Ораниенбауму — при северном ветре уплывали мои «гидропланчики», которые я мастерил из сухого прошлогоднего тростника, занесенного к нам с Мартышкинского берега ветром южным. Я был убежден, что помогаю тростнику вернуться к его родным берегам. Каково же было разочарование, когда, катаясь однажды в лодке неподалеку от берега, я увидел мои гидропланчики полуразвалившимися, разбухшими, уже не способными быстро скользить по водной глади.

С морем связаны были и другие, излюбленные дачниками развлечения: бросать плоские камешки так, чтобы они прыгали по воде. Это мы называли «печь блины» — и если камешек выбран удачно и море совершенно спокойно, можно было испечь «блинов» десять — двенадцать. ...Потом двоюродный брат Короленко, Владимир Юлианович, рассказывал, что и они на даче в Куоккале тоже «пекли блины» (и как мне было приятно об этом узнать, тайком гуляя с ним на Соловках!). Все дачные развлечения были устремлены к морю, связаны с ним: прогулки, игры, лодочные катанья, любованье переливами красок — быстро меняющихся, всегда акварельно нежных.

Южный и северный берега, а посередине — наиболее петербургская часть Петербурга — Кронштадт с десятком фортов, из которых самым внушительным был форт Тотлебен, притягивающий к себе взоры.

Вот и дошли мы до... Достоевского. Гениальный строитель кронштадтских и севастопольских укреплений Э. И. Тотлебен, в честь которого назван крайний и самый мощный кронштадтский форт, был выучеником того же Главного инженерного училища, что и Достоевский.

В безветренную ясную погоду можно было различить золотую точку Исакия, а у самой воды — расслышать звук его главного колокола, только у воды и только в безмолвии раннего утра! Тогда представлялся Медный всадник, Адмиралтейство, Петропавловская крепость и императорский Зимний дворец. Это были хозяева одной части Петербурга, но Петербург был неотделим от Петергофа, Ораниенбаума, Стрельны, а дальше — от Ропши, Царского Села, Павловска. Хозяином же всего Петербурга был именно Кронштадт, и окружал

он собою все море. А в Кронштадте повелевал форт Тотлебен с частыми артиллерийскими учениями, прожекторами и плавающими вдоль горизонта эскадренными судами.

И Достоевскому, и Тотлебену в Инженерном училище приходилось много заниматься архитектурными стилями и черчением. В свои военные проекты Тотлебен вносил черты архитектурного стиля, в инженерию — искусство зодчего. А Достоевский испещрял рукописи не только зарисовками лиц и фигур, что естественно для писателя, но и архитектурными мотивами. Оба — петербуржцы, оба принадлежат городу, славному своей планировкой. Как и Тотлебен, Достоевский был, на свой лад, превосходный планировщик, тщательно вычерчивающий сюжетные линии, выверяющий их параллелизм, психологические соотношения. Достаточно вчитаться в его заметки к «Идиоту», чтобы увидеть, сколь упорно он ищет сопоставления или противопоставления характеров, как стремится распутать и свести все концы с концами.

Но разве и в строгой планировке Петербурга нет величайшей запутанности? Системы дворов напоминают севастопольские бастионы, точней, севастопольские бастионы сравнимы с дворовыми лабиринтами Петербурга. Или — с какой парадоксальной запутанностью накладывается рисунок Екатерининского канала — искусственного, прорытого — на сеть петербургской Коломны: канал перед вами, а оглянешься — он уже позади вас, вьется как латинское S!

Куоккала — пристанище художественного и интеллектуального Петербурга. Здесь Пенаты Репина — объединяющие и художников-реалистов, и авангардистов. Здесь постоянно живет семья Анненковых, сыгравшая большую роль в культурной жизни России, а сын Юрий — уже и в художественной жизни эмиграции. Здесь — автор известных балетов Альберт Пуни, со своим многочисленным семейством — его старшая дочь Мария Альбертовна экстравагантностью поведения похожа на Настасью Филипповну. Живет Горький, бывает наездами Мейерхольд. И чего только не вытворяет Корней Иванович Чуковский в местном театрике, или прямо в вагонах Финляндской железной дороги, возвращаясь из города, или на пляже. Хозяйка здешних дешевых дач — финны — еще не перестали крестьянствовать и рыбачить. Вот на море гуськом плывут горбоносые финские лодки под трапецевидными парусами и тут же «чистит перышки» элегантная яхта местных шведов.

А когда навещает в Пенатах Репина красавец Леонид Андреев, сходит с ума все женское общество, дамы специально прогуливаются, в надежде столкнуться с ним, и потом обмениваются впечатлениями.

Где-то в Куоккале таится и партийная жизнь революционеров. В Первую мировую появляются беженцы поляки.

Вавилонское смешение языков: слышна речь русская, финская, французская, шведская, немецкая (бонны, как правило, из немок), особенно на пляже, где у своих купальных будок сидят затянутые в корсеты дамы. Только Мария Пуни готова по первому зову подростков пойти на «гигантские шаги» и с поразительным бесстрашием позволяет «заносить» себя в «звездочке».

А цыгане, вставшие табором за церковью, гортанно выкликающие свое «лудить, паять котлы, самовары, кастрюли» и в Иванов день отплясывающие с дачниками, поднося гитару чуть не к носу кого-нибудь из них, обычно хорошо им знакомого, — разве все это вместе не... «петербургское общество»?

Ну а другой Петербург — на противоположной стороне «моря», там живет клан Бенуа. И там же — царская фамилия; ее присутствие всегда выдает силуэт дежурного миноносца перед мыском «Собственной дачи», где большая семья царя тоже тешится играми — но их игр я не знаю. И задним числом думаю, что Распутин внешностью напоминает Рогожина, а царевы дочери — дочерей Епанчиных.

...Сколько во всей той жизни интересного, таинственного, непостижного моему детскому разумению!

Пройдет много лет, и я буду вспоминать Куоккалу, лежа грудью на широком монастырском подоконнике в Соловецком концлагере. И — ожидать своего... «Достоевского». Свет после предупредительных миганий погашен, и я

жду, когда последний железнодорожный состав прогремит вдоль насыпи, проложенной по узкой полосе меж Святым озером и монастырской стеной. К этому составу прицеплен единственный пассажирский вагон. А в нем когда-то, возможно, ехали... Федор Михайлович и Анна Григорьевна из Новгорода в Старую Руссу! Да-да — почему нет, — ведь ГПУ именно с той дороги перевезло рельсы, вагоны и паровоз на Соловки. Однажды я даже ехал в этом вагоне — за черникой. Заключенных возили собирать чернику, жены начальственных чекистов варили из нее для своих семейств варенье. Грохот «достоевского» поезда я слушал, укрываясь коротеньким детским одеялом, натянув его под подбородок углом, чтоб было длиннее.

...В воздухе «большого Петербурга» растворен, разумеется, не один Достоевский. Я особенно люблю террасу Монплезира, где, по преданию, Лермонтов написал свой «Парус», где у пирса мерещится «пироскаф» мадам Курдюковой, уезжавшей «а летранже».

Менее чем через сто лет поплывут мимо в Штеттин немецкие пароходы, увозя в эмиграцию цвет русской интеллигенции.

Санкт-Петербург.
Июнь 1996.

Немного у нас осталось деятелей культуры, явившихся на свет в первые одно-два десятилетия нашего века. Лихачев, Солженицын, Свиридов — а дальше назвать уже затрудняемся. А ведь так не должно было быть! Но поколение это, как и последовавшее за ним, выкошено еще в первые десятилетия коммунистической деспотии.

Культура — это прежде всего преемственность, последовательность. Это еще и живое, непосредственное общение классиков с несколькими поколениями своего века. Во Франции таких классиков при жизни называют «бессмертными». У нас же для них — не только живых, но и ушедших — не существует подобного определения. Наши нынешние общество и культура нигилистичны к авторитету и, скорее, работают на занижение, чем на культурное почитание.

В драматичных условиях современной России мы отмечаем девяностолетие Дмитрия Сергеевича Лихачева. Мы благодарим его за труды, за книги, за подвижническое служение гуманитарной науке.

Дорогой Дмитрий Сергеевич! Ваша жизнь — это Соловецкий концлагерь, это блокадный Ленинград, это борьба за спасение национальных сокровищ духа, это, наконец, открытие целого материка русской литературы допетровской поры... Ваши скромность, корректность, трудолюбивое подвижничество — из лучших свойств российской интеллигенции.

Долгих Вам лет и продолжения плодотворной деятельности!

Новомиргоры.

А. МИХЕЕВ



ЗАПИСКИ МЕЛКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Нет, я, конечно, не коммерсант. Я, наверное, все-таки литератор: у меня вышли в Москве в конце безвластных восьмидесятых подряд три книжки прозы: две собственных и одна — переводной роман с английского, текст которого сначала появился в толстом, очень прогрессивном тогда журнале «Урал». Работал корреспондентом московского журнала «Родина», печатался в периодике и вполне мог влиться в те дни в Союз писателей, не имея я, на свою беду — или, наоборот, на счастье, — каких-то революционных принципов на этот счет; и продолжал бы по инерции носить членский билет СП и сейчас, когда ни в принципах, да и ни в самом факте вступления в Союз писателей никакой особой нужды нет.

В общем, хочу сказать, что человек я все же в большей степени интеллигентской, интеллектуальной, художнической жилки, и производство копченых кур в городе Новосибирске с их последующей реализацией и получением гешефта для меня явилось областью достаточно новой и незнакомой. Как, собственно, и вся коммерция. Господи, вспомнить только, с кем на рассвете «перестройки», лет восемь назад, людям, считавшим себя представителями независимых и свободных профессий и решившим попробовать себя на новом, соответствующем велениям времени «кооперативном» поприще, приходилось иметь дело: вышедшие из мест заключения уголовники, алкаши из ЛТП, никогда не работавшие бичи, бомжи, пройдохи и, наконец, откровенные бандиты составляли им конкуренцию. При этом, признаюсь честно, самое любимое мной состояние в жизни — это «курить бамбук», то есть созерцать, то есть ничего не делать. А «напрягаться» — это для меня всегда связано с чудовищными психическими затратами, под влиянием несчастного свойства увлекаться чем ни попадя, «застревая» на каждой очередной новой страсти целиком.

В какие только «ипостаси» не пришлось мне перевоплощаться в моей «прошлой» жизни: в преуспевающего научного работника, нефтеразведчика, изыскателя-гаежника, алкоголика, деревенского учителя, дельтапланериста, распутника и отца семейства. Упустить такой фарт — предпринимательство, не дотронуться до этой сокровенной тайны всех пороков, не окунуться в мир бизнеса, причем если уж окунуться, так с головой, так, чтобы руки дрожали при подсчете выручки, — нет, упускать такую возможность было бы высшей глупостью!

...Теперь у меня от той «красивой» предпринимательской жизни, кроме долгов и изрядно побитой «тойоты» выпуска 1991 года, ничего не осталось; я опять вернулся к своему «корыту», к «перу и бумаге». А мой бывший компаньон по последнему предприятию, таксист Коля, — который очень удачно, вместе с другим учредителем нашей коптильной «фирмы», незабвенной Надеждой, воспользовался подвернувшимся случаем и скинул меня, как только дело мы поставили и деньги пошли, и который получает сейчас походя свои стабильные пять тысяч долларов в месяц, покупает квартиры, джипы «сурф»,

Продолжаем публикацию «физиологических очерков» наших дней (см. Н и к и ф о р о в Вл. Записки из подвала. — «Новый мир», 1995, № 12). И впредь: читатели, не ленящиеся фиксировать на бумаге свою жизнь, житейские передраги, быт и нравы современности, — желанные гости на страницах «Нового мира».

носит пистолет за поясом, имеет пятнадцать человек в своем подчинении, посылает их за пивом — при встрече со мной тепло отечески треплет меня по плечу и учит жить.

Я вернулся к своему «корыту». Но вопреки закону «вытеснения» историю нашего предприятия, самого крупного, кстати сказать, из всех частных копильных цехов в городе, которое уже при мне бесперебойно выдавало более двадцати пяти тонн готовой продукции в месяц, расположения которого уже тогда искали реализаторы бройлерной птицы с птицефабрик, а с утра выстраивались в очередь оптовики, с качеством которого знакомы многие покупатели в городе, я помню во всех подробностях. А сами Надя и Коля, несмотря на все их по отношению ко мне вероломство, и являются, на мой взгляд, теми «новыми русскими», которые — в отличие от экспатрированных воротил и перекачавших на Запад капиталы гешефтников — приносят обществу пользу. Вцепившиеся мертвой хваткой в свое маленькое производство (да что эти пять тысяч долларов в месяц по сравнению с ворованными миллиардами), такие вот мелкие предприниматели и работают на восстановление отечественной экономики, ежедневно борются с деструктивными законами, рождаемыми в мафиозной глубине госаппарата новыми финансовыми и промышленными воротилами, противостоят выморочной политике налоговой инспекции, научаются работать в обстановке вездесущего рэкетирства, преодолевают повышенный интерес санитарного, ветеринарного и эпидемиологического надзоров (своего-то производителя легче придушить, чем зарубежного шарлатана, поставляющего сюда всякую запрещенную к продаже в их странах недоброкачественную дрянь). Они вкладывают в производство свои маленькие средства, пусть тоже добытые не всегда красивым путем, но — в производство и здесь. Они дают рабочие места и создают отечественную конкурентоспособную продукцию; и если уж от каких-то «новых русских» и зависит нормализация жизни в стране, то именно от таких, как они.

...В то время как знакомая моих давних школьных друзей Надежда организовывала в Новосибирске очередной (каждый год умиравший) строительный кооператив, а таксист Коля с энтузиазмом вкалывал автослесарем в чьей-то автомобильной мастерской, я в Москве около станции метро «Университет» начал спекулировать... картошкой.

Шла весна 1992 года. Ельцин подтвердил указом, что делать можно все. Народ в состоянии ступора взирал на непрерывно, как в счетчике таксомотора, выскакивающие новые умопомрачительные цены и на стремительно, как ускоренные кадры в старом немом кино, меняющуюся жизнь.

В это время я, после опыта двухнедельного голодания, когда на выходе из него ешь одну только кашу и травки, вдруг решил, что не боги горшки обжигают: пришла пора серьезно заняться коммерцией, открыть свое дело.

Для этой цели я привез из Новосибирска свой «ЕрАЗ».

У меня оставался от кооперативных времен, от моего дилетантского участия в деятельности одного новосибирского рыболовецкого кооператива, давно уже благополучно почившего, допотопный старый легковой фургон Ереванского автомобильного завода, который я использовал по преимуществу для поездок на охоту и на который у меня был выправлен смачный документ, позволявший мне на нем «осуществлять творческие поездки, связанные со сбором литературного материала по всей территории СССР». Именно это зеленое чудище я из Новосибирска и пригнал.

В Новосибирске стояли еще морозы, сахар стоил уже сто рублей килограмм, в два раза дороже, чем в Москве. Возвращаясь после недельного пребывания в Новосибирске обратно в столицу, я увез с собой денег на два мешка сахара, заказанные мне родственниками для их летних садоводческих нужд. Именно эти деньги мне и помогли, с них-то все и началось, именно на них я и купил первую тонну картошки, поскольку своих денег к тому времени у меня уже совсем не осталось (не будь дурак, последние рубли с книжки, куда они не обесценились, я потратил еще в 1991 году).

Итак, я пригнал свой «сарай» в Москву; как я проехал эти четыре тысячи километров — это отдельный разговор. Скажу только, что ездил на этом ар-

мянском чуде в Москву не раз и, были случаи, добирался, когда у машины переставало работать уже почти все, кроме поршневой группы: и первая и задняя скорости, и топливный насос, и сцепление, и задние тормоза, и одна из рессор, и радиатор, и кардан, и колеса, после чего я ее несколько месяцев ремонтировал.

...Свою первую тонну картошки я привез из Рязани. Потом уже не забирался так далеко и ограничился расстоянием в сотню километров. Но рязанская, купленная прямо на рынке, картошка была исключительная. Я продал ее за один день у метро «Университет» и сразу сделал себе рекламу. Потом, хотя картошка была уже подмосковная, хозяйки зачастую предпочитали покупать ее все равно у меня, помня ту, первую.

Я только постоял, открыв заднюю дверь «ЕрАЗа», десять минут до первого покупателя, а потом ко мне уже образовалась очередь.

Благословенное было время! Никаких тебе инспекторов, проверяющих, указывающих, ни милиции, ни санэпиднадзора, ни фактур, ни разрешительных бумаг, ни налогов — и торговать можно было практически где угодно. Вытаскиваешь только какие-нибудь, какие ни на есть, весы, встаешь с краю рыночка, а то и вообще где попало, лишь бы было пооживленней, — и только успевай взвешивать и считать деньги.

Продал я тогда на сумму в два раза большую, чем потратил. Через день поехал за следующей тонной и продал ее так же быстро, накрутив на этот раз только восемьдесят процентов, потому что в ближних районах покупал картошку уже дороже. После третьего раза я уже смог купить сахар родственникам, тем самым избавившись от своих долгов.

Регулярно через день я уезжал рано утром и привозил картофель к вечеру, купив его в какой-нибудь деревне. Это была самая сложная операция. Был разгар весны, погреб освобождён, народ отбирал семенную картошку и продавал остатки. Но вызнать, найти, помочь достать из погреба, а потом еще сторговаться было делом хлопотным.

На второй неделе работы у меня была уже продавщица: бабушка-пенсионерка, мать одних моих хороших знакомых, до сих пор благодарна мне за два процента с выручки, которые я в то голодное время, пока она работала у меня, ей платил. На третьей неделе я взял еще и водителя на свой «Запорожец», задействовав уже весь свой «автопарк». Теперь я только ездил в область для закупа, а продавалась картошка и подвозилась из подвала нашего дома к месту продажи уже без меня. Оборот шел в два раза быстрее. На столе моего семейства появились ранняя зелень, дорогостоящие свежие огурцы и помидоры, которые я имел возможность купить у соседей по рынку в конце торгового дня. Но не это было главной моей задачей, и как мои домашние ни подбивали меня на какие-то более существенные приобретения, я сопротивлялся упорно, маниакально держа в голове свою главную цель — капитал. Тут я стоял насмерть, думая лишь об эффективности его оборота.

На втором месяце у меня денег было уже столько, что я перестал вписываться в свою торговлю. Увы, я не имел возможности вкладывать в закуп все деньги, большая часть не приносила прибыли и оставалась без движения. «ЕрАЗ» мой больше тонны за раз привезти не мог; я встал перед выбором: либо каким-то образом расширять дело, либо переходить на более дорогой товар. Я внимательно присматривался к тому, как происходила торговля огурцами, которые подвозились из парников Подмосковья и которыми занималась в нашем районе азербайджанская община. Огурцы шли влет. Парню-продавцу только сгружали с машины ящики и выставляли весы, грузовик уезжал определять следующего продавца в другом месте и забирал отторговавшегося к вечеру. Но эта ниша была уже занята, новенького сюда б не пустили. Освоившись на своих местах, продавцы чувствуют себя там хозяевами и агрессивно препятствуют появлению конкурентов и снижению цен. Меня и с картошкой-то уже не раз за сбивание цены пытались трясти за грудки конкуренты, а я, как человек некоммерческой художественной сферы, в таких случаях всегда пасовал. Я не был еще готов отнестись с энтузиазмом к романтике Дикого Запада и с ружьем защищать свое ранчо: два раза меня выживал с места на другую станцию метро один особо горячий торгош с тремя тоннами картошки на

«ЗИЛе», и оба раза я уступал. Возможность быть побитым или посаженным на перо не входила в мои планы.

Так что оставалось второе.

Вторым моим товаром стал сирийский тюль. Гардинная ткань фирмы «Olabitex», коей сейчас, четыре года спустя, завешано, пожалуй, каждое десятое окно в стране.

У нас в соседках по дому жила одна одинокая молодая мать с пятилетним сыном, с которой мое семейство было в приятельских отношениях. Работала она диспетчером в ДЭЗе и единственно, что могла, — это после работы продавать на углу индийский чай, которым ее снабжали имеющие связи с оптовыми базами подруги-продавицы. Чтобы после этого сразу бежать тратить заработанные деньги на какую-нибудь радость для ребенка.

Соседка только сказала мне, что дед ее знакомых дворников, живущих в общежитии, татарин, приезжает к своим внукам раза два в месяц на день-другой купить в магазинах материал и увозит его в рюкзаке куда-то к себе в Татарию, чтобы продавать его в больших городах — в Казани, Канашах, Ульяновске и т. д., — приходя с ним в проектные институты и разные учреждения¹.

И уже через два дня я ехал на своем «Запорожце» открывать себе новые возможности, горизонты и края.

Тюль оказался действительно товаром золотиносным. Если бы у меня было достаточно денег и я мог бы забивать им «Запорожец», я бы озолотился. Но в том-то и дело, что денег мне всегда за всю мою торговую деятельность — когда у меня что-то выстраивалось и «стрелял» какой-то товар — хронически не хватало. Не имел я ни партийных денег, ни льготных кредитов, негде было украсть, нечего было заложить существенного, и поэтому тот сказочный, фантастический, разгульный, разудалый момент в истории нашей страны, характеризовавшийся суперприбылями и дележом общественной собственности, оказался мне «не по чину».

Главное достоинство тюля — что он, дорогостоящий, компактен, легок и в одну вовсе не тяжелую сумку его входило на сумму, равную стоимости почти двадцати тонн картошки. И бешено, я подчеркиваю это слово — бешено, тюль раскупался женщинами.

Но до того, как я все это выяснил, мне пришлось изрядно потрепать нервы. В первую езду занесло меня от Москвы аж за тысячу километров. В направлении, которое я выбрал, трудно было найти большой и удобный город. В Пензе не покупали, в Кузнецке не нашел даже, где пристроиться, в Сызрани меня ограбил наглый золотозубый цыган, принудив на рыночке, на который я выкатил свою штуку тюля на капот «Запорожца», чуть ли не половину всего моего запаса продать за цену в полтора раза ниже московской. А что мне было делать, как постоять за себя — в чужом городе, на чужом рынке, с уверенно держащимся наглым цыганом, застрашавшим меня своим табором?.. Пришлось сматываться оттуда подобру-поздорову. Уже одолевали сомнения, продам ли я свой товар, или он останется при мне навсегда. Стал подозрителен, ночевал только на заправочных станциях в машине, и когда наконец забрался за тысячу километров от дома и попал в Тольятти, то, спускаясь с Жигулевских гор по серпантину дороги и обозревая вдаль за Волгой бесконечные кварталы домов, я не думал еще, что это будет мой город, мое Эльдorado. Пусть и тут мне пришлось безуспешно постоять у двух институтов, ловя кислые взгляды сотрудников или выслушивая жалобы по поводу того, что второй месяц не выплачивают на работе зарплату (вот когда это началось — еще в 1992-м). И пусть я продал там всего каких-то несколько десятков оставшихся метров, причем одну половину женщинам в случайном пошивочном ателье, а вторую — опять цыганам, отмеряя тюль на неструганом столе в грязном дворе какого-то дома, пусть прибыль от всей поездки была самая минимальная,

¹ Потом я эту женщину кое-как отблагодарил. Я давал ей без востребования деньги в долг, находил иногда за вознаграждение работу в своем «деле», но тем не менее, и я и она, оба мы понимали, что по сравнению с тем, сколько я на ее идее заработал, все мои подачки — пустяки. Ее, основанной на наблюдениях, «интеллектуальной собственностью» я воспользовался практически безвозмездно.

домой я не ехал — летел. Интуиция подсказывала: место найдено и дело выгодное.

Через несколько дней с сумкой и рюкзаком поехал я в Тольятти опять — на этот раз поездом, гнать «Запорожец» за тысячу километров посчитав нерентабельным.

Конечно, оно тревожнее, но зато ты не так привязан к машине, а в поезде имеешь возможность спать хоть все пятнадцать часов.

И таким образом я принялся ездить в Тольятти через каждые три-четыре дня.

Я вел партизанскую жизнь, маскируясь под туриста. Это было не лишнее, если учитывать криминальную обстановку в Тольятти вокруг главного автомобильного завода страны, о которой писали тогда все газеты, употребляя страшные слова: «автомобильный бандитизм», «рэкёт», «спекуляция», «мафия», — тогда еще не так затрепанные, как нынче.

Поскольку единственный прямой поезд в Тольятти из Москвы приходил туда вечером, я был вынужден проводить в городе ночь обремененный тюками товара. На вокзале, пристанище всех бичей и туристов, я ночевать не рисковал, а ночевал в палатке в зоне отдыха на берегу Жигулевского водохранилища. Рюкзак и сумку с дорогостоящим товаром прятал, тщательно маскируя, в лесу, для чего использовал весь свой охотничий опыт (кстати сказать, за все эти годы «большой» коммерции на охоте по-настоящему я так ни разу и не был). Утречком, сняв палатку, с которой, к слову, прошел не раз по Алтаю, бродил по Северу, которую сам шил и довел ее облепченный вес всего до одного килограмма (Боже ж мой, на что тратишь накопленные за столько лет бегства от «тоталитаризма» благородные навыки бивачной жизни!), я доставал из укромного места товар, выбирался из лесу, садился на конечной остановке на троллейбус, чтобы доехать на нем до какого-нибудь управления завода, конторы СМУ, исследовательского института — в общем, туда, где работает много женщин. Стоило войти в вестибюль, договориться с вахтером, чтобы выделили какой-нибудь столик, раскатать по нему, пуская волной, образец...

И в конторе начинался переполох, ни одна женщина не могла остаться равнодушной. Этот гардинный материал, широко потом разрекламированный по центральному телевидению, расцветок самых разнообразных, с ярким и богатым рисунком, когда он лежит сверкая люрексом на столе или собранный буфами вывешен в ассортименте на стену, действует на женское подсознание безотказно, не давая пройти мимо и задевая, очевидно, самые тайные душевные струны.

Новость о гардинном материале в вестибюле моментально передавалась из комнаты в комнату, из отдела в отдел, из здания в здание, и скоро около моего столика толпился уже весь женский персонал, не обращая внимания на рабчее время.

И нельзя сказать, что этого материала не было в магазинах Тольятти, он был, особенно в магазинах коммерческих. Стоил, правда, в два раза дороже, чем в Москве, в то время как у меня наценка была всего процентов пятьдесят — сорок. Но главное было даже не это, главное — был сам материал, его эстетическое воздействие в казенном институтском фойе или в сером конторском вестибюле. Ну и еще, конечно, срабатывал эффект заразительности: покупала одна, вторая, третья — за ними уже все. Пусть два месяца не давали получку, для моего товара средства находились всегда. Я даже сравнивал себя порой с корабейниками из «Записок охотника» Тургенева, которые прозывались «орлами» и которых бивали, отловив на задворках деревни, раздосадованные мужья. Женщины занимали, перезанимали, ездили в обед домой и покупали, покупали у меня тюль.

Отторговывался я за два-три часа и поскорей отбывал в Москву, чтобы через три дня вернуться вновь. Капитал мой рос в геометрической прогрессии. Мое воображение рисовало уже пять тысяч процентов дохода в месяц — фантастическая цифра, но основания для нее все же были: реализация шла как по маслу. Одну улицу Промышленную я обрабатывал за несколько приездов, потому что только на ней одной была уйма заводов и предприятий. Я был как одержимый, не давая себе ни дня отдыха, загоняя себя как взмыленного коня. Ни одна другая страсть, ни одно увлечение никогда не захватывали меня столь

сильно. Женщины часть своего внимания к тюлю переносили и на меня, и хотя подчас среди них были и очень привлекательные, даже мысленно я не соблазнился ни разу. Какая-то иссушающая одержимость владела мною.

С места продажи я исчезал всегда незаметно. Рюкзак — в сумку, оглядеться, нет ли за тобой наблюдающих глаз, и прыгнуть в проходящий мимо троллейбус. Потом для надежности — как в детективных фильмах, заметая следы — поменять транспорт. И только далеко оторвавшись от места действия — ощутить облегчение. Операция завершилась. Можешь поднять голову и посмотреть на небо, вздохнуть полной грудью, сходить в столовую, в кино, наконец. Но поскромнее, не зарываться. И лучше смирить нетерпение и не спешить считать деньги.

Капитал рос как на дрожжах, но много времени отнимала дорога. Ведь я не железный, ездить взад-вперед было физически тяжело. Поэтому с наступлением летних отпусков я, решив полностью посвятить себя делу, отправил семейство на все лето отдыхать и выписал из Новосибирска к себе двух болтающихся без дела на каникулах племянников.

Стало полегче. Мы все так же «косили» под туристов. Я перегнал в Тольятти «Запорожец» и жил в нем. Ребята подвозили материал, купленный в указанных им магазинах в Москве, используя для этого рюкзаки и байдарочные пеналы, кстати очень удобные в этом отношении: в них входило тюля по нескольку, намотанных одна на другую, штук. Я же встречал их на вокзале в Тольятти и отправлял с деньгами обратно, предварительно научив, как вести себя в поезде: не выходить из купе в тамбур курить вместе, есть только в своем купе, пива не пить, в скандалы не вмешиваться, спать, держа деньги в рюкзаке под головой, и никогда — в криминальных ситуациях — за сохранность их в борьбу не вступать. К этому времени я уже расширил зону деятельности настолько, что добрался до многочисленных предприятий и управлений автомобильного завода. В одной конторе больше двух раз старался не появляться; ведь дни авральной покупки не могут следовать без конца один за другим, мое дело было насытить товаром основную массу работников, ну а кто отоварится не успел — его дело. Иногда мы вместе уезжали в Москву, тогда я оставлял машину на автостоянке неподалеку от вокзала, чтобы было удобно по возвращении загружаться. А иногда мы ночевали в машине все трое, и утром я отправлял ребят в Москву самолетом.

Мои сорок процентов прибыли тикали теперь как часы каждые два с половиной дня. Деньги росли будто сами; все было накатано и отработано. Но мне все равно не было покоя, я все равно страдал, что оборот слишком растянут из-за неудачного расписания поездов: время не ждет, конъюнктура может вдруг измениться...

Вот на склоне дня я лежу один на бережке Жигулевского водохранилища, помешиваю время от времени готовящуюся на костре в приспособленной мной под котелок пустой консервной банке кашу и посматриваю на двух загорающих в отдалении на пляже девушек. Они болтают, смеются, прячут от посторонних, если те проходят уж очень близко, голые груди в песок.

За спиной у меня мой «Запорожец», в его багажнике товара на несколько таких машин. Светит еще горячее солнце, вода искрится, белеют паруса яхт вдали.

И мне б отнестись ко всему этому как к приключению: надо же, как здорово, думал ли я когда, что буду лежать вот так, с кучей денег, на берегу подобно автотуристу, что занесет меня на Жигулевское море, что вдруг совмещу свою выпестованную свободную странническую жизнь — с авантюрой торговли?

И, казалось бы, радоваться уже только тому, что деньги просто растут, что завтра будет худо-бедно больше, чем вчера, так нет же, азарт прибыли мешает покою.

Или вот ночуем с одним из племянников в лесопарковой зоне какого-то санатория в тесной моей палатке, которую ставили уже в темноте на ощупь, слыша неподалеку подгулявшие голоса. А ночью спасаем от начавшейся грозы свой ценный груз, суемся под проливным дождем вокруг палатки, промокая до нитки и пакуя объемистые тюки в полиэтиленовую пленку. А свежим и знобким утром выходим с рюкзаками из леса в залитый туманом город, чтобы

на первом же подвернувшемся предприятии, выплывшем из белой мглы, предстать со своим материалом перед пораженным взором здешних работниц.

Но, повторяю, снедает какое-то чересчур уж серьезное отношение к предмету: обуревает жажда исправить ошибки, наверстать упущенное, сделать процесс рентабельнее, угнетает какое-то «профессиональное» отношение к делу. Как сократить срок завоза до одного дня, на сколько партий разделить поставку, на сколько частей — общую сумму, с которой ездят пацаны (от этого во многом зависит процент прибыли), как полнее охватить город... Я уже думаю: быть может, это наследственное? Мой прадед по материнской линии Яков Верхов был купцом в Новониколаевске, имел серьезный зарегистрированный капитал во сколько-то там десятков тысяч рублей, соответствующий капиталу купца второй гильдии, магазины, доходные дома, один из которых — двухэтажная каменная гостиница с голыми лепными амурчиками по карнизу — был определен советской властью под областную прокуратуру. Да, может быть, это и наследственность, кровь. И единственное памятное светлое впечатление — те независимые девчонки на берегу.

...Провожу свободные два дня один, в ожидании рабочего понедельника, в лесу за Тольятти — далеко от города, по дороге в аэропорт, на живописной поляне, в пору самого цветения цветов, без гнуса, в сухом бору. Окружностью стоят деревья, пахнет раскаленной на солнце корой, хвоей; а я — в глубине своего «Запорожца» размышляю, как увеличить доход, считаю и пересчитываю потенциальные деньги, строю планы последующих предприятий, выдумываю новые способы увеличения прибылей. И не могу ничего с собой поделат. До боли в области желудка мучаюсь, борясь сам с собой, понимаю уже, что это сумасшествие: выгляни, посмотри вокруг, передохни, — но, увы, не в силах переключить себя на другое. Уже не я контролирую ситуацию, а она полностью завладела мною.

Наконец помогло врожденное свойство остывать так же быстро, как загораться. Вдруг, после четырех месяцев интенсивнейшей работы и сумасшествия, мне все опротивело: надоел Тольятти, тюль, торговля, галдящие покупательницы и — деньги. Глаза б мои больше ни на что это не глядели. Впрочем, не зря я загонял и ребят и себя, не давая роздыха, не зря спешил, опасался конкурентов и неприятностей. Однажды хорошо одетый молодой человек на «Жигулях»-девятке, тоже торговавший, как выяснилось потом, по вестибюлям контор детскими вещами, заглянул на автопредприятие номер один, где мы как раз торговали, и увидел столпотворение, производимое нашим тюлем. Боквым зрением охотника, отмеривая материал и считая деньги, я отметил и его появление, и его повышенный ко мне интерес, и как уединился он с моим племянником в стороне у окна, предлагая, как потом выяснилось, племяннику покупать материал у нас оптом; а племянник лишнее наболтал, и уже на следующей неделе нас ожидала неожиданная встреча с длинноногими продавщицами, торговавшими на заводе «Химпрепараты» наряду с детскими распашонками и... нашим тюлем! Прежний ажиотаж быстро сошел на нет. Сожалел все-таки о накатанном предприятии, я еще отправил под конец лета в Тольятти пацанов одних, учитывая их уже достаточный опыт и знакомство с особенностями города. Дав в напутствие им массу ценных указаний и стимулировав процентом от выручки. Но у них ничего толкового не получилось. Они прибились как раз к рутинной торговле, к полюбившимся прилавочкам-грибочкам у проходной завода «Трансформатор», где могли удобно продавать по нескольку десятков метров в день, выкраивая себе на сантиметрах барыш и ночуя в палатке в лесу у завода автоагрегатов. Искать новое место они не стали, и без меня, без подгонялы, хорошей работы не сладилось. Хорошо хоть не обокрали их, что могло вполне стать реальностью, поскольку они нарушили наше главное правило — больше двух раз на одном месте не торговать, чтобы не примелькаться. И хорошо хоть привезли остатки. Я их вытребовал назад в день очередной связи по телефону.

И на этом мы сезон завершили.

Денег у меня было как раз, чтоб купить квартиру. Но квартиру почему-то я не купил, не купил вообще ничего существенного, даже на доллары деньги не поменял, и, конечно, сделал ошибку.

Мы вернулись в Новосибирск; я отправился на Алтай — отдышаться. Уже спустившись с гор, на автобусной остановке в Усть-Коксе — в полусуточном ожидании автобуса на Горно-Алтайск — возле столовки я заметил девушку-калеку с церебральным параличом. Плохо слушающимися пальцами она срывала с дерева пыльные яблоки и ела, очевидно не имея средств на столовую. Вдруг я что-то такое в себе почувствовал и, преодолевая жмотство, подошел к ней и дал денег, не очень много, но почти все, что у меня от алтайского путешествия оставалось. Она остолбенела: для нее, верно, была это очень большая, почти невероятная сумма...

Страна стояла перед новым витком перехода от социализма к капитализму. Вместе с нею и я перешел от тюля — к копченью бройлерной птицы, как вскользь и упоминал в начале этих записок.

Но это, как говорится, другая история, и о ней — в другой раз.

Новосибирск.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ



ДОНОС НА СОКРАТА

Они сели в пролетку и покатали по полям, в августовском полдне, продолжая о чем-то беседовать, — два старика с пышными седыми бородами — Толстой и Короленко, два классика русской литературы.

В эту их встречу в Ясной Поляне о чем они только не говорили! Конечно же, о наделавшей столько шуму статье Короленко против смертной казни — «Бытовое явление», — которую открыто и горячо поддержал Толстой, конечно, о литературе, говорили о живописи и музыке. О загадочной и противоречивой русской душе, соединившей тьму невежества с духовным светом. Короленко рассказывал о своем хождении по Руси — на открытие мощей святого Серафима Саровского и к берегам озера Светлояр, укрывшего в своих водах легендарный Град Китеж, где был свидетелем массовых молений. Толстого увлекла мысль, что собравшиеся в лесу богомольцы за видимым, материальным прозревают невидимое, духовное... Теперь хозяин провожал гостя: бег коня, топот копыт, два седобородых старика в пролетке — трудно было даже разобрать издали, где Толстой, где Короленко.

Это было за три месяца до смерти Толстого. 1910 год. Революция уже захлестывала Россию. До Красного Октября оставалось семь лет — срок исторически крошечный. Но Толстого и Советскую Россию разделили не годы — эпоха.

Короленко пережил кровавую страду революции и Гражданской войны. «Берегитесь же! — бросил он в лицо большевистским вождям. — Ваша победа — не победа. Русская литература... — *не с вами, а против вас*».

Парадокс нашей истории — классики встречаются... на Лубянке! Их имена оказались рядом и в секретных архивах советских карательных органов: в одних и тех же следственных делах отпечатались крамольные мысли Короленко и учение Толстого, соседствуют судьбы их друзей и учеников; их родные объявляются преступниками.

Комиссар Ясной Поляны

«После Великой Октябрьской социалистической революции Музей-усадьба Ясная Поляна был окружен исключительным вниманием и заботой Советского правительства...»

«На нашу семью из четырнадцати человек мы берем четверть фунта масла в день, — редко полфунта. Молока никто не пьет вдоволь, — часто за чаем переливаем из одной чашки в другую друг другу, чтобы всем хватило... Конечно, мы не голодаем, но я часто чувствую, что недоела...»

Две цитаты. Первая — из советского путеводителя по Музею «Ясная Поляна» — тиражировалась бесчисленное количество раз. Вторая — из письма дочери Толстого Татьяны Львовны (1919 год), глубоко упрятанного в хранилищах КГБ.

Так чем же все-таки стала для Ясной Поляны советская власть — заботливой матерью или злой мачехой? И какой увидели революцию обитатели усадьбы Толстого?

Продолжаем публикацию глав из новой книги Виталия Шенталинского «Рабы свободы. Книга вторая». См.: «Новый мир», № 4, 7 — 8 с. г.

В это время там жила его вдова Софья Андреевна, дочь Татьяна, многочисленная родня, от глубоких стариков до малых детей. Это был единственный в своем роде заповедник культуры дореволюционной России, со своими традициями, бытом и еще живой памятью о великом писателе.

В 1918 году Совнарком передал усадьбу в пожизненное пользование вдове Толстого, установил ей пенсию. Музея здесь пока не существовало, хотя поток посетителей, жаждущих увидеть место, где жил и творил гений, то редая, то увеличиваясь, никогда не прерывался, — роль гидов исполняли родные писателя. Делами усадьбы заведовало Тульское просветительное общество «Ясная Поляна» — пусть не очень надежная, но все же какая-то общественная опора, необходимая, когда кругом грабили, громили, захватывали и жгли помещичьи владенья.

Тем не менее усадьба постепенно приходила в упадок: зарастал парк, гибли деревья в саду, разрушались постройки. Ветшала в доме мебель, исчезали книги из библиотеки. Обитатели Ясной еле сводили концы с концами. Спасались огородами — даже цветочные клумбы засадили овощами. Влезали в долги. Продали корову и кое-что из одежды. Татьяна Львовна, которая вела все хозяйство, вязала пуховые платки и шарфы и возила в Тулу — дочка Толстого стояла на рынках, предлагая свою продукцию, и удивлялась, что все обращаются к ней на «ты», впрочем вполне добродушно.

«Устали все, — записывала в дневнике Татьяна Львовна. — Продать ничего нельзя, купить нельзя, иметь у себя нельзя. И что самое несносное, это то, что никто не знает своих прав...» Первоначальное отношение к большевикам — возмущение и отвращение — сменилось жестами примирения, неизбежными — чтобы выжить. Тем более, что и сами большевики относились к Ясной неоднородно: с одной стороны, недобитые графья, классовые враги, а с другой — дом Льва Толстого, которого признает сам Ленин. Ладить то удавалось, то нет. Чтобы продержаться, приходилось идти на компромиссы с новой властью — но так, чтобы не потерять своего достоинства и независимости.

Очередной кризис назрел весной 1919 года: принимать ли денежную помощь от большевиков? Мучительные сомнения семьи отразились в письме Татьяны Львовны от 23 апреля, найденном в лубянском архиве. Письмо адресовано брату — Сергею Львовичу — в Москву, в ответ на его послание:

«...С твоим письмом я согласна с начала до конца. На всех собраниях я протестовала против принятия денег от правительства на поддержание Ясной Поляны в какой бы то ни было форме. Но меня убедили в том, что ссуду — то есть заем, приемлемо сделать как угодно и, кроме того, что мы сможем эту ссуду погасить с сада или с чего-нибудь другого очень скоро.

Но даже если бы я не согласилась на это, — то мой голос был бы одинок и имел бы мало значения. В одном из заседаний меня поддержал Высокомирный (секретарь Общества «Ясная Поляна». — *В. Ш.*), говоря, что денег от правительства брать не надо, а что можно устроить концерты или что-нибудь подобное. Но потом и он сдался. Я очень жалею, что и я сдалась. Я потом хотела протестовать, но это было бы и поздно, и бесполезно.

Меня утешает то, что ссуды, вероятно, не дадут, а если и дадут, то не скоро, а мы пока перевернемся... и вернем ссуду, когда она получится, не пользовавшись ею.

Ты пишешь — не предпринимать ничего, а кое-как трястись. Где тут предпринимать! Но даже для того, чтобы кое-как протрястись, нужны десятки тысяч ежемесячно. Ведь Ясная годами разорялась, и тут *ничего* нет цельного и прочного. Служащие на дворне живут в таких свинских условиях, что нас справедливо могут упрекнуть за это. У скотников пол сгнил, и к ним течет навоз из хлевов, — крыши текут, печи дымят и пр. Кроме того, на всю усадьбу — бочки, колымаги, телеги — только *один* стан колес. И все остальное в таком же виде. Молотилка сломана, ремень украден.

Кормить служащих нечем, кроме хлеба, которого хватит в обрез. Скотине с большим трудом и за большие деньги (даже и твердые цены выше, чем были когда-то вольные) достаю недостаточное количество корма. Гвозди, веревки, деготь, мелкий инвентарь, части сбруи, части маслодельных орудий — все это достается с огромным трудом и большими затратами или вовсе не достается.

За неимением нужных приспособлений тратится много лишнего труда, который тоже стоит невероятных денег...

Что касается наших взаимоотношений с Тульским обществом «Ясная Поляна», то они сводятся к тому, что оно помогает нам когда нужно и очень мало вмешивается в наши дела. Правление, за исключением П. А. Сергеенко, состоит из очень порядочных людей, очень желающих помочь Ясной Поляне, но имеющих очень мало свободного времени. Они сознательно не ставят никаких условий, находя, что назначение Софье Андреевне «пайка» неприлично и не их дело в это вмешиваться... Когда нужны какие-либо сношения между Ясной Поляной и властями, то это делают члены Правления и в этом главная их роль...»

Татьяна Львовна дает своему брату и сестре Александре, жившим в Москве, несколько поручений: помочь сдать в аренду сад, продать мед, получить от издательства «Задруга», где печатались книги Толстого, какой-нибудь аванс и еще занять где-нибудь какую-нибудь сумму денег, чтоб продержаться, не разориться окончательно.

Вторая часть письма посвящена взаимоотношениям с уже упомянутым Петром Алексеевичем Сергеенко — председателем Общества «Ясная Поляна». Этот литератор, автор нескольких книг о Толстом, явился в усадьбу как спаситель и хозяин. Он поселился в кабинете Толстого и стал наводить порядок: распоряжаться всем и всеми с невероятным рвением, но бесцеремонно и бестактно. В Ясной его иронически прозвали «батюшкой-благодетелем». Что-то ему и впрямь удавалось сделать — именем великого Толстого: то добудет продукты, то привезет дрова, то пробьет нужное постановление. Подыгрывая большевикам, он проводил митинги и собрания, строил грандиозные проекты, которые неизменно лопались. И делалось это так, как если бы он всех осчастливил, и все ему должны кланяться в ножки.

И духом, и поведением своим — то нахраписто-грубым, то приторно-слащавым, то фальшиво-интриганским — он все более отторгался от уклада толстовской семьи, от духа, царившего в Ясной. Особенно это проявилось после того, как управляющим имением был назначен Николай Леонидович Оболенский — когда-то муж дочери Толстого, Марии Львовны, умершей еще до революции, а теперь женатый на падчерице Татьяны Львовны и живший с семьей в Ясной Поляне.

«...Нам стало вполне невыносимо с Сергеенком, — пишет брату Татьяна Львовна. — С приездом Коли из Москвы он пришел в неистовство и на каждом шагу стал говорить совершенно невозможные грубости. Он увидел, что Коля смог без него достать и разрешение на проезд в Москву, и билет и был принят и Бончем, и Середой, и Луначарским (к которому Сергеенке не удалось пробраться)¹. Например, он на днях Коле сказал, что «у Татьяны Львовны не хватает мужества признаться в том, что она дура» (это его подлинные слова); мне вчера он сказал, что мы настолько грубы, что нас иначе не называют, как «кухаркины дети», и пр., и пр.

Жить с ним стало невыносимо, — а дело с ним делать еще невозможнее, так как его интригам нет конца. Теперь мы открыто отделились от него. Вероятно, он постарается наделить нас много пакостей, но дальше с ним заодно действовать нет возможности.

Вот кажется и все.

..Да, еще хотела написать тебе то, что Сергеенко, который любит помпу и громкие слова, старался все время убедить нас в том, что нужно из Ясной Поляны сделать культурное и показательное имение: настроить школ, домов для посетителей, площадки для митингов, дорогу, устроить образцовое хозяйство всех отдельных отраслей, и когда я убеждала его в том, что это невозможно и не нужно, так как не в этом значение Ясной Поляны, то он говорил, что большевики это любят, и надо хоть делать вид, что мы это делаем для их удовлетворения. А между прочим, за два года его пребывания здесь он ничего,

¹ Бонч-Бруевич В. Д. — управляющий делами Совнаркома; Середя П. В. — нарком земледелия; Луначарский А. В. — нарком просвещения.

кроме телефона, не сделал. Но я не люблю обманывать, хотя и большевиков...»

Письмо это увезла в Москву навестившая Ясную Поляну Александра Львовна Толстая.

В ночь на 15 июля 1919 года на квартиру Александры Львовны в Мерзляковском переулке ворвались чекисты и предъявили ордер на арест и обыск.

— На каком основании вы меня арестовываете? — спросила она комиссара Горбатова, рывшегося в ее бумагах.

— На основании доноса, — ответил тот.

Прихватив папку с перепиской, комиссар отвез арестованную на Лубянку. Там ее сразу допросили.

«Я дочь Льва Николаевича Толстого, — так, коверкая имя великого писателя, записывал в протоколе заведующий следственной частью при Президиуме ВЧК (свое имя он не называет), — имею 35 лет от роду, девица. Получила домашнее образование в объеме курса гимназии.

Занимаюсь теперь изучением рукописей моего отца. И состою председателем товарищества изучения и распространения произведений Льва Николаевича Толстого...»

В политических партиях я не состою и ни одной из политических партий не сочувствую...»

Допрос, судя по протоколу, был довольно бестолковый. Спрашивали о каком-то Гришине-Алмазове, совершенно неизвестном Александре Львовне человеку, у которого нашли ее адрес; о некоем Куткине, ее знакомом по фронту на войне с немцами, где она была сестрой милосердия, организовывала летучие санитарные отряды и так отличилась, что вернулась в звании полковника и с тремя Георгиевскими крестами. Никаких обвинений предъявлено не было.

В тот же день ближайший друг отца Владимир Григорьевич Чертков обратился с письмом к Дзержинскому:

«Многоуважаемый Феликс Эдмундович!

В прошлую ночь арестовали и увезли на Лубянку дочь Льва Николаевича Толстого Александру Львовну Толстую. При обыске взяли у нее ее частную корреспонденцию. Сказали ей, что арестовали ее на основании доноса.

Зная, что А. Л. Толстая ни в каких политических заговорах не участвует и всецело поглощена работой над приготовлением к печати не изданных еще рукописей своего отца, я полагаю, что здесь имеет место либо злостный оговор, либо какое-нибудь недоразумение. Во всяком случае, А. Л. Толстая не такой человек, чтобы скрываться от властей, и казалось бы, что дело ее можно было бы выяснить, не подвергая ее предварительному тюремному заключению. Тем более, что здоровья она слабого, и заключение может иметь для нее плохие последствия.

В надежде, что Вы сочтете справедливыми эти соображения, решаюсь обратиться к Вам с просьбой, не признаете ли Вы возможным сделать распоряжение об освобождении А. Л. Толстой до выяснения того, не вызвано ли это дело действительно какой-нибудь ошибкой или недоразумением.

Я был бы Вам крайне благодарен, если бы Вы потрудились поручить сообщить мне Ваш ответ по одному из вышеобозначенных телефонов.

Истинно уважающий Вас В. Чертков».

Дзержинский распорядился: «Освободить».

«Папку с перепиской от ВЧК получила», — дала расписку Александра Львовна.

Вернуть-то вернули, но перед этим внимательно прочли и кое-что скопировали, оставили себе. Так оказалось в следственном деле, сразу после протокола на обыск, хранившееся у Александры Львовны письмо сестры из Ясной Поляны. Острый нюх сыщиков в нем что-то учуял.

Были скопированы и сохранились в деле и еще два письма.

Первое, написанное в апреле 1919 года, адресовано Валентину Федоровичу Булгакову — бывшему секретарю Толстого, его ученику и последователю, заведующему толстовским музеем в Москве. Автор письма — он скрыл свое

настоящее имя и подписался «Пуританин» — посвящает свое послание предполагаемому изданию полного собрания сочинений Толстого.

Идею эту пробивали и дети Толстого, создавшие Кооперативное товарищество изучения и распространения творений Л. Н. Толстого, и толстовцы, последователи его учения, — они объединились в Издательское общество друзей Толстого. Работали автономно, но общим для обеих групп, кроме имени Толстого, было фатальное отсутствие средств на издание. Тогда-то Общество, возглавляемое Владимиром Григорьевичем Чертковым (в письме «Пуританина» он фигурирует под инициалами «В. Г.»), и решило обратиться за помощью к государству.

«Насколько мне известно, — пишет «Пуританин», — соглашение В. Г. с так называемым «комиссаром просвещения» относительно издания теперь состоялось окончательно и, таким образом, первое полное собрание творений Толстого должно будет появиться с кровавым штемпелем, указывающим на прямую или косвенную причастность издания к тем, кто для всего мира... является олицетворением всего самого страшного, самого отвратительного, что только есть и может быть в жизни.

Понимаете ли Вы, Валентин Федорович, весь трагический ужас такого положения, не укладывающегося ни в какие рамки *честного*, непредвзятого мышления... Мне так хочется просить Вас, чтобы Вы еще и еще заставили себя подумать, взвесив всю тяжесть ответственности, падающей на плечи всех вас, близких людей Льву Николаевичу, за тот ложный шаг, который делается В. Г., погружая творения Льва Николаевича в море горьких слез, принесенных земле прямыми и сознательными потомками Каина. И не очистятся никогда в истории людской эти чистые творения, если их не оберегут от страшного соседства люди, которым они вручены, как драгоценный алмаз, для сбережения и для передачи их *чистыми* же всему свету. Вспомните, Валентин Федорович, разве выиграло христианство от того, что проповедь его производилась при посредстве насилия, хотя при том и провозглашалось знаменитое «Во славу Божию»...

Исполняя долг перед своей совестью и перед памятью Льва Николаевича, я теперь обращаюсь к Вам как к самому молодому и, следовательно, более чуткому из учеников Льва Николаевича, чтобы Вы сделали все от себя возможное и помешали сделке, от которой смех дьявола прогремит по всему свету и которая в руки грядущих мракобесов даст оружие непреодолимое. Если же, допустим, Вы здесь сделать ничего не можете... то Ваш долг публично заявить о своей позиции, если она иная, чем позиция В. Г. Такое же разумное, что Вы могли сделать, если бы пожелали, то это устроить хотя бы в том же Политехническом музее публичное обсуждение вопроса, предложив вниманию широкого народа тему: надлежит ли издавать сочинения Толстого на деньги, взятые у большевиков? Само собой разумеется, такое собеседование, по весьма понятным причинам, следует сделать для имеющих выступать без обязательства называть себя. Еще лучше на том же заседании произвести референдум записками...

Достоинство и *смысл* творений Толстого определенно требуют, чтобы они были в первый раз изданы на средства, собранные путем добровольных пожертвований среди всех народов, которым известно имя Льва Толстого...

Не подписываю я своего имени потому, что не в имени дело. Пусть мой голос прозвучит так же, как не умирающая, вечно бодрствующая человеческая совесть...»

Письмо это, высокопарное и нравоучительное, смахивает на провокацию. Еще больше усиливаются подозрения, когда читаешь второе письмо того же автора — адресованное на сей раз Черткову:

«Владимир Григорьевич... С прискорбием я должен заметить, что факт Вашего денежного союза с убийцами начинает косвенно отражаться и на настроении посетителей Ваших бесед; и наиболее вдумчивые из них проникаются более чем недоумением по поводу совершаемого Вами поступка... Принадлежа к частым (я не могу сказать — постоянным) посетителям собрания Общества истинной свободы и прислушиваясь к разговорам между слушателями, я могу отметить, например, такое суждение одного лица:

— Как же это так, — говорило одно лицо другому, — Владимир Григорьевич сам указывал не раз, что большевики являются врагами всего русского народа и их ненавидит народ, за исключением разве убийц и воров, — а теперь он сам вдруг заключает договор с этими врагами народа и даже подыскивает оправдание своему поступку. Интересно, что сказал бы на это Лев Толстой?..

И вот что отвечал собеседник:

— Я думаю, что Владимир Григорьевич не заключил бы договора, если бы его к тому не вынуждали материальные обстоятельства. Жить-то всем хочется, и расходы огромные, а где же денег наберешься? Вот и приходится идти на службу к большевикам...

Сколько в этих двух суждениях горькой правды или неправды, предоставляю судить Вам самому. По-видимому, союз с убийцами и отвратительными развратителями не может пройти бесследно ни для кого, — даже для тех, у кого щитом служит чистое имя Льва Николаевича Толстого.

И стиль поведения «Пуританина» — то он жаловался на Черткова Булгакову, а теперь доносит самому Черткову на его слушателей, — и стиль выражений, пристрастие к громким словам: «враги народа», «чистота», «совесть» (известно, кто первым кричит «Держи вора!»), и прокурорская обличительность, и маска псевдонима, страх назвать свое имя, — все это не внушает доверия. Собрать толстовцев в Политехническом музее, в двухстах метрах от Лубянки, и провести открытый референдум об их отношении к советской власти — кому такое может прийти в голову? Не самой ли Лубянке — чтобы одним махом засветить своих врагов!

Сверху на письме сделана приписка: «Сообщается Софье Андреевне для сведения»... Значит, неутомимый «Пуританин» хотел привлечь к своему протесту против издания сочинений Толстого с помощью большевиков и его вдову? Ловкий ход, если учесть, что Софья Андреевна и Чертков издавна, еще при жизни Толстого, открыто не любили друг друга и соперничали в праве распорядиться его творческим наследием.

События вокруг Ясной Поляны и семьи Толстого власть предержавших обеспокоили. В усадьбу пожаловал со своей свитой сам председатель ВЦИК Михаил Иванович Калинин.

Сначала Татьяна Львовна не хотела к нему выходить.

— Пусть он идет к черту! — в сердцах сказала она. — Я его не приму...

Но, поразмыслив, все-таки решила, что будет лучше, если толстовский дом покажет она, а не «бабушка-благодетель» Сергеенко или кто-нибудь из комиссаров.

Калинин к себе располагал: умный, спокойный, с простым мужицким лицом. С интересом обо всем расспрашивал, потом расположился вместе со всеми на террасе пить чай. Разговаривали откровенно и дружелюбно. Зашла речь о войне.

— Мы победим, — сказал Калинин. — Если не сейчас, так все равно в конце концов весь мир придет к этому.

— Может быть. Но не благодаря, а несмотря на вашу войну, — не удержалась дочь Толстого.

Спор затянулся, гость все никак не хотел уходить, хотя его ждали на каком-то сроде.

— А ведь вот мне приходится подписывать смертные приговоры, — сказал, будто оправдываясь.

— А вы не делайте этого. Никто вас не обязал это делать.

— А как же быть, когда, например, узнаешь о целой организации шпионов?

— Не знаю. Вероятно, главе правительства надо приговаривать их к смерти, — отвечала Татьяна Львовна. И простодушно заключила: — Но ведь вы можете не быть главой правительства...

Быть может, она вспомнила в этот момент мысль своего отца о том, что лучшие люди избегают участия во власти и что лучше жить под самой свирепой властью, чем самому властвовать.

Сцена чаепития на террасе была запечатлена для истории. Вместе с Калининым приехал кинематографический аппарат. И пленка до сих пор хранится в литературном музее. Жаль только, что разговора с Татьяной Львовной на ней нет: кино еще было немое. Да и ей не хотелось попадать в кадр; когда они разговаривали, Татьяна Львовна вязала веревочные подошвы к туфлям и, едва аппарат направили на нее, опустила на корточки, спряталась за стул и не поднялась, пока аппарат не умолк. Случилось это непроизвольно, и неясно, что ею владело: смущение или нежелание войти в историю в дружеском общении с главой большевистского правительства...

А вскоре в усадьбе Толстого произошел «дворцовый переворот». После очередного скандала с Сергеенко решительная Александра Львовна, выведенная из себя его хамством, отправилась к Луначарскому. Тот принял ее в необычном положении: он позировал скульптору. Поднявшись навстречу и поздоровавшись, снова принял неподвижную позу.

Александра Львовна изложила ему суть происходящего в Ясной и закончила так:

— Мне кажется, что Ясная Поляна должна быть не советским хозяйством, а музеем, как дом Гёте в Германии...

Вдруг Луначарский вскочил и забегал по комнате, стремительно, театральным голосом диктуя сидящей здесь же стенографистке. И не успела ошеломленная гостья прийти в себя, как держала в руках бумагу о назначении ее... комиссаром Ясной Поляны! А нарком снова застыл в прежней позе.

Против такого мандата Сергеенко не устоял. Графиня-комиссар выселила его из владений Толстого.

«Свобода — внутри меня»

28 марта 1920 года Александра Львовна возвращалась в Москву из Ясной Поляны. С трудом удалось втиснуться в вагон, в котором раньше перевозили скот, а теперь плотной, потной массой стояли измученные люди, чесались от вшей, переругивались и опасно прижимали к себе вещи. Хотелось спать, а заснуть было нельзя...

Вот и Москва. Дикая давка. На плечах — тяжеленный мешок с мукой. Казалось: сил осталось, только чтобы добраться до дома, подняться на второй этаж — и рухнуть в постель...

И вот она у своей двери. А на двери — печать ВЧК...

Что делать? Пошла к соседям, решила позвонить секретарю Президиума ВЦИК Авелю Енукидзе, которого знала лично и который к ней благоволил.

— Кремль! Говорит комиссар Ясной Поляны!..

Голос кремлевского грузина был непривычно сух:

— Сотрудники ВЧК сейчас будут у вас...

Александра Львовна пишет в книге воспоминаний, что к ней приехал с двумя военными какой-то щуплый молодой человек, поразивший ее своей внешностью: в бархатной куртке, бледный, томный, с вьющимися каштановыми волосами до плеч. На недоуменный вопрос представился:

— Художник-футурист.

— И... чекист?

— Да, и сотрудник ЧК.

В ордере на арест, хранящемся в следственном деле, указана его фамилия — Любохонский. Художника такого мы не знаем, так что ему суждено остаться в памяти в качестве чекиста. Подписал ордер другой «художник» — бывший беллетрист, а теперь глава Особого отдела ВЧК Менжинский.

В первом часу ночи Александру Львовну допрашивали на Лубянке. Только тут она узнала, за что арестована.

Как-то друзья попросили у нее разрешения провести в квартире, где размещалось Толстовское общество и жила она сама, какое-то собрание. Что это было за собрание, она толком не знала, понимала, что политическое, но вопрос не задавала, а когда входила в комнату угостить чаем, все замолкали.

Теперь оказалось, что она — соучастница опасных преступников, деятелей антисоветского Тактического центра, искоренением которого занималась ВЧК.

Перед ней сидел в мягком кожаном кресле уполномоченный Особого отдела Яков Агранов и тряс пачкой бумаг:

— Сознавайтесь. Вот показания ваших друзей, они уже подтвердили ваше участие в деле. Нет смысла отпираться. Назовите ваших сообщников!

Агранов просто брал ее на пушку. Теперь мы можем заглянуть в эти бумаги, которые были у него в руках, — выписки из протоколов допросов.

«В квартире Толстой я был на одном совещании... С ней ни в каких, ни в деловых, ни в личных отношениях не состоял. На совещании она не присутствовала...» (Д. М. Щепкин).

«Действительно, первое заседание Тактического центра... происходило на квартире у Александры Толстой в Мерзляковском переулке. А Толстая на заседании Центра не была. Больше на заседаниях в этой квартире я лично не был, и были ли там собрания, не знаю...» (С. М. Леонтьев).

Ни в этих показаниях, да и вообще нигде больше в деле ни о каких преступных деяниях подследственной нет ни единого слова.

Обман Агранова не достиг цели.

— Все это старые приемы, — перебила она его, — их применяли и раньше, при допросах революционеров. А вас, товарищ Агранов, преследовало царское правительство?

— Разумеется...

— А вы тогда выдавали своих близких?..

Протокол допроса уместился в несколько строк:

«Я отрицаю, что какие-либо политические группы заседали у меня на квартире с моего ведома и согласия. Кроме того, отрицаю свою принадлежность к какой-либо политической партии. Отрицаю факт хранения архива Мельгунова и о существовании такого архива ничего не знаю. А. Толстая».

Последняя фраза — об архиве историка и литератора Сергея Мельгунова — раскрывает истинную причину ареста. В деле есть документ, подтверждающий это. За девять дней до ареста Агранов докладывал Дзержинскому:

«Заседания Тактического центра летом 1919 г. несколько раз происходили на квартире А. Л. Толстой, так как она считалась хорошо законспирированной. Есть большие основания предполагать, что на квартире А. Л. Толстой хранится скрываемый Мельгуновым архив Национального центра и Союза Возрождения. Мельгунов и Герасимов (по полученным сведениям) страшно беспокоятся провала А. Л. Толстой»...

В этой же справке Агранов называет источник полученных сведений: это сидевший в одной камере с Мельгуновым и Герасимовым их подельник Виноградский, используемый в качестве «наседки». Он-то и есть тот доносчик, которому Александра Львовна обязана своим арестом.

Первую ночь она провела в одиночке. Когда выключили свет, улеглась на койку и вдруг услышала шорох. Крысы! Они бегали, пищали, пытались вскарабкаться на постель...

Александра Львовна вспоминала потом:

«И вдруг, может быть, потому, что я стояла на коленях, на кровати, как в далеком детстве, помимо воли стали выговариваться знакомые, чудесные слова. «Отче наш», и я стукнулась головой об стену, «иже еси на небесах», опять удар, «да святится...». Крысы дрались, бесчинствовали, нахальничали... Я не обращала на них внимания: «И остави нам долгг наши...» Вероятно, я как-то заснула...»

Утром ее перевели в общую камеру. А через два дня — снова допрос у Агранова.

— Не будете отвечать? Ну ничего, посидите у нас еще немного, станете разговорчивее...

Протокол на этот раз гласил:

«Мое предыдущее показание от 29 марта сего года является неправдивым в пункте первом предъявленных мне обвинений. А именно: я показала, что у меня на квартире никогда не происходили заседания Тактического центра. Заявляю, что у меня на квартире действительно с моего ведома и согласия устраивались заседания («антисоветского характера», — вписано сверху, над

строкрой. — В. Ш.) в феврале — марте 1919 г. Я предоставляла квартиру по просьбе одного лица, фамилию которого назвать отказываюсь. Кто присутствовал на этих заседаниях, назвать отказываюсь. Сергей Михайлович Леонтьев на этих заседаниях бывал. Был также и Д. М. Щепкин. Александра Толстая».

По всей видимости, Агранов показал ей выписки из допросов Леонтьева и Щепкина, после чего она и назвала этих двоих, которые сами признались, что бывали у нее на квартире.

Лицо, которое она отказалась называть и которое просило ее о квартире, стало известно Агранову в тот же день.

«Когда... участники искали помещение для заседаний, — показал на допросе Сергей Петрович Мельгунов, — я просил разрешения у А. Л. Толстой в комнате правления Толстовского общества устраивать иногда маленькие заседания людей, которых она лично знает... На заседаниях А. Л. Толстая никогда не присутствовала, конечно, а иногда входила, принося чай...»

И на Лубянке «комиссар Ясной Поляны» проявил свою неукротимую энергию и организаторский талант, не только не сломился, но и поддержал духом товарищей по несчастью. Александра Львовна наладила в камере регулярные занятия гимнастикой, пыталась приручить и очеловечить суровую надзирательницу-латышку, помогла выстоять, перенести и страшную жажду — когда узник кормил селедкой и лишали воды, — и случившийся в тюрьме пожар, жертвами которого они чуть не стали.

Однажды она обнаружила в углу щель, расковыряла ее и стала обмениваться записками с соседней камерой — там как раз оказались ее подельники Мельгунов и Герасимов. Она не знала тогда, что вместе с ними сидит предатель — Виноградский, что и в ее камере есть «наседка», которая обо всем доносит, и что сам этот обмен записками изобретен не ею, а спровоцирован следователями. Не знала и о том, что в одну из этих ночей у соседей-мужчин умер от разрыва сердца Герасимов — знакомый ей с детства, живший когда-то в толстовском доме, учитель ее братьев...

Тем временем друзья Александры Львовны хлопотали о ее освобождении. На имя председателя ВЧК было направлено такое заявление:

«Толстовское общество в Москве, осведомившись, что дочь Л. Н. Толстого Александра Львовна Толстая арестована ВЧК и вот уже в течение около двух недель находится в заключении, обращается к Вам с убедительной просьбой употребить все свое влияние, чтобы содействовать скорейшему освобождению любимой дочери и душеприказницы великого русского писателя.

Толстовское общество просит об освобождении Александры Львовны Толстой до суда (если таковой состоится) под поручительство правления Общества.

Толстовское общество глубоко уверено, что Александра Львовна Толстая не сделает ни малейшей попытки уклониться от суда и следствия, почему Общество и надеется, что его просьба будет удовлетворена ВЧК, — из уважения к памяти великого Толстого, имя которого дорого каждому мыслящему и культурному человеку и окружено любовью широких народных масс.

Председатель Н. Давыдов,
Секретарь Вал. Булгаков».

Заявление проделало путь сверху вниз — от Дзержинского, через Ягоду к Агранову — и улеглось у него на столе.

Александрю Львовну продержали в Лубянской тюрьме около двух месяцев — пока не сочли второстепенной преступницей. Только 21 мая Агранов подал Менжинскому рапорт:

«По обстоятельствам дела считаю возможным освободить из-под стражи до суда гр. Толстую Александру Львовну, обвиняемую в участии в организации Тактический центр». «Освободить», — распорядился Менжинский.

Перед тем как покинуть тюрьму, Александра Львовна написала громадными буквами на стене камеры: «Дух человеческий свободен! Его нельзя ограничить ничем: ни стенами, ни решеткой!»

И вот суд. Проходил он в самом центре Москвы, в здании Политехнического музея. Впереди — скамьи подсудимых, и на них — профессора, литераторы, ученые, врачи... Четверым из них грозит расстрел. Перед ними — красное пятно судейского стола. Слева — защитники, справа, за отдельным столиком, — главный инквизитор, устрашающего вида, с голым черепом и выпирающей челюстью, с резким, крикливым голосом — прокурор Крыленко.

К Александре Львовне подошел чекист и потребовал, чтобы она заняла место на скамье подсудимых. Отныне ее, преступницу второго разряда, снова переселяли в тюрьму.

На второй день суда, 18 августа 1920 года, дошла очередь до нее. В деле Н-206 Тактического центра есть стенограмма заседаний суда — по ней и восстановим всю сцену.

Председатель Ревтрибунала Ксенофонтов спрашивает:

— Признаете себя виновной в том, что вам предъявлено?

— Я не совсем понимаю, что мне вменяется в вину, — отвечает Александра Львовна.

Вступает Крыленко:

— Вам вменяется в вину предоставление своей квартиры для заседания контрреволюционной организации.

— Для заседаний я квартиру свою предоставляла...

— Чьих?..

— Я только поняла, что это заседания антисоветского характера...

— Вы участвовали?

— Нет.

— Больше ни в чем участие ваше не выразалось?

— В том, что я ставила самовар и пила чаем.

— Больше ни в чем?

— Нет.

Вопрос задает защитник Муравьев. Он предлагает подсудимой путь отступления, снова спрашивает, знала ли она, что заседания у нее носили антисоветский характер. Да, отвечает она, знала или скорее догадывалась, но вот какие это заседания, узнала только от следователя.

На следующий день Крыленко произнес обвинительную речь.

— Перечисляя разных людей, в том числе Толстую, — сказал он, — я полагаю как лиц еще опасных для Советской республики... следует изолировать и заключить их в лагерь до разгрома Восточного фронта. Я думаю, что до этого момента — полагаю, что он не так далек, — эти граждане должны быть безусловно изолированы от остальной общественной среды...

Николай Крыленко когда-то учился на филологическом факультете Петербургского университета, пописывал статьи, надо думать, неплохо знал творения писателя, дочь которого сидела перед ним, ожидая своей участи. Но вряд ли дрогнул бы верховный прокурор, если бы и сам Толстой оказался сейчас на скамье подсудимых. Известен случай, когда на одном из диспутов наркома просвещения Луначарского с церковниками тот обратился к сидящему в зале Крыленко, уже получившему ранг наркома юстиции:

— Мой уважаемый оппонент утверждает, что Христос кормил голодных, отнимая хлеб у торговцев. Николай Васильевич, по какой статье Иисус Христос проходил бы у нас и сколько лет лишения свободы получил бы?..

Но вернемся в зал заседаний суда. Адвокат Муравьев углубился в психологию своей подзащитной:

— Вот гражданка Толстая. Она принесла сюда крупное имя, у нее большие заслуги в связи с именем ее отца, но я не хочу защищать тень ее отца. Отнеситесь к ней как к простой гражданке... К ней пришел гражданин Мельгунов и сказал: «Позвольте мне провести несколько вечеров у вас для собраний знакомых вам людей». Это естественное обращение к ней и естественный ее ответ... Она знала гражданина Мельгунова, знала, что он не разделяет точки зрения сегодняшней власти... но говорить, что это дача своей квартиры членам преступной организации, — тут есть очень большая разница...

Как вы думаете, Сергей Петрович Мельгунов, со своей порядочностью, мог ли ей сказать про все это, что они собираются такой группой? Не обязывала ли его порядочность не вводить в это Александру Львовну? Достаточно

того, что они, сидя в тюрьме, и без того боялись, что ей может повредить этот момент. Если вы введете нравы этой среды, вы поймете, что ее знание противосоветского характера беседы не дает повода ее обвинять...

Последнее слово Александры Львовны — вполне толстовское по своему духу:

— Я пользуюсь своим последним словом не для того, чтобы оправдываться, потому что я считаю, что я ни в чем не виновна. Но я бы только хотела сказать гражданам судьям, что не признаю суда человеческого и считаю, что это недоразумение, что человек берет на себя право судить другого. Я считаю, что все мы люди свободные и что этой свободы — внутри меня — ее никто меня лишить не может, ни стены Особого отдела, ни заключение в лагерь. Этот свободный дух — не та свобода, которая окружается штыками в свободной России, а это свобода моего духа, она останется при мне...

— К вашему делу это не имеет абсолютно никакого отношения! — прерывает ее председатель суда.

— Больше ничего сказать не могу.

Она была приговорена к трем годам заключения в Новоспасском концлагере в Москве.

В музее Толстого сохранился черновик ее письма Ленину из лагеря: «Глубокоуважаемый Владимир Ильич!..

Мой отец, взглядов которого я придерживаюсь, открыто обличал царское правительство и все же даже тогда оставался свободным... Не скрываю, что я не сторонница большевизма, я высказала свои взгляды открыто и прямо на суде, но я никогда не выступала и не выступлю активно против советского правительства, никогда не занималась политикой и ни в каких партиях не состояла. Что же дает право советскому правительству запереть меня в четыре стены, как вредное животное, лишая меня возможности работать с народом и для народа, который для меня дороже всего? Неужели этот факт, что два года тому назад на моей квартире происходили собрания, названия и цели которых я даже не знала?.. Я узнала только на допросе, что это были заседания Тактического центра.

Владимир Ильич! Если я вредна России, вышлите меня за границу. Если я вредна и там, то, признавая право одного человека лишать жизни другого, расстреляйте меня как вредного члена Советской республики. Но не заставляйте же меня влачить жизнь паразита, запертого в четырех стенах с проститутками, воровками, бандитами...»

Неизвестно, было ли отправлено это письмо и дошло ли до адресата. Известно другое: что яснополяские крестьяне хлопотали за свою графиню-комиссара, посылали в Москву своих ходоков. И после года заточения она была выпущена по амнистии. А оказавшись на воле, с головой окунулась в дела, снова посвятив себя спасению Ясной Поляны, изданию сочинений отца, сохранению и умножению его памяти.

...Толстовская семья редела и рассеивалась. В 1919 году умерла жена писателя Софья Андреевна. В 1925-м эмигрировала дочь — Татьяна Львовна. Сыновья — Илья, Лев и Михаил — тоже жили за границей и не собирались возвращаться. Колебалась и Александра Львовна. Работать на родине становилось все трудней, жить — все невыносимей. Живой, бунтарский дух отца бушевал в ней и не находил выхода.

Если в Москве еще иногда удавалось найти подмогу, то для местных чиновников обитатели Ясной по-прежнему оставались ненавистными врагами. Коммунисты заняли все должности, окружили усадьбу донощиками. Культурные, независимые работники преследовались, всякая инициатива пресекалась. Сотрудникам музея было запрещено говорить посетителям о Боге, от них требовали марксистской трактовки Толстого, внушали, что учение его может быть только одним — орудием антирелигиозной пропаганды. Но вот и в «Правде» появилась статья, утверждавшая, что бывшая графиня, окружив себя недобитыми буржуями, окопалась в прекрасном уголке русской природы и эксплуатирует трудовой народ. Пошли чередой бесконечные ревизии, комиссии, проверки, придирки. Ретивые комсомольцы по ночам бесчинствовали в усадьбе: ломали посадки, гадили, ругались и сквернословили под окнами.

Однажды на рассвете Александра Львовна пошла на могилу отца. Только здесь был покой, на этом островке в море лжи и вражды окружающего мира. А она, дочь Толстого, вынуждена была участвовать во всем этом. И здесь она решила, что больше жить во лжи не будет.

«Пока останусь в музее, но не знаю, надолго ли, — сообщает она в одном из писем. — Работать нельзя. Больше всего хочу свободы. Пусть нищенство, котомки; но только свободы...»

Осенью 1929 года она покинула Россию — уехала по приглашению читать лекции в Японию и уже не вернулась.

Сократы из Газетного переулка

О духовно-нравственном учении Льва Толстого сейчас мало кто знает. Коммунистический строй сделал все, чтобы изъять его из народного сознания, как и всякое инакомыслие. И начало этому положил вождь революции Ленин, отрубивший топором: «Помешик, юродствующий во Христе...»

При советской власти философские труды Толстого появились лишь раз — в дорогом юбилейном собрании сочинений, изданном малым тиражом и оставшемся практически недоступным. Еретиком считался Толстой в царской России, еретиком остался и в советской. Верная жена и усердная помощница Ленина — Крупская — включила религиозно-философские работы писателя в список книг, подлежащих уничтожению, Лев Толстой стал узником идеологического ГУЛАГа, уже не мог сказать своим соотечественникам, что Царство Божие — внутри нас. Три поколения советских людей прожили без учения Толстого. Значительное движение в культурной истории России, мощный духовный поток, взявший свой исток с 80-х годов XIX века, разбился, как о плотину, об Октябрь 17-го, растекся на ручейки и постепенно к концу 30-х иссяк, ушел под землю. Тысячи последователей и единомышленников Толстого были репрессированы, других заставили отречься от своего Учителя, заткнули рот, отучили думать.

Тем важнее восстановить сегодня историю преследования толстовцев, вспомнить имена, незаслуженно забытые, спасти от забвения факты и документы, казалось бы навсегда погребенные в пепле времени. Осознать гармоническое целое Толстого-художника и Толстого-мыслителя, единство его исповеди и проповеди.

1 октября 1921 года в ВЧК поступил донос... на Сократа. Речь шла об очередной встрече толстовцев в Газетном переулке. Секретный сотрудник информировал: «На собрании говорилось о Сократе (неизвестный)...» — и высказывал свое соображение: «...по-видимому, все тот же Чертков...»

Должно быть, на Лубянке поохотали над дремучим стукачом: уж там-то знали, кто такой этот Чертков, и о Сократе кое-что слышали. Чекисты вели постоянное наблюдение за двухэтажным домом № 12 в Газетном переулке, где располагались Общество истинной свободы, Московское вегетарианское общество и Издательское общество друзей Толстого — со своей библиотекой, книжным магазином и столовой, служащей одновременно и клубом. Филиалы Общества истинной свободы — этой одной из первых правозащитных организаций в стране — работали во многих городах России, выходили журналы и брошюры, в которых пропагандировались взгляды Толстого. Знали на Лубянке и программу Общества, среди четырнадцати пунктов которой были, например, такие:

«— Единственной силой, воспитывающей людей и приводящей их к мирной жизни, является закон любви, поэтому всякого рода насилие... противно основному закону человеческой жизни.

— Отечество наше — весь мир, и все люди — наши братья.

— Не на установление новых форм жизни должна быть направлена деятельность людей... а на изменение и совершенствование внутренних свойств, как своих, так и других людей...»

Во главе всех этих подозрительных организаций и стоял Владимир Григорьевич Чертков — когда-то самый близкий друг Толстого, теперь — главный

апостол его учения. Именно ему Толстой завещал редактирование и издание своего наследия (что привело к большим конфликтам в толстовской семье).

Сигналы о толстовцах и их руководители шли непрерывно и составили целую папку.

Еще 16 ноября 1920 года ВЧК при Реввоенсовете 3-й армии сообщала с Западного фронта в Особый отдел ВЧК:

«В городе Витебске арестованы 60 человек, члены Общества истинной свободы в духе Толстого, которые вели антисоветскую деятельность, агитировали, отказывались от участия в войне. Аресты продолжаются, ведется следствие. Это Общество имеет тесную связь с Москвой: с Чертковым, Булгаковым и др. ... Примите меры.

Доносы на толстовцев сыпались ворохами и в самой столице.

Год 1920-й.

«31 июля на лекции в Газетном переулке, дом 12, Чертков сравнил время Герцена с настоящим и заявил, что все осталось то же — насилие, война, разруха, пожары, болезни и т. д. Сказал, что крестьянство в настоящее время насилуется кучкой народа, пропитанной западными идеями Карла Маркса, что довело его до отчаяния... Заявил, что крестьяне теперь тянутся за хлебом духовным, а коммунистическая партия им ничего не дает, что единственный выход для крестьянства — это стряхнуть со своих плеч теперешнее правительство...»

«На собрании толстовцев 14 августа Чертков заявил, что Советская власть — кровавое насилие над партиями и национальностями, определенно указал, что единственный способ борьбы с теперешней властью — отказ подчиниться ей...

На собрании 28 августа там же заявил, что гражданская война, последовавшая вслед за окончанием европейской, — результат неверия в бога. На том же собрании заявил, что крестьянство голодает, отдавая на войну все свои припасы. Пусть приходит Деникин, поляки, все равно, лишь бы не дрались. То есть кончилась бы война...»

«4 сентября на собрании, говоря о причинах, почему еще держится Соввласть, Чертков сказал, что главной причиной считает то, что заткнут рот всем, а иначе Соввласть и трех дней не продержалась бы... Булгаков выступил с информацией относительно расстрелов и других расправ правительства».

«На собрании толстовцев 25 декабря 1920 г. Булгаков, говоря о диспуте с Луначарским, сказал, что сейчас все очевидней становится тяготение народа к учению Льва Толстого, а потому можно думать, что теперешняя насильственная власть будет свергнута, так как народ начинает просыпаться и видит, на какую дорогу он попал...»

Год 1921-й.

«15 января состоялось собрание толстовцев в Газетном переулке. Чертков, говоря вначале на тему о боге и грехе, съехал затем по обычаю на Соввласть. Начал жаловаться на те притеснения, которые терпят единомышленники из Общества истинной свободы, говорил о восьмидесяти расстрелянных за отказ от военной службы, говорил о непрекращающейся классовой борьбе и был недоволен тем, что компартия натравливает пролетариат на буржуазию. Чертков заявил, что такое раздутье классовой борьбы неправильно, что сейчас буржуазия живет тоже неважно, а потому лучше было бы примириться с ним и начать новую, действительно братскую жизнь. Дальше сказал, чтобы избавиться от греха, нужно просто отказаться повиноваться правительству...»

«19 сентября Чертков читал письмо Льва Толстого к индусу, где Толстой говорит, что государство состоит из маленькой кучки распоряжающихся и масс трудящихся. Дальше Чертков объяснял, что у нас сейчас власть захватили и всем распоряжаются большевики, для удержания своей власти настроившие ЧК. Этими словами вызвал большое одобрение присутствующих, хотя оно и не выразилось в шумной форме, так как все опасались это сделать, но перешептывались между собой, говоря: «Здесь все свои»...

На собрании толстовцев 25 ноября назвал правительство палачами и сказал, что все, кто служат этому правительству, также палачи. Говоря о каких-то истинных христианах, сказал, что надо учиться у них, что если бы нас, то есть

думающих согласно с ним, было больше, мы бы восстали против правительства и смели бы его...»

Год 1922-й.

«6 мая усиленно проповедовал на тему, что единственный работник — крестьянин, остальные все — шкурники, не исключая и правителей, едущих на его шею. Приглашал всех побросать города и идти на помощь крестьянству.

В июне сего года, говоря о квакерах — сектантах коммунистического толка, Чертков называл их настоящими коммунистами, говоря, что теперешние коммунисты — банда, захватившая власть, заставляющая себя защищать от посягательств на нее других, что настоящими коммунистами могут быть только сектанты, а не теперешние разбойники...»

2 декабря 1922 года сексот Слащов-Крымский² сообщал о собрании баптистов, на котором присутствовало 600 человек и где толстовцы знакомили со своим учением:

«Доклад делал Булгаков на тему «Личность в обществе», где указывал, что... Общество истинной свободы не является какой-либо парторганизацией, а является как практическое место для обмена мнений лиц всякого сословия, веры и партий. У нас есть и коммунисты, которые находятся на равных с нами правах».

Затем сексот излагает выступление Владимира Черткова:

«Как сказал Чертков:

— Это не личность в обществе, а общество в личности, так как член не отвечает за то или иное решение Совета... Мы, Общество истинной свободы, издавали журнал и брали ответственность на себя... Цель нашего общества в настоящем такова: бороться с насилием, защищать слабых, протестовать против казней, посещать тюрьмы и т. п. Вам также известно, что в настоящем многие отказываются от военной службы и платить налоги. Мы должны их подкреплять духом своим, а также бороться за свое существование, то есть расширить идеи нашего учителя Толстого. А для этого нужно хлопотать. Ведь вы знаете, что наше общество существует пять лет, принципиально, с тех пор, как дали свободу слова при Керенском — Первая революция, а потом обратно закрыли со Второй революции. И вот, я думаю, вам будет ясно, для чего мы объединились. «Деяния апостолов» говорят: «Тогда вы можете сделать свою цель, когда у вас будет одна душа», а однодушие и мысль мы можем сделать только здесь...»

В этом высказывании Черткова, переданном сексотом коряво, но, видимо, точно, Лубянка не могла не отметить формулу «не личность в обществе, а общество в личности», противоречащую коммунистической догме. И конечно же, факт неофициального объединения: ишь ты, проповедуют не Маркса и Ленина, а Толстого, апостолами его себя считают!

«Я подал записку, узнать, что означает толстовское общество, — продолжает сексот. — Булгаков ответил:

— Толстовское общество состоит из высших культурных лиц, председателем которого состоит сам Толстой, а цель — распространить идею учения Толстого...»

Доносчик называет этих «культурных лиц», которые доводят до ума простых людей мысли своего учителя: Чертков, Гусев, Страхов, Бирюков, Попов... и добавляет: «В пятницу будет сделан доклад о движении за границей духовного социализма толстовцев...»

Чаша терпения чекистов переполнилась.

«Не признаю... никакой власти»

Вскоре после доноса Слащова-Крымского, 8 декабря, они произвели обыск на квартирах ведущих толстовцев Черткова и Булгакова. Искали целенаправленно. Изъяли: переписку, записные книжки, документацию Общества

² Новые подробности о судьбе Я. А. Слащова, белого генерала, а впоследствии «возвращенца» и вот, как теперь выясняется, сексота, см.: журн. «Источник», 1996, № 2, стр. 130 — 131. (Примеч. ред.)

истинной свободы и Вольного содружества духовных течений. Потребовали подписку о невыезде из Москвы. Булгаков такую дал, а вот Чертков наотрез отказался. Пришлось оперативникам связываться со своим начальством. Руководящий чекист Дерibas приказал привезти строптивного в ГПУ «для выяснения».

Но и на Лубянке Чертков вел себя вызывающе. «Отвечать не хочет», — записано в протоколе допроса. Удалось только заполнить анкету:

«Возраст — 68 лет. Из бывших дворян. Род занятий — литературная работа... Политические убеждения — разделяю взгляды Л. Н. Толстого... Был в административных высылках в России и за границей при царском правительстве...»

От него опять потребовали дать подписку о невыезде. И снова он отказался:

«На предъявленное мне предложение дать подписку о невыезде и явке по первому требованию властей я отвечаю, что, как не признаю по своим убеждениям никакой власти, в том числе и Советской, я никаких обязательств дать не могу и потому предложенную мне подписку подписать отказываюсь, но добавляю, что уезжать и вообще скрываться от власти я не собираюсь и не буду».

На том и распрощались, недовольные друг другом.

Но и выпущенный домой, Чертков не унимался. В письме Менжинскому он потребовал вернуть ему отобранное при обыске, скрупулезно все перечислив. Чертков возмущается, что ему обещали сообщить по телефону, когда он может забрать свои бумаги, но до сих пор этого не сделали, а посему просит возвратить все «без дальнейшей задержки».

Должно быть, на Лубянке удивлялись: вот ведь, благодарить должен старик, что не посадили, а он еще и недоволен!

И 22 декабря, вместо возвращения бумаг, снова допросили. Следствие было поручено оперуполномоченному Реброву.

— Я живу открыто. Всем известно, что я делаю, — заявил Чертков.

И на этот раз он проявил принципиальность, записав в протоколе: «Не признавая по своим религиозным убеждениям никакой насильственной государственной власти, не смотрю на этот так называемый «протокол» как на официальную бумагу, которую я был бы обязан подписать. Если же подписываю ее, то только как простое заявление, которое может устранить ненужные недоразумения».

На этом Черткова и отпустили, в надежде, что обыск и вызовы на Лубянку напугают его и умерят прыть.

А днем раньше тот же Ребров допрашивал другого толстовца — Валентина Федоровича Булгакова. В двадцать три года, будучи студентом, Булгаков оставил Московский университет и приехал в Ясную Поляну, чтобы послужить своему Учителю. И стал серьезным, энергичным и старательным помощником в самый трудный, последний год жизни Толстого: отвечал на письма, вел переговоры с редакциями и издательствами, подбирал необходимые материалы и литературу. И после смерти писателя посвятил себя служению ему: написал книги «Христианская этика» — подробное изложение мировоззрения Толстого — и «Л. Н. Толстой в последний год его жизни». Верность своим взглядам и привела теперь Булгакова в следственный кабинет.

«Возраст — 36 лет. Сын чиновника. Род занятий — зав. Толстовским музеем и домом... Политические убеждения — не имею... Мое отношение к всякой власти безразличное по убеждениям религиозного анархизма в духе Толстого... В 1914 — 1915 гг. был под судом Московского военного окружного суда за воззвание против империалистической войны...»

Протоколы допросов короткие и формальные, потому что к тому времени участь обоих подследственных уже решена. И оформлена соответствующим заключением следователя:

«...Дело возникло из агентурного материала на... толстовцев... из которого видно, что названные секты проповедуют анархо-непротивленческие идеи, разлагающе действуют на Красную Армию и темные массы вообще, причем... идут под лозунг «не брать в руки оружия»... под лозунг «непризнания власти вообще», избавиться от повинностей, налагаемых Советской властью».

Допрошенные обвиняемые Чертков, Булгаков... показали, что они никакой власти вообще не признают. На основании вышеизложенного нахожу, что... дальнейшее оставление их в пределах РСФСР вредно отразится на состоянии Красной Армии и экономическом положении Республики, а посему полагал бы: граждан... Булгакова и Черткова выслать в административном порядке из пределов РСФСР в Германию...»

«Согласен», — подписался начальник 6-го отделения Секретного отдела Тучков.

Тупость этого канцелярского шедевра взбесила Дзержинского. Красными чернилами подчеркнул он трижды повторенное «вообще»:

«т. Тучкову. Я же просил Вас продумать хорошенько это заключение. Ведь мы встретим большой отпор, а у нас, кроме «вообще», — ничего нет».

Тем не менее другого обвинительного заключения так и не появилось. И ребровско-тучковского документа хватило чекистам, чтобы 27 декабря вынести решение: выслать Черткова и Булгакова за границу на три года...

В самом начале 1923 года их вызвали якобы для дачи показаний, на самом же деле, чтобы объявить о «новогоднем подарке».

Узнав о том, что его высылают, Булгаков обратился в ГПУ с заявлением, где просил хотя бы месяц на то, чтобы передать дела по двум музеям, которыми заведовал, собрать необходимую для переезда за границу сумму денег («Я еду туда в полную неизвестность с женой и ребенком одного года и восьми месяцев»). Он просил разрешения взять свои научные и литературные работы, а также обеспечить ему бесплатный проезд по железной дороге, хотя бы до границы.

Заявление рассматривал Менжинский. И распорядился: предоставить отсрочку на месяц; «в отношении книг, материалов и рукописей выпустим то, что возможно будет выпустить»; «ехать ему придется за свой счет».

Чертков же в ГПУ вообще не пришел, а отправил следователю колючее послание:

«Получив повестку Секретного отдела ГПУ, предлагающую мне явиться к Вам для дачи показаний по делу № 16655, я на этот раз нахожусь вынужденным сообщить Вам, что, отрицая по моим религиозным убеждениям всякое насилие, я не могу являться ни в какие государственные учреждения для дачи каких-либо «показаний». Если, получив недавно подобную же повестку, я пришел к Вам 22 декабря, то никак не для дачи показаний, от которых, как Вам известно, я, по существу, и воздержался, а единственно потому, что, заявив перед тем просьбу о возвращении мне взятых у меня при обыске бумаг, я надеялся, что приглашаюсь, собственно, для получения обратно этих бумаг. Убедившись же в настоящее время в том, что от меня действительно ожидается дача показаний, я должен по указанной причине определенно отказаться от исполнения Вашего желания, ибо, добровольно являясь в Ваше учреждение для такой цели, я сам себя поставил бы в фальшивое и стеснительное для себя положение. Но могу, так же как и раньше при подобных же обстоятельствах, прибавить, что если я в состоянии личным объяснением предупредить возникновение каких-либо нежелательных недоразумений или осложнений, то готов для этой цели принять Вас для частной беседы у меня на дому».

Чертков остается верен себе: подчеркнутое достоинство, старомодная педантичность, презрительная отповедь!

В это же время в ГПУ приходит письмо из Наркомата иностранных дел. Первый заместитель наркома Литвинов предупреждает чекистов:

«Арест Черткова, несомненно, вызовет сильную агитацию за границей, в особенности в Англии. Мы уже начинаем получать запросы от наших полпредов в связи с этим арестом. Прошу Вас сообщить причину ареста для контр-агитации за границей».

На Лубянке обеспокоились: у Черткова были обширные и влиятельные связи за рубежом, особенно в Западной Европе, где он долго жил. Адресат Литвинова — заместитель председателя ГПУ Уншлихт — удивлен. «Разве Чертков арестован?» — пишет он на письме. Вопрос обращен к начальнику Секретного отдела Самсонову. Тот пишет в свою очередь: «Товарищ Тучков, на Комиссии поставить для пересмотра... высылки».

Тучков отреагировал и доложил о деле Черткова на заседании Особой комиссии при ЦК РКП(б) по церковным делам. Постановили: заменить высылку за границу высылкой в Крым, под надзор ГПУ.

Узнав обо всем этом, Чертков 6 февраля посылает новое пространное послание, на сей раз — секретарю Президиума ВЦИК Енукидзе:

«Уважаемый Амель Сафронович!

Вчера товарищу Булгакову было сообщено в ГПУ, куда его вызвали, что его решено выслать за границу, а меня вместо заграничного изгнания выслать в Крым. Ввиду того что высылка из Москвы куда-либо в другое место в России для меня еще гораздо хуже высылки за границу, позволяю себе обратиться к Вам с просьбой о Вашем содействии для предупреждения утверждения подобной меры по отношению ко мне. В настоящее время деятельность моя поглощена порученным мне Толстым приготовлением к печати его не изданных еще писаний. Весьма сложная и разносторонняя работа эта требует участия целого кружка сотрудников по разнообразным специальностям, начиная от переписчиков и кончая литературно опытными исследователями по рукописной части. Своевременно находить таких сотрудников и пользоваться ими по мере надобности я имею возможность только здесь, в Москве. А потому высылка моя в провинцию в России была бы равносильна отнятию у меня всякой возможности довести до конца то издательское дело общечеловеческого значения, которое было мне поручено Толстым и которому я посвятил остаток своих дней. Остаток, во всяком случае, вероятно, небольшой, так как мне уже под семьдесят лет. Вместе с тем мои материальные средства находятся в прямой зависимости от этой моей литературной работы. Так что если бы я был выслан куда-либо из Москвы в России, то этим самым был бы лишен всяких средств к жизни. Наконец, и хронически болезненное состояние моей жены таково, что оно требует домашней обстановки и гигиенических удобств, которые для нас доступны только в Москве и лишь до некоторой степени за границей и никак не осуществимы в настоящее время в русской провинции. Таковы обстоятельства, вследствие которых применение ко мне меры, подобной той, о которой сообщает ГПУ, было бы положительно губительно как для моей литературной деятельности, так и для моей семейной жизни. И вот почему я прошу о предоставлении мне оставаться в Москве, или же если это решительно невозможно, то в крайнем случае о том, чтобы выслан я был за границу, где все же возможна для меня, хотя и частично, издательская деятельность, но никоим образом не в России вне Москвы. Извиняюсь в том, что занимаю Ваше внимание своими личными делами, утешаюсь тем, что вопрос этот касается не лично меня одного, но неразрывно связан с делами издания писаний Толстого, имеющих всеобщее значение».

Дело кончилось тем, что Черткова оставили в Москве. Что тут помогло? Милосердие к старику? Боязнь международного скандала? Или его спасла осеняющая тень Толстого? Вероятно, всего этого было бы мало, если бы не кремлевские заступники Черткова — старые революционеры, советские сановники Бонч-Бруевич и Смидович. Эти интеллигенты среди большевиков, еще не потерявшие остатков уважения к культуре и чужому мнению, знали учение Толстого и относились к нему терпимо. С Чертковым их связывали дружеские отношения еще до революции: вместе защищали от притеснений духовоборов, помогли им переселиться в Канаду, встречались и в эмиграции, когда богатый и хлебосольный Чертков давал приют им — бездомным и гонимым. И после революции Бонч-Бруевич оставался крупнейшим специалистом по русскому сектантству, собирателем государственных архивов, организатором музеев. С его помощью Чертков даже добился встречи с Лениным и имел с ним беседу о злоупотреблениях власти.

Как-то Бонч-Бруевич, гуляя с вождем революции по кремлевскому дворику, показал на звезды и что-то сказал о непознанных тайнах бытия.

— Протаскиваете боженьку, — осадил Ильич.

С тех пор о потустороннем Бонч больше не заикался. Но кое в чем земном все же мог помочь. Его покровительством, возможно, и объясняется особая милость, проявленная к Черткову.

С Булгаковым так не церемонились. ВЦИК, рассмотрев его жалобу, подтвердил решение ГПУ — выслать!

Теперь уже друзья-толстовцы бросились на помощь — отправили письмо на имя сразу двух высших советских сановников — Калинина и Луначарского:

«...Мы, трое из самых старых друзей и единомышленников Льва Николаевича Толстого, присутствуя при административной высылке из России его бывшего секретаря и сотрудника Валентина Федоровича Булгакова, не чувствуем себя вправе оставаться безучастными к этому прискорбному для нас явлению. Не думая, разумеется, выделять этот частный случай из других, более репрессивных правительственных мер, мы обращаемся к Вам потому, что связаны с Булгаковым общей связью с Толстым. Во имя Толстого мы и просим не подвергать Булгакова высылке из Москвы. Считаем при этом излишним утруждать Ваше внимание изложением мотивов нашей просьбы, так как неотделимый от общего жизнепонимания Толстого принцип полной свободы совести Вам, конечно, так же хорошо известен, как и нам, являясь в наш век общим достоянием сознания всего передового человечества.

Ив. Горбунов-Посадов

П. Бирюков

В. Чертков

Нет надобности, мы думаем, указывать на то, какое большое число людей разделяет высказанное здесь нами, и убеждать Вас в том, что настоящим обращением к Вам мы выражаем их голос.

Отдельное письмо послала 23 февраля заместителю председателя Совета Народных Комиссаров и председателю Моссовета Каменеву дочь Толстого Татьяна Львовна:

«Многоуважаемый Лев Борисович!

Пишу к Вам по поводу высылки заведующего «Толстовским музеем» Валентина Федоровича Булгакова. Говорить я буду только от своего лица, хотя меня звали участвовать в коллективном протесте. Но я противница коллективных выступлений, особенно обращенных к безличному учреждению, как правительство.

Вас же, от которого хоть отчасти зависит отмена приговора, — я знаю лично. В те редкие свидания, которые я имела с Вами, я чувствовала в Вас доброжелательное отношение ко мне (вероятно, ради моего отца), которому я искренно отвечала.

Поэтому я пишу к Вам, как человек к человеку, и хочу сказать Вам, что карать за исповедание и выражение вечных истин — недостойно правительства, поставившего среди своих лозунгов принципы свободы, равенства и братства.

Всякие политические системы и между прочими та, в которую наше правительство хочет втиснуть нашу огромную, многогранную родину, — канут в вечность. Учение же добра, истины, любви и единения останется вечным.

Неизвестно, насколько высылка Булгакова явится для него наказанием. Таким людям везде и всегда хорошо, потому что они везде нужны. Но для его друзей и для меня лично это будет потеря друга, единомышленника и драгоценного помощника по любимому делу. Для нашего же правительства высылка его ляжет пятном, за которое многие осудят его. Еще я хотела сказать Вам, что Булгаков распродает все свое необходимое имущество, все расходы по визам для себя и семьи, а также и по паспорту его жены — возложены на него. Я хотела просить Вас, Лев Борисович, если уж высылка его неизбежна, — хотя бы снять с него эти непосильные расходы.

Вот все, что я хотела сказать Вам. Простите, если Вам это неприятно. Я ничего, кроме самых доброжелательных чувств, не имею и очень жалею, если Вас обидела».

Несовместимые системы ценностей! Татьяна Львовна и власть, воплощением которой был ее адресат и которая заменила этику революционной целесообразностью, просто жили в разных мирах. Для дочери Толстого правительство — только учреждение, оно безлично. Высшая инстанция — человек.

Все три высокопоставленных адресата этих писем — и Каменев, и Калинин, и Луначарский — своего человеческого отношения к судьбе Булгакова

не проявили, переслали письма, без всяких собственных замечаний, Дзержинскому: как вы на это посмотрите?

Но Железный Феликс был неумолим. Секретный отдел ГПУ еще и взял подписку с Булгакова, что никаких публичных демонстраций при его отъезде за границу не будет.

30 марта Булгаков покинул родину.

Венчает это позорное для органов дело справка об антисоветской деятельности Булгакова за рубежом — стало быть, и там органы не спускали глаз с последнего секретаря Толстого. Справка была составлена, когда через три года он ходатайствовал о своем возвращении.

Все тот же недремлющий Тучков докладывает: «Булгаков до сегодняшнего дня остается убежденным противником Советской власти и ни на iota не изменил своих убеждений, которые он лично характеризует так: «Я их (коммунистов) упрекал, еще живя в России, именно за то, что они были недостаточно коммунистичны». Учитывая всю контрреволюционность своих действий за границей, Булгаков требует гарантии неприкосновенности его личности...»

Только в 1949 году, через двадцать шесть лет, а не через три года, как было обещано, Булгаков добьется возвращения на родину, будет еще долго работать и директором Толстовского музея, и хранителем Ясной Поляны. Но вот выразить публично свою веру и быть апостолом своего Учителя он уже больше не сможет.

Перед судом истории

«Жизнь сложна. Можно не принадлежать к числу сторонников толстовской теории, можно отрицать ее, можно полемизировать с нею, как это в свое время делал и я, но невозможно не преклоняться перед красотой этой великой смятенной души, как можно не верить даже в реальное существование Христа и все-таки восхищаться высотой этого измечтанного человечеством образа.

В наше время, время общего ожесточения и порой не человеческой, а почти звериной борьбы, особенно важны и дороги напоминания о человечности... о прекрасной, вечно взволнованной душе первого русского интеллигента».

Эти слова произнес в десятую годовщину смерти Толстого его современник Владимир Галактионович Короленко.

Седобородый патриарх литературы, с пронзительными голубыми глазами и жилистыми, загорелыми руками, известный всей России, жил тогда на Украине, в Полтаве. И дом его, как и Ясная Поляна, напоминал одинокий остров в бурю. Вокруг бушевала гражданская война, город переходил то к белым, то к красным, то к немцам, то к петлюровцам. И каждая «волна озверения» (выражение Короленко) несла с собой новые убийства, грабежи и насилия. Погибая, спасай других! — сказал кто-то. И старый, больной писатель сражался за других, отстаивая человеческую жизнь перед лицом смерти.

Партизан свободы, как он себя называл, Короленко стал первым великим правозащитником в долгой советской истории, в одиночку идущим против ее течения, предшественником Сахарова и Солженицына.

Новые открытия в архивах карательных органов позволяют восстановить несколько эпизодов биографии Короленко, прочитать летопись его бесстрашного сопротивления — через арестантские судьбы людей, за жизнь которых он боролся. Среди них окажутся те, кто входили в научно-художественную элиту общества, кто объединялись под натиском революционной стихии в поисках гуманного и демократического пути.

...Все то же необъятное дело Н-206 (Тактический центр), по которому привлекалась и Александра Львовна Толстая. Подсудимый Сергей Петрович Мельгунов, историк, литератор и общественный деятель.

За пять послереволюционных лет арестовывался пять раз, то есть каждый год, двадцать один раз подвергался обыскам. «Внутренний эмигрант», — говорил он о себе.

Из следственных материалов о Мельгунове выясняется, что первый раз он был арестован в ночь с 31 августа на 1 сентября 1918 года в результате массовых облав, проведенных в связи с покушением на Ленина и убийством председателя Петроградской ЧК Урицкого. Чекисты-латыши, едва говорившие по-русски, растерялись при виде огромной библиотеки и архива, занимавших пять комнат...

Рядом с ордером на арест — телеграмма из Киева заместителю Дзержинского:

«Принято 3.10.1918 г.

Товарищу Петерсу, Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией. Копия товарищу Чичерину. Кремль.

Короленко обратился ко мне с просьбой содействовать освобождению Сергея Петровича Мельгунова, руководителя «Исторического журнала»³ и издательства «Задруга».

До Короленко дошло, что Мельгунов арестован, между прочим, за личное столкновение, которое он будто бы имел с Бонч-Бруевичем, что бросает в глазах общества совершенно особое освещение на этот арест. Сообщаю Вам об этом, не допуская, конечно, что аресту Мельгунова причиной являются какие бы то ни было личные расчеты. Имея в виду, однако, что Короленко — один из резких писателей, который имел мужество поднять голос против травли на большевиков в июльские дни, и что он один из всей Украины, после ее занятия немцами, гайдамаками, протестовал с негодованием в печати против пыток, которым [подвергались] наши товарищи, заключенные в Виленской гимназии, считаю необходимым дать ему исчерпывающее объяснение по поводу ареста Мельгунова и что мы не прибегаем ни к каким жестокостям, бесполезным арестам и прошу сообщить мне срочно, имеются ли виды на освобождение Мельгунова.

Раковский».

Христиан Георгиевич Раковский — лицо в революции известное. Короленко познакомился с этим видным большевиком еще в царское время, он произвел тогда на писателя большое впечатление своим умом, образованностью и благородством, с тех пор их связывала взаимная симпатия, почти дружеские отношения. Что же касается упомянутого в письме другого большевистского деятеля — Бонч-Бруевича, тут Короленко был введен в заблуждение: к аресту Мельгунова тот был совершенно непричастен, больше того, тоже ходатайствовал за освобождение его. Мельгунов вспоминает, что потом в разговоре с ним Бонч-Бруевич откровенно признал:

— Ваш арест — просто недоразумение. Мы знаем, что кругом нас злоупотребления. Ведь восемьдесят процентов у нас — мошенники, примазавшиеся к большевизму... Что делать?! Мы боремся. Вероятно, мы погибнем. Меня расстреляют. Я пишу воспоминания. Оставляю их вам...

— Ну, меня раньше успеют расстрелять, — отозвался Мельгунов.

Телеграмма из Киева пришла с опозданием, Мельгунов уже был отпущен после допроса у Дзержинского, под его личное поручительство. И все же она пришла вовремя, потому что 5 октября Мельгунов был вновь арестован, и заступничество Короленко пришлось как нельзя кстати. В следственном деле Мельгунова есть распоряжение Дзержинского от 9 ноября: «Принимая во внимание, что С. П. Мельгунову не предъявлено обвинения в содействии организации, поставившей себе целью вооруженную борьбу против Советской власти, ВЧК постановляет: Мельгунова С. П. освободить из-под стражи».

Не прошло и полугодя после этого, как Короленко получает письмо от жены Мельгунова и узнает, что ее муж опять в тюрьме. И снова пишет Раковскому, ставшему к тому времени председателем правительства Украины (это письмо, от 15 апреля 1919 года, сохранилось в другом архиве — отделе рукописей Российской Государственной библиотеки):

«Помните, я раз писал Вам об аресте С. П. Мельгунова в Москве. Вы тогда ответили, что, по справкам, среди арестованных его фамилия не значится.

³ Имеется в виду журнал «Голос минувшего», основателем и редактором которого был Мельгунов.

Это было верно: к тому времени он был уже отпущен. Но вчера я получил известие, что он арестован опять. Не знаю, какие преступления на него возводятся в смысле «неблагонадежности». Но думаю, и даже уверен, что они не могут быть серьезны. А арест его — дело очень серьезное: он душа кооперативного издательства «Задруга», около которого существует много литературных работников и работников печатного дела... Не благодарю специально за приостановку бессудных казней, так как уверен, что Вы сделали это в интересах справедливости и самого большевистского правительства. Во всяком случае — это было нужное и хорошее дело со всех точек зрения».

И на этот раз Мельгунов отделался сравнительно легко — пробыл в тюрьме только десять дней. А вот на следующий год попал в руки чекистов уже надолго — по делу Тактического центра. Тут уж Короленко оказался бессилён, хотя и не остался в стороне, бросился на помощь — опять обратился к Раковскому. Он внимательно следил в Полтаве за этим судебным процессом по газетам — в архиве его сохранились вырезки под рубрикой «Тактический центр».

Дело было серьезное — Мельгунову грозил расстрел. В справке о нем, составленной оперуполномоченным Аграновым для Дзержинского, дана убийственная характеристика:

«...Мельгунов несомненно является одним из самых активных врагов пролетарской революции. Бешеная ненависть его к Соввласти и компартии, его чрезвычайная непримиримость поражает даже его друзей... По сообщениям, полученным мной от заключенного в одной с Мельгуновым камере Н. Н. Виноградского, Мельгунов убежден в неизбежном для Соввласти в ближайшем будущем девятом термидоре и в этом духе настраивает своих товарищей по камере...»

Мельгунов не раз вспоминал бесконечными тюремными ночами переживания узников, ожидавших казни, — из «Бытового явления», знаменитой статьи Короленко. То же чувство бессилия, когда вся тюрьма не спит и прислушивается к каждому звуку. И отчаяние оттого, что революция, за которую он, народный социалист, боролся, сделала это «бытовое явление» еще более массовым и обыденным.

Сохранившиеся в следственном деле записки Мельгунова — прекрасные образцы публицистики, которые перекликаются с публицистикой Короленко того времени и которые еще ждут своего издателя. Вот фрагмент из его заявления 10 июля в президиум ВЧК, написанного после того, как он узнал об аресте жены:

«...Мною поданы три заявления на имя президиума. На них не сочли нужным реагировать...»

Я не в состоянии больше выносить того, что не могу назвать иначе, как издевательством над собой... Понятие это относительно и субъективно, и то, что одному будет казаться переносимым, для другого будет тяжким оскорблением. И вовсе не для писателя только, не для того, кого Агранов угодно было на первом допросе лестно именовать «крупным и известным общественным деятелем», а для каждого, кого можно только отнести к категории критически мыслящих личностей... Психология, а следовательно, и форма восприятия у людей разнородна: если одних влечет на стезю литературную, где возвеличивается человеческая личность и ее неотъемлемые права, то других — на путь жандармов, где всемерное унижение личности возводится почти в догмат, где с презрением относятся к идеологическим ценностям, установленным незыблемо передовой человеческой мыслью и являющимся основами демократии.

Слов для формальных только протестов у меня уже больше нет! Я должен протестовать не только словом, но и действием, должен протестовать именно потому, что со мной это делают социалисты и мне некому даже сообщить! Что же мне, переходить к тем или иным эксцессам, чтобы попасть в подвал, которым грозят висящие в камере правила? Моим уже традиционным интеллигентски-академическим навыкам слишком непривычны такие формы протеста; поэтому обращаюсь к другой, старой форме протеста политических заключенных — к собственно голодовке. Буду голодать до тех пор, пока хватит сил или пока не будет освобождена моя жена. Человеку не дано заранее точно

учесть своих сил. Напрягу всю свою волю, соберу все свое мужество, чтобы не было позорной сдачи. В то же время я ясно сознаю вперед почти бессмысленность моего протеста со стороны достижения реальных результатов. Психология всякой власти, если только она не демократична по существу (форма в таких случаях имеет второстепенное значение), всегда одна и та же: власть не уступает во имя ложного понимания престижа, желая сломить волю заключенных, скорее озлобляется и часто даже начинает мстить...

Если моему протесту суждено закончиться для меня скверно, пусть будет так, по крайней мере, это будет своего рода *momentum mori* для «демократии» в социалистической тюрьме... Если вам кажется целесообразной гибель еще одного народного социалиста, пусть будет так, не впервые, кажется, достигнет такая судьба члена корпорации русских писателей, так или иначе всю свою сознательную жизнь по мере разума и умения служившего интересам демократии и даже, с вашей точки зрения, сделавшегося «контрреволюционером» в период только вашего властвования.

Он сделался им потому, что не мог мириться с бесправием, существующим во имя демократии. Как историк он вынужден слишком сознательно оценивать приливы и отливы общественных волн. Он знает, что рано или поздно другая волна придет, ибо известные социальные принципы осуществляются не в среде отвлеченных категорий, а среди реальных людей и нельзя принудительным путем ввести социализм там, где еще так мало социалистов, где даже среди официальных коммунистов, вероятно, немало таких, которых в эпоху нашего Смутного времени 17 века, во времена Тушинского вора, называли «перелетчиками». К сожалению, при современном культурном состоянии даже верхов человечества эти приливы и отливы чреваты болезненными эксцессами. Этот историк и писатель считал своей нравственной гражданской обязанностью ослаблять неизбежную реакцию. Его деятельность, может быть, и была безумна, но он никогда и в этом случае не поступался своими убеждениями. Он был демократом и социалистом, им и умрет...

Будучи врагом всей политики Советской власти, я все же длительную деятельность большевиков объяснял своего рода общественным фанатизмом, узко воспринятой политической догмой, и органически ненавистный мне террор я выводил из того же ложного, с моей точки зрения, миропонимания. Известный общественный психоз как явление временное, могущее захватывать даже широкие круги, вовсе не является для меня научным понятием... Боюсь, что эта последняя тюрьма начинает разрушать и эту, по-видимому, последнюю иллюзию. Когда вы убиваете людей, вы говорите, что уничтожаете врагов во имя великого будущего. Я отрицаю за людьми право так строить это будущее. Но каким мотивом, кроме недостойного и, в сущности, низменного чувства мести или цепких традиций нашего проклятого прошлого, можно объяснить издевательство над человеком?.. Все то, что мне пришлось пережить в последние две недели, лишь переполнило чашу. Мой протест — протест против всех приемов и методов следствия, против того систематического обмана, которым подвергался; наконец, против того полного бесправия и той полной незащитности, которую я испытываю здесь и которую молчаливо переносят я не могу...

Если издевательством считать только физическое воздействие, то такому издевательству я не подвергался.

Я считаю издевательством *обман*...

Издевательством я считаю всякую жестокость, и особенно в тех случаях, когда она не оправдывается никакими обстоятельствами...

Издевательством я считаю всякое оскорбление, а тем более незаслуженное, наносимое, в сущности, незащитному...

Издевательством я считаю личный произвол... Произволом я считаю отобрание рукописей, написанных мною в тюрьме и не могущих иметь никакого отношения к делу...

Издевательством я считаю, наконец, когда, в конце концов, я задал вопрос, что же, будет суд? — мне было сказано: «Ну что же, если хотите поговорить, можно и суд».

Издевательством считаю игнорирование личности заключенного... Отсутствии элементарной гуманности для меня — издевательство над личностью.

Издевательством, в конце концов, считаю бесправие и беззащитность. В течение месяцев я отдан во власть одного человека. Некому даже принести жалобу...

Вдвойне издевательством все это является потому, что приходится переносить это от социалистов...»

Семнадцать мучительных дней голодовки. Он прекратил ее только тогда, когда освободили жену. И едва успел окрепнуть — слабость, худоба, низкая температура, до 34 градусов, ноги отеки, — как предстал перед судом. По его просьбе жена передала ему тайно, через адвокатов, флакон с цианистым калием — умирать от пули чекиста он не хотел.

Последнее слово Мельгунова на суде, произнесенное сразу же вслед за последним словом другой «преступницы» — Александры Львовны Толстой, — выдержано в том же духе свободолюбия (цитирую по стенограмме суда, хранящейся в следственном деле):

«Обвинитель сказал, что здесь происходит суд истории над нами. Я думаю, что суд истории еще не наступил... В тюрьме я уже написал книгу о французской революции с точки зрения человека, переживавшего русскую революцию. Может быть, судьбе не угодно, чтобы я окончил эту книгу, но буду говорить против гражданина Крыленко на вашу обвинительную речь...

Я стою перед судом истории открыто и думаю, что честно пронес знамя русского писателя, может быть, и небольшое, через русскую жизнь. Я всегда был социалистом, демократом, им и умру... Может быть, мое несчастье, мое горе в том, что как историк сознаю неизбежность прихода этой власти. Если вы, гражданин обвинитель, не знаете, где буду я, то я знаю. Я знаю, что я как-нибудь буду содействовать лагерю «версальцев» и там буду бороться, поскольку у меня есть силы. Если органически для меня неприемлем красный террор, то еще более будет ненавистен белый террор. Во время французской революции был синий террор. Для меня красный террор мучителен, потому что я социалист, и поэтому косвенно принимаю на себя ответственность за то, что здесь происходит...

Гражданин обвинитель в заключительном слове упоминал о Временном правительстве, что Временным правительством был поднят вопрос о смертной казни и оно начало преследовать большевистскую печать. Кто протестовал против смертной казни? Мы, народные социалисты. Мы, народные социалисты, и в частности я, протестовали против закрытия большевистской печати. Мы, народные социалисты, в частности я, были всегда, может быть, и сентиментальны, может быть, в жизни сентиментальность не нужна, но такова натура, такова природа человека, вся психика. История может оправдать всех вас, может быть, правильной идти без компромиссов. Мне казалось, что мы должны идти на компромисс. Но я никогда не возьму на себя смелость утверждать, что иду по правильной пути. Это скажет история. Может быть, я и ошибался, но французская история, которую я усиленно изучал в последнее время, показывает, что я прав...

Я показывал на следствии мое отношение к Советской власти, мои прогнозы... Я на суде не отказываюсь от них и не собираюсь отказываться... Но связь с добровольческими армиями мне лично была не нужна, потому что эти армии были для меня врагами... Если мне суждено погибнуть, то пусть я погибну за то, что исповедую, за то, что делаю, но не приписывайте, по крайней мере, мне того, в чем я не могу признаться, что является неприемлемым для меня органически.

Кончаю. Может быть, смешно человеку, которому гражданин обвинитель требует смертной казни, смешно говорить о том, что он сделал и что делает теперь, но позвольте все-таки сказать два слова. Я считаю, что, может быть, только теперь выполнил свой гражданский долг, может быть, только теперь получил моральное право отдаться своим занятиям. Мне слишком тяжело, что я пережил за последнее время. Я стал политическим и моральным трупом. Но, просидевши в тюрьме, я многое передумал и пришел к убеждению, что и вы пойдете по моему пути, пойдете по пути моего мирозерцания... Сейчас я, может быть, только способен уединиться в своем кабинете, политически я не вижу для себя плодотворной роли, на которой я мог бы работать, если бы даже у меня были силы».

После этого председатель суда объявил перерыв. Верховный трибунал удалился на совещание. И вот приговор — расстрел... и тут же — замена десятью годами тюремного заключения...

В феврале 1921 года Мельгунов, вместе с другими приговоренными по этому делу, будет амнистирован. Он еще успеет помочь тяжело больному Короленко, своему старшему товарищу в литературе и заступнику: организует проезд к нему московских врачей и передаст с ними последний подарок — только что выпущенный «Задругой» третий том «Истории моего современника» — главной книги Короленко.

Когда через год Мельгунова снова арестуют и вышлют за границу, Короленко уже не будет в живых.

— Мы вас выпустим, только с условием — не возвращаться, — сказал Мельгунову на прощанье Менжинский.

— Вернусь через два года, больше вы не продержитесь.

— Нет, я думаю, лет шесть еще пробудем...

Свобода без предрассудков

Второй архивный сюжет связан с именем другого близкого Короленко человека — Венедикта Александровича Мякотина. Публицист и общественный деятель, как и Мельгунов, один из лидеров Народно-социалистической партии и многолетний сотрудник журнала «Русское богатство», издателем и редактором которого был Короленко, Мякотин тоже попал в число обвиняемых по делу Тактического центра. В следственном досье сохранился подлинник неизвестного письма ему Короленко от 28 августа 1919 года. Судьба забросила в это смутное время Мякотина на юг России, в Екатеринодар, где он редактировал газету «Утро Юга». Туда-то и привезла ему письмо старшая дочь Короленко Софья.

«Дорогой Венедикт Александрович!..

Вы, вероятно, знаете, что «Русское Богатство» закрыто, помещение и бумага реквизированы... Красноармейцы, поместившиеся в нашей редакции, отапливались нашими изданиями, третья книга журнала не вышла в свет...

Посылаю Вам для напечатания в газете пять «Писем из Полтавы». Рад бы продолжить их и прислать еще продолжение этой серии, но в последние дни что-то расклеился и до отъезда Софии не успел написать шестого и седьмого писем, как предполагал. Первое и второе письма я было отдал в местную газету, но они «не прошли по независящим обстоятельствам». А я не счел возможным начинать говорить о современных событиях на Полтавщине, начав с умолчания о главном: о сплошном грабеже еврейского населения. Три дня это шло невозбранно, потом воспретили (Полтава в это время была в руках белогвардейцев. — *В. Ш.*). Остальное более или менее увидите из самих писем. Попробую остальные послать почтой.

Жилось тут при большевиках довольно плохо. Надо сказать, что у нас в Полтаве они не совершали и десятой доли того, что творили в Харькове и Киеве. В Исполнительном комитете были люди не свирепые, и удавалось сдерживать гнусности чрезвычайок, так что расстрелов было сравнительно мало. Но все, что делалось, производило впечатление чего-то вроде ноющей зубной боли. «Свободу» они ведь объявили без буржуазных предрассудков. Никто не был уверен в неприкосновенности личной и своего жилища. Грабеж назывался «реквизицией».

Грабеж идет, правда, и теперь. В городах казаки грабили евреев (обирали по шесть-семь раз одних и тех же), в деревнях за малочисленностью евреев — грабят крестьян. Это ужасно вредит Добровольческой армии, и то самое повстанческое движение, о котором газеты пишут, радуясь, что оно вредит большевикам, — легко может повернуться против добровольцев. И уже почти наверное повернется, так что Добровольческая армия готовит себе этими «порядками» плохой и опасный тыл. А еще — самая черносотенная политика относительно Украины... По последним известиям, в Центре отрицают «самостоятельность» — и совершенно резонно, — но признают свободу национальной культуры, а здесь... ну да это Вы увидите из моих статей.

Многие спрашивают — не притесняли ли меня большевики? То и дело носились разные слухи. Говорили даже, будто меня убили... В общем, я пожаловаться не могу. У меня даже не реквизируют комнаты. Попытки со стороны разных низших властей были. Но высшие власти все это пресекали и относились ко мне внимательно. Но атмосфера все-таки была тревожная. По традиции, создалось такое положение, что ко мне то и дело обращались сотни людей, и мне приходилось ходить, посредничать, ходатайствовать и т. д. Все это не давало покоя и держало больное сердце в постоянном напряжении. Не скажу, что теперь оно успокоилось. Безобразий много, и единственное преимущество теперешнего положения в терминологии. Теперь грабеж называется грабежом и только прибавляют со вздохом: «Что делать? Война». А прежде большевики называли грабеж «реквизицией» и объясняли «социализмом». «Раздеть буржуев и одеть пролетариат». Буржуев раздевали, а пролетариат все равно ходил голый! Конечно, бóльшая правильность терминологии есть тоже (ох-хо-хо-о!) некоторое преимущество, но далеко еще до успокоения сердец, и больных, и здоровых...

Снесите с Софией телеграммой, что ли, — чтобы повидаться Вам с нею... Если повидаетесь, то она расскажет Вам любопытный эпизод с нападением на нас... бандитов... Было такое, была стрельба, была даже физическая борьба (я с одной стороны, вооруженный бандит — с другой)... Бандитишки оказались неопытные и... мы отбили! Они сообразили, что убить могут, но у них не останется времени для главного, то есть для захвата денег. Ну вот Вам обстоятельные сведения о нас... Обнимаю крепко...

Ваш Короленко».

Последний эпизод требует пояснений. Короленко, бывшему почетным председателем Лиги спасения детей, в тот момент доставили деньги, предназначенные для содержания детских колоний, что и стало известно бандитам. После неудачного нападения они бесследно исчезли. Случилось это еще при большевиках, перед взятием Полтавы Белой армией. В городе участились аресты и расстрелы. Короленко приводит в своем дневнике разговор с главой Полтавской ЧК Долгополовым, к которому он пришел в очередной раз хлопотать за осужденных.

— Теперь приходится делать много жестокостей, — оправдывался Долгополов. — Но когда мы победим... Отец Короленко! Вы ведь читали что-нибудь о коммунизме?

— Вы еще не родились, когда я читал и знал о коммунизме.

— Ну, я простой человек. Признаться, я ничего не читал о коммунизме. Но знаю, что дело идет о том, чтобы не было денег. В России уже денег и нет. Всякий трудящийся получает карточку: работал столько-то часов... Ему нужно платье. Идет в магазин, дает свою карточку. Ему дают платье...

— Приходит в магазин, а ему говорят, что платья нет и в помине...

— Нет — так нет для всех. А есть, так его получает трудящийся. Все равно, над чем бы он ни работал. Умственный труд тоже будет вознагражден!.. Ах, знаете, отец Короленко! Когда я рассказывал о коммунизме в одном собрании... А там был священник... То он встал и крикнул: если вам это удастся сделать, то я брошу священство и пойду к вам...

«На лице Долгополова лежит печать какого-то умиления, — пишет Короленко. — Я вспоминаю, что чрезвычайка уже при нем расстреливала... без всякого суда. Вспоминаю и о том, что он хватается за голову... Хватается за голову, а все-таки подписывает приговоры. Кажется, я действительно на этот раз видел человека, искренно верующего, что в России уже положено начало райской жизни. Он и не подозревает, что идея прудоновского банка с трудовыми эквивалентами жестоко высмеяна самим Марксом...»

И тут же, на лестнице чрезвычайки, перед глазами возникла другая картинка.

— А знаешь, — говорит один чекист другому, — мне так и не удалось докачать своего...

— Ну-у?.. А мой, брат, уже докачался...

Понял, что речь шла о пытках на допросе. И комментирует:

«Это так просто: не сознаются — надо «докачать». Революция чрезвычайек сразу подвинула нас на столетия назад в отношении отправления правосудия».

Что может чувствовать человек, который утром, развернув газету, вдруг узнает, что он приговорен к смертной казни? Именно в таком положении очутился Мякотин в конце августа 1920 года. Московские «Известия» сообщали о суде по делу Тактического центра и о том, что на этом суде он, Мякотин, заочно объявлен «врагом народа» и лишен «права въезда на территорию Советской республики». В случае же появления на ней оному Мякотину угрожала высшая мера наказания.

Самое поразительное было то, что он находился на территории Советской республики и не помышлял ее покидать, а о зловещем Тактическом центре слышал впервые. Поэтому недолго думая решил поехать в Москву и разъяснить эту судебную ошибку. Получил даже командировку в архивной комиссии, где в то время служил, если бы не новое несчастье: накануне отъезда слег в постель с высокой температурой — врачи определили рожистое воспаление головы. Вот в таком состоянии и нашли его нагрянувшие чекисты. Произвели, как полагается, обыск и увезли в тюрьму. Но вскоре, увидев бедственное состояние узника, выпустили — долечиваться. Когда же, через неделю, Мякотин окреп, то разрешили отправиться в Москву, вместе с семьей — женой и двумя детьми. А там он сразу попал на Лубянку, в цепкие руки все того же Агранова.

Отвергая предъявленное ему обвинение в пособничестве белым, Мякотин говорил на допросе:

— Изверившись в способности командования Добровольческой армии разрешить те задачи, какие оно себе поставило, я вместе с тем не хотел ни в коем случае уезжать за границу, становиться в положение эмигранта и порывать связь с Россией и поэтому решил вернуться к исключительно культурной работе. При этом я предполагал, что Советская власть не будет преследовать меня за то, что я был ее противником, но если бы такое преследование имело место, я решил бы предпочесть его отъезду за границу...

Короленко узнал о беде, случившейся с его старым товарищем, 14 октября. И тут же сел за письмо, на сей раз решил обратиться за помощью к жене Ленина — Крупской, вспомнив, что когда-то она была учительницей одной из его дочерей.

Начало этого письма публиковалось в советских газетах как свидетельство сердечных симпатий, связывавших писателя с ленинской семьей. И в самом деле:

«Уважаемая Надежда Константиновна.

Вы, вероятно, не забыли наше когда-то знакомство. Мы с женой вспоминаем о нем, так же, как и Ваша ученица, теперь уже взрослая... Слышал не раз, что Вы среди нынешних бурь не утратили сердечности и чувства справедливости...»

На этом публикация и обрывалась. А вот основная часть письма — то, ради чего оно было написано, — так и оставалась неизвестной. Восполним этот пробел сейчас — по тексту, обнаруженному в следственном деле Мякотина:

«Мне пишут сегодня об аресте Венедикта Александровича Мякотина, а раньше я читал о приговоре суда по делу Тактического центра, где упоминалось и его имя. Приговор суровый, даже жестокий, едва ли вполне обоснованный: смертная казнь при появлении на советской территории. Мне кажется, однако, что Мякотин не скрывался и после поражения и эвакуации денкинцев оставался, не скрываясь, на территории советской России. Знаю также, что когда Полтавщину заняли добровольцы и я написал ряд писем о безобразиях, которые они здесь чинили, то послал их именно Мякотину, и он добился напечатания их в газете, в которой работал. Одним словом, и на Юге, занятом денкинцами, он оставался тем же Мякотиним, которого читающая публика знала по его писаниям.

Теперь он в числе побежденных, почти раздавленных. Один из товарищей пишет мне (из Петрограда), что он арестован в середине сентября и по просьбе жены его увозят в Москву. Дети едут туда же с матерью. От лиц, недавно

видевших Венедикта Александровича, мой корреспондент слышал, что здоровье его очень плохо. Он производит впечатление совершенно седого одряхлевшего старика. У него давний туберкулез, и тюрьма при нынешних условиях содержания заключенных для него прямо гибельна.

Больше я ничего не прибавлю, кроме разве того, что я глубоко люблю этого человека, верю в его честность, искреннее желание блага народу...»

Еще через месяц, в середине ноября, Короленко ликует: он узнает, что сестра Мякотина, Варвара Александровна, встретила в Москве с Менжинским и он сказал ей, что совсем скоро ее брат будет на свободе. Советская власть уважает Венедикта Александровича как открытого противника, который не прячется за псевдонимы и не скрывается от ЧК.

Увы, радость была преждевременной. Добровольную явку Мякотина карательные органы, конечно, оценили и заменили первоначальный приговор на... пять лет концлагеря. На самом же деле продолжали держать в тюрьме и выпустили по амнистии лишь в 1921 году.

А еще через год Мякотин, вместе со своим другом Мельгуновым, был выслан за границу — оба оказались несовместимы с советской властью.

На последнем допросе Мякотин еще раз выскажет свое отношение к ней:

— Структуру Советской власти и Советской республики считаю неправильной, как и всякого рода диктатуру.

Пророк в своем отечестве

Вот уже и время на дворе другое. Миновала Вторая мировая... Пик сталинского террора позади, но аресты думающих людей не прекращаются. И в новых лубянских досье среди современной крамолы — красноречивые следы охоты на живую мысль русских классиков.

13 марта 1949 года в Москве арестовали за антисоветскую агитацию писателя Дмитрия Мироновича Стонова (Влодавского).

В одном из множества доносов, собранных на Стонова, секретный агент «Ильин» сообщал о беседе, в которой тот сказал:

— А что было бы, если бы Лев Толстой дожил до Советской власти? Старик, как известно, даже царя не боялся... Он мог бы и сейчас написать «Не могу молчать»...

В другом доносе осведомитель «Чернова» информирует: Стонов хранит у себя письма писателя Короленко, в которых тот «высказывал свои несогласия с политикой Советской власти и свои обиды на органы Советской власти».

Естественно, что при обыске особо постарались изъять эти крамольные письма, как записано в протоколе, «от 9 июня и 19 декабря 1920 г. с жалобой на коммунистическую редакцию, 2 шт.».

Лубянские следователи продолжили «исследование».

— Вам предъявляются два письма Короленко 1920 года, изъятые у вас при обыске. Зачем вы хранили их с тех пор?

— Я их хранил как реликвию классика.

— Вы их хранили в антисоветских целях, поскольку были указаны некоторые несогласия Короленко с коммунистами. Покажите об этом правдиво.

— Я не отрицаю, что в некоторой части там высказаны мысли, несогласные с Советской властью, однако я их хранил как реликвию классика и антисоветской цели при этом не преследовал...

На следующем допросе:

— Ранее вы допрашивались о письмах Короленко, чем объяснить, что они были вам адресованы.

— В 1920 году я работал в литературно-художественном журнале «Радуга» в качестве члена редколлегии, куда Короленко был приглашен сотрудничать. Он ответил отказом, прислав письмо от 19 декабря. Второе письмо было им прислано мне как редактору стенной газеты «УКРОСТА»⁴ в качестве опровер-

⁴ Украинско-Российское телеграфное агентство.

жения. Оно также не было мной опубликовано. Все это было в городе Полтаве Украинской ССР...

Позднее Стонов рассказывал друзьям, что следователь на допросе черкал что-то в драгоценных письмах чернилами и на испуганный возглас:

— Что вы делаете! Ведь это Короленко! — ответил:

— Подумаешь, очень нам важна какая-то антисоветчина...

Стонов был приговорен к десяти годам лагерей, но вышел на свободу после переследствия в 1954-м. При реабилитации вскрылось, что следствие велось незаконными методами, с угрозами расправиться со всей семьей Стонова.

Судьба же короленковских писем такова. Подлинники их были отправлены в отдел пропаганды и агитации ЦК КПСС (где они теперь?), а вот копии остались в деле, и мы прочитаем их сейчас.

Но прежде нам придется углубиться в историю отношений Короленко с вождями революции — Лениным и Луначарским.

Ленин, как известно, был большой максималист: или друг — или враг, или наш — или не наш. И насколько горячо принимал он писателя Короленко, борца за правду и справедливость при царизме (даже само имя — Ленин — Владимир Ульянов выбрал себе под впечатлением сибирских рассказов Короленко), настолько теперь, при его собственной власти, писатель-борец стал ему неугоден. Эту новую оценку своего бывшего кумира Ленин выразил с хамской откровенностью в известном письме Горькому 15 сентября 1919 года:

«...Жалкий мещанин, плененный буржуазными предрассудками!.. Таким «талантам» не грех посидеть недельки в тюрьме, если это *надо* сделать для *предупреждения* заговоров... Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентов, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а г...».

Подобные аргументы, состоящие сплошь из ругательств, если и действовали на соратников Ленина, то для общественности явно не годились — произвели бы обратный эффект. И вскоре вождь избрал другую, более ловкую тактику в отношении Короленко: обуздать и приручить. Для этого самому гуманному из партийной верхушки — Луначарскому, наркому просвещения и к тому же писателю, — было дано задание: поехать в Полтаву, самым серьезным образом поговорить со стариком и попытаться своим красноречием убедить его прекратить критику власти. А не получится — предложить высказать свои взгляды на бумаге — в форме писем, к тому же Луначарскому. Пусть выговорится, а мы уж найдем, что ответить.

— Если в России будет республика, Короленко должен стать ее президентом, — мечтательно говорил Луначарский Ромену Роллану в апреле 1917 года, в Швейцарии. Тогда большевики еще только рвались к власти...

7 июня 1920 года Луначарский появился у Короленко в Полтаве. Предложение обменяться открытым, печатным словом было принято. Но тут же возникли и осложнения.

Едва беседа закончилась и довольный Луначарский умчался на митинг в театр, как к писателю пришла делегация — родственники пятерых приговоренных к смерти за спекуляцию хлебом. И Короленко пришлось догонять наркома, идти на митинг. Луначарский и сопровождавший его начальник местной чрезвычайки Иванов успокоили: расстрел будет отменен. После эффектной речи Луначарского и пения «Интернационала» предложили Короленко сфотографироваться вместе — он наотрез отказался, понимая, что завтра же газеты используют это для пропаганды. (Вспомним реакцию Татьяны Львовны Толстой — нежелание позировать для истории в компании с большевистским вожаком.) И еще раз встревоженный Короленко подходил к Луначарскому и Иванову, прося отменить бессудную казнь и разрешить дело нормальным судебным порядком, и снова услышал заверения, что так оно и будет.

В это время все пятеро были уже расстреляны. Об этом Короленко узнал на следующее утро из записки Луначарского, который сообщал, что приговор был приведен в исполнение еще до его приезда, и клялся в уважении и любви.

А развешанная на улицах Полтавы газета «УКРОСТА» громогласно объявила о триумфальной встрече Короленко и Луначарского: будто бы писатель,

подойдя к высокому гостю, сказал: «Я знал, что Советская власть сильна. Прислушав вашу речь, я еще больше убедился в этом...»

Вот этой-то историей, возмущившей Короленко до глубины души, и вызвано появление первого из писем, изъятых чекистами в 1949 году, ибо редактором «УКРОСТА» был не кто иной, как начинающий писатель Дмитрий Миронович Стонов.

«Тов. Редактор.

В сегодняшнем номере «УКРОСТЫ» приведены якобы мои слова, сказанные после митинга А. В. Луначарскому. Если уж газета считает нужным приводить мои слова, то прошу изложить их точно, как они были сказаны. Дело в том, что болезнь решительно не позволяет мне посещать митинги. На этот раз я отступил от этого общего правила по специальной причине: для ходатайства перед властями о нескольких жизнях. После речи тов. Луначарского я сказал буквально следующее:

«Я прослушал Вашу речь. Она проникнута уверенностью в силе. Но силе свойственна справедливость и великодушие, а не жестокость. Докажите же в этом случае, что вы действительно чувствуете себя сильными: пусть ваш призыв ознаменуется не актом жестокости, а актом милосердия».

Ничего другого я не сказал и вернулся к сущности ходатайства, состоящего в просьбе об отмене казни.

Вл. Короленко.

9 июня 1920 г.».

Назавтра в «УКРОСТА» появилась такая поправка:

«В заметке о митинге в театре в словах В. Г. Короленко, обращенных к т. Луначарскому, вкралась неточность. Обращение В. Г. Короленко к тов. Луначарскому носило частный характер и не касалось политических вопросов».

Письмо в редакцию Короленко так и не увидело свет.

Но слово, данное наркому, он сдержал. И начал отправлять ему, одно за другим, свои письма — всего их было шесть, с июня по сентябрь 1920 года, — по существу же, обвинительные речи, острые публицистические статьи по самым важным проблемам жизни страны. Это и был тот самый суд истории, приговоривший к краху победителей у власти в минуту их торжества одинокими устами старого писателя. Не все потеряно, когда есть хотя бы один голос, который называет черное черным, а белое белым!

Кремль ответил Короленко молчанием. Известно, что Луначарский получил все письма, что посылал их Ленину, просил совета, но не дождался.

На попроще свободного слова кремлевские вожди трусливо онемели.

Но и замалчивание не удалось. Короленко не делал секрета из своих писем — они стали широко распространяться в списках по всей стране. Попадали и в руки чекистов, и тогда хранители крамолы жестоко карались.

Вот лишь один пример из лубянских архивов. Дело Н-1727 1922 года Тихомировой Елизаветы Антоновны. Изъято при обыске: «письма Короленко Луначарскому на 41 л.». Отправлена в ссылку.

Девятнадцатилетняя Лиза Тихомирова была членом социал-демократического союза молодежи, выпускавшего подпольный журнал «Юный пролетарий» с лозунгами: «Долой диктатуру над пролетариатом! Долой террор! Всем социалистам и беспартийным рабочим, томящимся в советских и западно-европейских тюрьмах, — наш пламенный привет! Да здравствует свобода собраний, союзов и печати!» Слово Короленко оказалось созвучно этому молодежному кружку — одному из многочисленных очагов сопротивления красной диктатуре.

Письма Короленко Луначарскому — замечательный образец неподцензурной литературы, — как у нас повелось по печальной традиции, были впервые выпущены в свет не на родине, а в Париже в 1922 году, все тем же издательством «Задруга». Дома же напечатаны лишь через шестьдесят шесть лет, уже во времена перестройки⁵.

⁵ См. «Новый мир», 1988, № 10.

В конце 1920 года Дмитрий Стонов снова обратился к Короленко, предлагая ему сотрудничество в новом литературном журнале «Радуга». Но всякое участие в коммунистической прессе было для Короленко уже невозможно. Стонову он все же ответил:

«Уважаемый товарищ Стонов.

Поверьте, что мне было бы гораздо приятнее ответить на Ваше предложение согласием, но этому мешают очень многие причины. Первая — то, что я сильно болен, для работы у меня остается мало времени и настроения и то все занято моей настоящей работой над «Историей моего современника», которой я отдаю все свободное время. А я всегда был противником только показной работы. Работать, так работать — не на показ.

Не скрою от Вас, что есть и другая причина. Я не обидчив и легко вынес бы любое редакционное изменение с моего согласия. Но коммунистическая редакция поступила со мной гораздо хуже. Редактор «Известий» тов. Энтин сам явился ко мне с предложением дать им что-нибудь для газеты. Я выразил сомнение, возможно ли это при наличности многих разногласий. На это редактор горячо убеждал меня попробовать: разногласия уважающих свое дело людей могут и не служить помехой. Около этого времени появилась в «Известиях» статья Пятакова, восхвалявшая красный террор⁶. Я написал все, что можно было сказать против (так как я глубоко убежден, что и во время великой Французской революции, и ныне эта мера может приносить только вред), и снес в редакцию, но редактора в тот час не застал. Вскоре после этого ко мне явился один из постоянных сотрудников и сообщил, что коммунисты как раз в это время заседали в своем «дворце», что им тотчас же была послана моя статья и что они решили напечатать ее в дискуссионном порядке, так как на-верное автор (Пятаков) будет возражать. Я охотно на это согласился, оговорив точно и ясно, что предоставляю статью *только полностью*, без сокращений (она была очень невелика), и иначе печатать не согласен. Редакция приняла мои условия, и я имел неосторожность не оставить у себя копии.

Через несколько дней статья появилась за подписью «постоянного сотрудника» Жарновецкого. Вся моя аргументация, все исторические примеры, ссылки на историков (в том числе социалистов) были исключены. Автор Жарновецкий самым беззастенчивым образом распорядился и моей аргументацией и затем торжественно объявил, что после моей статьи он еще более укрепился в необходимости и плодотворности красного террора. Я, разумеется, протестовал против такого (не знаю, какое применить слово) обращения с моей статьей, послал письмо в редакцию, наконец, просил мне вернуть статью, так как, доверившись редакции, я не сохранил черновика, но на все это последовало лишь презрительное молчание. А так как все это произошло после очень точных переговоров и мне отказали даже в простой отметке, что статья была сильно сокращена, — то я и дал себе слово, что никогда ни одна моя строчка не появится под коммунистической фирмой.

Вы, вероятно, согласитесь, что у меня были на это основательные причины. Я нарочно изложил их здесь так подробно, чтобы Вы видели, почему я так упорно отказываюсь от сотрудничества, хотя лично против Вас ничего не имею.

С уважением!

Вл. Короленко.

19 декабря 1920 г.».

Это и есть то второе письмо Короленко, которое Дмитрий Стонов хранил как величайшую ценность и которое все-таки было отнято у него чекистами через двадцать девять лет.

...Пришел час, когда бесчинства властей вторглись и в семью Короленко. Весной 1921 года был арестован его зять, Константин Ляхович, ближайший помощник во все делах, известный в Полтаве общественный деятель. И за-

⁶ Пятаков Г. Л. — советский государственный и партийный деятель, стал жертвой сталинского террора в 1937 году.

ключен в тюрьму, где свирепствовал тиф. Домой он вернулся, но уже безнадежно больным, и вскоре умер. Это стало для писателя тяжелейшим ударом, подкосившим его.

В это же время Ленин, не выпуская из своего внимания, под благовидным предлогом лечения настойчиво предлагал отправить его за границу, как и Горького, и тем самым избавиться от неугодных свидетелей. Горький поехал, и Короленко напутствует своего «крестника», которого он когда-то вывел в большую литературу: «Слышал, что Вы уезжаете за границу... Сделайте... все, что сможете, для того, чтобы изменить систему. Иначе ничего не выйдет... Россия погибает».

Короленко же никуда не поехал, хотя ему предлагали отдельный вагон-салон со всеми удобствами.

— Эта поездка ни к чему. Я не хочу ехать за границу. Никогда и ничего я не брал ни от какого правительства. И особенно это чуждо мне теперь, когда дорогой мне человек убит коммунистической тюрьмой. Не перейду на казенное содержание. Лучше умру...

Короленко скончался 25 декабря того же 1921 года.

Его друзья собрались в «Задруге», в узком кругу. Слово об ушедшем из жизни писателе произнес Мякотин:

— Когда я думаю о смертном одре Короленко, о его могиле на полтавском кладбище, мне вспоминаются вдохновенные строки, в которых он описывал смерть Сократа: «Овод был убит, но мертвый он жалил свой народ еще больше... Не спи, не спи эту ночь, афинский народ! Не спи, — ты совершил жестокую, неизгладимую неправду!» Мы не афиняне, мы не отравили своего мудреца. Мы только выбили из его рук, рук старого писателя, его единственное оружие — его перо, мы только поднесли ему на закате его жизни горькую чашу ходатайств за смертников...

Повернем время вспять: ни семидесяти лет кромешной советской власти, ни Гражданской войны, ни революции — 1910 год, Ясная Поляна. Толстой и Короленко за обеденным столом мирно толкуют о трудностях и секретах писательского ремесла. И вдруг Толстой произнес:

— Вот когда я буду большой и сделаюсь писателем, я напишу...

За шуткой угадывалось нечто серьезное: в Толстом говорила неудовлетворенность художника, который всегда все начинает заново, вечное дитя, которое только и делает его «большим» и живет так, будто все у него впереди.

А потом они сели в пролетку и покатали по полям августовским полднем... два старика с пышными седыми бородами...



В МИРЕ ИСКУССТВА

АЛЕНА ЗЛОБИНА

*

КОГДА БЫ ГРЕК УВИДЕЛ НАШИ ИГРЫ...

Классика на современной сцене

В недавнем телеинтервью Сидни Кроуфорд — профессиональная красавица и по совместительству актриса — поделилась своими впечатлениями от спектакля «Чайка»: ее буквально повергла в шок «неожиданная» трагическая развязка. Пару дней спустя, глядя сорок девятую «Чайку», я мучительно пыталась вспомнить, с каких же пор мне известно, что Константин Гаврилович застрелился. Не вспомнила...

Погруженность в магнитное поле культуры — давнее и естественное состояние человека, признающего ценность культуры. Но чем больше объем культурного пространства, тем меньше оно заряжено энергией и напряженностью — это тоже естественно. Об исчерпанности не только живого чувства, но тем, идей, выразительных средств написаны уже тысячи страниц, поэтому не будем повторяться; скажем лишь о том, что напрямую связано с нашим сюжетом. Отправляясь в театр смотреть классику, мы заранее знаем, что ружья выстрелят в нужных моментах, сестры не уедут в Москву, а вишневый сад безнадежно вырублен. То есть драма для нас лишается чуть не основного своего качества — действенного драматизма, перестает быть просто историей, за развитием которой следишь напряженно и сочувственно. Конечно, случаются в зале и всякие Сидни Кроуфорд, но ведь спектакли делаются по преимуществу не для них. И даже когда адресатом представления выступает девственный зритель, театр-то все равно не способен вернуться к наивности, отбросив накопленный балласт «прочтений».

Литературное наследие минувших веков нередко сравнивают с мифологией — по степени внедренности в коллективное сознание, неисчерпаемости смыслов, возможности постоянного обновления. И «знающая» публика классического спектакля пребывает отчасти в таком же положении, что и зритель античного — мифологического — театра. Если верить ученым, там любой и каждый знал содержание драмы, а значит, интересовался не тем, что случится с героями, а тем, как представят их историю. Но, во-первых, театральное действие еще сохраняло тогда генетическую связь со священнодействием. Актеры в Афинах считались жрецами Диониса, и само представление имело сакральный смысл: оно как бы соединяло сиюминутность с вечностью, подключало реальность к текущему отдельно от нее, но не иссякающему времени мифа. И второе. В отличие от нас, античность интерпретировала не текст, а сюжет, и зрители, зная содержание, не знали слов, в которых оно будет выражено. Обработкой — и отчасти переделкой — сюжетов же занимались и последующие времена. Даже французские классицисты, объявившие драматургию греков образцом (отсюда и само слово: «classicus» значит образцовый), — даже они считали необходимым придавать старой драме новую форму. А просто взять и поставить Эврипида в «Бургундском отеле» им и в голову не входило: классика на то и классика, чтоб служить примером, и место ее не на сцене, но в классе — или в книжном шкафу.

...Сегодня театральная афиша без классики непредставима. И ставят ее много, особенно отечественную: в общей сложности это примерно четверть всего репертуара. Больше того: как минимум три четверти заметных премьер

тоже связаны с классическими именами. Понятно: для хорошей постановки нужна хорошая драматургия, а «Чайки» стаями не летают; но дело не только в этом. «Классический» спектакль исполняет сегодня почти ту же роль, что трагедия в античности и миракль в средние века: осуществляет связь настоящего с вечным, восстанавливает «время мифа», оживляет и вживе представляет отдельные эпизоды из обширной общекультурной «мифологии», имеющей для нас несколько сакрализованый смысл. Но используются при этом уже не сюжеты, а тексты, обросшие интерпретациями, как днище корабля ракушками. А поскольку пьесу не отправишь в док для очистки, складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны, мы превозносим великие творения, к которым можно обращаться бесчисленное множество раз, с другой — признаем право любого, самого невеликого творца на любые вольности. То есть авторское сочинение, имеющее свою законченную, неизменную форму, воспринимается нами действительно как миф — священное и бесхозное предание, открывающее простор для любых изобразительных решений и идеологических пересмотров. Но способна ли заведомо ограниченная — своими размерами и рисунком словесной ткани — драма или проза быть столь же неисчерпаемой, как вечный сюжет, к обновлению которого привлекаются новые слова?.. Правда, и классику порой переписывают наново. Но это уже другая история, а теперешний наш рассказ — о прочтении старых слов.

Игра в реализм

Большая часть нашей классической драматургии принадлежит — или хотя бы тяготеет — к реалистической традиции. Таким образом, естественной, природной формой ее воплощения является реализм, достигший своих сценических высот как раз тогда, когда Чехов возвел драму на новый уровень «жизненности» и одновременно подвел черту под эпохой. Реалистический же театр никаких трактовок изначально не предполагал, довольствуясь точностью психологии, достоверностью оформления и адекватностью драматургической идее. Тут, правда, возникает вопрос, что значит «адекватно». Тот же Чехов, обязанный МХТу своим сценическим триумфом, считал, что «Вишневый сад» понят театром совершенно неправильно... Сейчас о «правильности» разговор не идет — говорят о традиционном и нетрадиционном прочтении. Реализм, сам давно ставши искусством традиционным и даже консервативным, естественно, склоняется к первому — что отчасти обусловлено и исторической судьбой. Во всяком случае, у нас в стране — где классика была раз и навсегда истолкована официозом, а реалистическая стилистика десятилетиями оставалась единственно разрешенной — и обветшала вконец. Поэтому, когда границы дозволенного расширились, на какой-то момент представилось, что ее вообще сметет со сцены. Но сила инерции оказалась исключительно стойкой, и под ее воздействием продолжают находиться многие театры — как в провинции, так в столице: МХАТ им. Горького, Ермоловский и, разумеется, Малый.

Старейший, академический, до сих пор занимающий первую строчку в сводной афише, он на деле давно лишился заметного места в театральном пейзаже. Два представленные в этом сезоне премьеры демонстрируют ветхую стилистику в двух проявлениях: посредственном и очень плохом. Про второе долго говорить не стоит, хотя вообще-то «Свои люди — сочтемся» в постановке А. Четверкина — зрелище в своем роде уникальное. Если бы не насмешливая ситцево-купеческая декорация (художник Г. Белов), то можно было бы подумать, будто мы попали вдруг в тот «дореалистический» театр, против которого сражался еще Станиславский, — с его пуленепробиваемыми актерскими штампами, заиндевелыми трафаретными типажам и режиссером в скромной роли разводящего. Интересно, в каком леднике это сохраняется?.. «Таланты и поклонники» воспринимаются не столь однозначно. Начать с того, что спектакль очень красив. Прекрасный художник И. Сумбатшвили (кстати, ушедший из Малого вместе с прекрасным режиссером Борисом Морозовым) выстроил на сцене дивный деревянный дворец — как бы театр в театре. Чуть приподнятая площадка окружена галереей с резными колонками, симметричными лестницами и ложей для влиятельных «поклонников» посередине; золотистый колорит декорации перемеживается с бежево-коричнево-бордовой гам-

мой костюмов, козырек суфлерской будки на авансцене напоминает про старинные театральные привычки. Когда раскрывается занавес и все участники выстраиваются в эффектную живую картину — тоже в духе старинного театра, — вспыхивают радостные аплодисменты. Но больше радости не будет. И что странно: не всегда даже удается понять, почему. Ведь явных, безусловных проколов в спектакле — раз и два. Причем случаются они именно тогда, когда режиссер В. Бейлис решает продемонстрировать, что тоже не чужд новизне, — и закатывает какой-нибудь дурнотонный всплеск. А рамки традиции удерживают его «на уровне», и постановка в целом выполнена добротной; есть несколько неплохих актерских работ и, соответственно, — порядочных сцен. Но общее впечатление — нафталиновая унылость, скука и какая-то обесцвеченность. Всего: языка, должных быть колоритными типажей, «характерного» исполнения, даже самой драмы, словно растерявшей свой драматизм...

Но случаются спектакли и режиссеры, которые доказывают: реалистическая традиция жива; впрочем, тут необходимо уточнение.

Любая вроде бы отработанная стилистика может на следующем витке развития обнаружить в себе скрытые прежде потенции — особенно когда к ней возвращаются как бы с другой стороны. Так вот, пройдя полный круг экспериментального поиска, иные из экспериментаторов вновь пришли к реализму. И обнаружилось, что он очень даже способен принести новые плоды — надо только привить ему новое отношение к материалу. Ведь сегодня театр вовсе не стремится «пересадить» зрителя «в кресло участника той жизни, которая происходит на сцене», не требует, чтоб мы шли на спектакль, как в гости к Прозоровым или дяде Ване — своим добрым знакомым. Сегодня все усвоили, что жизнь — это жизнь, а представление — это представление и правдоподобию не к лицу выдавать себя за правду. И реализм сегодня — не более чем прием, избранная на данный момент стилистика. Отсюда следующий шаг должен быть направлен к тому, чтобы реализм обернулся игрой в реализм — сколь угодно «серьезной», эмоциональной, драматически наполненной, но не стремящейся забыть о своей принадлежности к миру иллюзий. Правила в этой игре еще не установлены — кроме одного: она по-прежнему требует от актеров психологической точности и тонкости. Переживания, если пользоваться терминологией Станиславского. А это очень трудно — может быть, даже труднее, чем прежде, ибо и требования к правдоподобию тоже со временем ужесточаются. Современный взгляд обострен кинематографом, который приблизил к нам актеров, позволил увидеть во всех подробностях, как ползет слеза по щеке героини. А сцене никак не обойтись без укрупненной мимики, весомого жеста, форсированной интонации; даже шепот в театре — и тот «театральный». Исходя из этого, «старые актеры» говорили в свое время отцам основателям сценического реализма, что совершенное отсутствие наигрыша, полное совпадение игры с реальным жизненным поведением возможно «только в маленькой комнате». «Художественный театр, — отвечал по прошествии лет Станиславский, — доказывает, что подобное искусство может быть передаваемо и большой толпе». Однако я очень допускаю, что нам старая мхатовская игра показалась бы уже недостаточно достоверной, — недаром, кстати, и сам Станиславский заранее опасался конкуренции кино.

Сегодня эта конкуренция действительно привела к тому, что живой реалистический театр переместился в «маленькую комнату», где зрители сидят вплотную к площадке — часто даже не выгороженной. Такое тесное пространство дает нам приближение, равное кинематографическому, — усиливая притом энергию «лучеиспускания», свойственную творимому здесь и сейчас искусству. Это блестящим образом продемонстрировала Мастерская Петра Фоменко — в спектакле «Волки и овцы», выпущенном четыре года назад и возобновленном в минувшем сезоне.

Абсолютная достоверность и отточенность актерского поведения — каждого жеста, интонации, мельчайшего мимического нюанса — перемножается здесь на явную, нескрываемую радость творческой игры. Великолепная Глафира — Галина Тюнина — наслаждается своим потупленным монашеским лицемерием ровно так же, как предьявленной затем хищной женской прелестью; восхитительно несчастный Лыняев — Юрий Степанов — столь же упоенно погружается в свою овечью беззащитность... А роскошный отставной Аполлон —

Рустэм Юскаев, — праздный бражник с гусарскими замашками, который только в рефренных французско-нижегородских возгласах «Ма тант!» демонстрирует сорок разных интонаций; а живописный мерзавец Горецкий — Иван Поповски, — с таким вкусом восклицающий «Глафира Алексеевна, прикажите подлость сделать», что любая подлость оказывается заведомо оправданной; а дивно нелепая тетушка, которую Ксения Кутепова играет без всякого грима, лишь посредством маразматического бормотания «да..уж, да..уж» и неверных расслабленных жестов погружаясь в глубокую старость... Но довольно смаковать живые картинки чарующего лицедейства — поговорим о постановке.

Петр Фоменко управляет стихией игры из-за кулис, но очевидно, что виртуозная слаженность ансамбля — это его заслуга. Каждый здесь играет свое, ни одной нотой не повторяя другого, и все отмечены общим качеством — блистательной легкостью. То же легкое дыхание присуще и спектаклю — его подвижному, гибкому темпу, быстрому в диалогах, замедляющемуся в сольных эпизодах, почти замирающему, когда надо сконцентрировать зрительский взгляд на «крупных планах» игры. Играющей становится и площадка — узкий треугольник, заставленный «настоящей» старинной мебелью, которая, однако, так уплотнена и лукаво перетасована, что таит в себе намек на авангардную инсталляцию. А уж когда в углу «сцены» подвешивают гамак и Глафира взлетает над головами первого ряда — это выглядит совершенным авангардом, хотя, собственно, почему? Может, именно потому, что над головами? Потому, что на столь тесном пятачке такое натуралистически-размашистое действие дает острый эффект неожиданности? Потому, что мнимая четвертая стена, в большом зале фиксированная рампой, наличествующим или подразумеваемым занавесом и прочими конкретными материями, тут напрочь разрушается параметрами игрового пространства, чтобы снова воздвигнуться у нас на глазах — из летучего материала игры?.. Чудесная вещь — реалистический театр. Жаль только, что показывает он свои чудеса так редко — даже пришлось за примером в 1992 год ходить. А ближе лучших не сыщешь. В «Без вины виноватых» Фоменко, по существу, лишь повторил свой успех — а там и вовсе снова двинулся в условный мир. Но тут мы должны сделать паузу, ибо в действие входят другие принципы театральности.

Игры в условность, в настроение и в концепцию

Ареал распространения оных — шире, и возможностей больше. Притом обнажение иллюзорной природы искусства в большей степени отвечает современной эстетике вообще и театральной в частности: театр — средоточие иллюзий. Что же касается классики, то самый перенос игры в пространство условности призван обновить текст: новые формальные ходы якобы отшелушивают поверхностную изношенность, уводят действие из прошлого и связывают с настоящим, выявляя созвучные времени смыслы. Но проблема в том, что актуализирующие приемы тоже ветшают, причем много быстрее самой классики. Еще недавно казалось: достаточно переодеть трагедию в современное платье — и готово дело; сегодня бояре в джинсах лишь раздражают. И на первый план выходит вопрос, который, собственно, всегда был основным, но как бы заслонялся неожиданностью формы: а для чего классика вывели на сцену?

«Почему Олег Ефремов взялся за „Бориса Годунова“»? — дружно недоумевала критика. И действительно — никакого замысла в спектакле МХАТ им. Чехова обнаружить не удается. Перед нами просто ходят туда и сюда люди в исторических костюмах (на том спасибо), произносят текст, а за ними на огромном заднике появляются то рисунки из летописей, то виды старинной Москвы и что-то еще иллюстративное; а под ними туда-сюда ходит сцена — квадраты цветных платформ, поднимаясь и опускаясь, образуют нечто условно-конструктивистское, плохо сочетающееся с подлинными картинками и поподлинно воспроектированной одеждой. И ведь художник — Борис Мессерер — много чего умеет. И ведь артисты заняты не последние. Но громада текста навалилась на них на всех, подмяла под себя — и сама рухнула. Про то, что Пушкин — великий поэт, вспоминаешь с трудом.

Правда, говорят, что в одном примерно из пяти спектаклей сам Ефремов «играет гениально», и чтоб увидеть это, чтоб ощутить исходящую от его Бори-

са мощную трагическую страсть — стоит вытерпеть все остальное; в конце концов, театр и существует ради таких моментов потрясения... Возможно. Но мне не повезло: трагедии не было.

И вообще, чем дальше, тем сильнее впечатление, что с классическим драматизмом-драматизмом наш театр не в ладах. Причем не важно, идет ли дело о Пушкине, романтическом Лермонтове, добротном реалисте Островском или новом реалисте Чехове: успехи случаются в комедийном жанре или тогда, когда серьезный сюжет превращают в яркое балаганное зрелище — как поступил Андрей Гончаров с «Последней жертвой», опускают до грубого комизма — как обошелся Марк Захаров с «Чайкой». А если режиссер стремится к насыщенному драматизму — как Александр Дзекун, чью «Чайку» привезли из Саратова на II Международный фестиваль им. Чехова, — тогда мы видим страсти в клочья и дикий надрыв. Четко определить задачу спектакля в силу этого оказывается довольно сложно. Но похоже, дело идет о продолжении и развитии «чеховского» настроения, созданного в свое время МХТом, — атмосферы общей тоски по настоящей жизни и боли оттого, что жизнь не удалась. Та тоска как бы подводила итог XIX веку; сейчас заканчивается век XX, и в ней появилась заведомая безнадежность. И дело не только в том, что «Чайка» стала символом и мифом, что заранее известно: любовь — несчастна, творчество — иссушающая страсть и Константин Гаврилович застрелился; суть — в тотальной драме существования.

Стремясь выразить этот безначальный и бесконечный драматизм, Дзекун сразу погрузил спектакль в беспросветный минор. Зрительный зал еще до начала встречает нас густыми сумерками, освещение сцены на протяжении всего действия серое, тусклое, глубина не проглядывается; дымчатые вуали, разделяющие площадку, еще добавляют мрака. Так же мрачны и исполнители: они давно и точно знают, что ничего хорошего нет и все приговорены к смерти. Столь сплошную монотонную тьму может прорезать лишь отчаянный крик, истерика с катанием по полу и чуть не эпилептическими судорогами... В результате очень быстро случается перебор — и происходит отторжение.

Самое обидное, что в этой «Чайке» проскальзывают иногда какие-то щемящие ноты, возникает томительная электрическая атмосфера и та самая «чеховская» струна звучит волнующе и горько... Но нельзя же так долго искать черную кошку в абсолютно темной комнате! Правда, Ионеско и Беккет такими поисками занимались довольно настойчиво. Однако их пьесы короче — что существенно, и сами сюжеты концентрированно условны, декларативно устремлены к обнажению трагической сути бытия. А реальный сюжет, видимо, не способен обратиться в чистую идею экзистенциальной безнадежности: текст, насыщенный «просто жизнью», сопротивляется такой метаморфозе... Впрочем, возможно ли вообще режиссеру выиграть в борьбе с автором?

Спектакль Юрия Еремина «Где любезная моя?» (Театр им. Пушкина) доказывает, что возможно. «Женитьба Бальзаминова» — легкомысленный и забавный водевиль, демонстрирующий три попытки героя жениться на богатой, — превратилась здесь почти в драму. Правда, для этого режиссер отбросил третью часть, в которой Миша таки достигает счастья, и оставил его на пустой сцене, снова обманутого, изгнанного, жалостно восклицаящего: «Где любезная моя?» Столь же важную роль в эмоциональной переоценке сюжета сыграл обаятельный молодой актер Денис Филимонов: своего убогого персонажа, у которого «вкусу очень много», а ума совсем нет, он сделал таким трогательно-простодушным, таким искренним, так нежно лелеющим заветную мечту, что поневоле начинаешь ему сочувствовать. Еремин, впрочем, не преминул показать, что сама мечта немногочисленного персонажа «красивой жизни» поданы откровенно гротескно, в стилистике обветшалой театральности. Первый акт — эдакий раек с краснощеками купеческими невестами, выполненными по образцу кукол для чайника; второй — «аристократически»-манерная мелодрама. Только Миша и его маменька (Нина Попова) представлены «настоящими», неподдельными человеческими существами, и в том, собственно, заключен драматизм, что живой человек гонится за пустой иллюзией, сонной грезой, истаивающей при пробуждении... В общем, из всех прошлогодних премьер по Островскому эта, на наш взгляд, — самая удачная. Ее яркий комизм и непредвиденная серьезность вместе работают на одну тему — тоталь-

ной власти денег, которая вообще является едва ли не главной в творчестве драматурга, естественно сближая его с современностью и открывая широкие возможности для актуализации. Чем Юрий Еремин и воспользовался — вернув пьесу и сохранив верность духу Островского.

Однако тут вступает в силу весьма существенное обстоятельство: «Женитьба Бальзаминова» — вещь, безусловно, милая, но никак не выдающаяся. А значит, между текстом и исполнителями нету разницы в масштабах, и проблема соизмеримости, изначально заложенная в интерпретациях классики, оказывается снята... Другое дело — «Борис Годунов», «Чайка», вообще любая «большая» пьеса, естественно порождая большие ожидания: ведь спектакль, по идее, обязан подняться до ее уровня, стать конгенитальным. А возможно ли это, если делают его не гении? Правда, театр обладает бесценным свойством: он живой. Он творит свои произведения в нашем присутствии, и энергия творческого акта, еще усиленная спецэффектами театральной магии, может отчасти компенсировать недостатки творения. Только не находится ли эта жизнь под угрозой?

Потребности массового общества — будь то жилье, одежда или кинофильм — может удовлетворить только массовый тираж. Театр — искусство по природе нетиражируемое. Но когда сами театры существуют уже в массовом количестве, происходит постоянное тиражирование стилистики, приемов, мизансцен и прочего. Этот переход количества в обезличивающее качество не надо путать с простым актерским штампом: там всегда присутствовала нормальная жизненная основа и конкретный жест соответствовал конкретному смыслу — объясняясь в любви, прижимали руки к груди и т. п. Теперь же клише формы стали независимы от содержания, и тиражируется уже сам театральный процесс, приближающийся к процессу конвейерного производства, где выпускаются тысячи спектаклей, заняты десятки тысяч артистов, не говоря о производственной базе и ее персонале... И как любое массовое производство, театр механизмуется. На авансцену выходят —

Механические игры

Театральное искусство отродясь привлекало к участию технику. Однако ж до недавних пор «беспомощность и грубость постановочных театральных средств» (Станиславский) не давали воображению развернуться. С какими бесконечными сложностями столкнулся МХТ, пытаясь воплотить гениальный замысел Гордона Крега — выстроить систему подвижных ширм, мгновенно трансформирующих пространство... Нынче машинист уже не держит режиссерскую фантазию в оковах, и крэговская «действенная сценография» стала одной из основ театрального языка. Но сам Крэг недаром мечтал еще и об актере-«сверхмарионетке» — сверхчувствительной, сверхпластичной, сверхвыразительной фигуре, которая способна гипнотически приковать к себе взгляд: ведь обычный (даже талантливый) артист может и не выдержать конкуренции с играющим в полную силу пространством.

В фоменковской «Пиковой даме» (Театр им. Вахтангова) самые сильные, самые красивые, самые эмоционально яркие сцены — именно те, в которых действует сценография. Художник Станислав Морозов возвел на поворотном круге причудливую многовариантную композицию, где с одной стороны открывается просторная скругленная глубина огромного игорного «стола», а с другой — теснящая фигурные выгородки, ажурные мостики, порталы, витые лестницы, ведущие к миниатюрным площадкам-балконам, окна, глядящие из ниоткуда в никуда... И когда круг начинает стремительно вращаться и вся эта конструкция словно теряет вес, становясь графическим образом сумрачно-призрачного Петербурга, смутным и прельстительным видением, — тогда нас заверчивает эфирная магия театра, помноженная на метельную магию «Пиковой дамы». И когда Германн, преследуя Графиню, мчится черной птицей навстречу несущемуся вздыбленному пространству — то ли дому, то ли городу; когда вдруг распаивается зияющий простор зеленой «игорной» площадки, взывающей не столько к прозаической, сколько к оперной формуле «жизнь — игра», — тогда все наполняется игрой и жизнью. А артисты — в сравнении с темным великолепием этих картин — проигрывают. Тем более

что им на долю достались главным образом легкость и ирония — которые, спору нет, присутствуют в пушкинском тексте, которыми с избытком характеризуются игроки, Томский, княжна Полина, но отнюдь не исчерпываются — ни Лиза, ни Графиня, ни, в особенности, Германн.

Впрочем, Евгений Князев — вообще отдельная песня. Не знаю, чем привлек Фоменко этот достаточно вялый артист, который был уместен в мелодраматическом сюжете «Без вины виноватых», но предьявить «профиль Наполеона и душу Мефистофеля» решительно не способен, — может, в Вахтанговском просто других нет? Как бы то ни было, отдав ему центральную роль, постановщик заведомо исключил из спектакля пламень страстей и энергию жестокого порыва, что потребовало внешней компенсации, — и у Германна появилась тень. Эта словно бы приклеенная к герою черная, угловатая, почти неестественно худая фигура с демоническим горбоносым лицом и бесполой пластикой (Юлия Рутберг) обозначена в программке как Тайная недоброжелательность, а на деле представляет вынесенную вовне «душу Мефистофеля». Но компенсация не удалась, хуже того: неразлучная парочка иногда производит незапланированно комическое впечатление.

Видимо, сам испытывая некоторые сомнения относительно раздвоившегося Германна, режиссер перенес основной игровой акцент на Графиню — Людмилу Максакову. Она-то и стала главной героиней спектакля — причем героиней заведомо комической. Критики уже многократно воспели ее уверенный артистизм, барственный элитаризм, брызгливо-надменные интонации, капризные старческие «мн-ня» и ту блистательную прелесть игры, которая в последнее время становится своего рода фирменной маркой постановок Фоменко. Я бы присоединилась, если б не смущающий вопрос: разве яркость комедийных красок искупает отсутствие темного колорита — исчезновение «пиковой дамы», страшной старухи, обернувшейся бледным призраком с шаркающей походкой?.. И ведь Фоменко вроде бы не стремился пересматривать текст — напротив, хотел прочесть его так, чтоб заиграли все оттенки. Чтоб предстала въяве знаменитая пушкинская легкость, зазвучала холодноватая ироническая интонация и обрели театральную плоть зловещие словесные образы. Но неточная расстановка ударений вкупе с нехваткой актерского накала привели к тому, что «Пиковая дама» странным образом поделилась надвое. Живым исполнителям отстраняющая ирония сообщила некоторый налет кукольности, тиражированной марионеточности, особенно заметный в остроугольных жестах Тайной недоброжелательности, в стилизованных картинках, разыгранных ожившими эпиграфами, в мелькнувшей под финал новой мученице-воспитаннице, и пластикой, и платьем, и всем обликом повторяющей былую Лизу, которая, в свой черед, уже усвоила графинию «мн-ня»... А дышащую насыщенную тьму, «роковой» колорит и круговерть страстей сыграла механическая декорация.

В «Маскараде» режиссера Н. Шейко (МХАТ им. Чехова) механизация игры зашла еще дальше: подвижная декорация стала здесь основной действующей силой. Справедливости ради заметим, что спектакль изумительно красив — М. Китаев (сценография) и М. Кисляров (пространственное решение) создали зрелище изысканное, холодное и блестящее, как дворец Снежной королевы. Полупрозрачные занавеси-вуали, черные, дымчато-серые, чисто белые или тронутые нежным пастельным рисунком, легко трансформируют сценическое пространство — то открывая его во всю ширь и глубину, то сворачиваясь в зыбкие колонны, то скрывая площадку за каскадом скульптурных складок, то перерезая наискось, сталкивая тревожную черноту с безупречной белизною. Гибкому танцу завес аккомпанирует свет, постоянно перекрашивающий, расцветивающий и просвечивающий легкие ткани. Частью декорации стали и костюмы, соотнесенные с ней колористически и вписанные в общую композицию. А с тем вместе и актеры получили задачи чисто декоративные: протанцевать яркий вальс, выстроиться в стройную живую картину, прочертить изящный острый рисунок затянутыми в перчатки руками... То есть персонажи «Маскарада» намеренно обращены в кукол, бесстрастно и заученно пляшущих на балу жизни. Недаром и партнерами их по бальному коловращению выступают именно куклы — беспомощно мотающие ногами и головами тряпичные коломинки, которых танцоры кружат в объятиях, передают из рук в руки, подкидывают, отбрасывают прочь...

Интерпретация маскарада как развернутой метафоры иллюзорной жизни, где за внешней оживленностью скрывается марионеточная пустота, — отнюдь не нова. Намек на нее можно обнаружить и у самого Лермонтова. Но главное в «Маскараде» — безудержная, гибельная, умоисступленная страсть; именно ее энергией одушевлена драма, ее энергией дышит стих. Когда же театр со всей решительностью изгоняет со сцены не только страсть, но даже малейший намек на живое чувство, — остается лишь ходульный сюжет, построенный на наборе романтических штампов, и леденящая эстетизированная пустота, вскоре, впрочем, оборачивающаяся просто скукой.

И все же постановка Шейко по-своему интересна, ибо в ней проявилась достаточно значимая тенденция. Я имею в виду не столько исчерпанность страстного переживания — это, как известно и как уже говорилось, болезнь распространенная. Правда, театр, обращаясь к классике, демонстрирует ее наиболее отчетливо: воплощение и текст, как лед и пламень, вступают в острый контраст; но важнее другое. Современные визуальные искусства становятся чем дальше, тем более механистичны. Новые компьютерные технологии, как угодно преобразуя заснятый на пленку материал, предъявляют публике многообразные варианты «расчеловечивания» человеческой фигуры, которая теряет очертания, перепроявляется в негатив, получает нечеловеческие пропорции и так далее. Театр, разумеется, не способен на столь радикальные метаморфозы. Однако и ему теперь не чуждо стремление к дегуманизации человеческого материала и превращению живой реальности спектакля в механическую, где все — и сценография, и свет, и звук, и исполнитель — подчинено единой жесткой машинной силе и работает одинаково отлаженно. Актер при таком подходе становится лишь одной из частей машинерии — которая сегодня, кстати сказать, даже не обязательно требует машиниста: все управление можно передоверить соответствующей программируемой технике... Но каким бы научно-фантастическим ни был уровень «постановочных средств», идеи, которым они служат, опять же не новы. Марионетизация театра — давняя утопическая мечта Гордона Крэга (а до него Клейста), жаждавшего освободить сцену от человеческой «слабости», «очевидных судорог плоти»; в том же направлении двигался и Мейерхольд, чья биомеханика оставляла за «актером будущего» только право на «точность движений, способствующих скорейшей реализации задания». Правда, теоретики полагали, что возможности театрального воздействия благодаря этому расширятся, а искусство механизированного актера станет свободным и совершенным. Увы: такова судьба всех утопий — оборачиваться собственной противоположностью. И еще один пример подобного превращения нам продемонстрирует —

Игра в авангард

В 20-е годы, когда советская власть еще не изгнала со сцены все, что «чуждо» и «не нужно» нашему народу, таковые игры велись с энтузиастической активностью и даже с революционной агрессией, ибо претендовали на роль истинно нового, левого искусства, единственно соответствующего новому обществу. Других, не склонных к радикальной эстетике, художников эти шумные эскапады подчас весьма раздражали. Злоехидный Булгаков не остановился даже перед тем, чтоб одним росчерком пера — вернее, двумя строчками в «Роковых яйцах» — «прикончить» Мейерхольда, «погибшего, как известно, в 1927 году, при постановке пушкинского «Бориса Годунова», когда обрушились трапеции с голыми боярами». Не столь желчные Ильф и Петров обошлись комическим пересказом обобщенной «Женитьбы», где сцену декорировали разноцветные прямоугольники, действие начиналось танцем «дамочек в больших, вырезанных из черного картона шляпах», а Подколесин, врезаясь в толпу верхом на Степане, разогнал танцорок «словами, которые в тексте не значились». Но как ни относись к подобному прочтению «Женитьбы», нельзя не признать, что тогда оно было действительно новаторским, дерзким, экспериментальным. А спустя семьдесят лет?..

Начало спектакля «Хлестаков», поставленного Владимиром Мирзоевым в Театре им. Станиславского, повторяет ильфо-петровское описание если не один к одному, то около этого. Там тоже на сцене присутствуют подтанцовы-

вающие дамочки — правда, не в черных шляпах, а в белых балахонах, — и Городничий хоть не въезжает верхом, но разгоняет их ударами хлыста, монолог же начинает высказыванием, у Гоголя отсутствующим и к цитированию непригодным — в силу невозможности запомнить и воспроизвести бессмысленный набор звуков, который, уж не знаю, заучил или импровизирует артист Владимир Симонов. Что хотел этим сказать Мирзоев, разгадывать не берусь, предпочитая собственную, едва ли совпадающую с режиссерской трактовку: с самого начала нам дают понять, что смысла во всем спектакле не больше, нежели в открывающем его «ля-ля». Что дальнейшим и подтверждается. Впрочем, надо проявить справедливость и отметить: некоторые сцены действия вполне ярки, зрелищны и, что называется, театральны. Красиво гуляет по сцене свет, красиво отблескивает металлизированная декорация, довольно красиво всплывает подгулявший Хлестаков (Максим Суханов) с компанией. Других актерских достижений, однако, не наблюдается: вся игра сведена к «гротескному» (на деле — капустническому) дуракавалянию, резкому утрированию мимики, пластики, интонаций — и напрочь лишена всякого чувства, не считая удовольствия показать себя публике... Публика, правду сказать, тоже получает удовольствие — особенно в те моменты, когда дочка с мамой, сидя с двух сторон от Хлестакова, поочередно раздвигают ноги или когда дрожащий от страха Городничий пускает струю (из чайника). На пресс-конференции режиссер говорил, что «Женитьба», выпущенная им на год раньше, и «Хлестаков» составляют смысловую пару «Ж» и «Х» — подразумевая вовсе даже соотношение Урана, астрологическое обозначение которого напоминает букву «Ж», и Хирона. Насчет планетной символики не знаю, а пошловаты хохмочек по поводу обыденно понимаемых «Х» и «Ж» в спектакле предостаточно.

Другие наши авангардисты интерес к мочеполовой сфере уже почти утратили, оставив его, вместе с политическим радикализмом, в начале 90-х годов, когда то и другое шло под маркой достижений свободы. Так, Эймунтас Някрошюс (которого, да прости меня независимая Литва, я продолжаю считать «нашим») лет пять назад показывал Москве свой «Нос», где фигурировали и кастрация, и прыгающий по сцене красноголовый живчик, — а в представленных на фестивале «Трех сестрах» обошелся практически без сексуальности. Зато стремление все перевернуть с ног на голову не только сохранил, но даже продекларировал: когда Вершинин с Тузенбахом принимаются философствовать, они сначала повертываются к зрителю задом: свесив лица меж колен, а затем и вовсе становятся в йоговскую позу сиршасана. И вернуть их в нормальное положение удается не сразу: требуются совместные усилия присутствующих, чтоб перевести философов из вертикали в горизонталь — уложить отдыхать на гимнастических коней, заменяющих мебель в квартире Прозоровых.

Понимаю, что мое ретроградное брюзжанье вызовет эстетскую усмешку рецензентов, которые в каждом сценическом кувырке находят глубокий смысл. Я без труда берусь сделать то же: подобные жесты выдерживают любую интерпретационную нагрузку. Но всерьез увидеть в них новый ключ к глубинам старой драмы — не получается. В лучшем случае резкий ход способен освежить затертую от повтора эмоцию: так, критики взхлеб писали про эффект преддзельной сцены, в которой Тузенбах жадно (или машинально) пожирает огромное количество еды, а уходя, запускает тарелку — и она долго крутится на ребре, все замедляя вращение, и наконец падает... Да, было в этом что-то и горестное, и жалкое, как «пропала жизнь». Но, во-первых, я все-таки не готова признать за тарелкой права сыграть вместо актера — уж хотя бы вместе! А во-вторых, общее движение литовского спектакля — вниз, от изящных манер и тонких переживаний «чеховской» интеллигенции к казарменным привычкам захолустного военного городка — уже отработано на сцене. Недаром и доброжелателей удивило, почему Някрошюс «отталкивается от мхатовского, минуя то, что в этой полемике было освоено в последние десятилетия» (М. Седых). Да потому и минует, что в противном случае стало бы вовсе очевидно: новизна не нова, а лишь подновлена острыми жестами; однако и остроте свойственно становиться пресной. Опасность любой авангардной эстетики состоит в том, что она очень быстро доходит до своего предела: черный квадрат можно нарисовать только один раз. Оттого многочисленные измы начала века и сменяли друг друга с калейдоскопической

быстротой. Оттого и веет вторичностью от нынешних экспериментов, черпающих свои идеи в 10 — 20-х годах.

Западные театрики искусства давно смирились с тем, что «авангарду дальше идти некуда» (Умберто Эко), что провокативность и дерзкий вызов сами обратились в традицию, никого уже не шокирующую, что эпатазирующий художник, обретя социальный вес и статус, утратил свое прежнее право — быть смелым борцом передового отряда (как буквально переводится слово «авангард»).... Что до нашей ситуации, то в пору перестройки-гласности агрессивный эксперимент, захлестнувший сцену, был приветствуем как заря свободы просвещенной. Когда же перестроечная эйфория схлынула, устойчиво-радикальный жест быстро занял в российском театре то же место, что и в западном: стал частью развлекательной культуры. То есть для масс — всякие рэмбо-рокки-маски-шоу и «звездные» спектакли, которых в этом сезоне поставили штук десять, а для образованной публики — кувырkanie трех сестер, сопровождаемое выкриками «в Москву, в Москву!». И реакции на подобные кульбиты классического текста — веселый смех. И слова, которыми они все чаще характеризуются в рецензиях — даже восторженных, — это «аттракцион», «трюк», «номер», то есть лексика из области цирка, эстрады и луна-парка. И первое, и второе, и третье безусловно нужно и законно. А проблема только в том, что наши леворадикалы не готовы еще смириться со сменой статуса, оставить претензии на престижное положение новаторов, интерпретаторов, смелых борцов — и честно взять на себя обязанности развлекателей тусовки... Впрочем, если угодно, я готова ответить им более почетную должность: в античном театре после трагедийной трилогии разыгрывалась сатирическая драма, где те же герои и события представляли в комически-травестированном виде. Вот такой травестией мифа и занимается нынешний авангард.

Эпос в роли трагедии

Мы уже говорили, однако, что как раз трагический или просто драматический заряд классики в сегодняшнем театре не стреляет. И виновата в этом не только и не столько заигранность текста — виновато изменившееся представление о драматичности. Нам уже не хватает проблематики «критического реализма» — частных историй, осложненных социальным конфликтом или спровоцированных общим социальным неблагополучием. XX век, с его исторической грандиозностью, массовостью, ощущением затерянности человечества в космосе и потерянности человека в толпе, как бы сводит на нет драму отдельной личности. «Заказ» эпохи — это драма, точнее, трагедия экзистенции, утверждающая абсурдность жизни. Трагизму такого рода классическая драматургия противится, а ответить утверждением смысла или хотя бы запросом в адрес вечности — не в ее власти. Во всем отечественном репертуаре только пушкинские «маленькие трагедии» впрямую занимаются вечными вопросами. Зато у нас есть экзистенциальный эпос: есть Толстой и Достоевский, равновеликие — в своей несовместимости — пророки, выполнившие ту миссию, которую в переломные эпохи всегда берет на себя Слово. Подведя итог веку индивидуализма, они вновь соединили с Богом человека, уже прошедшего искус сомнения и богооставленности и стоящего в преддверии глобальных катастроф... «И современный театр пытается идти по дороге Эсхила, Софокла и Эврипида, заимствуя из эпоса свои сюжеты» (Г. Померанц).

Из Достоевского — больше, чем из Толстого: скорее всего, в силу большей драматичности текстов, которые буквально рвутся на сцену. Тем не менее встает проблема перевода, в возможности которого сам писатель, впрочем, сомневался: «Есть какая-то тайна искусства, по которой эпическая форма никогда не найдет себе соответствия в драматической». Не вдаваясь в подробности «несоответствий», отметим лишь то, что в данном случае представляется наиболее существенным: театр не предполагает участия автора (если только не усадит его на авансцене с книгой не то с пером наперевес). А авторский голос определяет весь строй текста. Правда, Достоевский нередко передает свою интонацию персонажам, речи которых отличает то же стремительное многословие, та же лихорадочность и страстный накал. Но, с другой стороны, это затрудняет необходимую театру индивидуализацию: ведь герои Достоевско-

го — не столько портреты людей, сколько (перефразируя Бахтина) портреты идей. Отсюда вытекает вопрос о выборе сценической стилистики.

Сергей Женовач, осуществивший в Театре на Малой Бронной масштабную, на три вечера, инсценировку «Идиота», выбрал традиционный реализм: добротный, дотошный, даже несколько тяжеловесный — и, по общему мнению, преуспел. Спектакль был объявлен событием, режиссер награжден «Золотой маской» — по мне, так решительно непонятно, за что. Может, критиков просто заворожил размах задачи: поставить колоссальный роман во всем его объеме, без потерь — и таким образом создать своего рода театральный эпос, тождественный источнику. Но никакого тождества не получилось — и не могло получиться в силу изначально неверного выбора стилистики. Зачисление Достоевского в реалисты — распространенная школьная ошибка: писатель — повторим еще раз — портретирует не людей, а идеи. Мышкин являет собою одно из воплощений идеи христианства: «положительно прекрасный человек», несущий свет и любовь, но притом «блаженный», «юродивый» — с точки зрения современного мира и обыденного сознания так, собственно, и воспринимается христианство. Сыграть эту роль вообще чрезвычайно трудно; сыграть реалистически — трудно втройне. Ибо в пространстве условности режиссер может как-то поддержать исполнителя, а «реальная» стилистика требует, чтоб он сам был реально наполнен светоносной силой Духа. И требует тем настойчивей, что мысль романа выражена в герое много сильнее, чем в сюжете. «Целое у меня выходит в виде героя», — писал сам Достоевский; впрочем, по первоначальному замыслу история предполагала иное развитие. «Он (Мышкин. — А. З.) восстанавливает Н. Ф. и действует влиянием на Рогожина. Доводит Аглаю до человечности»; значительное место в планах занимал «детский клуб», которому должен был «совершенно» отдаться князь. Что получилось в итоге — известно. Таким образом, актер оказывается обязан «перевесить» сюжет. Сергей Тарамаев этого не сумел. Он просто очень достоверно и органично играет очень простодушного и доброго молодого человека, волей случая оказавшегося между двух женщин и не понимающего, как тут быть... Первые два спектакля (выпущенные в сезоне 1994/95 года) уже показали это, но оставалась еще надежда, что третья часть, с ее нарастающим драматизмом, даст артисту какой-то новый заряд. Увы: «Русский свет» продемонстрировал нам совершенно потерянного князя, который, будучи не в силах нести свалившийся на него груз, вообще перестает эмоционально включаться в действие, на муки окружающих отзывается лишь внешне, привычно-механически, и более всего желает, чтоб его оставили в покое. Не оставляют — и неуравновешенный юноша не выдерживает: на глазах теряет рассудок, погружается именно что в идиотическое слабоумие. Стоило ли тратить на такой результат десять часов сценического времени!

Но если не потянул актер, чем виновата стилистика? — могут спросить у меня. Да тем, что реализм есть искусство нормы, его температура — 36,6; и повышение свидетельствует о ситуациях экстремальных. А «Идиот» экстремален весь, так что его и градусником этим не измеришь: зашкалит. А христианство не просто не умещается в шкалу, но отвергает ее принципиально: «Поелику ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих», — и сам Достоевский недаром этот текст цитирует. Режиссер же решительно понизил градус действия, о чем мне уже случилось писать в «Новом мире» (1995, № 12). Может быть, им руководило благое намерение — приблизить мир романа к нормальной человеческой жизни, то есть ко всем нам, только «теплым»? Но куда ведут благие намерения, известно, и получилось по-писаному: спектакль оказался, извините, «извергнут из уст».

Неудача постановки тем досадней, что Достоевский в ней должен был предстать во весь рост. Другие заметные работы последнего времени на это не претендуют: в них романы используются именно как миф, откуда можно взять любой мотив или эпизод — в твердой уверенности, что остальное зритель и сам знает. Кама Гинкас в «К. И. из „Преступления“» (ТЮЗ, сезон 1994/95 года) выделил линию Катерины Ивановны. В спектакле «Карамазовы и ад» («Современник») автор пьесы Николай Климонтович и режиссер Валерий Фокин сконцентрировали внимание на среднем брате — и даже предупредили, что исследуют «мгновение жизни Ивана перед окончательным его безумием» и все вообще

происходит лишь в сознании героя. Наконец, Юрий Любимов iscенировал «Подростка» вроде бы полностью, но тоже с расчетом на зрительское знание: часть романских линий и тем намечена как бы пунктиром, беглым наброском, который обязан соединиться с присутствующим в нашей памяти целым...

Но. Мифологический театр предполагал, что все — и зрители, и актеры, и драматург — кроме знания объединены общим мировидением, в которое вписан и трагедийный сюжет, и само представление, являющееся частью праздника в честь богов; все это и сообщало трагедии эффект катарсиса. Конечно, глупо требовать от современности тождества с античностью. И если я вновь обращаюсь к классическому примеру, то лишь потому, что потребность в трагедии становится все насущней и ошутимей, а Достоевский как раз имеет все права на двуединую роль трагика и идеолога. Проистекая из общезначимой религиозной доктрины, его идеи объединяют в целое комплекс романов — и способны сообщить эффект катарсиса трагедийным сюжетам. Конечно, в полной мере реализовать такую роль сегодня невозможно. Но попытаться прочесть заключенную в тексте весть и именно с нею обратиться к публике — все-таки стоит.

Юрий Любимов такой задачи себе не ставил — впрочем, и «Подросток» в наименьшей степени тяготеет к христианской проповеди. Его проблематика — более социальная, что соответствует общественному темпераменту руководителя Таганки. Да и «ротшильдская идея», которой одушевлен герой, рифмуется со злобой дня. Настойчиво подчеркивать эти рифмы режиссер не стал, видимо понимая, что декларативная актуализация классики отыграла свое в эпоху фронды. Но что нужно сегодня, он, похоже, не очень знает — отчего и передоверил ведущую роль точно найденной стилистике.

Горячая стремительность фатального сюжета воплощена в безудержном presto сценического действия. Кажется, что сцена сама — в лихорадке. Горопливо прокручивающиеся картины как бы выталкиваются напором последующих событий, сжатые эпизоды в лаконичном интерьере чередуются с быстрыми переходами по авансцене, мгновенно отделяемой от всей площадки дымной световой пленой. Резкими углами выдвигаются и снова задвигаются ширмы, легкий занавес наотмашь перерезает пространство, и в его подвижных линиях и складках как бы промелькивает то смутный очерк дома, то косая тень моста или арочный пролет. При всей условности, декорация А. Шлиппе странным образом воссоздает тот Петербург, что рисуется в романе, — призрачный, туманный и фантастический город, который, кажется, может и сам вдруг исчезнуть, растаять, как туман... Словом, образность Достоевского и атмосфера его текста впрямь iscенированы. А мысль ушла.

Хуже того — конспективность изложения подчас затемняет содержание: сюжет «Подростка» достаточно запутан, и если не держать в памяти всех деталей, то можно потерять нить. А в любимовском «Подростке» сюжет сбивается, связи рвутся и поведение героев становится невнятным. И жестко организующие действие стилизовые ходы обращаются сами против себя.

Кама Гинкас и Валерий Фокин поставили на мысль — вроде бы ту самую, христианскую; Гинкас — менее откровенно, Фокин — вполне прямолинейно. Однако здесь возникает другая проблема. У Достоевского идея выводится из целого, и ее финальное разрешение — итог общего полифонического развития. А когда истории Катерины Ивановны и Ивана Карамазова вычлняются из романной структуры, явленный Достоевским итог вступает в определенные противоречия с завершением частного сюжета, и в нем появляется как бы внешняя заданность.

В «Преступлении и наказании» все действие стремится к финальной доминанте — возрождению души. Линия Катерины Ивановны является одним из «обращений» этой главной темы, показывающей, что преображение земного мученичества в крестный путь возможно, лишь когда мученик сознательно несет свой крест. Если перевести это на язык социальной проблематики, то речь пойдет о соотношении личной ответственности человека и ответственности общества за его страдания. И сострада «униженным и оскорбленным» Достоевский все же не склонен полностью оправдывать их этой «униженностью». Он помнит, что несчастная вдова Мармеладова, нашедшая смерть на улице, до того сама отправилась на улицу, на путь муки и позора, свою безответную

падчерицу. Знаменитое сравнение с заезженной клячей приобретает в такой связи двойной смысл: вместе с обвинением бесчеловечному обществу в нем звучит и намек на «обесчеловеченность» самой героини. И вплоть до финала Кама Гинкас с Оксаной Мысиной остаются верны мысли автора, в полной мере демонстрируя безжалостную надорванность этой мученицы, ее истеричную агрессивность, направленную и на бледных, заморенных, предельно «жалких» детей, и на зрителей, которых постановщик не спросившись обязал играть роль гостей на поминках или уличной публики — и с которыми актриса обращается соответственно: цепляет, скандалит, провоцирует, напрашивается на сочувствие, требует милостыни и тут же ее отвергает. Вообще этот короткий спектакль насыщен таким действительно «достоевским» страданием, что в какие-то моменты даже почти перестает быть искусством, обретая болезненность уличного нищенского горя, протягивающего проходим свои цепкие ладони... Но закончить историю просто по сюжету, смертью героини — значит придать действию абсолютную безысходность, как бы закрыв тот выход, в который распахивается финал романа. И Кама Гинкас решил перенести его в свой финал: со сценического «неба» косо падает лестница и К. И. поднимается по ней — с трудом, едва не срываясь, но неуклонно, и сама лестница, подтягиваемая сверху невидимой силой, натужно отрывается от земли. Таким образом, проблема личной ответственности оказывается разом снята, режиссер попадает в русло чуждой Достоевскому идеи под названием «среда заела», и финальное требование небесного прощения высказывается так резко и так в лоб, что даже смущает.

Еще большая декларативность обнаруживается у Валерия Фокина, который решил прибегнуть и к «программному» — то есть помещенному в программке — разъяснению (что, на мой взгляд, вообще не дело: постановка должна говорить за себя). Спектакль задуман — сказано там — как «подобие мистерии», содержанием которой является битва Бога и дьявола в душе человека. Безусловно, это тема Достоевского. Но писатель исследует действительно душу, а здесь душевная драма оказалась вынесена вовне: Зосима «выступает представителем» высших сил, «силы Ада», соответственно, персонифицированы в удвоившемся черте. И сколько б нас ни предупреждали, что все происходящее на сцене происходит лишь в сознании Ивана, что это его видения, его «самоанализ» и его «бред», — у театрального зрелища свой закон. Когда перед нами действуют реальные, во плоти, артисты, невозможно воспринимать всех как фантомы, порожденные воображением одного, существующего в том же пространстве и том же масштабе. Таким образом, теряется внутренний накал — это раз. И второе: сила Добра в спектакле вовсе не соразмерна силе Зла. Искупительная история Зосимы, светлый финал с Алешей и мальчиками, естественно, отсутствуют, «добрым» персонажам оставлено совсем мало места, а их исполнителям не хватает актерского обаяния и воодушевленности. Старец — Михаил Глузский — демонстрирует чисто внешнюю, причем достаточно банальную фактуру, Алеша — дебютант Дмитрий Петухов — совершенно бесцветен. Зато тьма выглядит очень ярко и колоритно. Папаша Карамазов — Игорь Кваша — хоть и умер, но живей всех живых: он всю наслаждается своей мерзостью, своей сладострастной «карамазовщиной» и аж подхрюкивает от удовольствия. А черти вообще «цементируют все действие», соединяя разрозненные эпизоды видений Ивана, — и до крайности довольны своей хозяйской ролью. Особенно нагл, самоуверен и активен Ретроградный черт, которого Авангард Леонтьев играет остро, броско, со смаком и азартом. Что же касается Ивана, вроде бы должного сделать выбор между «голосами правды и лжи», то Евгений Миронов хорош в лихорадочном бреде, когда бормочет что-то невнятное или спорит с чертом по поводу его реальности; хорош и в скептической насмешливости, жесткой иронии. Но боли оттого, что он не верит Богу, выстраданности бунта — нет. А значит, нет и борьбы. Недаром в рецензиях звучала мысль, что герои спектакля живут уже в аду и вполне обвыклись. К такому восприятию подводят и декорация Вольдемара Заводзинского — что-то деревянное, приземистое, с потеками-лишайми по стенам, смутно напоминающее свидригайловскую «баньку», — и жутковатая музыка Александра Бакши, которая, накатывая со всех сторон, пронизывает мертвенной дрожью. Да и вообще всех нас еще до начала как бы записали в покойники — вместо

обычных ламп осветивши зал синеватыми прожекторами, разом слизавшими с лиц все краски жизни...

Богооставленность мира, тотальность зла — представления, с которыми XX век отчасти свыкся. Режиссер их вроде бы отвергает, вписывая (словами) жизнь человека в традиционную иерархическую вертикаль. Но программную декларацию не удастся внедрить в общий смысл и ход действия, погруженного в беспросветную и безнадежную бездну. Приходится выправлять ситуацию с помощью пришитого белыми нитками финала. Предпоследнее слово дается Алеше, который сообщает вердикт по делу Ивана: «Не ты, не ты убил. Меня сам Бог послал тебе это сказать». Последнее принадлежит вознесшемуся старцу, который, сидя на колосниках, молится, облеченный золотым сиянием. Но такая поспешная корректура ровно ничего выправить не может, напротив — только портит картину своей наглядной и непредвиденной благодетельностью.

Однако эти прямолинейно-вертикальные финалы — лестница в небо и старец на небе — заставляют нас опять и снова вспомнить об античности. Финал, в котором являлся *deus ex machina*, был в мифологическом театре чрезвычайно популярен — не случайно ведь и термин возник. Правда, уже тогдашние строгие критики очень скоро перестали удовлетворяться такой развязкой и принялись упрекать драматургов за ее искусственность, свидетельствующую либо о недостаточном мастерстве, либо о желании потрафить демосу, который простодушно радовался всяким чудесам. Нынче развязка по типу *ex machina* предлагается вроде бы образованному зрителю, который по части искушенности любого античного эстета на двадцать веков обогнал. Причем делают это режиссеры весьма опытные и, наверно, понимающие, что подставляются критике, — а отсюда возникает утешительная мысль: может, их неожиданное простодушие не случайно? Может быть, оно говорит как раз о том, что начинается новый этап в освоении мифа, когда уже давно присутствовавшие в культуре мифологемы не то чтобы открываются с новой стороны, но становятся структурообразующими. А начальному периоду структурирования и должна быть свойственна внезапная наивность, даже неумелость. Вспомним, каким поразительно неумелым стал вдруг Шекспир, когда, поставив точку в финале Ренессанса, принялся оформлять еще не высказанные топоры барокко... И если так — все непонятные промашки наших мэтров, разом обратившихся к Достоевскому, все разнонаправленные попытки, стилистические шаги наудачу и кажущиеся не вполне осмысленными пробы — все можно перетолковать в желаемом обнадеживающем смысле.

Обнадеживающем, заметим, не только для театра, но для социума в целом — расцвет трагедии всегда шел рука об руку с общественным расцветом: «золотой век» Афин, елизаветинское время, пора, когда царствовал Король-Солнце... Зачем было этим сильным, энергичным, празднично сияющим эпохам опускать взгляд в трагическую бездну? Может быть, затем, чтобы там именно обрести окончательную полноту жизни? Не знаю; но сознаю, что в моих предположениях слышен призыв бредя. И пусть. Ибо других, разумно-резвых, оснований для оптимизма — в окружающей среде не обнаруживается.



ПАВЕЛ БАСИНСКИЙ

*

ХАМ УХОДЯЩИЙ

«Грядущий Хам» Д. С. Мережковского в свете нашего опыта

Минуло девяносто лет с выхода полного текста статьи Дмитрия Мережковского «Грядущий Хам»¹. Событие не отмечалось русской интеллигенцией, озабоченной политической злобой дня. Говорить же о «памяти народной» в этом случае — нелепо. Обидно! Не за народ — за интеллигенцию. Хороша или нет статья Мережковского, но название ее врезалось в жизнь, в нашу культурную память и по сей день остается притчей на устах.

Традиционалисты ругают «хамами» постмодернистов, последние отвечают не хуже. Ясно, что и те и другие используют это слово не в бытовом, но культурном контексте. Притом никто не сомневается, что «хам» давно не «грядет», но пришел, прочно воцарился в русской культуре и наша задача — только назвать имя этого негодяя. Однако именно культурный контекст должен заставить нас вспомнить о том, что Хам (Мережковский пишет с большой буквы) — само по себе и мя и, следовательно, в обращении с ним надо быть очень осторожным. Кто-то сказал: понять значение слова — найти истину. Что на самом деле представлял собой Хам Мережковского? Был ли он родственником ветхозаветного Хама или новым мифологическим лицом?

В моей работе нет последних ответов на эти вопросы. Возможно, их и не надо давать, дабы не испортить шарм апокалиптического бормотания «Грядущего Хама», оригинальная идея которого мало кого сейчас интересует, зато сохранилось поразительное, всеми культурными русскими и без слов переживаемое ощущение угрозы, исходящей от названия с такой электрической силой, что почти целый век искрит и искрит на немислимо длинном коротком замыкании.

Кто грядущий Хам?

После выхода статья не породила особых полемик, хотя явно выделлась на фоне остальных статей «пирожковского» сборника. Главное, никто не спросил себя: да кто, собственно, такой — Грядущий Хам? Та эпоха вообще отличалась какой-то легковёрностью. Никто не спрашивал: да кто, собственно, такие эти горьковские человеки, блоковские прекрасные дамы, леонид-андреевские анатэмы? Не воздух ли они? Думалось: какая разница! Мифологическая машина работала на всех парах, производство «симулякров» было отлично налажено, хотя еще не поставлено под государственный контроль.

Всех занимал не Хам, но Грядущее. В «Золотом руне» (1906, № 4) Федор Сологуб обвинил Мережковского в страхе перед будущим: «Он боится

¹ Мережковский Д. С. I. Грядущий Хам. II. Чехов и Горький. Изд-во М. В. Пирожкова. СПб. 1906. Отдельные главы печатались в 1905 году в «Полярной звезде» под названием «Мещанство и интеллигенция» (№ 1) и «Грядущий Хам» (№ 3).

Грядущего и, плюя в него против дико веющего ветра, называет Грядущего Хамом». Под такой фразой подписались бы и Луначарский, и Иванов-Разумник. Последний назвал статью о Мережковском выразительно: «Клопопные шкурки»².

Либеральная критика статью, разумеется, не приняла — за ее религиозный пафос. В «Вестнике Европы» маститый Евг. Ляцкий противопоставлял религиозному индивидуализму Мережковского идею социализма без Бога, но «с человеческим лицом»³. Напротив, «правая» печать обиделась за Христа. «Хама грядущего победит Грядущий Христос... Только Христа-то надо разуместь попросту, не сочиняя новых верований»⁴.

И — ничего о Хаме.

Сохранилось свидетельство и о том, как статью читал «народ», близостью к которому Мережковский, быть может, излишне подчеркнуто гордится всю жизнь. Его ранние контакты с Глебом Успенским и Николаем Михайловским известны. Но не все знают, что в молодости он проделал своеобразный «горьковский» путь: странствовал по Руси, жил в крестьянских избах и изучал старообрядцев⁵.

Так вот: народный читатель статью не понял именно потому, что, в отличие от интеллигенции, хотел разобраться: кто Хам?

В книге о муже Зинаида Гиппиус вспоминает, как в 1906 году они с Дмитрием Сергеевичем отбыли в Париж на два года с лишним (кстати, на деньги, полученные от Пирожкова), где сняли квартиру — «хорошую, большую, с балконами на все стороны» и прекрасным видом на Эйфелеву башню, на улице Theophile Gautier. В Париже они, между прочим, познакомились с явлением новой эмиграции, «какой не было ни прежде, ни потом. 1905 год, неудавшаяся революция выкинула толпу рабочих, солдат, матросов — совершенно не способных к жизни вне России. Они работы и не искали и ничего не понимали. Эмиграция настоящая, политическая, партийная, о них мало заботилась, мало и знала их. Устраивались будто бы какие-то «балы» или вечера в их пользу, но в общем они умирали с голоду или сходили с ума. Один, полуинтеллигент или мнящий себя таковым — по фамилии Помпер, — пресерьезно уверял, что он «дух святой». Другие просто ввали, несли чепуху и просили Мережковского объяснить, кто такой хамовина, о котором он писал»⁶.

Вопрос наивный, но законный!

Меньше всего нам поможет Мережковский. Его Хам слагается как бы из трех компонентов: грядущий мещанин, грядущий китаец и грядущий босяк. И все три рассыпаются в прах от легкого прикосновенья.

ГРЯДУЩИЙ МЕЩАНИН. Мережковский неоригинален. О «грядущем мещанине», «среднем европейце» писали Герцен и Леонтьев. Цитатой из первого начиналась статья. Второй — даже не назван, видимо, по причине своей скандальной консервативности. Между тем на пути от Леонтьева до Шпенглера станции под названием «Мережковский» просто нет. В отличие от Мережковского, Леонтьев давно не кричал, а трезво констатировал: да, Герцен был прав и победа «среднего европейца» неизбежна. Как изменение климата и развитие путей сообщения. Этот процесс можно сдерживать (здесь необходим определенный охранительный героизм), но нельзя в принципе остановить. В России он победит с такой же очевидностью, как и в Европе; возможно, немного позже, но возможно, и раньше, принимая во внимание, что процесс этот в основе своей апокалипти-

² В кн.: Иванов-Разумник. Заветное. Пб. 1922.

³ См. также рецензию анонимного критика в журн. «Современность», 1906, № 2.

⁴ Стародум Н. Я. Журнальное и литературное обозрение. — «Русский вестник», 1906, № 3. Кроме названных отзывов см.: «Исторический вестник», № 5; «Весы», № 3-4; «Новое время», № 10776; «Одесские новости», № 6881. Все статьи за 1906 год.

⁵ «Русская литература XX в. (1890 — 1910)». Т. 1. Кн. 3. М. 1914, стр. 288 — 294.

⁶ Гиппиус-Мережковская З. Дмитрий Мережковский. Париж. 1951, стр. 156.

ческий, а Россия охотнее всего принимает именно апокалиптические веяния⁷.

За Леонтьевым — Ницше и Шпенглер. Они заставили мир оценить феномен «заката культуры» на опыте «метафизически истощенной почвы Запада»⁸. Русская мысль поняла это едва ли не раньше европейской⁹. Однако XX век так изменил наши представления о мещанстве, что грозные опасения-восторги Шпенглера видятся наивными в свете опыта последней мировой войны реально переживаемого многими «заката» всего человечества. На этом чудовищном (и завораживающем!) фоне вот именно доморощенный, барский эстетизм Герцена и Мережковского представляется даже и художественно неинтересным, почти пошлым вроде трости и цилиндра в переполненном метро. Не говоря о том, что писать о «паюсной икре мещанства» — после Хиросимы, «Бури в пустыне», чеченских и балканских бомбежек, где погибали дети и беременные женщины, — почему-то не хочется. Можно и по морде схлопотать. В образном, конечно, смысле.

ГРЯДУЩИЙ КИТАЕЦ. Об угрозе «панмонголизма» как возможной почвы для появления антихриста гораздо ярче и конкретней писал Владимир Соловьев в «Трех разговорах...». И в прилагаемой «Краткой повести об антихристе» он назвал своего героя «грядущим человеком», что звучит хотя и не так выразительно, как «Грядущий Хам», но (в философском и религиозном ключе) более точно. Сам Мережковский в статье «О новом религиозном действии» поставил знак равенства между Хамом и Антихристом. Но в главной работе сборника загадочным образом не вспомнил о Соловьеве, не забыв, между прочим, всех без исключения революционных демократов, Дж. Ст. Милля, Гёте, Лао-цзы и Конфуция, Руссо и де Лиль-Адана, Борджиа и Тамерлана, Ницше и Флобера, Лассалья и Бисмарка, Петра Первого и Наполеона, Нила Сорского и Аввакума, Маркса и Энгельса, Базарова и Смердякова, Карамзина и Лермонтова, Горького и символистов, Бернский конгресс и немецкий *Hafersuppe* (овсяный суп).

Но и с поправкой на Соловьева это место в концепции Грядущего Хама выглядит наиболее уязвимым. XX век не подтвердил этих пророчеств. Соединения мещанского позитивизма и позитивизма «желтой расы вообще и японской в частности» в новейшем милитаризме, на котором с таким отрицательным пафосом говорил Мережковский, напуганный не так Соловьевым, как русско-японской войной, что-то не получилось. Не японцы, не китайцы кидали атомные бомбы на чистокровных арийских детей. Их кидали дети ариев, и именно на «желтых» детей.

Какие-то более тонкие прозрения Мережковского нашли подтверждение, скажем, в неистребимой тяге части русской интеллигенции к «евразийству» или в мировой популярности разнообразных восточных сект. Но общей картины мира это существенно не меняет, а главное, не отвечает на вопрос: где тут Грядущий Хам? Не Никита ж Михалков с его «евразийством», отдающим парижским дезодорантом? Не Гребенщиков же с Ерофеевым, от времени до времени совершающие туры за «светлой духовностью» на Тибет?

ГРЯДУЩИЙ БОСЯК. На первый взгляд, это самое интересное в статье — слова о горьковском босяке как антикультурной силе, загадочным образом связанной через Ницше с высоколобным течением русского декадентства. На то надо было решиться: поставить на одну доску Пляши-Нога и Вячеслава Иванова, ночлежников и «оргиастов».

Но вряд ли автор мог не знать о двух статьях видного публициста консервативного лагеря Михаила Осиповича Меньшикова в «Книжках „Недели“» (1900, № 9, 10) — «Красивый цинизм» и «Вожди народные». Меньшиков впервые написал о духовной связи лирического персонажа Горько-

⁷ См.: Леонтьев К. Н. Над могилой Пазухина. — В сб.: «Антихрист». Антология. М. 1995.

⁸ Шпенглер Освальд. Закат Европы. Т. 1. М. 1993, стр. 131.

⁹ «Освальд Шпенглер и Закат Европы. Н. А. Бердяев, Я. М. Букшпан, Ф. А. Степун, С. Л. Франк». М. 1922.

го и беспочвенной интеллигенции: «Горький со своею голью, может быть, потому так стремительно принят и усыновлен интеллигенцией, что он и в самом деле родственен ей — по интимной сущности своего духа... Оторванные от народа классы иначе думать и не могут, но сам народ, пока он организован, так не думает... Вот эта потеря чувства родства с божеством, чувства первородства своего в мире, составляет грустную черту обоих оторвавшихся сословий. Нисколько не удивительно, что голь напоминает интеллигенцию, а интеллигенция — голь...»

И выходит странное дело: с какой бы стороны мы ни подходили к этой безусловно самой знаменитой статье Мережковского, мы так и не сведем концы с началами; не ответим на главный вопрос: кто же, собственно, Грядущий Хам? Его образ двоится, троится, распадается на многие элементы, каждый из которых обладает несомненной внутренней логикой, пусть и сомнительной в свете реального опыта; но, соединенные вместе, они представляют собой нелепость даже с точки зрения отвлеченного смысла. Ну при чем здесь Герцен и Конфуций? Горький и Тамерлан?

И почему в статье с этим названием (Хам с большой буквы) ни разу ни одним словом не упомянут тот, с которого и пошла гулять по свету сама история, — сын Ноя и отец Ханаана, родоначальник одной из трех ветвей человечества?

Одно из двух: или публицистические цели автора не требовали глубокого погружения в древность (но тогда для чего китайцы и Лао-цзы?); или мы оказались жертвой магии имени, изначально насыщенного мощным мифологическим смыслом, но в новом контексте пустого и бессмысленного, однако гениального в своем звукообразе. Почему Грядущий Хам, а не Грядущий Человек или Грядущий Антихрист? Да потому, что второе звучит некрасиво, третье же является тавтологией. Словесное чутье не обмануло Мережковского. «Грядущий Хам» вырывается из глубины тела с дыханием. Восхитительный контрапункт: банальное ругательство с церковнославянским «грядеши»! И что-то подсказывает: то, что отлилось в такой блистательной форме, не может не иметь глубокого и оригинального смысла. За такой внешностью должно быть и соответствующее содержание. Доверимся же автору и всмотримся в его сомнамбулические зрачки, что притягивают на известных фотопортретах.

В то время еще не было компьютеров и слыхом не слыхивали о «гипертекстах»¹⁰. Но тем не менее статья Мережковского представляет собой именно зародышевый образец «гипертекста», где основной сюжет не более чем начало пути. Внутри дороги разбегаются — выделенное на мониторе другим цветом или шрифтом слово (после наведения курсора) открывает новый текст, уводящий в сторону, но событийно связанный с основным.

Например, зачем в «Грядущем Хаме» наличествуют Борджиа и Наполеон? Выделим их мысленно цветом, наведем курсор, «раздвинем» текст... Право, автор искушает нас на подобные операции! Наведем на «Хама».

Хамово отродье

Сошедши с ковчега на землю, Ной и его семья, среди которой был и средний сын Хам, заключили с Богом завет. Началась новая, «послепотопная», эра человечества. Среди многих трудов Ноя был такой: он посадил виноградник. Первый результат оказался плачевен. Не зная ничего о свойствах виноградного сока, патриарх напился и заснул обнаженным в шатре, где его и подсмотрел Хам. Об увиденном же — судя по фреске Микеланджело в Сикстинской капелле, посмотреть было на что! — он немедленно рассказал братьям Симу и Иафету. Братья повели себя благоразумно: отвернув лица, вошли в шатер и накрыли отца одеждami; когда тот проснул-

¹⁰ См., например, информацию А. Гениса о гиперромане М. Joyce «Afternoon» в «Иностранной литературе» (1994, № 5).

ся, обо всем доложили. Вzbешенный Ной проклял четвертого сына Хама, Ханаана. Его потомки будут «рабами рабов» потомков праведного Сима! Так и вышло, по Библии: евреи после долгих сражений завладели ханаанской землей. Вот и вся история.

Но из нее непонятно одно: что так разгневало Ноя, что он проклял — подумать странно! — четверть одной трети своего рода! Комментаторы Торы, где история Хама ничем существенно не отличается от синодального библейского варианта, естественно, задумывались над этим, предлагая более подробные версии хамского поступка, среди которых встречаем такие страшные вещи, как оскотление отца, гомосексуальный акт с ним и даже инцест с матерью. Отсюда вроде бы понятным становится проклятие Ханаана, «четвертого» сына, — ведь после трех сыновей Ной не смог родить четвертого (в Талмуде это объясняется так: Хам поглумился над своим отцом и сказал: «Мой отец имеет трех сыновей и хочет иметь четвертого»). Христианские комментаторы просто оценивали хамский поступок в символическом плане: праведнику отцу противостоит циничный, чувственный сын («Хам» в переводе означает «жаркий»), чьи африканские потомки были наказаны еще и тем, что оказались «черны лицом»¹¹.

Все это не имеет прямого отношения к нашей теме. Выделим курсивом только одно несомненное обстоятельство: после какого-то неизвестного поступка Хама Ной навеки лишился плодоносящей силы. Хотя к тому времени Ной, проживший всего пятьсот с небольшим лет (всего он прожил 950), был мужчиной примерно среднего возраста, он до конца дней не имел больше детей. Но его плодоносящая сила оказалась распределена неравными частями: самая значительная досталась праведным Симу и Иафету и довольно существенная перепала (в метафизическом плане — была похищена) Хаму и его «отродью».

И отныне человеческая культура имеет двойственный характер. В ней одновременно наличествуют «сокровенный» и «откровенный» элементы, каждый из которых обладает собственной силой и определенным преимуществом. Вернее сказать, есть воля, которая стремится к охранению таинства, оказывая ему довольно смешное, на посторонний взгляд, уважение (сыновьям Ноя было неловко двигаться к отцу, пятась задом); и воля, которая относится к таинству легко и просто, как к чему-то равнозначному прочим вещам.

Это можно показать на одном жизненном и одном литературном примере. Вдова русского поэта и мистика Даниила Андреева рассказала мне случай из своей жизни. Уже после отсидки в лагере она однажды оказалась далеко от Москвы, в заброшенном храме, из тех, где обычно были склады или гудели трансформаторы местных электролиний. Проход к бывшему алтарю был свободен, но она — мирская женщина! — не посмела войти туда, хотя и испытала на какое-то мгновение соблазн. Ее никто не видел, как и Хама в шатре отца. Тем не менее она «отвортила лицо».

Другой пример. В романе Генри Миллера «Тропик Рака» описано, как автор (пусть — лирический герой) с пьяными товарищами забежали в католический храм и начали в нем бузить. Муки священника, пытавшегося выдворить хулиганов, но так, чтобы не уронить достоинство сана, доставили им особую радость. Смысл этой истории состоит вовсе не в том, что подонки кощунствовали, а в том, что они наивно и даже трогательно не понимали, а в чем, собственно, дело.

¹¹ О Ное и Хаме существует обширная литература, как о любом ключевом сюжете Книги Бытия. Надо ли говорить, что в нашу задачу не входит ни ее глубокое рассмотрение, ни полемика. Фигурально говоря, наша задача — вполне «хамская»: взглянуть на этот сюжет наивными глазами «романиста». Все же назовем доступные источники: Быт. 9: 20; «Тора (Пятикнижие Моисеево)». Иерусалим. 1993; «Агада». М. 1989; «Еврейская энциклопедия». Т. 11, 15. М. 1991; «Библейская энциклопедия». Т. 2. М. 1994; The Encyclopedia of Judaism. Jerusalem, 1989; «Мифы народов мира». Т. 2. М. 1982; Шедровицкий Д. Введение в Ветхий завет. Том 1. Книга Бытия. М. 1994; «Книга книг в классическом истолковании. Бытие. Вып. 1. Берешит — Ноах (от Сотворения мира до рождения Аврама)». Ростов-на-Дону. 1992. В дальнейшем тексте специальных ссылок на эти издания нет.

Сим и Иафет это понимали. Они поступали неестественным, но праведным образом. Хам поступал естественно (если, конечно, забыть дотошные комментарии к его поступку и принять его натуральным образом). Отец в пьяном виде и голый весьма смешон и интересен. «Таким я его не видел!» Почему не поделиться этой новостью с братьями? Для чего совершать какие-то неловкие и, главное, абсолютно бессмысленные действия, над которыми посмеялся бы всякий посторонний зритель (задом двигаться к отцу и накрывать его платьем)? «Еще чего!» Хам поступал естественно («Естественный человек, или попросту хам», — как сказал однажды на лекции Сергей Аверинцев), но почему-то несправедно. Почему? Но это и есть «хамский» вопрос!

За всем этим остается невыясненным одно обстоятельство. Какой была непосредственная (в буквальном смысле — мышечная) реакция Хама на проклятие отца? Он бился в плаче, молил о прощении, посыпал голову пеплом? Мы не знаем об этом. Между тем в ответе на этот вроде бы пустячный вопрос заключено будущее нашего героя. Грандиозная духовная трещина, которая расколола все человечество, начинается именно отсюда, не с прежнего поступка Хама. Собственно, поступка-то и не было. Ну, подсмотрел, ну, разболтал. Можно списать на случайность, на темперамент, на молодость, наконец!

Настоящим поступком Хама было вот что: услышав проклятие отца, он просто повернулся и вышел из шатра. Ушел. Такая ситуация мне представляется почему-то наиболее правдоподобной, а вместе с тем — наиболее символической. В этом был заключен пародийный жест чудовищного значения: Хам дублировал поведение братьев («пошли задом и покрыли наготу отца своего»); но не тогда, когда Ной находился в жалком и беспомощном состоянии, а когда он был в силе и праведном гневе, то есть когда он был по-настоящему, божественно прекрасен! И в этот-то момент Хам и вышел из шатра задом к отцу, насмеявшись над братьями, перечеркнув священный смысл их поступка.

И отныне мы имеем дело с Хамом не вечно Грядущим, но вечно Уходящим. Даже странно, что виртуоз диалектик Мережковский этого не заметил и придал метафизическое значение только наступательной стороне хамства.

Хам Уходящий есть везде, где существует какая-то культура и, значит, — какие-то святыни и, значит, — нечто, что нуждается в охране и защите. Хам не откуда-то извне появился — он сын этой культуры, плоть от плоти, кровь от крови. Он такой же ее «вечный спутник», как и праведные сыновья. С ним ничего не поделать.

В сущности, он — это мы.

Куда он шел?

Просто себе шел. И, может быть, бормотал про себя: «Да ну вас... с вашим Богом!»

Конечно, такое предположение видится весьма рискованным: ведь проклятие Ноя падало лишь на Ханаана. Хам оставался Божьим избранником в завете; и ни один смертный не был в силах отменить это благословение.

Поэтому вся история разрыва Ноя и Хама оказывалась вроде бы человеческим делом, и только. Допустим, Ной мог — опять же в сердцах — проклясть и Хама, но только «про себя». «Не удалось семечко, выкинем его вон!» Но семечко-то обладало своей первоначальной силой и вопреки отцу проросло.

Кроме Ханаана у Хама было еще трое сыновей: Хуш, Мицраим и Фут. От них пошли свои дети; их перечисление занимает в Библии немногим меньше места, чем перепись внуков, скажем, Сима. Между прочим, один из внуков Хама, Нимрод, «был сильный зверолов перед Господом...», был «силен на земле...» (в русском издании Торы такой перевод: «он первый

сделался богатырем на земле...»). Нимрод владел обширной империей, в которую входили Вавилон, Эрех, Аккад и Халне в земле Сеннаар.

Как это важно, что первое упоминание Вавилона прямо связано с ближним потомком Хама! Ведь именно строительство знаменитой башни «высотой до небес» и стало первым в библейской истории актом инженерного и художественного творчества человека не просто без Божьего благословенья, но и прямо вопреки Его воле!

Каждая деталь этой грандиозной стройки очень символична. Вспомните: Ной строил ковчег. Создается впечатление, что Бог не просто не желал самостоятельного творчества людей, но относился к ним как к малым детям, которым нельзя довериться решительно ни в чем! Описание ковчега, предложенное Богом Ною, напоминает инженерный проект, где все учтено до мелких деталей: «Сделай себе ковчег из дерева гофер; отделения сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи. И сделай его так: длина ковчега триста локтей; ширина его пятьдесят локтей, а высота его тридцать локтей. И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай с боку его; устрой в нем нижнее, второе и третье жилье» (Быт. 6: 14 — 16).

Все здесь учтено: стройматериал, размеры, конфигурация и даже расположение окон и дверей! Ничего подобного этому проекту вавилоняне, разумеется, не получили; а между тем затеянная ими постройка до сих пор не имеет равных на земле. Согласно легенде, на верхние этажи еще не достроенной башни камни поднимались (с помощью лебедки — что изображено на гравюрах) в течение целого года! Да и не камни это были — кирпичи — в сущности, первое изобретение человеческого инженерного гения без помощи Бога! «И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести» (Быт. 11: 3). Кстати, это совсем не «мифы народов мира»; изобретение кирпича в Вавилоне подтвердилось археологическими поисками¹².

Не приходится сомневаться, что в более благоприятной ситуации, чем та, что выпала на долю вавилонян, башня была бы достроена. Иначе зачем было Богу вмешиваться и держать совет с ангелами? «И сказал Господь: вот один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать...» (Быт. 11: 6). В Торе такой перевод: «Ведь народ один и речь у всех одна, и это лишь начало их деяния, а теперь не будет для них ничего невозможного — что бы они ни вздумали делать».

Дальнейшее известно. Духовное значение Вавилонской башни волнует человечество по сей день. Одни считали ее прообразом всей человеческой культуры — изначально задуманной как вызов Богу; другие (Достоевский в «Братьях Карамазовых») сравнивали с социализмом, то есть допускали возможность другой, санкционированной Богом, культуры.

Так или иначе, надо признать: строительство башни оказалось первым в Библии намеком на цивилизационный шаг человечества. Согласно наиболее простому толкованию, построение башни не было действием против Бога. Население земли было весьма малым, и люди боялись, что они разбредутся в поисках пастбищ по всему миру и навеки потеряют связь между собой. Башня — это маяк, а Вавилон — столица мира. «Сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли...» — говорили строители башни, то есть назовем, определимся для самих себя: кто мы? Не в том ли и состоит внутренний смысл всякой цивилизации — в элементарной организации безбрежного человеческого хаоса? Но кроме того, в плане «столицы мира» и создания единого маяка для всего человечества смутно брезжит самая поздняя идея европейской цивилизации — «мира без границ», и в частности «единого информационного пространст-

¹² Comay Joan. The World's Greatest Story. The Epic of The Jewish People in Biblical Times. London. 1978.

ва». И можно только догадываться, чего стоило древним вавилонянам, имея под рукой лишь кирпичи и земляную смолу, проводить эти идеи в жизнь, когда и современное человечество, владеющее средствами ТВ и Интернета, не может с этим справиться!

Но есть и более изощренные версии толкования Вавилонской башни. По одной из них говорится, что башня — это мысль о том, что не Бог управляет миром; и сам Потоп был следствием перемещения небесных сфер, которое может время от времени повторяться. Башня до небес нужна, чтобы воздействовать на сферы; таким образом, она была задумана как первая в истории попытка «научного управления миром», что совпадает с идеями наиболее радикальных мыслителей гуманистического направления от Фурье до Федорова и Вернадского.

Еще тоньше в Каббале: «В известной мере строители башни, зная таинства мироздания, пытались предвосхитить идею Иерусалимского храма, Святого города и Израиля как избранного народа». Но идея Израиля — это покорение материи духом; а «строители Вавилонской башни стремились извлечь из духовных миров то, что им хотелось, без внутреннего подчинения материального духовному. Их единство... строилось по модели Единого народа Израиля, но оно было искусственным, поддельным». Образно говоря, башня была задумана как «проводник», но не небесного воздействия на земной мир, а наоборот.

Традиционное христианское толкование башни опять же символично: это несправедный, подменный путь на небо, обреченный на духовное поражение. Это отказ признать границу между верхом и низом, религиозное «хамство», доведенное до последнего предела.

Потомки Хама были сильны не только инженерным гением, но превзошли евреев (потомков Сима) в других областях. «Раскопки в Палестине дали богатый материал из эпохи господства хананеев... свидетельствующий о довольно значительной степени культурного развития этих народов... Они уже жили не в пещерах и ущельях, как первобытные жители Палестины, а умели строить даже укрепленные города. Остатки хананейских крепостей Гезера, Таанаха, Мегиддо, Иерихона и других поражают целесобразностью и искусством своего строения» (из «Еврейской энциклопедии»).

Хананеи весьма долго сопротивлялись нашествию израильтян (результат которого, заметим, был заранее предрешен Богом!), ибо «превосходили их в военном искусстве; у них были боевые колесницы, конница и сильные крепости». Но и после завоевания хананеи не сдавались. «Благодаря более заманчивой в е в н е й культуре Ханаана, евреи подпали под пагубное влияние покоренных ими народностей, переняли их религиозные обычаи и породнились с ними. Ввиду этого законодатель был суров по отношению к хананеям: их следовало поголовно истребить (Второзак. 20: 16), всякий союз с ними воспрещен (Исх. 23: 32; 34: 15 и др.). Особенно были запрещены браки с ними».

Было от чего! История хананейской цивилизации безусловно заслуживает грифа «дети до шестнадцати». Хананеи не скрывали своей наготы, «тогда как народы Сима и Яфета были более стыдливы». «Культ хананейский,— говорит «Еврейская энциклопедия»,— отличался религиозным развратом. В отношении половой нравственности хананеи вообще стояли очень низко».

Не только Хам — все его потомки не желали быть праведниками! В этом плане развратные хананеянки отлично соперничали с вавилонскими блудницами. Но задумаемся. Чего не предпринимал Создатель для истребления с лица обновленной земли хамского семени! И чего стоило семени выжить! Требовались не только фантастическая изворотливость ума и величайшее напряжение творческой воли, но и высочайшее искусство сексуального обольщения.

...Во времена Соломона — сухо пишет энциклопедия — «хананеи исчезают из истории... По-видимому, хананеи окончательно ассимилировались

с евреями и потеряли самостоятельное бытие...» Но назовем вещи своими именами: несмотря на чудовищные условия, в которых оказалось потомство Хамово (чего стоит запрет на браки с ними и приказ поголовного истребления!), они с помощью искусства обольщения не просто ухитрились навязать евреям внешние признаки своей культуры, но и породниться с ними. И ничто уже, ни одна сила на свете, не могло остановить этих «подземных» шагов Уходящего Хама.

Однако расистам от культуры тут нечем поживиться. Ассимиляция евреев и хамитов — факт не более значимый, чем ассимиляция славян и монголов или сумбурное, на основе множества «кровосмешений», рождение американской нации.

Вот один забавный пример. Когда Роман Гуль назвал статью против книги Синявского «Прогулки Хама с Пушкиным», он вряд ли держал в голове библейский контекст. Если проследить историю «Хамова отродья», набредешь на любопытный вывод, что единственным кровным потомком Хама в русской литературе был Пушкин, чьи африканские предки вышли из Хамова колена, в отличие от арабов и евреев (Сим) и индоевропейцев (Иафет). И почему бы не прогуляться со своим прапра... дедушкой!

Это шутка, но вывод серьезен: после неизвестного, но допускаемого нами символического поступка Хама «хамство» теряет «кровное» значение («Мы с тобой одной крови...» — могли бы сказать в спину Уходящему Хаму его братья; но он уже не слышал их) и переходит в область духа.

Там и поищем его.

Хам и Смердяков

Разумеется, Мережковский не обошел это имя в своей статье; оно мелькает весьма часто. Если мы по привычке раскроем словарь Даля, чтобы он нам все немедленно объяснил, то действительно найдем специфически русское определение «хамства»: хам — слуга, лакей. Это в целом совпадает с историей проклятия хамского рода, но решительно ничего не объясняет. Всякий хам — слуга? Всякий слуга — хам?

И ведь Смердяков рожден не просто от дворянина Федора Карамазова, но и от юродивой Лизаветы Смердящей. Таким образом, он чуть ли не прочнее сидит в русской культуре, чем старик Карамазов и трое его законных сыновей.

С другой стороны, Смердяков не единственный лакей и слуга в романе. Слугой является и Григорий, воспитавший Дмитрия и самого Смердякова.

Не стыдится быть слугой Зосимы и Алеша; больше того — по указанию старца он охотно идет прислуживать на трапезе у игумена, где собирается местное общество.

Так что «хамство» Смердякова, очевидно, не только происхождением его и положением в барской среде объясняется. Он — классический хам, но почему?

Слуга Григорий вначале любил мальчика, как сына. Но нечто странное замечалось в нем. Он часто забивался в угол, глядел исподлобья на своего воспитателя и словно... заранее готовился куда-то сбежать: «...он был страшно нелюдим и молчалив. Не то чтобы дик или чего-нибудь стыдился, нет, характером он был, напротив, надменен и как будто всех презирал... „Не любит он нас с тобой, этот изверг, — говорил Григорий Марфе Игнатьевне, — да и никого не любит. Ты разве человек, — обращался он вдруг прямо к Смердякову, — ты не человек, ты из банной мокроты завелся, вот ты кто...”»

Тем не менее Смердяков рос ребенком на редкость изобретательным. И не только потому, что «в детстве он очень любил вешать кошек и потом хоронить их с церемонией». Но первое же прикосновение к библейской истории вызвало в нем решительное отторжение и довольно изобретательный «хамский» вопрос:

«— Чего ты? — спросил Григорий, грозно выглядывая на него из-под очков.

— Ничего-с. Свет создал Господь Бог в первый день, а солнце, луну и звезды на четвертый день. Откуда же свет-то сиял в первый день?»

Григорий ответил просто:

«— А вот откуда! ... и неистово ударил ученика по щеке. Мальчик вынес пощечину, не возразив ни слова, но забился опять в угол на несколько дней».

Истинно: вся дальнейшая история с подлой изобретательностью Смердякова и бесконечными разборками в доме Карамазовых — ничто в сравнении с этой изумительной, почти библейской сценой: разгневанный Отец не в силах ответить на правильно поставленный вопрос Сына и поступает единственным праведным образом: бьет щенка по морде! По-другому нельзя! Никакое «всепрощение» не победит хамства (недаром Смердяков единственный презирает Алешу). Очень древняя, дохристианская это история: Хама Уходящего и Смотрящего Ему в Спину Отца.

Таким он родился. Всем чужой. Обреченный на проживание в том мире, который не любит, не может полюбить («Я всю Россию ненавижу», — говорит Смердяков, но то же самое он сказал бы и во Франции, и в Германии). В мире, который навязан ему непостижимой, нелюбой отцовской волей; с ней-то Смердяков и не может никогда согласиться и, пока не в силах ее побороть, вынужден от нее уходить.

Но и то верно, что когда семечко прорастает, ему уже нет равных по, так сказать, фигурности, непредсказуемости роста. Своей изобретательностью Смердяков всех затмил. И он решился на то, на что Иван и Митя отважиться не могли, хотя и хотели того. Убить отца! И никогда бы не пошли, потому что в каждом из них хоть что-то да было от Алеши.

Иван это вначале не понял. Он проиграл игру со Смердяковым, потому что недооценил его. Он думал, что тот глуп, а он был умен. Думал, что тот трус, а он был смел. Полагал, что последнее слово будет за ним, Иваном, а слово оказалось за Смердяковым. Смердяковский жест накануне самоубийства — это вершина хамского «благородства»: не только все за Ивана сделал, но и деньги отдал! И вершина хамской подлости: Иван отныне вроде навеки повязан со Смердяковым кровавой круговой порукой:

«— Ты неглуп,— проговорил Иван, как бы пораженный; кровь ударила ему в лицо, — я прежде думал, что ты глуп. Ты теперь серьезен! — заметил он, как-то вдруг по-новому глядя на Смердякова.

— От гордости вашей думали, что я глуп. Примите деньги-то-с.

Иван взял все три пачки кредиток и сунул в карман».

Ночью Смердяков повесился. Ушел.

Хам в русской литературе

Нет, пора наконец припрячь и подлеца.
Итак, припряжем подлеца!

«Мертвые души».

Хотел того Мережковский или нет, он романтизировал Хама. Страсть поисков «сверхчеловеческого» идеала (хотя бы и отрицательного) там, где его вовсе не может быть, подвела его и на этот раз. Как религиозному мыслителю ему не хватило «духовного реализма», как писателю — способности создать «единую душевно-духовную скульптуру героя; зрело объективированный личный характер; пластику души; завершение индивидуальности»¹³.

Что такое мещанство вообще, азиатчина вообще, босячество вообще? Только пропущенные через любовно-пристрастный взгляд художника, они

¹³ Ильин Иван. Творчество Мережковского. — В его кн.: «Русские писатели, литература и искусство». Washington. 1973, стр. 126.

способны стать источником ярких, пусть и отрицательных, образов. Ме-режковский был холоден к своему Хаму, и эту-то холодность он старался искупить мистической экзальтацией. Но он предложил нам тему. Будем и за это ему благодарны!

Тема эта сквозная в русской литературе. Однако понятной она становится только тогда, когда мы сравним ее ветхозаветный контекст с русским взглядом на вещи.

Вернемся в шатер Ноя. Его спор с Хамом был чисто мужским спором за право лидерства. Божественное право было на стороне отца, потому сын и был посрамлен. Поведение Сима и Иафета тоже понятно: мужская трезвая оценка иерархических приоритетов и молчаливое принятие стороны отца.

Но мог быть в шатре еще кто-то, о ком молчит Библия. Это мать Хама и жена Ноя. Ее положение в споре нельзя просчитать логически, ведь победа и поражение каждой из сторон были для нее только поражением. Этот «женский» взгляд на тему, невозможный в ветхозаветной традиции, и есть взгляд русской литературы.

Меньше всего следует искать здесь сентиментальности. Это реалистический взгляд на романтическую тему, что вообще служит отличительной особенностью русской классики. Скорее тут сквозит материнский здравый смысл и даже практичность: победа одной родственной воли над другой не может быть полной — после этого неизбежно нарушение цельности; мир дает трещину, расплзается по швам. Значит, придется латать, чинить, хлопотать и т. д.

«Женский» взгляд на Хама мы встречаем, например, в прозе Пушкина. Как бы ни был он строг к Пугачеву и как бы ни осуждал за убийства и воровство, за посягательство на основы государственного порядка, он все-таки не позволяет Петру Гриневу торжествовать победу благородства над врагом. Он словно специально запутывает Гринева в сложнейшие отношения с вором вплоть до нравственных обязательств перед ним; словно посмеивается над «благородным» происхождением Гринева, то оттеняя не менее достойным и более симпатичным «рабством» Савельича, то вынуждая присутствовать на совете «енералов» самозванца — безусловно пародийном в отношении будущего военного совета в Оренбурге.

Будто Вергилий, автор проводит героя по узенькой тропке, разделяющей хамство и благородство, демонстрируя ее непредсказуемо причудливый маршрут. Стремясь поступить благородно — вернуть игорный долг, Гринева ведет себя по-свински и обижает Савельича. Нарушая (в буквальном смысле) правила дворянской чести, он спасает Машу от смерти и бесчестья.

Где находится точная граница, что разделяет братьев и Хама, благородство и его противоположность? Понятно, что она лежит не в области социальных отношений, что она индивидуальна для каждой личности. Понятно, что это не та граница, что отделяет грубость и вежливость, неотесанность и воспитанность, невежество и образованность. Дикая острожная песня ярче, выразительней слащавых дилетантских (и профессиональных — тоже) стихов. Грубый, но цельный характер интересней и культурно значительней воспитанной, образованной — но душевно мелкой и духовно пустой личности («безнатурный» типаж, по определению Лескова).

Но Пушкин не был бы «духовным реалистом», если бы не показал достаточно точной границы между хамством и благородством. Хамство кончается там, где возникает простодушие, и начинается там, где возникает изобретательность. (Впрочем, нет обратного хода: хамство — всегда изобретательность, не всегда изобретательность — хамство.)

Чтобы выжить, хамство должно постоянно провоцировать мир на ненормальность, на всевозможные перекосы: например, задавать вопросы там, где их никто не задает, — и не по лености ума, а по простоте душевной и чувству мировой гармонии. Ошибаются те, кто ищет хамства в ме-

щанине, обывателе. Последний всегда остро чувствует дистанцию между собой и культурой; он скорее идет на ее преувеличение, чем объясняется пошлое нагромождение «культурных ценностей» в домах нуворишей: ими панически стараются забросать ров.

Тем более неверно искать хамство в простом народе. Хулиганы, что, по словам Горького (воспоминания о В. И. Ленине), в семнадцатом году гадили в дворцовые вазы, были очень и очень изобретательными людьми, с почти «декадентскими» представлениями об этом (вспомним, что дед Щукарь не смог привыкнуть к простому деревенскому сортиру, по-старинке ходил в подсолнухи — какие уж тут вазы!).

Нужно ли напоминать, что первым хамом оказался Змей, который был «хитрее всех зверей полевых», а первой жертвой его хамства была Ева — наивная простушка и обывательница рая, не сумевшая ответить Господу ничего более вразумительного, кроме: «змей обольстил меня, и я ела»? Но только в Хаме хамство обретает человеческий образ.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТЬ... Но тут мы слышим вкрадчивый хамский шепоток: «Вот ты и попался, милый... Какая же «изобретательность», когда раньше было заявлено (да еще и Аверинцева сюда приплел), что Хам — человек «естественный», то есть немудрящий? Неувязочка получается!» Это видимое противоречие надо отнести к одной из самых изобретательных уловок Мирового Хама, способной смутить лишь того, кто ничего не знает о его происхождении. Между тем никакого противоречия тут нет. «Естественность» и душевная простота — не одно и то же. Простодушный деревенский мужик чувствует себя неловко в столице, но деревенский хам быстро схватывает «что почем» и через годик-другой, глядишь, имеет собственное дело в Сингапуре. Для простодушного мир очень сложен, запутан и противоречив, поскольку он нутром чует, «как это все непросто». Естественный человек, то есть хам, входит в церковь, министерство или высшее учебное заведение с твердой уверенностью, что не «боги горшки обжигают» и «все одним миром мазаны». Получив щелчок по носу в одном месте, он сунется во второе, в третье... пока наконец не добьется своего. Он всегда впереди событий и всегда осведомленней других. Все мировые гранты в его распоряжении. Но и без копейки в кармане он долетит хоть до Сахалина, хоть до Нью-Йорка и через пару лет объявится миллионером, стрекочущим по-английски без акцента, но невообразимо вульгарно одетым. Не судите о хаме по приходу — судите по его уходу. Он первым покидает место, где нет надежды на какую-то перспективу, и делает это так легко и естественно, что простодушные только руками разведут.

...Из всего воровского сброда был только один, способный возглавить бунт; именно потому, что был настоящим артистом и мог разыграть китчевый образ народного царя. Хамство старухи из «Сказки о рыбаке и рыбке» непосредственно вытекает из ее чрезвычайно развитого, почти безграничного воображения. Как это «ничего мне от тебя не надо!» Бедная фантазия старика, выходит, была наиболее надежным заслоном от хамства. Изобретательная подлость «бумажной души» Шабашкина, от которой был застрахован Троекуров — изумительное по «натурности», но туповатое по уму произведение природы, — и сделала возможной трагедию, разыгравшуюся между двумя друзьями.

Но все-таки изобретательность сама по себе еще ничего не объясняет в хамстве. Чтобы понять изобретательную его природу, надо видеть теньевую ее сторону, потому что настоящее лицо Хама — это его спина.

ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРЕЧЕННОСТЬ. Панический трепет перед будущим, парадоксальным образом выступающий стимулом необычайной творческой мощи, в какой бы из областей она ни проявляла себя. Раздутая гордыня, как воздушный шар, что вот-вот лопнет. Один раз напиться живой крови — и на плаху! Старуха пыжится до «морской царицы», чтоб вернуться к «разбитому корыту». В этом пункте и гордый Троекуров готов протянуть руку «бумажной душе», хотя в нормальной ситуации ее не заме-

чает («как, бишь, тебя?»). Сальери решается на злодейство от сознания обреченности: его место в музыке занял Моцарт, не по справедливости, а по Божьему произволу. Сальери, пожалуй, наиболее выдающийся хам у Пушкина, своего рода квинтэссенция хамства; от его музыки, разъятой, как труп, один лишь шаг до базаровских лягушек. «Ты, Моцарт, недостойн сам себя». Он знает, кто и чего достоин! Соглядатай от искусства, искренно не понимающий его священной природы, но знающий о ней; обреченный на подсматривание, злорадное поджидание, дабы поймать на мелочи, «несвященной» шалости и задавать, задавать, задавать свои хамские вопросы!

Но мы будем жестоко несправедливы к Хаму, когда не отметим по крайней мере одного его преимущества перед праведными братьями. В литературном отношении Хам почти всегда интереснее их. Именно хам во всех случаях выступает инициатором сюжета, хотя и не всегда центральным сюжетобразующим элементом. Это отвечает хамской природе: заварить кашу и смыться! Гоголь, а за ним Достоевский по достоинству оценили это качество Хамова отродья; и мы не можем не признать, что наша проза очень многим обязана Хаму — лошадиной тяге чисто русских романов. Без него она стала бы на редкость скучной — вроде психологически мощной, но, мягко говоря, тяготящей скандинавской прозы.

«После Пушкина русская проза пошла куда-то не туда...» — мрачно заметил Зошенко. Понятно — куда! Гоголь читал «Фиглярина» не менее внимательно, чем Пушкина; Достоевский до конца «так и не смог избавиться от влияния сентиментальных романов и западных детективов»¹⁴.

Гений Пушкина, имевшего иммунитет против хамства в области не только духовной, но и эстетической, был недостижим; и Хам предложил ручку. Прогуляемся! Прогулка затянулась до Синявского, на котором и замыкается круг; если Хам (не Синявский, конечно, а его криминально-игровой лирический герой-автор со смачным прозвищем Терц) берет под локоть Пушкина, пора остановиться и подумать и... снова пойти «куда-то не туда». Новейшая русская проза этого не поняла и полагает, что, схватившись за кончики бутафорского фрака, она еще может позабавить публику своими пируэтами!

Между тем уже Набоков, один из самых опытных наездников на Хаме (чью восхитительную книгу о Гоголе можно бы снабдить подзаголовком «Основы искусства езды на Хаме»), тотчас теряет эстетическую высокомерность, заговорив о чувстве истины в прозе Льва Толстого. Толстой не нуждался в Хаме даже в качестве вспомогательного элемента; он откинул этот «женский», «материнский» взгляд на Хама; он поступил как настоящий Ной: выгнал молодчика вон из своей эстетики.

Но в целом отношение к Хаму в нашей литературе было пушкинским. Здравый «материнский» взгляд на вещи, лишенный соплей, но и ветхозаветной непреклонности. Хам в основе своей — существо несчастное, обреченное; но эта обреченность способна рождать чудовищ благодаря чудовищной изобретательности и безграничности фантазии. Гоголь иногда изображал Хама в виде черта («Вечера на хуторе близ Диканьки»); иногда в виде подлеца («Мертвые души»); но во всех случаях оставалась «единая душевно-духовная скульптура» героя. Он обречен с рождения... и знает об этом, подобно черту; либо не знает, но догадывается в конце, как Чичиков. Хамская изобретательность — всегда попытка надуть Бога, обыграть на его же поле (другого просто нет); но — попытка заведомо обреченная, как ни выпрыгивай из штанов и ни бей себя пятаками по ягодицам.

В конце концов, хамство побеждается простодушием. В прозе и драматургии Гоголя это показано комически. Кузнец Вакула не боится черта — потому что душевно проще его. Хлестаков одерживает победу — потому

¹⁴ Набоков Владимир. Федор Достоевский. — В его кн.: «Лекции по русской литературе». М. 1996, стр. 182.

что ведет себя глупо, неизобретательно: врет напрапалую. Святая глупость Коробочки сводит на нет авантюру Чичикова (и наоборот: самый надежный его союзник — мечтатель и прожектор Манилов).

Достоевский же понимал хамство всерьез и показал во многих образах, вершиной которых, безусловно, является Смердяков. И опять же: во всех случаях избрительность хамства побеждалась простодушием, будь это Алеша Карамазов — «простая душа», князь Мышкин или Сонечка Мармеладова. Но все-таки в эти победы не до конца веришь, как не можешь поверить до конца в простодушие его праведников. Может быть, потому, что сам писатель очень уж изоощряет душевные движения своего Хама и как бы подпадает под его очарование.

Не случайно Лесков словно «выпрямил» темную сторону мира Достоевского и, напротив, усложнил мир праведников. Лесковские праведники душевно очень фигурны, нередко и очень изобретательны; нигилисты же, как правило, очень примитивны, тупы (исключение — Горданов в «На ножах», а вот других «натурных» нигилистов и не вспомнишь).

«Припряжем подлеца!» Но не забывайте, что подлец может и понести!

Хам в советской культуре

«Грядет» — значит: приходит, наступает, накатывает откуда-то. Откуда же? Разве не сама культура производит Хама, разве не несет она материнской ответственности за это? Разве Смердяков не брат Алеши?

Блок это понимал лучше Мережковского. Хотя и он не вынес вавилонской путаницы так называемых культурных начинаний Октября — от невыполнимой по тем временам затее «Всемирной литературы», собравшей лучших писателей и переводчиков работать по единому горьковскому плану (в более спокойное время могли издать только треть из задуманного), до ханаанской театральщины в форме заказанных г-жой Каменевой историко-революционных пьес. Задохнулся.

Но не осудил Хама!

Женская природа поэта не решилась на ветхозаветный жест, и проклятия от него мы не услышали. Проклинали Гиппиус и Горький, к стати бывшие с Хамом, «верхним» и «нижним», на куда более короткой ноге («Петербургский дневник», «Несвоевременные мысли»).

Но, пытаясь отыскать образ Уходящего Хама в революционной и контрреволюционной литературе разных лет, не находишь ничего более символического, чем таинственный образ «Христа», ведущего «двенадцать». Что такое «двенадцать», как не символ будущей советской цивилизации и ее перевернутой вверх дном классической иерархией: господа — не те, кому служат, но те, кто служит? Двенадцать патрульных на улицах Петрограда — не есть ли первый в литературе образ советских людей, призванных служить какому-то грозному и замешенному на крови порядку, ведомых неведомо куда под «кровавым флагом» державной «поступью железной»?

Дальше фантазия может гулять, как ей угодно. Вот Нимрод-Сталин, «сильный зверолов» (на свой лад — «ловец душ»), с его вавилонскими беломор-каналами и перекачкой духовной энергии народа в плоскость земного строительства. Вот военная мощь «непобедимой и легендарной», обреченной всегда противостоять врагу — несмотря на то, что мы все «как один умрем...», то есть заранее обречены. И вот — нам наказание: гибель великой империи, «катастрофка» и опять-таки торжество Уходящего Хама: «...люди, обретшие зрелость в 30 — 70-х гг. XX в. и еще являющиеся «носителями культуры», окажутся в роли того «естественного человека», глазам которого цивилизация предстанет как немыслимая диковина...

«Пароход современности» вновь отчаливает от того берега, на котором мы стоим, и расстояние между ним и нами растет... неуклонно...

Речь идет о передаче родовой памяти...» и т. д.¹⁵.

Фуруристический «пароход современности», вспомнутый Виролайнен в новом контексте, по странной ассоциативной цепочке вызывает в памяти другой пароход, «философский», на котором отплывала от русских берегов наша общественная и религиозная элита. Но тотчас нарушается фокус зрения: так это культура плывет на «пароходе», с грустью наблюдая за удаляющимся берегом новой, «хамской», цивилизации, или это новый «хам» отчаливает, бросая культуру на ее неподвижном берегу? Или же все стоит на месте, как стояло; но просто кто-то бесконечно морочит нам голову? Этот «кто-то» и есть вечно «уходящий», вечно «кидающий» культуру (на манер современных уличных «наперсточников») и вовсе не «грядущий» Хам!

Не забудем, что «Христос» (да и не «Христос» это был, а, согласно пронзительной догадке Павла Флоренского, «бесовидение в метель») не вел за собой «двенадцать», но бежал от них «легкой поступью надвьюжной», «невидим» и «невредим», словно дразнил, как сологубовская недотыкомка. Не забудем, что настоящий Хам по натуре не был вождем и никого за собой не вел. Его натура — натура отщепенца. Заварить кашу и смяться. Убежать.

Именно Блок гениальным, простодушным чутьем почувствовал всю двусмысленность подступающей новой эпохи, когда различие хамства и благородства становится делом не только немислимо трудным, но и нравственно опасным, скользким, как и шаги «двенадцати» на зимнем гололеде. Различить «обманщиков» и «обманутых» становится почти невозможно, когда весь ход цивилизации приобретает авантюрный, гротескный характер; и наступает такое время, когда, по выражению Лескова из рассказа «Антука», «на всех людских лицах ничего ясного не видно станет» и решительно нельзя будет понять, «с кем вы дело имеете»: с банкиром или мошенником, главой государства или преступником, пророком или антихристом... Величие поэмы Блока вовсе не в том, что она дает пищу для всевозможных «трактовок», а в том, что в ней художественно верно передано вот это крошево, снежево, марево надвигающегося смутного времени — времени тотального поражения «духовного реализма» и победы Хама — насмешника над всякой культурой и всякой истинностью.

Собственно, история XX века и есть — расхлебывание каши, заваренной Хамом. Но не пытайтесь найти его единый и индивидуальный образ, говоря: вот Хам! Реалисту тут нечем поживиться; тут скорее требуется искусство кубистического, абстрактного толка.

Дело в том, что «хамская» природа принципиально не может быть чьей-то — русской, немецкой, африканской, царской, фашистской или большевистской... Хамство возникает во всякой культуре — и именно там, где намечается ослабление, потеря четкой ориентации в духовном мире, истощение «метафизической почвы». Пьянство Ноя — прообраз будущего одурения и оглушения культуры; однако Ной восстал сильным и свежим от сна и наказал сына. Дело в том, что ни одна культура уже давно не способна на духовно-энергичные жесты. И чем меньше на это она способна, тем с большей завистью она глядит в мощную спину Уходящего Хама и — вот уже начинает бежать за ним, по-старчески охая и возмущаясь.

Вот так часть русской эмиграции вместе с частью европейской интеллигенции в 30-е годы с долей зависти, и даже надежды, и даже восторга наблюдала за «победами» коммунистического режима, поражаясь его могучему здоровью, «перспективам». («У них очень большие цели, — сказал М. Горький Замятину, отъезжая в Союз. — И это оправдывает для меня все».) И сейчас старая советская интеллигенция пусть с тревогой и сомне-

¹⁵ Виролайнен М. Структура культурного космоса русской истории. — В кн.: «Пути и миражи русской культуры». СПб. 1994, стр. 9.

нием следит за «новой русской» цивилизацией, а все-таки ищет и не находит в ней себе места. Ах, деньги! Ах, реклама! Ах, компьютеры! Ах, как это сложно, бездуховно! Но ведь и завораживает! Признайтесь про себя: завораживает?

Что, например, случилось с советской культурой, первоначально задуманной как проклятие индивидуалистичной европейской цивилизации? В этом пусть и отрицательном ее пафосе она все же продолжала традиции русской мысли и литературы, обозначенные Аввакумом и Достоевским, Некрасовым и Толстым, Блоком и Горьким.

«В советской литературе, — писал критик русской эмиграции Георгий Адамович, — по основному ее ощущению и, так сказать, в очищенном, проветренном состоянии, могла бы быть простота, смешанная с величием, — если бы только скачок, разрыв не был бы проделан с какой-то хирургической решительностью, без всякого ощущения культурной ответственности, о которой в Москве так любят говорить... Советские писатели как будто забыли — что если человек и должен быть принят в природных своих вечных границах, то все же что-то его над остальной природой вышает, и это «что-то» — едва ли только классовый, еще полужвериный инстинкт»¹⁶.

И все-таки в этом своем качестве она играла «свою роль в мировом оркестре», по выражению того же Адамовича. И так было вплоть до недавнего времени, до прозы «деревенщиков» включительно. Но вот первый знак «перемен» — статья Виктора Ерофеева «Поминки по советской литературе». Ведь что было прежде всего «хамского» в этой статье — даже если признать справедливыми его оценки слабости поздней советской литературы? Забежать в голову отстающему отцу и повилать перед ним молодым задком! Вот я какой — молодой, легконогий, непривязанный! А ну-ка догони! И ведь бросились догонять, бросились! Живые классики уже в «Плейбое»... Не в осуждение это говорится. Каждый сам выбирает судьбу. Но и отвечает каждый сам.

Между прочим, в отношении к основным вопросам бытия различия между литературой зарубежья и метрополии не были столь разительны. В стихах Владислава Ходасевича, Георгия Иванова, Бориса Поплавского, прозе Набокова и Гайто Газданова мы найдем то же переживание катастрофы, «распада атома», изнеможения культуры, что в стихах Есенина и Заболоцкого, прозе Шолохова и Платонова...

Стареющий Гумберт, отчаянно догоняющий мещаночку Лолиту, чтобы в конце концов встретить настоящего Хама — истинного драматурга XX века, Куильти, «господина Ку»:

«Он был наг под халатом, от него мерзко несло козлом... Пока мои неуклюжие, слепые пули проникали в него, культурный Ку говорил вполголоса, с нарочито британским произношением — все время ужасно дергаясь, дрожа, ухмыляясь, но вместе с тем как бы с отвлеченным и даже любезным видом: «Ах, это очень больно, сэр, не надо больше...» Он продолжал идти необыкновенно уверенным шагом — несмотря на количество свинца, всаженное в его пухлое тело, и я вдруг понял, с чувством безнадежной растерянности, что не только мне не удалось прикончить его, но что я заряжал беднягу новой энергией, точно эти пули были капсюлями, в которых играл эликсир молодости».

Вот — один из последних, все-таки индивидуальных образов Уходящего Хама в русской литературе. Не правда, миляга сильно изменился не только со времен Ноя, но и со времен Чичикова?

¹⁶ Адамович Г. Еще о «здесь» и «там». — «Георгий Адамович о советской литературе». Составление, предисловие и комментарии О. Коростелева. Книга подготовлена к изданию в серии «Критики русского зарубежья о литературе советской эпохи» на кафедре Русской литературы XX века Литературного института им. Горького. Весьма признателен Олегу Коростелеву за дискету с набором книги.

Неотмеченный юбилей «Грядущего Хама» Мережковского наводит на мысли печальные, но трезвые. У нынешней интеллигенции сегодня, может быть, очень негромкие задачи. Они могут показаться бедными, наивными, не выдерживающими «ответственности момента». Но это так или иначе е е задачи. Хранить пепел стынувшего очага русской культуры. Накрывать всеми доступными одеждами зябнувшего Отца. И не доверяться вечно изменчивому и обреченному на поражение Уходящему Хаму. Самое главное место в статье Мережковского:

«Хама Грядущего победит лишь Грядущий Христос!»

И — не надо трусить. Не надо гнаться за Хамом, трепетать перед ним. Пора наконец бросить на него трезвый, исполненный «духовного реализма» и притом «мужской» взгляд, о котором гоголевский Тарас Бульба догадался гораздо раньше мудрых философов и богословов:

— А поворотись-ка, сын! Экой ты смешной какой!



ПО ХОДУ ДЕЛА

АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ



ИЗ ОПЫТА ПЛАВАЮЩЕГО И ПУТЕШЕСТВУЮЩЕГО

Заранее прошу прощения у большинства читателей, пока (только пока!) не имеющих возможности странствовать по свету, прикрепленных к общероссийскому безденежью, как крепостные крестьяне были прикреплены к помещичьей земле; со стыдом сознаю, что в этом отношении мне сказочно повезло — в течение последних пяти лет ездить в основном за чужой счет; и все-таки решусь произнести вслух: путешествие — самое легкодоступное удовольствие современного человека. «Средний» американец, японец, европеец получили эту счастливую возможность несколько десятилетий назад; «средний» россиянин получит ее через несколько лет — как только экономическая стихия войдет в естественное русло (то есть когда нынешние проблемы сменятся другими, нам пока неизвестными). Впрочем, уже сейчас в версальском столпотворении вовсю слышна русская речь; среднесостоятельные сограждане громко и завистливо обсуждают быт французских королей. Уже сейчас, приехав в романтический Гейдельберг утренним шестичасовым поездом, запросто можно услышать в зале ожидания: «Вась, масло взял?» — «А хрен с ним, и так сожрем». Уже сейчас, бродя по закоулкам какого-нибудь средневекового городка, трудно не наткнуться на московского коллегу, мирно попивающего вино в дешевом ресторанчике. Это сейчас; что же будет через десять лет?

А то и будет, что мы, многие из нас, «демократическое большинство», вольемся в общий туристический поток, который несется из конца в конец условно-единого мира, перекатывается, как ртуть, переливается ... не из пустого ли в порожнее? Великая послевоенная цивилизация, от которой нас насильственным образом изолировали и в которую мы мучительно медленно теперь прорастаем, сумела победить пространство и время. Демократическое мироустройство действительное обеспечило всем равные политические права, высвободило работника из-под юридически неограниченной власти работодателя, «открепило» его от поденного труда; техническая революция предоставила права экономические, превратила прежнюю роскошь в общедоступный товар.

Символом этой технократии конца века стал недорогой автомобиль. Он окончательно уравнивал профессора и земледельца, лорда и священника; если и не отменил, то, во всяком, случае, сжал расстояния, уменьшил мир до обозримого предела. Автомобиль, повторяю, — лишь символ; то же самое можно сказать о самолете, о поезде. Главное, что современный человек может поместить свое возлюбленное демократическое тело внутри некой колбочки, быстро уносящей его вдаль. Это замечательно; это восхитительно; это великолепно; это тревожно — если задуматься о судьбе культурного наследия, оставленного нам веками и тысячелетиями, когда демократии не было, равенством и не пахло, а творчество — как всегда — существовало и его гений осенял дохристианское и христианское человечество.

Метафора туристического потока сама собою подсказывает пример: Венеция — западная Византия, европейский град Китеж, вынырнувший из воды и обреченный когда-нибудь под водою скрыться. Время от времени площадь перед собором св. Марка — этим воплощением утонченной роскоши, смилившей себя Христу, — вся затопляется морем. Светлые стены собора, в сумерках сахарно-белые, опрокидываются в неглубокую хлябь; по незатопленным тропинкам, как по молу, пробираются туристы; официанты в резиновых сапогах и белых смокингах среди пучин разносят капучино; из разных углов огромной площади доносится

музыка ресторанных оркестров, стремящихся переиграть друг друга. Все хлопает, капает, плещется, аukaется и плывет. Потусторонняя картинка; ужасающий и прекрасный образ ненадежности, зыбкости всего земного, и прежде всего — «высокой» культуры.

Но вот наступает утро, вода уходит, приходит слоноподобная толпа. Теперь ее черед затоплять «стогны града». Площадь перед собором и впрямь запружена; внутрь храма невозможно попасть иначе как влившись в неостановимо-подвижный человеческий поток. Узкое русло; музейные канаты, похожие на державные берега; не задерживайтесь, не задерживайтесь. Вам не дадут безмолвно постоять перед мозаикой алтаря, задуматься (не говорю — помолиться) перед «западновизантийскими» иконами; даже как следует всмотреться в орнаменты древнего пола — и то не удастся. Ибо если вы останетесь — остановится все движение; если остановится движение — не успеют пройти все туристы; не успеют пройти все туристы — даже страшно подумать, что тогда произойдет.

Если искать аналог, знакомый большинству читателей по телевизионной картинке, по «всемирному телеглазу» (Солженицын), то это — спиралеобразное змеящееся движение мусульман в Мекке. Часами, круг за кругом, сужая траекторию, люди в белых одеяниях приближаются к святыне, чтобы коснуться кончиками пальцев, и вновь часами, круг за кругом расширяя траекторию, от святыни — удаляются, унося с собою некое неведомое нам и драгоценное для них впечатление. Но в том-то и различие (одно из множества) «иудео-христианской» и мусульманской культур, проистекающее из различия вер, что мы нуждаемся прежде всего не в мгновенных озарениях, а в долгой сосредоточенности; пережить религиозно-культурное событие в пределах нашей традиции — значит остановиться, всмотреться, вслушаться, вдуматься, а не просто совершить мгновенное касание с закрытыми глазами — и приобщиться. Естественно, и нам ведомы озарения, и мусульманам — таинство безмолвного созерцания, но стержень европейской культуры в высших ее проявлениях — именно сосредоточенность и протяженность переживания. И таково же условие ее полноценного восприятия. Не вереницей, не «гуськом, в затылок», а во внутренней самоизоляции, выпав на какое-то время из «скоромимоходящей» жизни, хотя бы мысленно обособившись от остальных людей, чтобы ценою этого обособления, наедине с книгой, картиной, музыкальным сочинением, в них и через них, войти в единство со всем человечеством сразу. По крайней мере с европейской его частью.

Возможно ли это в нынешних обстоятельствах? Если говорить о музее и «музееподобном» соборе, то решительно нет. «Венецианский синдром» отнюдь не исключителен. Ту же картину вы наблюдаете в любом крупном (а значит, поглотившем изрядное число всемирно известных шедевров) музее мира. (Исключая Америку, но Америка далеко.) Выражение «музейная тишина» кажется слишком смелой метафорой; главная — и едва ли не единственная — забота посетителя Лувра — увернуться от встречного зеваки; главное удовольствие заключено не в созерцании «эстетического объекта», но в самом осознании того, что ты был здесь, ты это видел, ты — подключен ко всемирной «культурной сети».

И потому хуже всего приходится самым знаменитым творениям. Венера Милосская буквально обсижена посетителями, Мона Лиза, вся в бликах японских фотовспышек, едва видна из-за плотной стены голов «чугунно-медных» — как топ-модель на пресс-конференции. Если произведение искусства — это всего лишь материальный объект, способный произвести впечатление, то можно быть спокойным: и Мона Лиза, и Венера по-прежнему живы, ничего особенно плохого с ними не произошло. Но если произведение искусства — это прежде всего незримая встреча со зримым, если смысл его рождается на границе авторского исполнения и зрительского восприятия, причем рождается в самый миг встречи — и на один этот миг, — то приходится со вздохом признать: и Мона Лиза, и Венера Милосская мертвы для современной культуры; дамы наши убиты.

Спешу сделать несколько оговорок. Прежде всего я не смею протестовать против права людей перемещаться по миру в составе туристических толп. Потому хотя бы, что, благодаря Бога, сам к ним принадлежу. А во-вторых, речь идет не о глобальной «смерти культуры» — давние слухи об этом оказались несколько преувеличенными; речь о метафизической «смерти» некоторых музейных шедевров и об омертвлении внутреннего пространства нескольких европейских соборов. Причем о смерти, так сказать, временной, «клинической»: если завтра изменятся внешние

обстоятельства, если атмосфера сосредоточенного созерцания каким-то неведомым образом вернется в означенные пределы — мнимоумершие картины и скульптуры тут же оживут, мозаики св. Марка сами собою воскреснут. Что же до культуры в целом, то она может осуществлять себя в любых формах. Эпоха тотального туризма — несомненное благо для древней и новой городской архитектуры; захватывающие дух, тревожные, мощные, насмешливые и таинственные ритмы Нью-Йорка сулят современному человеку эстетические восторги, по силе (а иногда и по глубине) сопоставимые с теми, какие можно получить от созерцания образов Микеланджело; если нельзя молча стоять в Лувре, то можно вовсе ходить по Парижу, испытывая воодушевленное волнение. Касается это и театрально-музыкальных действий под открытым небом, на которые десятками тысяч съезжаются меломаны. Огромные хоры; настезь открытое пространство, медленное сгущение сумерек, тысячи свечей на легком ветру; музыка, сливавшаяся с воздухом; воздух, в прямом смысле ставший воздухом культуры... Все это было бы невозможно без технократии конца столетия.

Проблема в другом. В том, что мощь мощью, свобода свободой, но если из жизни Европы действительно уйдет камерное, «одинокое» начало, если оно станет уделом презрительных эстетов и восторженных сумасшедших; если в полноценном составе современной культуры сохранится все, кроме нескольких — самых значительных — свершений европейского гения, играющих роль ее смысловой оси; если ради сохранения демократии в нынешнем ее виде придется заплатить такую цену, — это будет ужасно. Говоря на нынешнем языке — себестоимость окажется выше стоимости. Как тут быть? Я не знаю. Пожертвовать демократией — не дай Бог. В солженицынское самоограничение не очень-то верится — потому хотя бы, что готовность самоограничиться предполагает в человеке определенный уровень развития; так что обет самоограничения возложат на себя именно те, в ком «нуждаются» Мона Лиза и Венера Милосская, те, кто способен их воспринять с должной глубиной. А направляющиеся в «модный» музей, чтобы «отметиться» (Джонни и Билли были здесь), самоограничиваться не пожелают. Во всяком случае, обо всем этом пришла пора напряженно думать — в преддверии «туристического сезона», который вот-вот откроется и для России.



ДРУГИЕ ИСТОРИИ

Малоизвестный Довлатов. Составитель А. Ю. Арьев. СПб. АОЗТ «Журнал „Звезда”», 1995. 512 стр.

Со времен тыняновской статьи о Блоке мысль о том, что поэт (писатель) умирает, когда умирает (исчерпывается) его лирическая тема, стала жестоким трюизмом, но не перестала быть истиной.

Оговорюсь: «исчерпанная» тема может смениться вновь найденной. Старая интонация исчезнет, зато появится совершенно **иная**. Веселого Чехонте сменит задумчивый и печальный доктор Чехов. Шекспира, автора жизнелюбивых пьес, — мрачный трагик.

В Санкт-Петербурге вышла книга «Малоизвестный Довлатов» — своего рода дополнение к трем вышедшим прежде томам прозы писателя.

Внешний вид книги приятен. На фронтисписе — план Пушкинского заповедника в Михайловском, на суперобложке — Святогорский монастырь (рисунок Александра Флоренского), на клапане суперобложки — фотография: С. Д. Довлатов в Михайловском, 1977-й. По всей видимости, в этом оформлении — попытка дать образительный эквивалент тайного пафоса одной из лучших довлатовских книг — повести «Заповедник»: потом, после смерти, будут водить экскурсии и подбирать клочки бумажек с автографами; при жизни — ни славы, ни почестей. В лучшем случае — экскурсовод в «заповеднике».

Часть материалов тома публиковалась в журнале «Звезда» (1994, № 3; 1995, № 1), часть напечатана впервые.

Колонки Довлатова-редактора из эмигрантской газеты «Новый американец»; «Из ранней прозы»; «Из рассказов последних лет»; статьи «На литературные темы»; письма Довлатова к друзьям; воспоминания друзей о Довлатове; фотографии и рисунки Довлатова — вот содержание этой книги.

«В одну и ту же реку нельзя войти дважды» — путешествие во времени интереснее, но безжалостнее, бесповоротнее путешествия в пространстве.

«Персонажи в поисках автора» — так назвал свои воспоминания о Довлатове Анатолий Найман.

«Персонажи оплакивают своего автора» — так можно было бы назвать воспоминания друзей Довлатова. И прекрасно, талантливо оплакивают: «Сейчас идет снег, дождь в Комарове, мелкий бисер с небес, поет Леннон из моего кассетника, и, ей-богу, тяжело писать здесь об этом, и никак не хочется влезать в монументальность крупного Довлатова, в монументальность того, что с ним случилось в жизни и смерти. Огромный Сережа и его много повидавшая фоксиха временно парят в небесах не как герои или персонажи Шагала, но как уличные шлепанцы, брошенные когда-то в колющий идеологический ядерный вихрь» (С. Вольф, «Сергею Довлатову»).

Том хорош для «довлатоведов». Рассказы, письма, статьи, помещенные в нем, — заготовки для будущего (для нас уже ставшего прошлым) или для будущего не состоявшегося, но обещавшего быть.

«Литература продолжается» (заметки о конференции «Русская литература в эмиграции: третья волна») — «заготовка» для повести «Филиал».

«Солдаты на Невском» — первый подступ к повести «Зона».

Злая грубость в личном письме: «Нью-Йорк жутко провинциальный, все черты провинции — сплетни, блядство, взаимопересекаемость. Блядство совершенно черное. Поэтессы ... прямо в машине, без комфорта. И одернуть неловко. Подумают, дикарь...» — позднее преобразится в прелестную сцену из повести «Иностранка».

Прием, грубо и в лоб использованный в раннем рассказе «Дорога в новую квартиру», — несоответствие между литературным клише и жизнью — переключает в повесть «Компромисс», где будет использован тонко и изящно.

«Малоизвестный Довлатов» — книга будущего, состоявшегося и не состоявшегося.

Между ранними рассказами и рассказами поздними — обнаруженная и разработанная Довлатовым тема, найденная интонация и — сделанный для этой темы и для этой интонации лирический герой.

Проза Довлатова держится (словно стихи) на совершенно особом, особенном лирическом герое, своего рода щите автора перед окружающим его миром.

Сервантес говорил о своем главном герое: «Для меня одного родился Дон Кихот, а я родился для него. Ему суждено было действовать, мне описывать...» Подобное мог бы сказать Сергей Довлатов о Борисе Аликханове «Зоны» и о многочисленных «я» его повестей: «Наши», «Заповедник», «Чемодан», «Филиал». Судя по письмам к друзьям и воспоминаниям друзей, эти «я» имели к Довлатову такое же отношение, какое Дон Кихот имел к Сервантесу.

Они были похожи.

Вернусь к той теме, которую пытался найти Довлатов в ранних рассказах. Эта тема — условия существования человека в несвободном мире.

Эта тема стала исчерпываться, когда Довлатов оказался на Западе, и исчерпалась полностью, когда мир «несвободы» стал гибнуть, стал исчезать. Тогда-то и выяснилось, что мир издыхающего деспотизма, в котором есть щели для человеческого, эксцентрического существования, был миром Сергея Довлатова и его друзей.

Новая тема стала нащупываться Довлатовым в эмиграции; она необычайно важна для нас. Ее можно сформулировать так: человек, привыкший жить в условиях несвободы, выработавший определенные правила поведения, позволяющие чувствовать себя свободно, достигает того, чего хотел. Освобождается. И это ему — тяжело. Человек постепенно привыкает к свободе, но при этом — с тоской вспоминает о несвободе, где все было просто и понятно. Где было даже весело, где можно было обнаружить некий жутковатый, но особый художнический эффект.

Для этой темы требовалась иная интонация, нужен был другой лирический герой.

Сначала Довлатов пробует «интонацию» в личном письме (это естественно для него, сделавшего свой быт литературным фактом): «Люди, уезжавшие по материалистическим причинам... во многом разочарованы, что-то выиграли на уровне джинсов, поддержанных автомобилей и кинофильмов с голыми барышнями, но что-то существенное и проиграли, баланс же подводить очень трудно: слишком легко мы забываем плохое и слишком быстро привыкаем к хорошему... Здешняя жизнь требует от человека невероятной подвижности, гибкости, динамизма, активного к себе отношения, умения приспособливаться. Разговоры на отвлеченные темы (Христос, Андропов, Тарковский и прочее) считаются здесь куда большей роскошью, чем норковая шуба. Никакие пассивные формы жизни здесь невозможны, иначе пропадешь в самом мрачном, буквальном смысле».

Потом тема «привыкания к свободе» «обкатывается» в публицистике, в колонках редактора газеты «Новый американец»:

«Это произошло в лагере особого режима. Зэка Чичеванов, грабитель и убийца, досиживал последние сутки. Наутро его должны были освободить. За плечами оставалось двадцать лет срока.

Ночью Чичеванов бежал. Шесть часов спустя его задержали в поселке Иоссер. Чичеванов успел взломать продуктовый ларь и дико напиться. За побег и кражу ему добавили четыре года...

...Капитан УВД Прищепа мне все объяснил. Он сказал:

— Чичеванов отсидел двадцать лет. Он привык. На воле он задохнулся бы, как рыба. Вот и рванул, чтобы срок намотали...

Нечто подобное испытываем мы, эмигранты. Десять, тридцать, пятьдесят лет неволи, и вдруг — свобода. Рыбы не рыбы — а дыхание захватывает...»

Из рассказов последних лет постепенно улечувивается теплота и эксцентрика прозы известного Довлатова. Странные, «лишние» герои исчезают. Вместо них появляются нормальные приличные люди, хорошо укомплектованные представители среднего класса: «Ты писатель... вот и опиши, чего я кушаю на сегодняшний день. Причем без комментариев, а только факты. Утром — холодец телячий, лакс, яички, кофе с молоком. На обед — рассольник, голубцы, зефир. На ужин — типа кулебяки, винегрет, сметана, штрудель яблочный... В СССР прочтут и обалдеют...»

Где-то на обочине повествования недовольным злым наблюдателем торчит любимый герой Довлатова — чудака, интеллигент, «лишний человек». «Демократия, — размышлял он, — не только благо. Это еще и бремя. В Союзе такие люди были частью пейзажа. Я воспринимал их как статистов. Здесь они превратились в равноправных действующих лиц. Впрочем, — спохватывался писатель, — это хорошие, добрые люди. О них можно, в принципе, написать рассказ...» Писатель недаром «спохватывается». В Союзе, до эмиграции, он описывал оборотов, бездельников, преступников, надзирателей, литераторов, не напечатавших ни строчки, художников, не продавших и не выставивших ни одной картины. Но все эти герои были на редкость симпатичны и обаятельны. В эмиграции он принялся рассказывать о среднем классе — и что-то случилось. Вместо светлой печали — тоска, скука; вместо чаплинской эксцентриады — какое-то едва ли не кафкианское отчаяние. Нет, порой он пытается взбодриться, повеселеть, заговорить по-прежнему, но это происходит тогда, когда в его новый мир врывается старый (страшный) мир: «Бернович... жаловался: „Файнка совсем одичала. Не ходи, говорит мне, в шортах. Ноги у меня, оказывается, слишком полные. А если я такими вот ногами дважды по этапу шел? Тогда что?..”»

В одном из поздних рассказов Довлатов в лоб сталкивает два этих мира: добropорядочных скучных приличных людей своей новой прозы, новой темы — и эксцентриков, чудаков, неприспособленных, нелепых персонажей старых рассказов: «Они (Алик и Лора) поселились в Нью-Йорке. Через год довольно сносно овладели языком. Алик записался на курсы программистов. Лора поступила в ученицы к маникюруше. К этому времени двоюродный брат тоже уехал на Запад... Он был неудачником и грубияном. Он всех ругал. Все у него были дураками, трусами и жуликами. ...Вскоре они (Алик и Лора) купили дом. ...Дом был красивый, уютный и сравнительно недорогой. Двоюродный брат злобно называл его „мавзолеем”». Этот рассказ назван не без умысла — «Третий поворот налево». «Налево» — к нищим, бомжам, преступникам, любимцам художника Фернана Леже, чью куртку получает главный герой повести «Чемодан» как знак принадлежности к высокому миру искусства, — несет весь этот рассказ эмигрантской поры.

«Поворот налево» мотивирован сюжетом.

Алик и Лора поехали в театр на спектакль «Грек Зорба» (пьеса про благородного бандита), ошиблись поворотом и заехали в Гарлем, где им показали, «разыграли» целый спектакль бандиты «не-благородные»:

«Запах марихуаны ощущался в десяти шагах.

Алик подошел к ним, дружески улыбаясь:

— Приятный вечер, друзья, не так ли? Хочу спросить, как мне выбраться отсюда?

Из-под одеяла донеслось:

— Как ты попал сюда, белый человек?

— Мы с женой заблудились, потеряли дорогу... Черный или белый, какая разница?

Тут заговорил гигант в фуражке:

— Черное лицо и белое лицо — вот какая разница! Черное лицо и белая душа. Белое лицо и черная душа. Я черный, хоть и моюсь, а ты белый, даже если в грязи...

— Все люди — братья, — неуверенно заметил Алик.

— Нет, — возразили из-под одеяла, — есть черные, есть белые. Мы, черные, — люди души... У белых нет души. У белых только мысли, мысли, мысли...»

«Гигант в фуражке» и «тип в одеяле» — герои «Зоны» или новелл из цикла «Чемодан», заговорившие высоким стилем, стилем Марины Цветаевой: «...черный был явлен гигантом, а белый — комической фигуркой, и так как непременно нужно выбрать, я тогда же и навсегда выбрала черного, а не белого, черное, а не белое...» («Мой Пушкин»).

Прежде Довлатов и его главные герои находили общий язык с подобными персонажами. Теперь перед нами — разные миры, непонятные друг для друга, враждебные друг другу:

«Гигант ответил:

— Полиции здесь нечего делать. Полиция здесь — я, Фэтти Трукса.

— Князь-генерал Неговия Шерман, — представился тип с одеялом.

Гигант спросил:

— Ты не уходишь, белый человек? Хочешь, чтобы я показал тебе дорогу на Манхэттен? Иди сюда, я покажу тебе дорогу.

Алик, как загипнотизированный, шагнул вперед. Ему показалось, что гигант возится с молнией на куртке. Затем в руке его что-то блеснуло. Может быть, короткая дубинка. Или кусок резинового шланга. И тут, неожиданно, Алик все понял. Черный бандит, улыбаясь, взмахивал своей отвратительной плотью.

Алик начал пятиться к машине. Его не преследовали. Из-под одеяла доносился смех. Черный гигант напевал и приплясывал...»

В одном мире — смертельно скучно, в другом — смертельно опасно:

«— В театр, — говорила Лора, — можно и не ходить.

— Особенно при наличии кабельного телевидения, — соглашался Алик...

А двоюродного брата год спустя чуть не задушили проволокой в метро. При чем в одном из лучших районов города».

Между двумя этими мирами сторонним наблюдателем, присматривающимся, с опаской прислушивающимся, появляется новый лирический герой Довлатова — усталый, стареющий человек, писатель, пытающийся рассказывать другие истории.

Никита ЕЛИСЕЕВ.

С.-Петербург.



РАССВЕТ У ГАЗДАНОВА?

Гайто Газданов. Собрание сочинений в трех томах. Составление, подготовка текста Л. Диенеша (США), С. С. Никоненко, Ф. Х. Хадоновой. Комментарии Л. В. Сыроватко, С. С. Никоненко, Л. Диенеша. Вступительная статья Ласло Диенеша и С. С. Никоненко. М. «Согласие». 1996.

Уже начинался рассвет, уже бледнели звезды;
и свет, и тьма стояли, не смешиваясь и не исчезая!

Г. Газданов, «Счастье».

Впервые за всю «издательскую историю» Гайто Газданова собранными «воедино» оказались девять его романов, документальная повесть об антифашистском Сопротивлении «На французской земле» и свыше трех десятков рассказов.

Заветная надежда на то, что выход трехтомника окажется переломным моментом в читательском восприятии этого до сих пор по-настоящему не разгаданного и не признанного адекватно его масштабу писателя, звучит в «странновато» (для издания подобного типа) озаглавленном предисловии американского слависта, профессора Массачусетского университета в Амхерсте Ласло Диенеша — «Писатель со странным именем»¹.

Помимо предисловия трехтомнику предпослана вступительная статья Ст. Никоненко «Загадка Газданова», «традиционно» деловитый тон которой являет собой известный контраст ностальгическим тонам предисловия. Так же контрастируют в издании комментарии и предваряющие их тексты «Газданов-романист» и «Газданов-новеллист», по своему характеру располагающиеся как бы между «Писателем со странным именем» и «Загадкой Газданова». По жанру труды эти можно определить как литературоведческую эссеистику: в отличие от статьи Никоненко, они при своей относительной пространности не снабжены сколько-нибудь обстоятельным научным аппаратом; стиль их отличает в меру «взволнованная» эмоциональность. Диенеш прав: «серьезный анализ» творчества Газданова еще впереди.

Эклектичность подхода к «материалу», по-видимому, обусловлена отсутствием у составителей концепции, которая отражала бы все этапы живой и сложной творческой эволюции писателя. Ведь дебютные рассказы Газданова — до «Товарища Брак» включительно, — представляющие собой некое единое художественное про-

¹ Ласло Диенеш — автор первой монографии, посвященной творчеству Газданова, известен российскому читателю послесловием к публикации газдановского романа «Полет», озаглавленным строкой из романа («Дружба народов», 1993, № 9). Алан Черчесов в своем эссе «Формула прозрачности» («Владикавказ», 1995, № 2) не так давно воздал дань умению этого литературоведа «столь долго, терпеливо, бережно и вдумчиво вникать в негромкую, трепетную и удивительную мелодию газдановского письма».

странство, совсем не похожи на «великие работы 1930-х» (по определению Диенеша), а послевоенные романы «Призрак Александра Вольфа» и «Возвращение Будды» качественно отличаются как от «Вечера у Клэр» и «Ночных дорог», предшествовавших им, так и от более поздних «Пилигримов», «Пробуждения», «Эвелины и ее друзей». Рассказы 30-х годов (включая «Вечернего спутника», повторно при жизни Газданова опубликованного в 1959 году), внутренне также являющие собой определенное художественное единство, не однотипны с послевоенной новеллистикой, в свою очередь выделяющейся в особый пласт творчества писателя. Все эти хронологические периоды представляют собой достаточно различные планы и далеко не вполне «единообразно-соположные» уровни газдановской прозы. (Особенно очевидно эволюция его подходов и взглядов проявляется в критических выступлениях: достаточно, к примеру, сопоставить интерпретации творчества Гоголя в «Записках об Эдгаре По, Гоголе и Мопассане», опубликованных в пражской «Воле России» в 1929 году, и в эссе «О Гоголе», появившемся на страницах мюнхенских «Мостов» в 1960 году, чтобы убедиться в этом. Но литературно-критическая эссеистика в издании не уместилась, поэтому речь о ней — только в скобках.) При этом и романы и рассказы Газданова в трехтомнике даются как-то «внавал».

Вошедшие в собрание тексты подробно откомментированы. Хотя здесь и есть некоторые неточности — к примеру, роман «Призрак Александра Вольфа» впервые в России вышел в свет не в 1990-м, а в 1989 году («Литературная Осетия», № 73); первая в России публикация рассказа «Превращение» состоялась не в «Дружбе народов», а на страницах санкт-петербургского «Часа пик» (1995, 11 мая); «Повесть о трех неудачах» в России публиковалась («Владикавказ», 1995, № 2) и т. д., — важно, что результат достигнут, и результат достаточно серьезный.

Эта серьезность достойна «последнего романтика» великой русской литературы, и, может быть, особенно сегодня, когда из «звездных» уст столпов новой литературной номенклатуры, в одночасье поднявшихся «из андерграунда в истеблишмент», но, кажется, навсегда решивших остаться в полюбившейся им исходной роли, сам термин «романтизм» порой звучит как глумливая брань.

Да, модернист Газданов был одним из ярчайших носителей художественного сознания романтического (в широком смысле) типа. В «Вечере у Клэр» читаем: «Я не помню такого времени, когда — в какой бы я обстановке ни был и среди каких бы людей ни находился — я не был бы уверен, что в дальнейшем я буду жить не здесь и не так. Я всегда был готов к переменам, хотя бы перемен и не предвиделось...» Почему он пошел сражаться на стороне тех, кого не любил его отец? Почему он уехал, несмотря на уговоры матери, боявшейся, что ей привезут его труп, — уверенный, что его не убьют? Как он принял это решение? «Помню, незадолго до моего отъезда, который тогда не был еще решен, я, сидя в парке, вдруг услышал рядом с собой польскую речь; в ней часто повторялись слова «вшистко» и «бардзо». Я почувствовал холод в спине и ощутил твердую уверенность в том, что теперь я непременно уеду. Какое отношение эти слова могли иметь к ходу событий в моей жизни? Однако, услышав их, я понял, что теперь сомнений не остается. Я не знал, появилась ли бы такая уверенность, если бы вместо этой польской речи рядом со мной раздался свист дрозда или меланхолический голос кукушки».

В модернистской форме потока сознания, в обостренной саморефлексии рассказчика, выражена — одна из центральных в романтической идеологии — идея движения, по метафизической сути своей понижающая значение категории вещи. Ожидание перемен, изменений — ориентированность на движение — «было чем-то врожденным и неизменным и, пожалуй, таким же существенным, как зрение или слух». Адаптация к тому или иному устойчивому — тяготеющему к неподвижности — укладу, неизбежно означающая некий компромисс с вещным внешним миром, неприемлема для такого сознания. Мир этот для него — «всего лишь явление, Майя, бывание — по буддизму, представление — по Шопенгауэру» (Л. Силард). Главная его интенция — проникновение, прорыв к сокровенной подлинности сквозь внешнее. Глядя на человека, говорившего «вшистко» и «бардзо», он видит на его лице «выражение испуга и готовности тотчас же улыбнуться и еще, пожалуй, едва заметной, едва проступающей, но все же несомненной подлости: такие лица бывают у приживальщиков и альфонсов».

Романтическое сознание не может беспрепятственно адаптироваться к «классически-рациональному» укладу жизни большинства. Оно одиноко в любом време-

ни и при любом политическом режиме. Отказавшись уехать, оставшись, примкнув к победительному большинству, он неизбежно утратил бы самоидентичность. Говоря проще: погиб. И дело не в том, что Газданов в Советском Союзе мог быть репрессирован, хотя наверняка был бы. Речь не об истории, а о метафизике. Чтобы не погибнуть, не омертветь, чтобы жить, оставаясь собою, необходимо, освобождаясь от марева мнимостей, двигаться навстречу неизвестности, переживая — это тоже из «Вечера у Клэр» — все, что было до сих пор в твоей жизни, что осталось позади и продолжает существовать без тебя.

Соглашаясь с Диенешем, хочется верить, что Газданов переживет и это — первое в истории — издание собрания его сочинений, что имя его «прозвучит в стране чуть громче, чуть слышнее», что оно войдет все же по-настоящему в «литературный оборот» сквозь незримую завесу какого-то — растерянного? — молчания, чем-то похожего на затянувшуюся неловкую паузу, изредка прерываемую почтительно-деликатным покашливанием. Может быть, тогда появятся аналитические материалы, посвященные этой прозе, а те, что уже появились (включая почему-то упорно замалчиваемую работу Андрея Устинова из Калифорнии), будут напечатаны в российских изданиях. А там, глядишь, недалеко и появление первой изданной в России монографии о творчестве Гайто Газданова.

Сергей КАБАЛОТИ.



РОД ЛЮДСКОЙ

Борис Екимов. Высшая мера. Повести и рассказы. Волгоград. Комитет по печати. 1995. 416 стр.

...не в укор, но в бль.

Б. Екимов.

За последнее время Бориса Екимова не однажды называли писателем с сентиментальным. Конечно, это в первую голову свидетельствует об ожесточении нравов, литературных тож: десять лет назад проза эта вряд ли бы кому-нибудь показалась приметным образом «чувствительной». Но что-то тут екимовское подмечено — хоть и обозначено не слишком одобрительным (сколько ни делай оговорку) словом.

Тематически приписанный к «деревенщикам», Екимов неуловимо отличается от них подходом к жизни. Созданную ими горестную отходную, даже и прослоенную иной раз юмором, естественно отнести к трагическому, но никак не к сентиментальному роду: реквиему душещипательным быть не положено, если и льются тут слезы, то другие. Екимов, столько написавший о заботах и скорбях своих земляков, — бестрагичен. Вечно переменчивая жизнь не делает его ни плакальщиком по уходящему, ни энтузиастом нового. Для него в жизни человека ничего окончательного не решается через верность укладу и быту или, напротив, через порчу «среды» и «нравов», хотя он, как никто другой, знает эту среду: и хозяйство, и обычаи, и житейские условия, и нынешние сдвиги в своей микровселенной (Задонье, Придонье). На редкость неангажированный писатель (при чтении вспоминается не Глеб Успенский, а Антон Чехов), он исподволь наблюдает, как в человеческой душе «глухие страсти» (его выражение) сталкиваются с добрыми порывами. Вера в самую возможность такого столкновения, в возможность положительного душевного движения на опустелом, казалось бы, или неожиданном месте и делает Екимова в наших глазах «сентиментальным». Мы далеко ушли от Талейрана, который, по рассказам, советовал никогда не доверяться первому порыву, потому что он самый великодушный. Старый лис, как нам сегодня представляется, слишком хорошо думал о людях. Екимов не так сентиментален, как этот прожженный француз, добрый порыв у его персонажей рождается далеко не сразу и даже неоправдано, случается, запаздывает. Но и в таком виде это для нас перебор...

«Звенела, биясь о стекло, янтарно-желтая оса. Осторожно, ладонью, я вывел ее к свободе, и она улетела». Этот произвольный жест (никакой символики, просто штрих знойного лета), жест опять-таки «сентиментальный» (живи!), определяет,

кажется, и обращение писателя со всем, к чему прикоснулось его перо: именно — «осторожно», именно — «к свободе».

Кто решился бы в двадцатом веке написать — не шутейный, не пародийный — рассказ о том, как вечно переругивающаяся семейная пара мирится и теплеет, наблюдая за гнездом горлиц, самца и самочки? Эдак неприлично подставиться! А ведь у Екимова получилось, и получилось хорошо («У гнезда»). «„ Иди гляди... — громким шепотом позвал он жену... — Прилетел этот... Ну, жених, какой целовал. Прилетел и сменил ее. Вон... Они сменяются! Все по-честному. Он тоже свое отсиживает. Как положено”. — „Конечно... все же отец. Жалеет их”, — согласилась Мария. „И сидит не хуже. Не ворохнется”, — похвалил Виктор. Птица глядела на людей черной бусинкой глаза, склонив головку». И смеешься, глядя вместе с птицей на этих больших, состарившихся детей, на этих изработавшихся крестьян, быть может, впервые присмотревшихся к жизни, что текла, текла вокруг, да и утекла; и веришь их волнению, а вместе с тем — и автору, который осторожно к тому подводит; и грустишь: «Господи... чего он в жизни видал хорошего?» (это — помягчвшая Мария о муже, но то же, дословно, — припев автора о каждом земледельце в едва ли не любом рассказе или очерке: «прожили век за куриный пек»).

В сельских пейзажах Екимова птицы так часто подаются крупным планом, что представляется: это не случайно, хотя, должно быть, и не обдуманно. Поручейник, что «бережет» чистую воду, с крошечными гнездами-рукавичками, прицепленными к веткам; кулик с сорочьим черно-белым оперением («Во пне — гнездовье: пестрые яйца, а может, птенцы-пуховички, желтые с коричневой полосой на спине. Мы их не тронем»); «славка — невеликая серенькая птаха с белым брюшком, в черной шапочке... Весной она так хорошо насвистывает и меня не боится»... Птичье всеприсутствие («птичка Божия...» — опять сантименты!) придает екимовскому ландшафту подвижность, трепетность и хрупкость. И перо Екимова-пейзажиста вроде бы повторяет росчерк птичьего крыла: быстрый взгляд, короткая фраза, пронсящийся миг, пойманный живым словом (прочитайте маленькую поэму в прозе «Проездом» или рассказик-притчу «Городская кошка Лариса»). Ничего статуйного, массивного, «натурфилософского», пантеистического — не кумирня надчеловеческой мудрости, а бескрайний людской дом, вселенная, куда нас вселили, которую нами населили, за что — благодарность. Если этот мир, этот край обезлюдет, то, мнится, худо будет и водам, и травам, и подземные ключи замкнут уста (этиод «У родника» — «Наш современник», 1996, № 1). Редкая — на фоне экологических конфликтов нашего времени — уверенность насельника благодатных просторов: без возделывания, без сожителства с человеком они осиротеют и задичают.

Все на этой земле получило от людей свои имена — каждый взгорок и ложок, озеро и протока. Страницы Екимова пестрят топонимами. Сразу чувствуешь: пристрастившийся к ним писатель извлекает отсюда не «этнографический» эффект, не ароматы местного колорита — он слишком срощен со своей Донщиной, чтобы вчуже любоваться коллекцией прозваний. Нет, это, можно сказать, одна из главных «философских» координат отнюдь не философичной прозы Екимова — все эти имена затерянных хуторов: Акатов, Скиты, Кусты; яров: Стенькин да Черный, да Большой и Малый Татарин; курганов: «Прощальный, он же Слезовый, за ним — Попихин, Скорodin бургор... Белобочка, Кораблев»; «На многие версты вокруг... Саранское, Россошь, Большой да Малый Калачики, Семибояринка, Щучий проран, Вихляевская грань, Татарские валы, Верхние и Нижние Пески, Кораблева гора, Чибизов Яр да Фомин колодец, Еруслань и Калинов — каждая пядь земли знает имя свое, как и все живое». Если бы к екимовской прозе, чурающейся всякой книжной символики и совершенно не претенциозной, подходили мифологические или библейские параллели, то можно было бы сказать, что перед нами образ некоего рая: только в раю давать имена, возделывать и сбергать значило одно и то же, только в раю имя и жизнь — мистические синонимы.

Ну а как в этой вселенной (стянутой до размеров одного «региона») живут люди — сегодня, сейчас? Ведь это и есть материя повестей и рассказов Екимова — реалиста, бытописателя, когда надо — очеркиста. В «Библиографической службе „Континента”» (№ 88) я наткнулась на занятную, если вдуматься, фразу о новомирских рассказах Екимова (1996, № 2): «...по обыкновению, сочетает острое ви-

дение социальных проблем с сентиментальными коллизиями и открытостью чувств». Насчет последнего — не знаю: если это о персонажах, то они, конечно, и хитря сохраняют известную долю деревенской наивности и горячности, если об авторе — то неверно: Екимов по-чеховски (повторю) сдержан, несомненный лиризм его скуп и умно дозирован. А вот о сочетании «социального» и «сентиментального» стоит поразмыслить.

Каждая вещь Екимова, будто точной датой, помечена какой-нибудь преходящей злобой дня. Как в своего рода хронике, мы обнаружим здесь и полустершиеся уже из памяти, и свежие перипетии скоростной нашей жизни: «денежный навес» и бурные вещевые распродажи по местам службы; почтовые ящики горожан, ломающиеся от подписных изданий (свежо предание...); гуманитарная помощь из-за границы («Гитлер мне посылку прислал»); неприкаянность беженцев; а на селе — все несчастные метания местных и центральных властей: от «притужальника» административного, чтоб удержать молодежь, до аренды (на нее у Екимова была некая надежда), до фермерства и раздела по паям, до гибели колхозно-совхозной «инфраструктуры», коей не перейти под опеку ни местных властей, ни (несуществующих) земств. Кажется на первый взгляд, что рассказы об этом жанрово близки к очеркам, что они только и живы вот такими острыми уколами современного, что позабудется повод — потеряется и их смысл. Ан нет. Дистанция прочищает, промывает вещь. Социальный повод, уйдя в прошлое, оставляет на первом плане то, что главней: «А мое дело — лишь догадываться, что там, в душе человеческой».

Под градом обрушившихся перемен люди мнутяся, тянутся к привычному или же пытаются сменить тактику существования. Но все равно: «каждый повинен в жизни своей», «повинен в жизни своей и волен в ней» (повесть «Крик в ночи»). Станный вывод в устах изобразителя «социальных проблем», социальных обстоятельств, предположительно направляющих человеческие судьбы. Все дело, однако, в том, что Екимов не верит в существование такого экономического ли, институционального рычага, который окажется палочкой-выручалочкой — поможет «спасти людей» («Колхоз ли надо спасти, совхоз, акционерное общество? По-моему, — просто людей». — Из очерка), спасти землю, чтобы не обратилась в дикую степь, ждущую нашествия новых племен. Во многой мудрости, сказано, много печали. Но грустней всего тому, кто приговорен в любом повороте жизни видеть обе стороны медали сразу.

Екимову любви первопроходцы, люди, которых нелегко охмурить, кто жаждет работать на земле самостоятельно, без надзора, и способен к этому. Старая почвенническая критика (Ап. Григорьев) склонна была относить таких к «хищному» типу. Но спокойный, трезвый взгляд Екимова в их готовности к вольному инициативному труду — ради «нажитка», ради детей-наследников и, не последнее, ради азартного расширения своих созидательных возможностей — не обнаруживает ничего хищного. Даже Костя (бригадир рыболовецкой артели из повести «Высшая мера»), кругом повинный перед близкими, вызывает у автора явную симпатию — сметкой, широтой, рабочим талантом, и беда его вовсе не в том, что он крупно торгует уловом налево, вырывая свою кровную долю у грабителя-государства¹.

Екимов сам сравнивает рискованных выходцев из современного растрепанного села то с Робинзоном Крузо, то с отселившимся в лес Генри Торо. Это впрямь герои нашего фронта, и повествования о них — по напряжению, по волнению в ожидании развязки — ни дать ни взять «вестерны», даже с ночной скачкой («Гнедой»), со стрельбой («Набег»), со «ставкой ценою в жизнь» («Зять»), — хотя сражаться приходится не с пущей или краснокожими (впрочем, есть и кавказцы-скотокрады), а со старым начальством и, в особенности («Враг народа»), с подозрительностью и завистью соседей. Притом движет этими людьми не только индиви-

¹ Кстати, вот превосходный психологический портрет одного из участников «теневого» экономики недавнего прошлого. Известный публицист Лев Тимофеев в целой серии статей не устает восхвалять этот неотъемлемый от «социалистического хозяйства» экономический институт как здоровую будто бы реакцию простых людей на противоестественный уклад, как положительную форму стихийного ему сопротивления. Стоило бы, однако, прислушаться к свидетельству художника: когда закон, пускай извращенный, делает добычливого человека вечно травимым вором, он начинает гибнуть нравственно, сжигая себя алкоголем и разгулом; ничего «здорового» в тени, отбрасываемой советскими экономическими пирамидами, вырасти не могло, реакция так же болезненна, как и ее возбудитель.

дуальная жажда достижения, но и подобие родовой памяти, с трудом просыпающейся после долгого одурения сельхозсоветчины: припоминается, как когда-то управлялся раскулаченный дед со своим наделом, где у прадеда был дальний потаенный выпас, где ловилась рыба... Екимова нисколько не смущает, что «трудный» подросток с дурацким для сельских ушей именем Артур взялся по договору откармливать бычков, чтобы купить и оседлать новенькую сверкающую «Яву». И такая цель воспитующе высока в сравнении с бесцельностью рабского «вкальвания»: просыпаются в парнишке удаль и выдумка, втягивается он в самый ход сельской работы, не забывая между тем и о «корыстной» мечте и вцепляясь зубами в свое, когда пытаются отнять.

Опять же, нет у Екимова ни малейших иллюзий насчет ладности остающейся позади колхозно-совхозной жизни. И дело не только в том, что та жизнь «страну не накормит». Он отлично понимает, что люди, пусть и оклемавшиеся после полосу беспардонных поборов, пусть и разжившиеся добром (подворье с живностью, ковры, люстра, «телек», даже «машинёшка»), не имеют, в сущности, ничего (как и мы с вами в большинстве своем). Им не с чего получать доход, они не владеют работающей собственностью, передаваемой по наследству для продолжения дела, и, старея, обессилевая, они становятся обременительными иждивенцами либо того же колхоза, либо своих ненадежных, часто «увевявшихся» в три далека детей. Сельская проза Екимова переполнена страшными картинами немощного стариковского труда-ковырянья («А старая мать, словно старая больная кляча, тянет плужок, выгибая черную худую шею»), старческого пауперизма.

Но... Тот же «коллективистский» сельский строй, который породил на богатейшей земле целые поколения отработавших свое нищих, целые толпы лодырей или равнодушных наемников, только и думающих, как бы приурвать от общего «чужого» к малому «своему», — тот же строй помогал этим, безвинно или нет, несчастным людям как-то держаться на плаву. Без «расташиловки» из колхозных запасов не было бы урожая на личных подсобках (того самого урожая, не без ехидства замечает Екимов в одном из очерков, которым именно частник, по мнению столичных экономистов, кормит города); без бригадирской какой-никакой заботы старухе не распахали бы огород (если нет у нее самогона), не налили бы неоприходованный глечик молока на ферме; без отчислений на общественные нужды кто бы возил детей с дальних хуторов в школу, устраивал бы в интернаты. И вот Екимов, несомненный сторонник экономической свободы крестьянина, глядя, как все это обустройство, порочное, но по-своему прочное, расшатывается, рушится и давит под собой самых неприспособленных, самых беззащитных, горько и жестко констатирует: «смерч разорения». И что на это скажешь? Что это только жатва посеянного раньше? Что неприкаянность «освобожденного» сельского жителя — плод его долговременной противоестественной неволи? Екимов знает это лучше нас. Но — «надо спасать людей». Спасать — снова о том же — землю, с которой смерч этот людей буквально сдувает.

Так что же делать? Екимов ответа не даст. Никого не сужу, предупреждает он, «возраст не тот»; только свидетельствую. Цикл его очерков о южнорусской сельщине задумывался как некоторая современная параллель «Районным будням» Валентина Овечкина. Но вышло все же иначе: там, где у Овечкина, вкупе с правдивыми зарисовками, страстная художественная дидактика вплоть до подразумеваемых рекомендаций высшему начальству, у Екимова — голая, никуда не нацеленная правда, перед лицом которой только руками разведешь, — обе стороны медали, одна не краше другой.

И тут пора вернуться к истоку екимовской «сентиментальности». Трагедия сломленного уклада и восход нового через тридцать — пятьдесят (?) лет — это темы для политиков, или еще — для эпиков, ворочающих пластами общего бытия. Для Екимова же достоверны только малые подвижки в душах, только хрупкая душевная подоплека малых дел. Потому-то сфера осуществления таланта Екимова — по преимуществу область трогательного, духовно значительная, вопреки нашей отвычке.

Самый трогательный его рассказ — это, по общему мнению, «Фетисыч», история порядливого мальчика, с недетским чувством долга противостоящего «смерчу разорения». Главное лицо (для меня вполне убедительное) даже вызвало сомнения в его правдоподобии, хотя о мужичке с ноготок в среде крестьянских детей писал еще Некрасов, не хуже скептиков знавший деревенскую жизнь. Но примечательно,

что коллизия, переживаемая мальчонкой Яковом, — это, в сущности, и то главное, что разрывает души зрелых, толковых людей на селе. Уйти вслед за своим интересом или остаться с теми, кто, лишившись тебя, станет еще беспомощней? В очерке Екимова («Новый мир», 1994, № 6) один из колхозных управленцев, образованный и работающий Мазин, наверняка преуспевший бы в фермерстве, не уходит из колхоза, потому что «остальных людей куда девать?» — так сказать, малопродвинутых? Перенеся тот же конфликт в ребячье неокрепшее сердце, где он только и может разрешиться неудержимыми слезами, Екимов дает почувствовать его глубокую, перекрывающую конкретные обстоятельства суть. Итак, бойкий Артур с его вожаделенной «Явой» или Фетисыч с грузом общих забот — за кого ухватиться? И первый неплох, но все-таки — видимо, за Фетисыча. Вечный русский ответ на вечный русский вопрос. Верен ли ответ, не знаю. Но — сочувствую.

Малая лепта помощи другому — с пониманием чужой души, с отказом от собственной прихоти («Старик и Чуря», «Гнездо поручейника», «Квартира»), малая заминка на пути к злу, тихое веяние, донесшееся то ли из детства, то ли с цветущей земли («Игрушка для сына», «Наследство»), — таковы общечеловеческие сюжеты сельских, городских ли рассказов Екимова. Сюжеты — дробные, вроде как незначительные, лишь в силу ненавязчиво-уверенного мастерства успешно организующие текст («без особого блеска» — констатирует критик Карен Степанян, что, однако, несправедливо: не всякий блеск блестит). Но эти скромные сюжеты вместе с этюдами, портретирующими людское разномыслие («Миколавна и „милосердия“», «Фаина», «Атамановы», «Телик», «Соседи»), образуют у Екимова как бы вечное, неизменное ложе под потоком социально преходящего. Река несется и бурлит, а род людской пребывает все тем же, и «какая-то теплая нить единения» — единственная соломинка, за которую дано ухватиться тонущему в этом потоке. На этой благословенной и почему-то неудобной земле. Под этим широким небом.

Большого Екимов вам не скажет.

Ирина РОДНЯНСКАЯ.



ТРИДЦАТАЯ ЛЮБОВЬ АЛЕНА

Валерий Попов. Разбойница. Роман. М. «Вагриус». СПб. «Лань». 1996. 236 стр.

Валерий Попов — писатель прежде всего читаемый. Он пишет умно — умудряясь при этом не «грузить»; увлекательно — можно читать в метро. Крепкий сюжет, точные и сочные детали, поразительное жизнелюбие всегда при нем. Читательность — то, что он сам ценит превыше всего. «Вот наш главный мыслитель, Огородцев, задумчиво курит на обложке брошюры, выставленной за стеклами всех ларьков. Никто и не подумает прочитать, но все поучительно понимают — судя по втянутому щекам, по глубине затыжки — мыслит о вечном», — по мнению героя романа «Будни гарема» — альтер эго автора, — сочинители «высокой зауми», конечно, нужны, но для него «идти в этот туман стыдней, чем в халтуру». Впрочем, и в халтуру — никак: не получается «придумать глупость» («Будни гарема»); не получается написать «не про себя» («Рыбья кровь»).

Новый роман В. Попова, исполненный на грани «серьезной» и «бульварной» литературы (эпиграф — из «Анны Карениной», посвящение — Министерству путей сообщения), вышел в том же издательском цикле «Российской прозы», что «А вот те шиш!» М. Веллера и «Последний герой» А. Кабакова. Авторский лик на обложке — идея не сказать что удачная, особенно в случае Валерия Попова, представленного художником в роли главного — их в романе, мягко говоря, немало — героя-любownika. Автор «Разбойницы» скорее мог бы, вослед автору «Госпожи Бовари», заявить: «Алена — это я».

«Кто пользовался любовью женщин и уважением мужчин, пожил уже достаточно», — любимая мысль героя «Будней гарема». Ранее, в повести «Новая Шехерезада», писатель — опять же, альтер эго автора — высказывает ее шехерезаде Марине. В «Разбойнице» — это любимое изречение героини (а Валерий Попов — ее любимый писатель). Роман прошит автоцитатами. Деталь: купленные «сверх нормы» яйца герои уносят за щеками — как герой рассказа «Минута слабости» нес

червяков. Преобладают отсылки к вышеупомянутым повести и роману. «Ну, ты прямо Шехерезада!» — говорит Алене ее «роковой мужчина». «Разбойница», подобно «Новой Шехерезаде», держится рассказыванием — от первого лица — баек из жизни героини. Марина («Новая Шехерезада») — героиня советского времени; истории последующих шехерезад — Луши («Будни гарема») и Алены («Разбойница») — разворачиваются на фоне «новорусских» реалий.

Алена «идет по жизни, смеясь» — периодически испытывая желание «лечь под паровоз». Прежде чем стать танцовщицей в гамбургском заведении «Фей моря», Алена закончила питерский филфак, сменила несколько сообразных образованию профессий — что мотивирует неправдоподобную, на первый взгляд, литературоцентричность ее сознания. Соотношение усвоенных ею посредством русской классики идеалов с новой русской действительностью неизменно дает комический эффект. Анна Каренина из нее никакая. Единственно реальными «паровозами» в судьбе Алены оказываются мужчины («роковой» — «Каренин, Вронский и паровоз в одном лице»).

Начало: Алена ссорится с хозяином заведения (он «воспитывал» ее, но, как выяснилось, не для себя — для сына) и с подвернувшимся русским — бывшим моряком, ныне бизнесменом Александром Паншиным — бежит в Россию, где работает у своего избавителя секретаршей. Опять-таки, она его любит, а он — см. выше. «Как я хочу от тебя ребенка!.. но не от себя», — ключевая фраза. Он-де уже стар, а сыну как не пожелаешь такую: умная, сексуальная, молодая и опытная — коня на скаку остановит, в горящую избу войдет (свои способности героиня демонстрирует на каждом шагу: что ни страница — то подвиг). Главная сложность в том, что сыновей у Алекса трое — от трех браков. Бежать — некуда. Почти одновременно Алена знакомится и венчается (!) с совершенно непохожими друг на друга Максимом и Аггеем — не сразу понимая, кем они приходятся шефу.

Максим — диссидент, принципиальный нонконформист — прибывает из Парижа. Алена встречает его в аэропорту. Пенсне, борода «а-ля Добролюбофф», землемерские брюки, походный рюкзак, полувоенный френч, сандалеты... «Да-а... в Париже он тоже явно «не вписался». Точней, использовал его как сундук с нафталином... На самом деле — такой френч надо поискать и поискать, не говоря уж о сандалетах». Теперь в роли «воспитателя» она. Эти, по выражению героини, «курсы койки и житья» (все «новые шехерезады» обожают переиначивать идиомы — из, скажем, «моральной компенсации» получая «аморальную компенсацию» и т. п.) продолжают в парижской «берлоге» Максима, где, «с типичной простотой гения» разгуливая по раскиданным всюду книгам и рукописям, он работает над статьей «Свое и чужое в кастрационной перспективе»...

Аггей возникает неожиданно и эффектно: в новогоднюю ночь подбирает «суженую» на переезде — после ее очередной неудачной попытки броситься под поезд. «Чероки», белый костюм, васильковые глаза, «черные, словно бы влажные волосы до плеч». Красавец с рекламного плаката. Принц из волшебной сказки. Мафиозо. Садист. С ним Алена путешествует по далеким жарким странам — и возвращается к шефу Алексу вся в ранах и кровоподтеках.

До самой смерти своего ненаглядного — маленького, пузатого, лысого — шефа «разбойница» мечется между ним, «Максимом — максималистом» и экзотическим Аггеем, решая за них все проблемы и утешая себя нехитрым «селяви». Вернее всего — довериться течению жизни; попытки волевым усилием что-либо изменить все равно обречены. Сколько ни ложись на рельсы, поезд остановится или пройдет по соседнему пути, если не судьба. Можно не разделять сию философию, но ее воплощение — впечатляет. Если в «Новой Шехерезаде» В. Попов откровенно иронизирует над провинциализмом и завышенной самооценкой героини, от лица своего альтер эго комментируя ее слова и поступки, то к подобным же недостаткам Алены он относится снисходительно — восхищаясь ее увлеченностью стихией жизни. Дистанция между рассказчиком и героиней сходит на нет, автор изначально на стороне «разбойницы», «в ее шкуре». Остранение здесь происходит не от взаимодействия композиционных пластов (рассказ «шехерезады» в рассказе писателя — соседа ее «шаха» по лестничной площадке), а от столкновения жанров.

«Разбойница» обыгрывает жанр массового эротического романа. Причем пародийный эффект достигается не столько гиперболизацией (чрезмерная частотность, однотипных эротических сцен; засилие соответствующей лексики: «безумно», «сладоэротично»), сколько путем столкновения с романом традиционным (упомянутая

уже «Анна Каренина») и авторской, поповской, манерой письма (упомянутые, опять же, автоцитаты). «Вопль, потрясший меня, словно был не мой, чей-то чужой. Боюсь, что все обитатели этого дома на минуту оторвались от своих дел и задумались: а правильно ли они живут?» — иронический комментарий «подарен» автором героине. Подобно тому как новой русской женщине Алене не удается идентификация с героиней русской классики, Валерий Попов остается Валерием Поповым: меньше всего интересная в качестве эротического триллера «Разбойница» — логичный шаг после «Будней гарема».

Третьим сыном Александра Паншина оказывается Виктор, капитан парома, на котором они плыли из Гамбурга в Петербург. Конеч: они снова куда-то плывут — теперь уже вдвоем с Виктором, — не важно, куда. Алена ждет от Виктора ребенка — мечта ныне уже покойного Алекса сбылась, он таки «победил».

Это — основная линия, первый план, ключевые фигуры. Второстепенные персонажи не менее «объемны» — как всегда у Попова и вопреки специфике массовой литературы (ср.: принципиально одномерный майор Звягин у М. Веллера, поставившего себе цель не обыграть, а именно «сделать» экшн). Вот, скажем, французская подруга Максима, миллионераша Николь, она же — «простая рабочая девушка из Парижа». «Подошла дылда в простенькой джинсе... именно про такую, наверно, родился афоризм: «Женщина любит ушами!» Наследница крупнейшего во Франции туристического агентства, теряя состояние, заботится о том, «чтобы по миру и особенно в Россию ездили простые люди, в первую очередь почему-то шахтеры». Живет в огромной квартире с огромными же окнами на Сену... на Нотр-Дам-де-Пари, на «Гранд-опера» и на Эйфелеву башню, роскошной и допотопной: «Везде старинные гобелены, драгоценные столики... а унитазом приходится управлять вручную, засовывая руку по локоть в воду». Старается как можно реже мыться в ванной, чтобы не понижать уровень Мирового океана.

В общем, роман получился интересный.

Ольга КУЗНЕЦОВА.

По моему неизлечимому занудству, не могу не поделиться наблюдением, ускользнувшим от доброжелательного взгляда О. Кузнецовой. На четвертую страницу обложки издатели на западный манер вынесли три комплиментарных высказывания о прозе Валерия Попова. Вот они. «Валерий Попов — один из самых точных и смешных писателей современной России» (газ. «Новое русское слово», Нью-Йорк). «Книгами Валерия Попова угощают самых любимых друзей, как лакомым блюдом...» (журн. «Синтаксис», Париж). «Проницательность у него дьявольская. По остроте зрения Попов — чемпион» (Лев Аннинский, «Локти и крылья»). С «чемпионством» тут не все ладно. Вот как выглядит это место на самом деле в книге Льва Аннинского «Локти и крылья» (М., 1989, стр. 229 — 230): «Зрение тут слоистое, выхватывающее, стиль собран вокруг речевого образа рассказчика. Но проницательность дьявольская. По остроте зрения Попов — при всей прыгающей и фантастической фактуре его текстов — матерый, что называется, реалист». Почувствуйте разницу. Но и без этого на обложке «Разбойницы» вполне заслуженные похвалы производят неожиданно-грустное впечатление, поскольку относятся к более ранним рассказам и повестям Валерия Попова, воспоминание о которых... Нет, не могу, ни слова боле...

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ.

КОРОТКО О КНИГАХ



И. О. ПАХОМОВА, М. ТЕМЧИН. Драка с разных точек зрения. М. Издательство гимназии «Открытый мир». 1995. (Рабочие тетради. Шаг за шагом. Психология). 80 стр.

И. Н. ЕРОФЕЕВА. Социология. Практический курс. М. Издательство гимназии «Открытый мир». 1995. (Рабочие тетради. Шаг за шагом. Социология). I — 64 стр. II — 80 стр.

И. А. ДОБРОХОТОВ. Введение в философию. М. Издательство гимназии «Открытый мир». 1995. (Рабочие тетради. Шаг за шагом. Философия). 80 стр.

Традиционно университетские гуманитарные дисциплины — психология, социология, философия — начинают свою экспансию в школу. В учебной серии «Шаг за шагом», которую готовит издательство гимназии «Открытый мир», появились тетрадки по этим предметам. Еще один эксперимент в образовании...

Однако, как полагает руководитель проекта А. И. Княжицкий, — эксперимент отнюдь не произвольный. Эти гуманитарные дисциплины уже стали компонентом учебных планов многих школ, и не только в Москве, а и в Вязьме, в Свердловске, в других городах. На учебную литературу по новым школьным предметам есть запрос.

У этого эксперимента одна вполне отчетливо выраженная особенность — попытка поставить навык выше привычной учебной дидактики. Архаичной, но испытанной модели «научения знанию» здесь противостоит в своем роде «ремесленная модель». Знание должно быть «на кончиках пальцев», оно должно стать м о и м пониманием и умением. Поэтому все «рабочие тетради» — это своеобразные прописи, где целые страницы нужно заполнять своим, индивидуальным, почерком — в предмете надо участвовать лично.

I. Рабочая тетрадь по психологии («Драка с разных точек зрения» — первая из обещанных девяти тетрадок)

предназначена второму классу. Никаких специальных терминов, умных наукообразных объяснений и моральных наставлений. Ребенку предлагают стать очевидцем очень простой, вполне обыденной ситуации. Сценка: конфликт, в классе произошла драка. Персонажи, конечно, даны предельно упрощенно, их поведение прорисовано как продолжение некоего основного «качества характера». Но эта модельная одномерность позволяет ведущему (фигура «психолога-рассказчика») высветить рациональный контур ситуации и показать, что существуют разные перспективы видения одного и того же события.

Вещь, казалось бы, самоочевидная. Однако вспомним наши школьные обыкновения: даже учитель не столь часто сам трезво анализирует (а уж тем более предлагает это сделать ученикам) конфликтные ситуации. Чаще к разрешению им предлагается вопрос «кто виноват?», за которым ученик безошибочно чувствует обвинительный уклон и прозревает перспективу наказания. Обычный школьный учитель редко бывает способен на нечто большее, чем непосредственная эмоциональная реакция. Наш книжный педагог-психолог — этакий задумчивый интеллигент в очках, при бороде и с трубкой — нетороплив в разборе ситуации и объективен. Он не раздает никаких оценок. Он терпеливо показывает, что конфликт — не брутален, что возник он скорее из другого истока — непоясненности, недоговоренности, из столкновения различных перспектив видения одной и той же ситуации.

Развивая сюжет «конфликта», психолог строит игровую ситуацию — посылает своих героев с цивилизаторской миссией в первобытные условия дальней планеты и дает возможность проявиться всем последствиям взаимного непонимания и несогласованности действий участников экспедиции. Мораль ненавязчива, но очевидна: спонтанное проявление «характера», отсутствие разумных оснований сотрудничества при-

водят к масштабным плачевным результатам.

Какую задачу имеет в виду неприятельный сюжет этого нового учебного пособия? По-моему, речь идет о вещах довольно простых, однако не вошедших в поведенческий минимум нашей учебной культуры: о навыке разумного анализа конфликта (что предполагает умение дистанцироваться, уклониться от оценки, предпочтения какой-то одной позиции), об умении развивать стратегию сотрудничества, достигать взаимных договоренностей. Иначе говоря, авторы новой учебной программы пытаются внедрить основы корректной психологической коммуникации. Во втором классе — самое время.

Впрочем, и мой сын-семиклассник с удивившим меня энтузиазмом несколько раз подряд перечитал немудреный текст «рабочей тетрадки», при этом улыбался и хихикал. На мой вопрос, что же занятного нашел он в ее нарочито примитивном сюжете, ответил коротко: «Мне это интересно». Только заметил, что «немножко много теории и мало практики». Действительно, большая часть тетрадного пространства отдана психологу-рассказчику, а на его вопросы отвечают, как правило, лишь те, кого он заранее «пригласил» в свой зал, — читающий же тетрадку как бы вынужден примкнуть к той или иной уже сформулированной точке зрения, он чувствует себя скорее наблюдателем, чем участником игры. А может быть, и второкласснику уже хочется вписать себя в предлагаемую ситуацию отдельной строкой... Наверное, такие возможности серия по психологии школьников еще предоставит. Одна из ближайших ее тетрадок названа «Путь к себе», и речь там пойдет о самостоятельной психологической адаптации к внутренним стрессовым ситуациям...

II. Серию «Социология» открыли две тетради практического курса. Получилась своеобразная «Рабочая книга социолога» для десятого — одиннадцатого классов. Знакомство с конкретной социологией, по мысли автора учебного проекта Н. Ерофеевой, должно прежде всего послужить адаптации старших школьников в мире современных социальных технологий. Для них не будет загадкой, что же стоит за постоянными сегодняшними апелляциями к «общественному мнению», ссылками на «социологические опросы» и звучащим как политическое заклинание словом «рейтинг».

Курс-всеобуч по прикладной социологии построен как медленное пошаговое научение ремеслу социолога. За разъяснением каждого вводимого опорного социологического понятия (социальная группа, социологическая информация, контент-анализ, индекс и т. д.) следует открытый вопрос-практикум. После блока проработанных понятий — социологическое задание, которое ученик должен выполнить самостоятельно на страницах тетради. И первое из таких заданий — определение рейтинга школьных предметов.

Итогом проработки двух тетрадок должен стать навык проведения социологического исследования, включающий: операционализацию понятий, разработку анкеты, определение выборки, проведение пилотажного исследования и, наконец, обработку и анализ результатов. К сожалению, в выпущенных тетрадках социология представлена только со стороны своего начального инструментария. Здесь нет (даже на полях) отсылок к ее замечательно интересной теории и истории. Видимо, более богатое представление о предмете ждет учеников впереди... Но после предложенного Н. Ерофеевой тренинга бывший школьник может смело наниматься на работу в социологическую службу.

III. И еще один авторский эксперимент. А. Доброхотов, известный специалист по истории философии, вдохновился идеей прототипа для философии дорогу в среднюю школу. Задача не из простых, особенно если к ней отнестись серьезно. Философствование, как показывает отечественный опыт, с какой-то обреченностью вырождается у нас в идеологии — светские ли, религиозные ли... В то время как наш автор упрямо настаивает на идеалах классической европейской рациональности.

При внешнем архитектурном сходстве в подаче материала с тетрадками по социологии: то же чередование объясняющего текста и открытых полей вопросов, — пафос курса иной: в соответствии с авторским пониманием самой области философии, ее безнадежной несводимости ни к модели «знания», ни к модели «практики». Попробую объяснить более подробно.

Действительно, с одной стороны, у философии есть признанный «позитивный предмет» — это история философии, которую можно, и даже вполне изящно, изложить в форме знания, организовав при этом в самые затейливые сюжеты. «О философии» что-то говори-

ли Платон и Аристотель, Кант и Гегель и даже такие ее «разрушители», как Ницше с Хайдеггером... Однако не так увлекает автора роль доксографа, излагателя учений (он ограничивается довольно сухо-словарно звучащими сведениями о философах и расшифровками ходовых философских понятий, отводя им место на полях тетрадки), как некая сверхзадача — инициировать мышление. Задача, прямо скажем, совсем не дидактическая, а может быть, даже — алхимическая. И несомненно чувствуя здесь опасную бездну, автор пытается обрести промежуточную устойчивую территорию. Он хотел бы пройти по очень тонкой грани: научить, сохраняя интуицию ненаучаемости философии...

Ему помогает подлинно философская утопия. «Человеку свойственно мыслить, — вводит он первое надежное утверждение. — Гораздо сложнее заставить себя не думать, чем думать».. Оставим на совести автора эту трогательную профессиональную иллюзию... И вот, установившись в том, что мышление некоторым образом «дано», автор «Введения в философию» пытается научить мысль «жизни по правилам». Как же происходит это научение?

Я попыталась поставить себя на место ученика — и у меня возникли некоторые проблемы... Дело в том, что в книжке существуют два достаточно разнородных пространства. А средства перехода из одного в другое — отсутствуют.

В первом пространстве чередой следуют тематические «рассказы» — «Как возникла философия», «О чем мыслят философы», «Зачем нужна философия», «Философия как образ жизни», «Границы философии» и т. д. Каждой теме отведены две-три страницы. Автор стремится к компактности, простоте и ясности изложения, беря при этом на себя серьезный риск банализации. И спасает его здесь, как мне показалось, одно — звучание личной интонации, какое-то его собственное внутреннее доверие к возможности простоты. Однако эти тематические рассказы все же остаются дорогой в никуда — автору не удается разомкнуть дидактическое пространство. Конечно, ученик получает «к сведению» что о-то едва ли не обо всем. Каждое предложение является здесь шифрограммой, своеобразной предельно краткой меткой. При медленном чтении из этих текстов можно извлечь целый космос довольно слож-

ной и драматичной философской проблематики, которую умиротворенный тон изложения несколько скрадывает...

Но вот изложение прерывается — и попадаешь в совершенно иную реальность. Гораздо более динамичную, вопрошительно-открытую. И здесь никак не помогает только что пройденный тобою рассказ, не очень помогают и подбадривания автора, уверяющего тебя, что решенных вопросов в философии нет, что и твой вариант решения — возможен, что в философии есть и для тебя место... «Платон и Аристотель говорили, что начало философии — удивление. Объясните эту фразу»... «Протагор говорил: «Человек есть мера всех вещей». Обоснуйте ваше согласие и несогласие»... «Объясните следующее высказывание Канта: „Две вещи наполняют душу всегда новым и более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, — это звездное небо надо мной и моральный закон во мне”»...

Откровенно говоря, я почувствовала свою беспомощность. Не перед величием философского вопроса, а перед неопределенностью ситуации, в которую меня поставили. Сначала мне пообещали преподать некие «правила мысли», и я, казалось, была вправе ожидать, что автор развернет передо мною хотя бы некоторые классические варианты постановки и разработки того или иного философского вопроса. Вместо этого мне для начала что-то рассказали «про философию», а потом предложили самой «пофилософствовать»... Правда, в одном случае я все же обнаружила «подсказку» (думаю, что изобрел ее не автор — просто художник вдруг вдохновился пришедшим ему на ум пониманием вопроса): рядом со строчками, оставленными для ответа на вопрос: «Кант сказал, что «прекрасное — символ доброго». Попробуйте истолковать этот тезис», уютно пристроилось изображение православной церкви...

Действительно, как перейти из пространства рассказа о философии в пространство самостоятельного размышления о «философских вопросах»? Вариант, как мне показалось, пока не найден. Впрочем, первая попытка «Введения в философию» представлена, а все мои недоумения возникли только благодаря тому, что она состоялась...

Елена Озобкина.

КНИЖНАЯ ПОЛКА



Б. Г. (Гребенщиков). Песни. Тверь. «ЛЕАН». 1996. 464 стр. 5000 экз.

Джеральд Даррелл. Новый Ной. **Джеки Даррелл.** Звери в моей постели. Перевод с английского С. Лосева, Л. Жданова. М. «Армада». 1996. 396 стр. 35 000 экз.

Вероника Долина. Вдвоем. Стихи. М. «Изограф». 1996. 96 стр. 2000 экз.

Кобаяси Исса. Стихи и проза. Перевод с японского, предисловие и комментарии Т. Л. Соколовой-Делюсиной. СПб. «Гиперион». 1996. 224 стр. 3000 экз.

Кобаяси Исса (1763 — 1827) — классик японской поэзии, работавший вслед за Басё и Бусоном в жанре «хайку» (трехстишие в графическом исполнении). В книгу вошли: подборка стихов, книга «Дневник. Последние дни отца» и фрагменты книги «Моя весна».

Юлия Латынина. Колдуны и империя. Роман. Саратов. «Труба». 1996. 496 стр. 20 000 экз.

А. Марлинский (А. А. Бестужев). Мулла-Нур. Быль. Рисунок М. Ю. Лермонтова. М. «Рудомино». 1996. 190 стр. 3000 экз.

Сказания Красного Дракона. Волшебные сказки и предания кельтов. Под общей редакцией А. Платова. М. «Менеджер». 1996. 416 стр. 5000 экз.

Современная баллада и жестокий романс. Составители: С. Адоньева, Н. Герасимова. СПб. Издательство Ивана Лимбаха. 1996. 416 стр. 5000 экз.

Tabula rasa. Антология студенческих настенных росписей. Проза и поэзия. М. НГУ МЦО Н. Нестеровой. 1996. 122 стр. 150 экз.

Утренний иней на листьях клена. Поэзия семейства Се. Перевод со старокитайского, предисловие, примечания Л. Е. Бежина. М. «Книга». 1996. 208 стр. 5000 экз. Формат 80 x 96.

Владислав Ходасевич. Перед зеркалом. Из трех книг. Стихотворения. Редактор-составитель М. Т. Латышев. М. «Яуза». 1996. 190 стр. 20 000 экз.

Иван Шмелев. Лето Господне. М. «Известия». 1996. 492 стр. 20 000 экз.

Галина Щербакова. Женщины в игре без правил. Лизонька и все остальные. Романы. М. Издательство «Дом Русанова, Букмэн». 1996. 448 стр. 20 000 экз.

Асар Эппель. Шампиньон моей жизни. Рассказы. М. Издательство «Гешарим», Москва — Иерусалим. 1996. 317 стр. 1000 экз.

Во вторую книгу известного писателя вошли рассказы 1982 и 1979 года. Первая книга рецензировалась в «Новом мире» (1996, № 2).



П. Л. Бергер. Приглашение в социологию. Гуманистическая перспектива. Перевод с английского. М. «Аспект Пресс». 1996. 168 стр. 7000 экз.

С. Берто. Эдит Пиаф. Перевод с французского С. А. Володиной. М. «Культура и традиции». 1996. 464 стр. 15 000 экз.

С. Г. Вургафт, И. А. Ушакова. Старообрядчество. Лица, события, предметы и символы. Опыт энциклопедического словаря. М. Журнал «Церковь». 1996. 318 стр. 5000 экз.

Астольф де Кюстин. Россия в 1839 году. В 2-х томах. Перевод с французского Веры Мильчиной (письма 1 — 11) и Ирины Стаф (письма 12 — 20) под общей редакцией Веры Мильчиной. Статья Веры Мильчиной. Комментарии Веры Мильчи-

ной и Александра Осовата. М. Издательство имени Сабашниковых. 1996. 5100 экз. Том 1 — 528 стр. Том 2 — 480 стр.

Из краткого вступления «О русском издании „России в 1839 году“»: «Настоящее издание является первым полным переводом на русский язык книги маркиза де Кюстина... До сих пор книга публиковалась в России только в выдержках... Публикуемый перевод «России в 1839 году» сделан по тексту второго издания книги (Париж, 1843), которое и получило распространение среди первых русских читателей Кюстина. Перевод сопровождается подробным комментарием (ориентированным на разъяснение культурно-исторических, литературных и политических реалий и контекстов), аналогов которому нет ни в одном издании Кюстина».

А. Ф. Лосев. Мифология греков и римлян. Составитель А. А. Тахо-Годи. М. «Мысль». 1996. 975 стр. 10 000 экз.

Ю. М. Лотман, Е. А. Погосян. Великосветские обеды. Панорама столичной жизни. СПб. «Пушкинский фонд». 1996. 320 стр. 20 000 экз.

М. Э. Матъе. Избранные труды по мифологии и идеологии Древнего Египта. Составитель А. О. Большаков. М. Издательская фирма «Восточная литература» РАН. 1996. 326 стр. 2000 экз.

Г. Ф. Миллер. Сочинения по истории России. Избранное. Составление и вступительная статья А. Б. Каменской. М. «Наука». 1996. 448 стр. 5000 экз.

Владимир Набоков. Лекции по русской литературе. Чехов, Достоевский, Гоголь, Горький, Толстой, Тургенев. М. «Независимая газета». 1996. 438 стр. 10 000 экз.

Н. С. Николаева. Япония — Европа. Диалог в искусстве. Середина XVI — начало XX века. М. «Изобразительное искусство». 1996. 399 стр. 5000 экз.

П. С. Таранов. Антология мудрости. 120 философов. В 2-х томах. Симферополь. «Таврия». 1996.

Том 1 — 624 стр. 50 000 экз. Том 2 — 624 стр. 50 000 экз.

Временной охват словаря-справочника — от Соломона Мудрого, Периандра Коринфского, Питгака из Митилены до Чаадаева, Ницше, Розанова. Каждая статья содержит биографические сведения, краткое изложение учения философа (в извлечениях из его текстов) и «Мысли» — наиболее яркие афористичные высказывания.

Ямамото Цунетомо. Хагакурэ. Книга самурая. **Юкио Мисима.** Хагакурэ нюмон. Введение в «Хагакурэ». Самурайская этика в современной Японии. Перевод с японского и послесловие А. Мищенко. СПб. «Евразия». 1996. 330 стр. 2000 экз.

Первая часть — подборка изречений из памятника японской литературы XVII века. Вторая часть — исследование «Хагакурэ», принадлежавшее одному из крупнейших японских писателей XX века. Оба текста публикуются на русском языке впервые.

Энциклопедия обрядов и обычаев. Составители: Л. И. Брудная, З. М. Гуревич, О. Л. Дмитриева. СПб. «Респекс». 1996. 552 стр. 20 000 экз.

Составитель С. Костырко.



ПЕРИОДИКА



*«Арион», «Вопросы литературы», «День и ночь», «Дружба народов», «Звезда»,
«Знамя», «Истина и Жизнь», «Литературная учеба», «Москва»,
«Наш современник», «Независимая газета», «Новая Европа», «Октябрь»,
«Постскриптум», «Преображение»*

Лев Аннинский. Жизнь Иванова. — «Истина и Жизнь». Христианский журнал. 1996, № 1.

Фрагмент обширного сочинения. Родословная. Отец автора — «природный Иванов», некогда взявший себе псевдоним Аннинский (от названия станицы Ново-Аннинской).

Бахтин и современное литературоведение. — «Вопросы литературы», 1996, № 3.

В июне 1995 года в Москве проводилась международная конференция, посвященная творчеству М. М. Бахтина. Из прозвучавших на ней многочисленных докладов публикуются: Кэрил Эмерсон (Принстонский университет, США), «Столетний Бахтин в англоязычном мире глазами переводчика»; В. Махлин, «Лицом к лицу: программа М. М. Бахтина в архитектонике бытия-события XX века»; И. Шайтанов, «Жанровое слово у Бахтина и формалистов»; Н. Николаев, «„Достоевский и античность“ как тема Пумпянского и Бахтина (1922 — 1963)».

Иосиф Бродский. Письмо из ссылки. — «Постскриптум». Литературный журнал. 1996, № 2.

Письмо к И. Н. Томашевской от 19 января 1964 года (предоставлено для публикации дочерью адресата). Цитата: «И вот что я скажу Вам, Ирина Николаевна, напоследок: главное не изменяться, я сообразил это. Я разогнал себя слишком далеко, и я уже никогда не остановлюсь до самой смерти. Все как-то мелькает по сторонам, но дело не в нем. Внутри какая-то неслышанная бесконечность и отрешенность, и я разгоняюсь все сильнее и сильнее. Единственное, о чем можно пожалеть, что мне помешают сказать об этом всем остальным, — не будет возможности написать эти главные стихи».

Андрей Воронцов. Дело Румянцева. Повесть. — «Наш современник», 1996, № 6.

Масоны гадают. Извели Пушкина. Наш современник Петр Румянцев написал об этом роман. Нагадили и ему.

Александр Вяльцев. Ожидание героя. — «Постскриптум». Литературный журнал. 1996, № 2.

«Я пишу. Я занимаюсь архаикой. Некоторые жанры или роды искусства должны умереть. Поэзия, проза, классическая музыка, традиционная живопись». В редакционном постскриптуме редакция «Постскриптума» своевременно отмежевывается от предложения А. Вяльцева убивать каждый год по тысяче российских литераторов.

Елена Гошило. Вдовство как жанр и профессия à la russe. — «Преображение». Русский феминистический журнал. 1995, № 3.

«Вдова как нация», «Вдова как тень», «Вдова как хранитель и рекламный агент». Княгиня Ольга. Наталья Гончарова. Две вдовы Высоцкого. Три вдовы М. Булгакова как «образцы вдовьего жанра». Н. Я. Мандельштам, превратившая скромный миф «вдовьих высказываний» в широкие по диапазону оценки независимого культурного критика, подрывающего старые стереотипы. Автор, профессор Питсбургского университета (США), специализируется в области новейших течений и направлений современной русской литературы.

Федор Губер. «Осуществляющий жизнь так, как хотелось...». Из книги о Василии Гроссмане «Память и письма». — «Вопросы литературы», 1996, № 2, 3.

Фрагменты документальной книги о Гроссмане. Уникальные архивные документы.

Александр Жолковский. Зошенко из XXI века, или Поэтика недоверия. — «Звезда», 1996, № 5.

«Выразитель собственной «душевной» проблематики (Зошенко. — *А. В.*) предстает и зеркалом своей исторической эпохи, но не только и не столько как сатирик-бытописатель советских нравов, сколько как поэт страха, недоверия и амбивалентной любви к порядку». Журнальная статья написана на основе академических работ А. Жолковского.

Софья Караганова. В «Новом мире» Твардовского. — «Вопросы литературы», 1996, № 3.

Многолетний редактор отдела поэзии «Нового мира» вспоминает некоторые эпизоды совместной с Твардовским работы.

Михаил Козаков. Третий звонок. Израильские записки. — «Знамя», 1996, № 6. Известный актер рассказывает о своей нынешней жизни и работе в Израиле — откровенно, подробно и несколько сумбурно.

Владимир Короленко. Торжество победителей. Публикация и примечания Инара Мочалова. — «Независимая газета», 1996, № 114, 25 июня.

Антибольшевистская статья, не входившая в собрания сочинений писателя, впервые была напечатана 3(16) декабря 1917 года в московской либеральной газете «Русские ведомости», вскоре закрытой революционными властями. Она предшествует известным письмам Короленко к Луначарскому 1920 года (не так давно перепечатанным в «Новом мире»). Главными персонажами статьи являются тот же Луначарский и ныне почти забытый литератор Иероним Иеронимович Ясинский (1850 — 1931), который в 1917 году встал на сторону советской власти, резко сменив свою охранительно-консервативную позицию, а позже даже стал членом РКП(б) и работал в Пролеткульте.

К. Н. Леонтьев: страницы духовной биографии. Публикация Н. С. Фуделя, Г. Б. Кремнева, С. В. Фомина. — «Литературная учеба», 1996, № 3 (май — июнь).

Первым в блоке материалов печатается отрывок из кандидатского сочинения 1916 года Владимира Доброва (Императорская Московская Духовная академия) о религиозно-этических взглядах К. Н. Леонтьева. Затем публикуются письмо Леонтьева из Оптиной Пустыни к писательнице О. А. Новиковой, а также восемь писем 1890 — 1891 годов к о. Иосифу Фуделю, сопровождаемые статьей С. И. Фуделя и очерком С. Н. Дурылина об о. Иосифе Фуделе.

Александр Нежный. Смерть царевича. — «Истина и Жизнь». Христианский журнал. 1996, № 2.

Пролог к историческому роману «Первый гром», посвященного событиям Смутного времени и первой крестьянской войны в России (конец XVI — начало XVII века).

О Пушкине и его эпохе. — «Знамя», 1996, № 6.

Очередной выпуск рубрики «Иосиф Бродский: труды и дни», подготовленный Л. Лосевым и П. Вайлем. Он состоит из вступительного слова Льва Лосева, письма И. Бродского американскому филологу-русисту Джеймсу Райсу о пушкинской прозе, статьи Петра Вайля «Вслед за Пушкиным», предисловия И. Бродского к антологии русской поэзии XIX века (Нью-Йорк, 1988). Блок материалов завершается короткими заметками Бродского о Вяземском, Пушкине, Баратынском, Лермонтове.

«Они служили своим идеям, и служили им с честью...». Из политической переписки М. Алданова. Вступление, подготовка текстов, примечания и публикация А. Чернышева. — «Октябрь», 1996, № 6.

Продолжение цикла публикаций по материалам фонда Марка Алданова в Бахметевском архиве Колумбийского университета в Нью-Йорке (см. № 1 и 3 журнала «Октябрь» за этот год). Корреспондентами политической переписки писателя 1941 — 1956 годов выступают А. Ф. Керенский, В. А. Маклаков, Е. Д. Кускова, Г. П. Струве и другие известные деятели русской эмиграции. В письме к С. П. Мельгунову от 14 сентября 1945 года писатель признается, что взрыв атомной бомбы потряс его больше, чем война и революция 1917 года. Заслуживает внимания его радиообращение к русскому народу в связи с венгерским восстанием 1956 года.

Евгений Перемышлев. В красной рубашке и с предлинными ногтями... — «Октябрь», 1996, № 6.

Положительная (?) рецензия на эротические «Тайные записки 1836 — 1837 годов» А. С. Пушкина, сочиненные скандально известным эмигрантским литератором М. Армалинским. «Сколько исписано бумаги и разлито чернил пушкинистами и просто сочувствующими, доказывая, проклиная, уязвляя, что это подлог. Никто и не сомневается, кроме них самих, ибо втайне они хотели бы, чтобы еще какая-нибудь — любая! — рукопись, пусть листок, пусть несколько неизвестных строчек Пушкина были найдены. Они бы все простили — скабрзности, несовершенство слога, суетность мыслей, если бы таковые обнаружили. Они бы убедили себя и других, что именно так и надо... Но

то, что было бы позволено Пушкину, запрещается Михаилу Армалинскому». Еще цитата: «...Михаил Армалинский хотел издать чрезвычайный пасквиль, а выпустил в свет апокриф».

Письма Б. М. Эйхенбаума к А. С. Долинину. Подготовка текста, вступительная заметка и примечания А. А. Долининой. — «Звезда», 1996, № 5.

Пятнадцать писем 1912 — 1915 годов к литературоведу Аркадию Семеновичу Долинину (1880 — 1968). Ответные письма Долинина в архиве Эйхенбаума не сохранились. «Написал рассказ — как всегда о земле, о звездах, о снеге, а людей мало: один, да и то плохой — следователь» (из письма Эйхенбаума от 10 февраля 1912 года).

Борис Поплавский. Из дневников. 1928 — 1935. Предисловие Ст. Никоненко. — «Литературная учеба», 1996, № 3 (май — июнь).

Фрагменты книги «Из дневников 1928 — 1935» (Париж, 1938), подготовленной к печати друзьями эмигрантского поэта и прозаика Бориса Юлиановича Поплавского (1903 — 1935) на основании его дневниковых тетрадей. «Трогательно только то, чего коснулась, чего касается, к чему склоняется смерть» (из записи от 20 декабря 1928 года). Запоминается его выражение «золотое масонское счастье книг» (из записи от 21 августа 1935 года). Тут же печатаются отрывки из хорошо известной рецензии Николая Бердяева «По поводу «Дневников» Б. Поплавского» (из парижского журнала «Современные записки», 1939, № 68). Бердяева дневник поразил «отсутствием простоты и прямоты». Еще в этой публикации поражают примечания (чьи?), объясняющие, кто такие Геракл, Гомер и Аполлон; при этом «менады» переводятся просто как «бешеные», хотя естественнее было бы написать, что это вакханки, следовавшие за Дионисом и растерзавшие певца Орфея, тем более что смысл у Поплавского именно такой: «не растерзали меня еще сладенькие менады-поклонницы».

Владимир Пуков. Над истраченным наследством. — «Новая Европа». Международное обозрение культуры и религии. № 8 (1996).

«Искусство нуждается в преодолении. Оно возродит себя, став частью иного, высшего целого, отказавшись от тех идеалов, которые неуклонно и неудержимо ввели его в тупик. Оно должно умереть — чтобы возродиться в иных проявлениях духа». Автор, выпускник Литературного института 1995 года, впервые выступает в печати по принципиальным вопросам культурологии.

Ирина Роднянская. Общественный идеал Достоевского. Публичная лекция. — «Новая Европа». Международное обозрение культуры и религии. № 8 (1996).

«Достоевский часто повторял в ответ на упрек в ретроградности, что он куда либеральнее записных либералов». Подробнее всего — о Достоевском 60-х годов.

Л. Розенблюм. «Необыкновенная история». Душевная драма Гончарова в свете психологических открытий Достоевского. — «Вопросы литературы», 1996, № 3.

Статья входит в подготовленный ИМЛИ гончаровский том «Литературного наследства».

В. Сердюченко. Литпатриоты. За и против. — «Постскриптум». Литературный журнал. 1996, № 2.

Львовский филолог (уже знакомый читателям «Нового мира») обзрывает «Молодую гвардию» и прочие «патриотические» литературные издания. Суров, даже язвительен. Переходя с текстов на личности (например, В. Кожина), становится поверхностен и поэтому не прав. Критический темперамент не может скрыть очевидную невключенность в российскую литературную жизнь. Письма издалека.

Нонна Слепакова. Дым без огня, или Последняя в девятом-первом. Главы из романа. — «День и ночь». Литературный журнал для семейного чтения (Красноярск). 1996, № 3 (апрель — июнь).

Автобиографическая проза петербургской поэтессы. Семья и школа начала 50-х годов.

Татьяна Толстая. Воспоминания о Хлебникове. Предисловие, публикация, подготовка текста и комментарии Александра Парниса. — «Арион». Журнал поэзии. 1996, № 2.

Воспоминания Татьяны Владимировны Толстой (1892 — 1965; поэтический псевдоним «Татьяна Вечорка») о пребывании Хлебникова в Баку в 1920 — 1921 годах. Масса неэстетичных, но достоверных подробностей бытового поведения поэта.

Семен Файбисович. Рассказы. — «Октябрь», 1996, № 6.

«Как я делал портрет Горбачева для обложки журнала „Тайм“, «Как я менял доллары» и другие короткие рассказы современного художника, обладающего несомненным литературным даром. Заслуживают внимания и его не столь давние статьи в журнале «Иностранная литература» и газете «Сегодня».

Шеймус Хини. Стихи. Перевод с английского Виктора Топорова. — «Звезда», 1996, № 5.

«Вариация на тему Одена. (Памяти Иосифа Бродского)», «Чувствилища» и другие стихотворения ирландского поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе. С ними соседствует переведенная В. Топоровым рецензия Дж. Д. Макклаци на книгу лекций Ш. Хини «Переосмысление поэзии». Тут же напечатано стихотворение Иосифа Бродского «Шеймусу Хини» (1990). См. также нобелевскую лекцию Ш. Хини в июньском номере «Иностранной литературы» за этот год.

В. Ходасевич. Статьи о советской литературе. Публикации и комментарий М. Долинского и И. Шайтанова. — «Вопросы литературы», 1996, № 4.

Публикации статей 1931 — 1939 годов из парижской газеты «Возрождение» предшествует статья М. Долинского и И. Шайтанова «Диагноз». Эта подборка является фрагментом подготовленной в 1991 — 1993 годах, но так и не нашедшей издателя книги «Декольтированная лошадь. Литература и власть в советской России», в которой впервые были собраны статьи В. Ходасевича, относящиеся к заявленной в подзаголовке теме.

Игорь Шафаревич. Как умирают народы. — «Наш современник», 1996, № 7.

«Состояние русского народа в последние годы трудно характеризовать иначе как катастрофа».

Борис Шергин. Из дневников. Записи 1946 года. Публикация и вступительная заметка Юрия Галкина. — «Москва», 1996, № 7.

Записи, относящиеся ко времени Великого поста и Пасхи за 1946 год. «Я смолоду не задумывался над вопросом: есть Бог или нет? Бытовое православие было стихией... Прошли годы... Род человеческий по всей земле стал терять Бога. Встает вопрос не о том, кто прав, католики ли, восточные ли наши, реформисты ли, а вообще вопрос о том, как под напором атеизма воинствующего уяснить себе и людям, что потерять Бога — лишенье роковое, ведущее к последствиям страшным для души человеческой» (из записи от 15 апреля 1946 года, Фомино воскресенье). Ранее дневники Бориса Шергина печатались в журнале «Москва» в 1994 году (№ 4, 5).

Леонид Штакельберг. Пасынки поздней империи. Фрагменты ненаписанного романа. — «Звезда», 1996, № 5.

Автобиографический текст петербуржца Л. Л. Штакельберга (по профессии — шофера такси, определяющего себя как неагрессивного графомана) охватывает период с 1946 года до наших дней. Среди персонажей мелькают Анна Ахматова, Анатолий Найман, Иосиф Бродский. Впрочем, истории Штакельберга-шофера едва ли не интереснее его литературных воспоминаний.

Александр Эбаноидзе. Ныне отпускаеши... Триптих. — «Дружба народов», 1996, № 7, 8.

Роман о Тбилиси.

Михаил Эпштейн. Медный всадник и золотая рыбка. Поэма-сказка Пушкина. — «Знамя», 1996, № 6.

Власть и стихия.

Составитель Андрей Василевский.

Голос Зарубежья. Санкт-Петербург. № 78-79 (май 1996 г.). 82 стр.

Двадцать лет журнал «Голос Зарубежья» издавался в Германии редакцией, состоящей, по существу, из одного человека — В. А. Пирожковой, которая до выхода на пенсию в 1986 году была профессором политологии в университете города Мюнхена. Печатался журнал в типографии Иерусалима. Непосредственное участие в работе принимала также Дора Штурман, хорошо известная читателям «Нового мира». Все работало бесплатно, авторы не получали гонорара. Небольшие, но необходимые журналу субсидии приходили от западных христианских организаций. «Все мы хотели хоть немного помочь свободному русскому слову... — рассказывает В. А. Пирожкова. — Помню, как уже после наступления гласности меня в Москве спросили с удивлением, как у нас на страницах журнала уживались демократы, монархисты, почвенники». Общий характер журнала — христианский, что, по мнению главного редактора, не исключает сотрудничества в журнале представителей других религий и «не воинствующих атеистов».

До 1990 года журнал попадал в Россию нелегально, а значит, и нерегулярно, позже стал пересылаться по почте. И только теперь появилась возможность издать номер журнала (№ 78-79) в России, в Санкт-Петербурге. В него вошли следующие статьи: В. А. Пирожкова, «Первые выборы президента России»; Д. М. Штурман, «Стрела вре-

мени» (среди прочего она утверждает, что самая страшная ошибка, в том числе и предвыборная, — это «искать в посясторонней жизни абсолютного блага, абсолютной правильности, абсолютной правоты»). Далее идут «Мысли о Церкви» протоиерея Димитрия Константинова с послесловием В. А. Пирожковой. Священник Виктор Соколов дает материал к пятидесятилетию пастырской и церковно-писательской деятельности Д. В. Константинова; О. Т. Лойко рассказывает о первом историке русской философии архимандрите Гаврииле (Василии Николаевиче Воскресенском; 1795 — 1868). Продолжается публикация воспоминаний В. А. Пирожковой «Потерянное поколение» — глава о власовском движении. А также печатается ряд политических материалов Христианско-Демократического Союза (его петербургской организации).

Ради преемственности за этим номером сохранено прежнее название «Голос Зарубежья». Главный редактор В. А. Пирожкова считает, что, «если он заинтересует близких по духу российских авторов, если нам суждено будет издать в Петербурге еще хотя бы несколько номеров, мы переименуем название журнала».

А. В.



ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Ноябрь

15 лет назад — в № 11 за 1981 год напечатана вторая часть «Блокадной книги» Алеся Адамовича и Даниила Гранина.

45 лет назад — в № 11 за 1951 год напечатан «Ответ читателям „Василия Теркина“» А. Твардовского.

55 лет назад — в № 11(12) за 1941 год напечатан лирический дневник Константина Симонова «С тобой и без тебя».

70 лет назад — в № 11 за 1926 год напечатан рассказ Михаила Пришвина «Охота за счастьем».

**Если Вам не удастся начать новую жизнь
с понедельника — начните ее с четверга.
Тем более что в этот день к вам приходит**



Г А З Е Т А

**Три главных информационных блока —
это три измерения, в которых мы живем.**



— человек и гражданин —
свободная личность в поисках себя.



— из нас с вами состоит общество.
МЫ разные,
но у нас общие проблемы, общие
радости и общая страна.



— от них зависит наша жизнь.
ОНИ олицетворяют власть и
государство.
МЫ должны знать — каковы **ОНИ**.

Общественно-политический
и мировоззренческий
еженедельник для широкого
круга читателей.

Выходит на 16 страницах
в черно-белом исполнении.

Имеет теле- и радиоприложения.

Подписной индекс издания в каталоге «Роспечати» : 32138



Свежие идеи, новые рубрики, не открытые еще имена предлагает читателям в 1997 году старейшее педагогическое издание России. Подписка на «УТ» возможна с любого месяца. Подписные индексы: 50137 (для частных лиц) и 32168 (для организаций).

Только в ноябре Вы можете значительно сэкономить, оформив подписку сразу на год!

Подписные индексы на год: 32541 (частные лица) и 32542 (организации)

В разделе «ШКОЛА», который посвящен учительской профессии:

«Методическая кухня»

лучшие уроки и педагогические технологии, оригинальные идеи и подходы к обучению;

«Учительские истории»

забавные и грустные письма наших читателей, портреты на фоне школьной доски;

«Директорский клуб»

передовой опыт управления школой;

«Визитная карточка»

знакомство с интересными учебными заведениями;

«Классный руководитель»

тонкости работы с классом, сценарии школьных вечеров, секреты лидерства;

«Ваш адвокат»

на вопросы читателей отвечает юрист;

«Расследование «УТ»

причины и следствия острых проблем, «кому выгодно?» и «кто виноват?»;

«12-й класс»

будни и праздники молодого педагога в школе;

«Из первых рук»

последние нормативные документы в сфере образования; комментарии специалистов.

В разделе «ЖИЗНЬ», который посвящен семье, досугу, интересам и увлечениям учителя:

«А вы читали?»

новинки книгоиздания, любимые авторы - все о литературе;

«Зеркало в учительской»

для женщин и не только для них: советы, как всегда хорошо выглядеть, рекомендации модельеров и визажистов;

«Лад»

с ребенком на Вы: консультации психологов и врачей, энциклопедия подросткового мира;

«Криминал»

преступность в мире детства;

«Наука»

последние научные открытия и сенсации;

«Площадь искусств»

музыка, кино, театр - разговор о Прекрасном;

«Путешествия»

романтика далеких стран и родного края, новые маршруты для ваших открытий;

«50 плюс»

специальная страничка для тех, кому за пятьдесят;

«Белый вальс»

любовь, сложный мир взаимоотношений между женщиной и мужчиной.

Телефоны редакции: (095) 928-8253 (справки) и (095) 298-8995 (реклама)

SUMMARY



The poetry section of the issue presents poems by Yevgeny Rein, Nikolay Kononov and Nina Iskrenko (with a preface by Igor Irtenyev).

We are ending our publication of the novel «The Round Dance» by Anton Utkin (beginning in Nos. 9, 10). We are also publishing short stories by Fazil Iskander, Yuliy Edlis and Gely Kovalevich.

The section «New Translations» is presented by fragments of the «Diaries» by Polish writer Witold Gombrowicz, translation by Yu. Chainikov.

Reflections by Anatoly Naiman occupy the section «Writer's Diary».

In the section «Times and Morals» we are publishing the short memoirs by Dmitry Likhachev, «Childhood with Kuokkala and Dostoevsky», as well as «Notes by a Small Owner» by A. Mikheyev.

In the section «Publications and Reports» we continue to publish chapters from the second volume of the book «Slaves of Freedom» by Vitaly Shentalinsky, which is based on the materials of the KGB's archives.

The section «World of Art» presents a theatre review by Alena Zlobina on the classics on the modern stage.

In the section «Philosophy. History. Culture» we are publishing the article «The Leaving Boor» by Pavel Basinsky, devoted to the book «The Coming Boor» by Dmitry Merezhkovsky in the light of nowadays' life.

The section «By the Way» contains the notes by Aleksandr Arkhangelsky, entitled «From Experience of One Who Sails and Travels».

In the section «Book Review» Nikita Yeliseyev reviews little known texts by Sergei Dovlatov; Sergei Kabaloti reviews the collected works by Gaito Gazdanov; Irina Rodnyanskaya reviews the prose by Boris Yekimov; Olga Kuznetsova reviews a new novel by Valery Popov.

In the section «Briefly about Books» we are publishing short reviews by Yelena Oznobkina.

The issue also presents our traditional sections «Bookshelf» and «Periodics».

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Главный редактор **С. П. Залыгин**

Редакционная коллегия: **М. В. Бутов, А. В. Василевский** (ответственный секретарь), **Р. Т. Киреев** (зам. главного редактора),

С. П. Костырко, Ю. М. Кублановский, С. И. Ларин, О. И. Новикова, И. Б. Роднянская, З. М. Фаткудинов, О. Г. Чухонцев, С. А. Яковлев (зам. главного редактора)

Общественный совет: **С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, Д. А. Гранин, А. А. Ким, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко, П. А. Николаев, М. О. Чудакова**

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2
Телефоны: отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88, отдел публицистики — 229-25-83, для справок — 200-08-29.

Сдано в набор 20.07.96 г. Подписано к печати 20.09.96 г. Оригинал-макет изготовлен на компьютерах редакции журнала «Новый мир». Формат бумаги 70x108 ¹/₁₆. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л., 22,4 усл. печ. л., 28 уч.-изд. л.

Тираж 21 650 экз. Зак. 2582. Цена договорная.

При участии издательства «Известия». Москва, Пушкинская пл., 5.
Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия».
103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

**ДО КОНЦА 1996 ГОДА И В 1997 ГОДУ
«НОВЫЙ МИР»
ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

ВИКТОР АСТАФЬЕВ. *Прокляты и убиты* (роман, часть третья);
ИНГМАР БЕРГМАН. *Исповедальные беседы* (роман, перевод со шведского);

АНДРЕЙ БИТОВ. *Общество охраны героев* (повесть);

В. БОГОМОЛОВ. *Алина* (повесть);

МИХАИЛ БУТОВ. *Свобода* (роман);

РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. *Дорога Бог знает куда* (повесть);

ДАНИИЛ ГРАНИН. *Вечера с Петром Великим* (роман);

БОРИС ЕКИМОВ. *Наш старый дом* (повесть); **В снегах** (очерк);

ИГОРЬ ЗОЛОТУССКИЙ. *Путешествие к Набокову*;

ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ. *Пастырь добрый* (об о. Александре Мене);

БУЛАТ ОКУДЖАВА. *Автобиографические анекдоты*;

ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ. *Прохождение тени* (роман);

ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. *Грибники ходят с ножами* (повесть);

ВЯЧЕСЛАВ ПЬЕЦУХ. *Шкаф* (рассказы);

КРИСТОФ РАНСМАЙР. *Morbus Kitahara* (роман, перевод с немецкого);

ИРИНА РОДНЯНСКАЯ. *Маканин нового времени*;

А. СОЛЖЕНИЦЫН. *Этюды из «Литературной коллекции»*;

ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА. *Корова на крыше* (повесть);

ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ. *Золотая блесна* (северная проза);

УОЛЛЕС ШОУН. *Лихорадка* (повесть, перевод с английского);

ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. *Митина любовь* (повесть);

ЮЛИУ ЭДЛИС. *Аноним* (роман);

а также новые произведения СЕРГЕЯ АВЕРИНЦЕВА, ВАСИЛИЯ АКСЕНОВА, АЛЕКСАНДРА АРХАНГЕЛЬСКОГО, СВЕТЛАНЫ ВАСИЛЕНКО, РЕНАТЫ ГАЛЬЦЕВОЙ, ГЕННАДИЯ ГОЛОВИНА, ВАЛЕРИЯ ЗАЛОТУХИ, АНАТОЛИЯ КИМА, МАРКА КОСТРОВА, АНАТОЛИЯ КУРЧАТКИНА, АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, ОЛЕГА ЛАРИНА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ВЛАДИМИРА МАКАНИНА, АЛЕКСАНДРА МЕЛИХОВА, МАРИНЫ НОВИКОВОЙ, ОЛЕГА ПАВЛОВА, ЕВГЕНИЯ РЕЙНА и других авторов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ
ПРОДЛИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ!**